90 коп.

Индекс
70327

В КОНЦЕ 1989 ГОДА
И В ТЕЧЕНИЕ 1990 ГОДА
В «ЗВЕЗДЕ» БУДУТ ОПУБЛИКОВАНЫ:

Мария РОЛЬНИКАЙТЕ. Свадебный подарок. Роман.

Сергей ДОВЛАТОВ. Филиал. Повесть.

Виктор НЕКРАСОВ. Рассказы.

Александр СОЛЖЕНИЦЫН. Август Четырнадцатого. Роман.

Публицистические статьи
Бориса НИКОЛЬСКОГО, Роя МЕДВЕДЕВА,
Владимира ТЕНДРЯКОВА, Якова ГОРДИНА.

Антон АНТОНОВ-ОВСЕЕНКО. Карьера палача
(продолжение).

Станислав ЛЕМ. Следствие. Роман.

Леонид ЛИХОДЕЕВ. Семейный календарь. Роман.

Владимир КОРНИЛОВ. Демобилизация. Роман.

Евгений ШВАРЦ. Из дневников.

Стефан ЦВЕЙГ. Мария Антуанетта.
Портрет ординарного характера. Исторический роман.

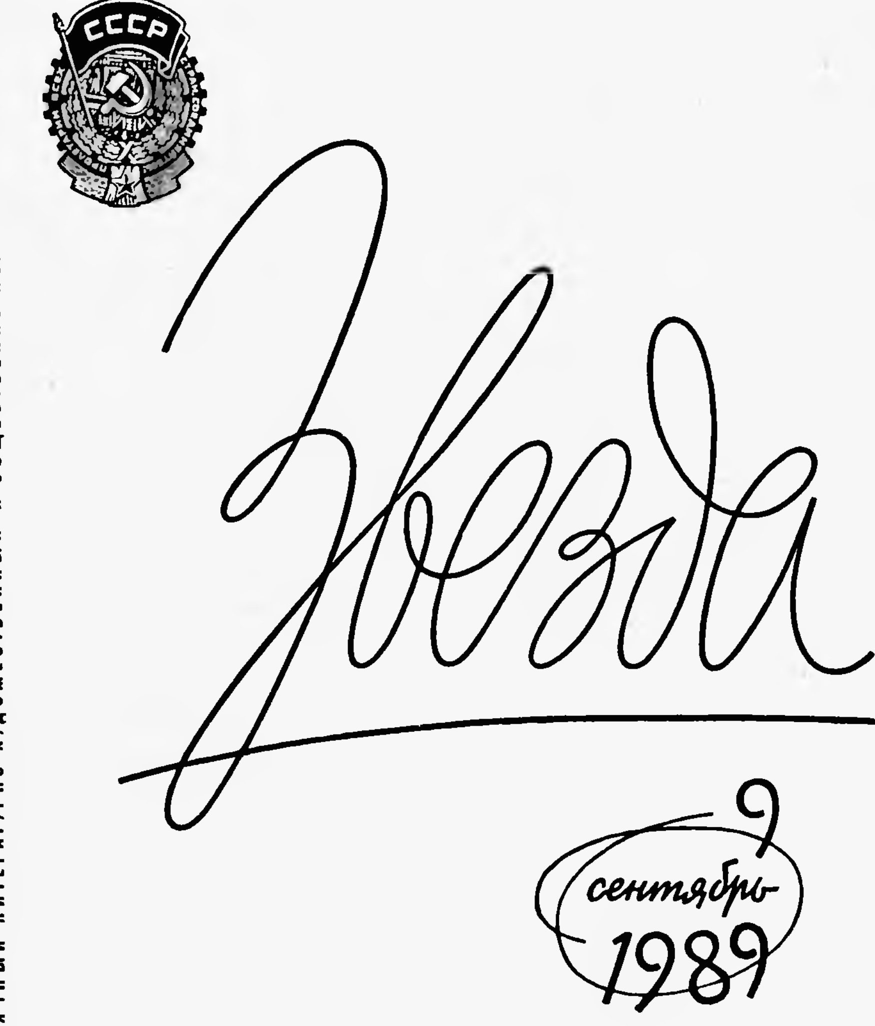
Стивен КИНГ. Способный ученик. Повесть.

ISSN 0321—1878. Звезда. № 9. 1—208.

ISSN 0321—1878

9
1989

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ



ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

ИЗДАЕТСЯ С ЯНВАРЯ 1924 ГОДА

ЛЕНИНГРАД

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

* * *

Фонограмму прижизненную Толстого
Ищут, какой-то речи или статьи...
Даже фильм про это отсняли. Слово,
Где ты, глухое,— шипи, крути
Черного диска зрачок усталый.
Время, как пыль, собирает гул.
Нету — ну кануло, запропало.
Мало вам, что написал, зачеркнул?
Знаем мы эти обрывки, листочки
С пушкинским нежным,
толстовским крутым
Почерком, нервно бегущие строчки,
Стелющиеся, как перистый дым.

Все, что при жизни подвижною грудой
Терлось, мешало, копилось — и вот
Замерло, закоченело... Оттуда
Больше уже ничего не придет.
Гипсовый слепок, посмертная маска —
Чтобы могла задержаться рука,
Пальцы живые скользили с опаской
И упоением — наверняка.
Радость какая, удовлетворенье,
Смешанный с детским тщеславьем испуг —
Вырвать у тьмы этой жгучей мгновенье,
Строчку, записочку тайную, звук.

* * *

У него рак, но ему не сказали об этом.
Есть термин «неоперабелен»... Сон,
Наркотиком вызванный, с тихим приветом
Приходит. Морфей или морфий? Имен
Не знает таких. Только приступы боли...
Как радовался: «Врач сказал, что под нож
Не надо ложиться... Теперь-то на воле...
Лекарство рассасывающее...» Что ж!..
Бессилье, бессилье... Какую угрозу
Не чувствует! «Да, санаторий раз в год...»

Дней пять еще тут помурыжат, глюкозу
Поколют «рассасывающую». Вот
И сумерки. Выключен, выписан, вынут,
Точнее, помечен незримой чертой.
Как скоро растущие боли раздвинут
Пределы его осознанья! Постой,
И мука, цветком кровеносным граната,
В бреду, через призмы померкших орбит
Подступит, распустится пышно, кудлато,
Последним дыханьем своим опалит.

* * *

«Не правда ли, отличная погода!..»
Сюда еще улыбочка английская, сквозная
Положена. Но я смотрю, мигая,
Блаженно щурясь, за окно: свобода
Дневного воздуха, холодного, в ворсинках
Шершаво-ласкового, замшевого света.
Так в детстве таяла во рту живая льдинка,
Сосулька яркая, теплом моим согрета.

В тенетах голубых, в сетях воздушных
Подрагивает солнце, леденея.
Дежурный выход всех бесед натужных —
Погода. Господи, что может быть важнее!
Особенно тому, кто знает сроки,
Последний раз любимую читает
Страницу в книге. Путаются строки,
И ком горячий к горлу подступает.

В. Каверин

Над потаённой строкой

Роман

Светлой памяти Бориса Лапина

ГЛАВА 1

В те годы дома отдыха, большинство которых впоследствии стали называться домами творчества, были еще новинкой. Июль 1928 года соединил в таком доме, находившемся в Старом Петергофе, пятнадцать или двадцать человек, и в их числе автора этой книги.

В обиходе этого дома отдыха еще сохранилась некоторая торжественность. Сестра-хозяйка Ванда Казимировна Вильчевская, величественная дама «из бывших», каждое утро сдержанно приветствовала гостей. Отдыхающие сидели не за отдельными столиками, а за длинным, покрытым снежно-белой скатертью столом. И весной, и летом на этом столе красовались цветы. Некоторые отдыхающие переодевались к обеду. Распорядок дня соблюдался строго. К столу являлись в точно установленный час. В форменных платьях и накрахмаленных передниках являлись подавальщицы с блюдами и мисками в руках. За обедом Ванда Казимировна по-домашнему разливала суп.

В невольном молчании прошел первый обед, в предписанной тишине разошлись после обеда по комнатам — мертвый час! Но уже к вечеру отдыхающие не только перезнакомились, но и разбились на маленькие дружеские группы. И почему-то стало ясно, что одни приехали, чтобы поработать, а другие — отдохнуть и повеселиться. К последним, без сомнения, принадлежал Сергей Иванович Шульга, молодой инженер из Харькова, выдумщик и весельчак, пересыпавший свои шутки украинскими словами. И Орландо Чачава, высокий, смуглый, застенчивый аспирант научно-исследовательского института имени Веселовского в Ленинграде. Особняком держался узкоплечий, с изящной и хрупкой внешностью, молчаливый, в толстых очках под высоким чистым лбом Борис Матвеевич Ланской — журналист, как мы искоре узнали.

Через несколько дней молодежь перешла на имена. Но он остался Борисом Матвеевичем. В нем чувствовалась какая-то неясно выраженная, незаурядная сила. Он в особенности заинтересовал меня, может быть, тем, что заметно изменился, когда к нему приехала жена — балерина, танцевавшая в кордебалете бывшего Мариинского театра. Едва ли ей минуло больше восемнадцати лет.

Отношения между близкими людьми, особенно между супругами, всегда загадка. Но с первого же взгляда было видно, что Ланской не просто любит, но обожает свою стройную, длинноногую, белокурую жену с ее плавной и упругой, характерной для балерин походкой. Именно она, а не он, приняла горячее участие решительно во всех затеях, которые принадлежали неутомимому Шульге,— играли «в рублик», в слова, в карамболь. Так назывался в те далекие годы маленький бильярд с металлическими шарами.

Ланской пытался не отставать от других, но когда все от души хохотали, глядя на проигравшего «в рублик» и отправлявшегося, по правилам, под стол, он только задумчиво улыбался. Он был рассеян. Все эти забавы были как-то не к лицу ему. И он робко оглядывался на жену, когда промахивался, играя в карамболь, или когда металлический шарик перелетал борт маленького зеленого суконного бильярда.

Можно было подумать, что он виноват перед ней. И хотя ему это было трудно, постоянно просил у нее прощения. Все эти затеи, которыми она занималась с увлечением, были глубоко чужды ему, и участвовал он в них только потому, что ей этого хотелось. Казалось, что она сердится на него за любую ошибку в любой игре, за неловкость, рассеянность, за то, что он был непохож на других. И даже за то, что он не мог скрыть своего обожания. Она сердилась, но в самом недовольстве ее чувствовалась какая-то гордость. Ей, очевидно, нравилось, что их отношения как бы разыгрываются на сцене. Маленькая балерина кордебалета, она хотела, чтобы хоть в жизни зрители в восторге следили за ее ролью победительницы, повелительницы, владыки.

Он принадлежал ей как вещь, как собственность, с которой можно сделать все что угодно. Я убедился после короткого случайного разговора, что она была пошло-кокетлива и даже глуповата.

Между тем произошла одна забавная история, в которой Ариша — так ее звали — приняла (мне кажется, тайно от мужа) самое горячее участие. Один из нас, высокий, смуглый, красивый Орландо Чачава, скучал. Вопреки своей скромности, он, мне казалось, привык к женскому обществу, в котором — об этом нетрудно было догадаться — он чувствовал себя как рыба в воде. Но в этом заезде не было ни одной женщины, за которой он мог бы поухаживать, а может быть, и не только поухаживать. Однажды он заинтересовался старинной брошкой с гранатовым крестиком, которой одна из подавальщиц, Верочка, закалывала передник. Слышал ли Шульга их разговор об этой брошке с крестиком или подметил какие-нибудь признаки нескромного поведения нашего грузина, но однажды, собрав самых опытных своих соучастников, в число которых входила Ариша, он сочинил письмо, адресованное Орландо. Я был тогда молод и запомнил его наизусть.

«Уважаемый Орландо Шалвович, администрация дома отдыха ученых имела случай убедиться в том, что Вы позволили себе в отношении к персоналу некоторые поступки, которые могут подорвать безупречную во всех отношениях репутацию дома. Поэтому мы, к сожалению, просим Вас по возможности сократить срок Вашего пребывания. С уважением». И далее следовали неразборчивые подписи директора и сестры-хозяйки.

Запечатанное письмо Шульга положил возле прибора Орландо, и когда он вошел, все участники принялись энергично завтракать, беспечно разговаривая о погоде. Помнится, на завтрак были заказаны яйца — кому всмятку, а кому вкрутую. Чачава разорвал конверт, прочел письмо и слегка побледнел. Признаться, мне стало очень жалко его. У него было лицо незаслуженно обиженного ребенка.

В этот день была назначена экскурсия вдоль труб, проложенных еще Петром I из Старого Петергофа в Новый.

Орландо спрятал письмо в карман и сказал Шульге с более чем всегда заметным грузинским акцентом:

— Черт побери, очень жаль, но мне участвовать в экскурсии не придется.

— Почему?

— Не могу, понимаешь. В институт вызывают.

Старик-профессор, который тоже работал в институте имени Веселовского, возмутился.

— Как это вызывают? — спросил он.— Кто вызывает? Это безобразие! Я сейчас же напишу директору.

— Балшое спасибо,— сказал Чачава.— Не надо писать. Скажут, пожаловался. Шум поднимает.

— Ведь вы аспирант?

— Ну, аспирант. Пожалуйста, не надо.

Он наскоро позавтракал и ушел. Мы тоже позавтракали и, собравшись в гостиной, дружно накинулись на Шульгу. Он отбивался.

— Да не поедет он никуда!

— Непременно поедет. Держу пари!
— Поезд в два тридцать. Ручаюсь, что он уже складывает чемодан.
— Во всяком случае, останется до обеда.
— Не останется.
Это сказал я. По-детски обиженное, но тем не менее решительное лицо Орландо стояло перед моими глазами. Может быть, единственный из нашей бесшабашной компании я ничуть не сомневался, что Чачава глубоко оскорблен.
— Придумал! — вдруг закричал Шульга.— Мы пошлем к нему Верочку, она скажет, что пришла убрать комнату, и мы узнаем, собирается он уезжать или нет.
Верочка была как раз та подавальщица, которая особенно нравилась — и это было нетрудно заметить — нашему грузину. И в самом деле, она была очень мила. Тогда уже была в моде стрижка, а она носила косы. И ходила она очень легко, и держалась с той естественной грацией, которая не могла не понравиться представителю любой национальности, в особенности грузину.
Сказано — сделано. Верочка постучалась к Чачаве и, вернувшись, сказала, что он укладывает чемодан. Мне показалось, что она огорчена тем, что Чачава не обратил на нее никакого внимания.
— Что же делать? — Это сказали мы все, вопросительно глядя друг на друга.
— Придумал! — снова закричал Шульга.— Я уговорю его последний раз пообедать с нами, а за обедом он прочтет совсем другое письмо.
Кажется, только я сказал: «Как бы не было хуже».
Содержание второго письма было прямо противоположно содержанию первого: «Глубокоуважаемый товарищ Чачава, администрация дома отдыха ученых убедилась в том, что полученные нами сведения, как выяснилось, являются результатом досадного недоразумения. Оказывается, Ваши действия не были безнравственными, а, напротив, представляли собой антирелигиозную разъяснительную работу. Признаваясь в своей ошибке и глубоко сожалея о ней, мы просим Вас не только остаться нашим дорогим гостем, но продолжить срок Вашего пребывания в той мере, которая окажется для Вас возможной. Директор (закорючка), сестра-хозяйка (закорючка)».
И Шульга, отменив к общему согласию экскурсию в Новый Петергоф, действительно уговорил Чачаву остаться пообедать с нами.
Эта затея, как обычно случается, быстро распространилась по всему дому. Ни один человек не опоздал к обеду. Все с нетерпением ждали, как Орландо отнесется к новому письму. Наконец он вошел, направился к своему месту и приостановился. Не знаю, что он подумал, увидев новое письмо подле своего прибора. Должно быть, решил, что администрация снова напоминает ему об отъезде. Он сел, рванул конверт и, быстро прочитав письмо, поднял глаза. Трудно описать этот взгляд. В нем было и бешенство, вот-вот готовое прорваться, и оскорбленная гордость, и угроза. Я бы сказал, нешуточная угроза. Его красивое молодое лицо стало тяжелым, потемнело от прилива крови, и мне показалось, что он сейчас сделает что-нибудь неожиданное и страшное. Может быть, сдернет со стола, уставленного мисками и тарелками, скатерть или бросится на кого-нибудь. Наступило молчание. Каждому из нас он посмотрел прямо в глаза. У него были черные глаза. Теперь они стали угольно-черными. Казалось, он спрашивал: «Кто?» И вдруг встал, отшвырнул свой стул куда-то в угол и вышел, ни на кого не глядя, решительными шагами.
Понял?
Это не было сказано, но стало ясным для всех.
— Обиделся.
— Рассердился.
— И действительно, глупая шутка.
— Глупая и жестокая.
— Что же делать?
— Теперь-то он наверное уедет.
— Надо, чтобы кто-нибудь попросил у него извинения.
— Кто же, если не Шульга?
Разумеется, у Шульги, как у всех людей, было имя и отчество, но почему-то все называли его по фамилии.
Особенно сильно возмущался пожилой сосед Орландо, тот самый, который

предложил помочь ему в институтских делах. Впрочем, никто из молодых не слышал его и не слушал. Все взгляды почему-то обратились к Ланскому, хотя он не принимал никакого участия в этой затее. И вот что характерно: когда Орландо долго смотрел каждому из нас в лицо и было трудно выдержать этот тяжелый и грозный вопросительный взгляд, на Ланского он взглянул только мельком и сразу же перевел глаза. Зато теперь даже некоторые старики, знавшие о нашей глупой затее, смотрели на Ланского, надеясь, что именно он найдет возможность уговорить Чачаву остаться. Теперь никто не сомневался в том, что он непременно уедет. Шульга, прекрасно понимавший, что он виноват больше всех, первым нарушил молчание. Он смущенно откашлялся, прежде чем заговорить.
— Борис Матвеевич,— сдавленным голосом начал он.— Мы надеемся... Не сомневаюсь, что это общая просьба. Ну, словом, пожалуйста, поговорите с ним. Мне кажется, что именно вы...
Ланской подумал.
— Признаться, мне очень не нравилась эта глупая шутка,— спокойно сказал он,— и мне понятно, почему так рассердился этот симпатичный юноша.
Он назвал Чачаву юношей, хотя именно так хотелось назвать Ланского с его застенчивостью, с его неуверенностью, что он может помочь взрослым в сложном, запутанном деле.
Слово было предоставлено Шульге, и он подробно рассказал все, что случилось. Ланской снова помолчал.
— Я понимаю,— мягко сказал он.— Вы просто забыли, что перед вами грузин. Уверяю вас, что англичанин или француз отнесся бы к вашей шутке совершенно иначе. Но чем же, собственно говоря, я могу помочь вам?
— Поговорите с ним!
— Объясните, что мы совсем не хотели его обидеть.
— И совсем не хотим, чтобы он уезжал.
— И просим его остаться! Просим прощения!
Ланской поднял руку. Все замолчали.
— Но почему вы думаете, что поговорить с ним должен именно я?
Теперь мы замолчали. На этот вопрос было трудно ответить. Для всех было совершенно ясно, что поговорить должен именно он. Но, действительно, почему?
Прошло немало лет, прежде чем я смог с полной ясностью ответить на этот вопрос. Потому что под этой скромностью, под этой кажущейся отчужденностью, под этим впечатлением нежности, застенчивости, скромности, чуждающейся даже намека на позу, была какая-то невыраженная, но отчетливо ощущаемая власть. А тогда мы просто стали в один голос уговаривать его, и главным убедительным доводом был тот, что он не имел никакого отношения к делу. Он не возражал, но и не соглашался, пока жена не сказала ему: «Боря, сделай». Она сказала это, как будто он должен был не уговорить Чачаву, а именно «сделать» то, что было под силу именно ему и никому другому.
Наша догадка насчет немедленного отъезда Орландо оказалась верна. Он действительно собирался немедленно уехать. И уехал бы, если бы не был проникнут тем загадочным, бессознательным, но глубоким уважением к Ланскому, которое и нас заставило обратиться к нему.
Задача была трудная. И я не знаю, как Ланскому удалось решить ее. Из комнаты они вышли вместе, оживленно о чем-то разговаривая. Я прислушался. Чачава рассказывал Борису Матвеевичу о храме Светицховели, древней святыне Грузии. Вообще, они рассуждали о православии. В Грузии оно появилось в IV веке. Шульга сунулся было к ним, но Ланской мягко и решительно отстранил его. Словом, Чачава остался.

ГЛАВА 2

В начале тридцатых годов Арише удалось устроиться в кордебалет Большого театра, и молодые переехали в Москву и поселились у отца Ланского, Матвея Борисовича, бывшего военного врача, работавшего в Кремлевской больнице. Он давно овдовел и жил один в небольшой квартире на Стромынке. Старушка-домработница два-три раза в неделю убирала квартиру.

Каждая семейная жизнь — загадка. Но ничего загадочного не было в семье старого врача, который интересовался решительно всем на свете, а на деле — ничем, кроме своей профессии и своего сына, который заставлял себя жить в Москве только ради жены, с утра до вечера пропадавшей в театре.

Вместе они собирались только по воскресеньям, за обедом, принесенным в судке из соседней столовой. Судки и посуду мыли по очереди сын и отец. Резиновыми перчатками тогда еще не пользовались. Ариша берегла свой маникюр. Иногда к обеду прибавлялась бутылка «Саперави», которую Борис Матвеевич покупал для отца, считавшего, что обед без вина — не обед. Обычно старик за столом рассказывал какую-нибудь занятную историю — он был участником гражданской войны. И рассказывал мастерски, живо, даже как-то лихо. Однажды, например, стрелялся с командиром эскадрона из-за какой-то красавицы молдаванки — и даже показал шрам на волосатой груди, куда попала пуля.

Словом, каждый обед был праздником, кончавшимся тем, что отец брал гитару и просил Аришу исполнить какой-нибудь танец, желательно испанский, с бубном. А если нет, просто пройтись на пуантах, изображая какую-нибудь известную балерину.

Только эти воскресные обеды заставляли задумчивого, молчаливого Бориса разговориться и развеселиться.

Быта не было, но был круг друзей и знакомых. Он состоял из врачей, журналистов и балерин, которые бывали у Ланских, потому что чувствовали себя в их доме свободно. Ничего общего не было в этих далеких друг от друга профессиях, но был неотступный, острый, неутомимый интерес Бориса к любому человеку, с которым его сталкивала жизнь. С врачами он говорил о случаях, интересных для врачей, а с балеринами о просвечивающих сквозь театральный занавес сложных маленьких заговорах, борьбе честолюбий. Кордебалет — это был целый мир неудовлетворенных, смирившихся или не смирившихся характеров, удавшихся и провалившихся карьер.

И Ланской невольно стал центром этого сложного противоречивого мира. С ним советовались, его ценили, подчас достаточно было услышать от него несколько слов, чтобы решить вопрос, казавшийся подругам Ариши необычайно сложным.

Что касается журналистов, профессиональные интересы их были для Ланского менее интересны. Шли тридцатые годы, и хотели этого люди или нет, они были втянуты в острую политическую атмосферу, которая связывала их по рукам и ногам. Журналисты писали не то, что думали, и говорили не то, что писали. Немногие, и только самые умные из них, понимали, что они жертвы какого-то гигантского трагического опыта. На их долю выпало не замечать трагедии этого опыта, молчать о ней или распространять заведомую ложь. Но и бросить перо они тоже не могли.

И Ланской не остался в стороне от этой грандиозной панорамы безжалостной и беспощадной борьбы. Плохо зная, или даже почти ничего не зная об особенностях деревенской жизни, он еще в тридцатом году провел два месяца в совхозах Сальских степей. Он видел, как трактористы сносили кладбища, чтобы превратить их в поля. Он редактировал совхозные газеты, он оценил суровую жизнь, настаивающую на своей новизне. Он рассказал в своих очерках о городках иностранцев, возникших подле колхозов и населенных англичанами и американцами, следившими за работой привезенных ими тракторов.

Все это я прочел в одной из его первых книг. Она называлась «Крутой поворот». Хотел он этого или не хотел, отчетливо было видно если не восхищение, то, по меньшей мере, увлечение тем, что он увидел.

Эта книга — я проследил за ее судьбой — была встречена враждебной критикой — она вышла в 1931 году, когда в литературе господствовал РАПП. Автора упрекали за буржуазный объективизм, за отсутствие политической психологии, за искажение действительности. Но самый строгий и самый справедливый отзыв он услышал от Павла Сергеевича Шубина, своего лучшего друга.

— Пишут о тебе, конечно, вздор,— после долгого молчания сказал он.— Но и ты хорош! Тебе, что же, так понравились эти парни, распахивающие кладбища,

на которых лежат их отцы? Или что они подтягивают гусеницы кладбищенскими крестами? Или ты думаешь, что надо было уничтожить пять миллионов дельных и потому зажиточных мужиков для того, чтобы с помощью англичан и американцев запахать эти степи?

(Я забыл упомянуть, что разговор происходил на пустынной набережной Яузы, где их никто не мог услышать, а не у Шубина, который жил в коммунальной квартире.)

— Но бьют тебя, к сожалению, не за это, а за то, что ты написал правду. Понимаешь, Боря, твоя правда сильно проигрывает от соседства с тем, что происходит в стране. В стране проходит и развивается, как это широко известно, деятельность живого бога.

Он показал двумя пальцами, большим и указательным, низкий лоб. Этот жест всегда заменял у него фамилию человека, который каждые четверть часа упоминался по радио, в газетах, брошюрах, книгах.

— Ты увлекся. Тебе трудно было оценить подобную деятельность со стороны. Кроме того, ты, как это ни странно, забыл, что речь идет не только о мужиках.

Это был запомнившийся разговор, заставивший Ланского подумать об одном рискованном решении, наполнившем его жизнь новым глубоким содержанием.

Однажды Матвей Борисович пошел к сыну, чтобы пожелать ему доброй ночи, но, к его удивлению, дверь оказалась запертой на ключ. Он постучался.

— Боря, это я!

Но Боря был чем-то занят и, прежде чем открыть дверь, убрал в ящик стола какую-то черновую тетрадь.

— Что же ты от отца запираешься?

— Прости. Машинально.

Он невидящими глазами смотрел на отца, потом снял очки и протер их платком. У него был вид человека, внезапно отстраненного от важного дела.

— Да нет, ерунда!

— Ложишься?

— Да. Доброй ночи.

От Ариши он не запирался. Она никогда не интересовалась тем, что он пишет. А отца эта черновая тетрадь могла напугать, огорчить и расстроить.

ГЛАВА 3

В двадцатых годах Ланской работал в Крыму как участник археологической экспедиции. Он исколесил Чукотку как сотрудник пушной фактории. Вернувшись оттуда, он передал в Академию наук составленный им словарь одного из небольших северных племен. Он ездил по Средней Азии как нивелировщик геологической экспедиции. Он прошел горные кряжи Памира как регистратор переписи населения Центрального статистического управления. Он закончил авиашколу и получил звание летчика-наблюдателя. Между делом он в совершенстве изучил персидский язык.

После каждого путешествия круг его друзей расширялся. Среди них были и академики с европейскими именами, и молодой монгольский поэт, повстречавшийся где-то в Гоби, и капитан лайнера, совершавшего международные рейсы. В его газетных очерках соединились репортаж и искусство.

Всю жизнь он писал стихи и, может быть, поэтому принес в журналистику взыскательное отношение к слову. Газета научила его точности, конкретности, логической стройности мысли.

Так возник жанр его книг — занимательный, своеобразный. Он сумел соединить документальность с публицистикой, научный трактат с лирической новеллой. Подлинное и вымышленное легко скрещивались под его пером, воображение незаметно вмешивалось в действительность, а действительность подчас была вынуждена отступить перед воображением.

Все это я узнал не от него, хотя был знаком с ним, но из его книг — скромный,

сдержанный человек, он не позволял себе надеяться, что читатель когда-нибудь может заинтересоваться его биографией. Я постарался узнать ее из обрывков воспоминаний, сохранившихся в памяти его современников, из статей и заметок о нем, из случайных и неслучайных упоминаний, из военных корреспонденций.

Проживший до глубокой старости его близкий друг написал о нем статью, которая помогла мне понять этот необычайно сложный в своей простоте характер.

ГЛАВА 4

Мне придется рассказать, не откладывая, о событии, неожиданно вломившемся в его непривычно спокойную жизнь, иначе исчезнет незримая нить, соединяющая эти строки. Оно заключалось в маленьком письме, которое он нашел распечатанным и небрежно брошенным на туалете Ариши. Оно лежало среди тюбиков с мазями, коробочек с пудрой, флакончиков с духами. Бреясь, Ланской порезался и хотел приложить к подбородку ватку с одеколоном.

«Родная моя, не стану тревожить тебя этим письмом, но сознаюсь тебе откровенно: силы мои кончились, я не могу больше мириться с этим двоедушием, притворством, которые невольно, против твоего желания отравляют наши отношения. Ты сказала мне, что не в силах расстаться с Борисом Матвеевичем, который любит тебя, как никто и никогда тебя не любил. Так вот: он или я. Ты говорила не раз, что со мною счастлива больше, чем с ним. Стало быть, ни у меня, ни у него нет права выбирать. Это должна сделать ты. Я жду тебя в четверг вечером, как обычно. Мне было очень трудно написать это письмо».

Подпись была неразборчивая. Не все ли равно?

Он положил письмо на туалет, на то место, где оно лежало.Что-то оборвалось в сердце, и он почему-то опустил штору. Солнце слишком ярко освещало комнату, и этот туалетный столик, и это письмо, и зеркало, в котором он видел не себя, и фразу, как будто повисшую на ниточке в воздухе перед ним: «Ты говорила не раз, что со мною счастлива больше, чем с ним».

Среди чувств, нахлынувших на него как вихрь, от которого некуда было укрыться, было одно, самое незаметное, ничтожное в сравнении с тем, что случилось, но все-таки заставившее его взглянуть на часы. Половина восьмого, а в половине девятого уезжает в Теберду Паша Шубин, которого он обещал проводить.

Фраза продолжала висеть над ним, но он все-таки вынул бумажник и сосчитал деньги. Как раз накануне он получил гонорар за статью. Когда он вышел, шел дождь. Он вернулся и машинально надел калоши.

От Стромынки до Курского вокзала было недалеко. Шубин ждал его у вагона.

ГЛАВА 5

Я сказал, что за сдержанностью, молчаливостью, скромностью Ланского чувствовалась нравственная власть, заставлявшая бессознательно признавать его превосходство. Он не любил одиночества, он тянулся к людям. При всей своей сдержанности он был человеком увлекающимся, страстным. Я упомянул, что всю жизнь он писал стихи, но не только в этих стихах, подписанных даже в рукописях неведомыми именами, в нем чувствовался поэт. У него был характер, воображение, ум поэта. Он ничем не был похож на других журналистов. Факт для него был не просто информацией, но и «поступком с живыми последствиями», как писал Пастернак. И поступок этот должен был будить чувство, обогащать душу, не оставлять ее равнодушной.

В Шубине не было ни нежности, ни застенчивости. И не только в этом отношении он отличался от своего друга. У него был совсем другой — острый, предсказывающий ум, язвительный, не прощающий даже намека на ошибку.

Когда Ланской женился, встречи их стали более редкими, но продолжались, потому что они не могли долго жить друг без друга.

— Я знаю, как ты относишься к Арише,— однажды сказал Шубину Борис.

— Не стоит говорить об этом.

— Не стоит,— согласился Ланской.— Но я все-таки скажу: как к набитой опилками кукле. Но я ее люблю.

— Ну и люби на здоровье. Тем более, что ты с ней, кажется, счастлив. Впрочем, не только с ней. Ты все человечество любишь.

Трудно было предположить, что эти два так поразительно не похожие человека не только дружны, но нежно любят друг друга. Впрочем, нежно, безотчетно любил только Борис, а Шубин — оценивающе, трезво и, главным образом, за ту любовь к человечеству, которой он сам не только никогда не чувствовал, но с трудом понимал. Известный немецкий ученый Вильгельм Фридрих Оствальд делил людей науки на классиков и романтиков. При всей наивности этого определения оно могло бы пригодиться, чтобы объяснить духовный мир главных героев этой книги. Разница даже по их внешности угадывалась с первого взгляда. Шубин был рослый, могучего телосложения, с чуть заметной иронической улыбкой на спокойном умном лице. Вот уж о ком нельзя было сказать, что он рассеян, задумчив, сосредоточенно молчалив. Глядя на него, невольно приходила мысль о том, что бывают люди, которые, не замечая этого, наслаждаются самим фактом своего существования.

Скучать он не умел. В нем была та открытость, которой не хватало Ланскому. Он любил подтрунивать над другом, над его рассеянностью, на которую Ланской сам по-детски сердился. Иногда они яростно спорили, но жить друг без друга не могли.

Ланского всегда одолевали десятки тем и замыслов. У него был глубокий ум, легко соединявшийся с острым причудливым воображением, с трудом укладывающийся в рамки традиционного повествования. У Шубина — уравновешенный, упорядоченный, умеющий ограничивать разбегающуюся фантазию Ланского. С годами они чем-то стали похожи друг на друга, но в практической жизни, а не в строе души.

ГЛАВА 6

Оба пришли рано. До отъезда еще оставалось минут двадцать.

— Что случилось? — спросил Шубин.

— Ничего не случилось.

— Врешь. У тебя морда расстроенная.

— Морда как морда. Ничего не случилось,— твердо повторил Ланской.— Ты едешь один?

— Ребята ждут меня в Теберде. Ну, Боря, миленький, скажи, что случилось.

Фраза, болтавшаяся теперь в воздухе прямо над его головой, мешала ему. Он попытался отделаться от нее. Но она не давалась.

— Значит, едешь?

— Как видишь.

— А из Теберды — в Сухуми?

— Да.

Ланской посмотрел на часы.

— Пешком?

— В Невинномысске найду линейку, а оттуда по Военно-Сухумской, конечно, пешком.

Как всегда перед отъездом, не о чем было говорить. Они виделись накануне.

— Ну вот что,— сказал Ланской.— Пожалуй, я поеду с тобой.

— Что?

— Я поеду с тобой,— твердо повторил Ланской.

Шубин рассмеялся.

— Иди ты знаешь куда? — сказал он.— Вот так и поедешь? В кепочке? В калошах? Без чемодана?

— Да. Я еще успею взять билет.

Не особенно торопясь, он пошел к кассе и вернулся с билетом. Поезд тронулся. Шубин, стоявший на площадке, протянул ему сильную руку.

ГЛАВА 7

Поезд тронулся, и вместе с ним, догоняя Ланского, который сразу лег на верхнюю полку, закрыв руками лицо, тронулись и поплыли фразы, которые он прочел в письме, лежавшем на столе Ариши. Может, он напрасно прочел его два раза? «С Борисом, который любит тебя, как никто и никогда тебя не любил...»

Внизу послышался какой-то невнятный шум и говор. Он покрепче заткнул уши, чтобы не слышать его.

«Нарочно оставила, потому что хотела избежать разговора со мной. И вечера она проводила с ним, а говорила, что идет в театр...»

Ему удалось отогнать эту мысль, но она остановилась в отдалении. «Нет, этого не может быть. Сперва с ним, а потом со мною?»

Ласточки садились на провода. Он закрыл глаза, они мешали ему думать: «Так вот: он или я». Внизу снова поднялся шум, и он удивился, услышав несколько слов по-персидски. Кого-то не понимали, потому что он говорил по-персидски.

Значит, все кончено? Ведь он не будет мириться с этим двоедушием, притворством, которому теперь ничего не стоит перебраться на другую улицу — с Арбата на Стромынку. Нет, он живет не на Арбате. И Ланской постарался вспомнить, как однажды он, соскучившись по Арише, побежал встретить ее. Но где? Теперь это показалось ему необычайно важным. Он долго мучился, вспоминая, и не вспомнил. «Стало быть, ни у меня, ни у него нет права выбирать?» И снова письмо появилось перед его глазами, уже слегка сносившееся, пожелтевшее на сгибах, как будто можно было мысленно сносить его, как пиджак или плащ. Миллионы таких писем были написаны и прочитаны и напечатаны в миллионах книг, которые он прочел или больше никогда не прочтет.

Пришел проводник и стал уговаривать кого-то, и кто-то ничего не понимал. И он, Ланской, тоже ничего не понимал. Что же все-таки с ним случилось?

Он не стал рассказывать Шубину о причине своего неожиданного решения. У него было место в общем вагоне, но когда Шубин стал уговаривать его перейти к нему — он ехал в международном,— Ланской решительно отказался.

— Почему?

— Здесь интереснее. Извини, Паша, с тобой мне тоже интересно, но там едет перс, и мне хочется поговорить с ним по-персидски.

— Ты разве знаешь персидский?

— Немного. Хочется попрактиковаться. Извини, пожалуйста.

— Приходи хоть пожрать.

— Когда?

— Я заказал два места в вагоне-ресторане. На семь часов. Не знаю, как ты, а я еще не обедал.

Ланской снял очки и протер их носовым платком, хотя они в этом не нуждались.

— Не приду.

— Почему?

— Как раз в это время перс будет творить свой намаз. Он шиит.

— Ну, черт с тобой, приходи в восемь.

Ланской еще подумал.

— В восемь он может еще не кончить. Я ведь точно не знаю, когда он начнет.

Шубин рассмеялся. Он привык к чудачествам друга.

— Ладно. Я захвачу для тебя какую-нибудь куриную ногу.

Вечером он вернулся и стал убеждать, чтобы Ланской перешел к нему.

— Я один в купе. Уже договорился с проводником. Это глупо наконец! Я заказал для тебя ужин. Со своим персом ты, надо полагать, уже наговорился.

На нижней полке спал маленький человечек в тюбетейке и грязном ватном халате.

— Паша, я не хочу спать.

— Ты болен?

— Нет.

— В конце концов, мне нужно поговорить с тобой.

— Обо мне?

— Нет, о себе,— солгал Шубин.

— Завтра.

— Нет, сегодня. Сейчас.

— У тебя есть сигареты?

— Вот у меня и покуришь. Надень пальто.

— Зачем?

— Сопрут.

Ланской надел пальто.

— И кепку? — послушно спросил он.

Они вышли на площадку.

— Ты почему меня за плечи держишь? Боишься, что я нырну под поезд?

— А черт тебя знает, может, и нырнешь.

Яичница с ветчиной стояла на столике, прикрытая тарелкой. Рядом лежала горочка черного и белого хлеба.

— Располагайся. И ешь.

— Честное слово, не могу.

Оба закурили.

— Послушай, Боря, я хотел поговорить с тобой. Дело в том, что ты меня оскорбляешь.

— Бред,— спокойно возразил Ланской и затянулся.

— Нет, не бред. Мы друзья с четвертого класса, и я не помню, чтобы за последние двадцать лет хоть что-нибудь скрыл от тебя. И пожалуйста, не уверяй меня, что ничего не случилось. Ты не собирался ехать со мной в Теберду. Ты не уезжаешь, а убегаешь.

Ланской помолчал.

— От самого себя не убежишь,— с горечью сказал он.

— Вот именно. Что случилось?

— Эх, мать честная! — вдруг сказал Ланской.— Ну, слушай.

И, ничего не объясняя, он наизусть прочитал письмо, адресованное Арише.

— И не говори мне, что это кукла, набитая опилками. Я ее люблю.

Оба помолчали.

— А ты знаешь, я в этом сомневаюсь. Я вообще заметил, что ты лучше знаешь других, чем себя. Если бы любил, не убежал бы от нее к черту на рога, а занялся бы этой, мягко говоря, банальной историей.

— Паша, не грызи меня. Я даже не желаю знать, что это за человек. Я только из-за Ариши полтора года просидел в Москве. Если бы я занялся этой историей, я просидел бы еще полтора. Или два. Или три.

— А что будет, когда он ее бросит и она вернется к тебе? — спросил Шубин.

— Не знаю.

Пока он ел яичницу, Шубин рассматривал его очень внимательно, как будто впервые увидел.

— Трудно тебе будет жить, Боря,— вдруг сказал он.

— Может быть, может быть. А чаю заказать ты не можешь?

— Конечно, могу.

Ланской жадно выпил два стакана чаю.

— Калоши сопрут,— вдруг сказал он.

— А где ты их оставил?

— На полке. Чтобы не заняли.

— Никому не нужны твои калоши.

— Пригодятся.

— Ладно, я сейчас принесу. Тебе вообще не надо было жениться. Ведь ты больше чем полгода не можешь на месте просидеть. Женился бы на цыганке, бродил бы с табором.

— Да, не надо было жениться,— уныло согласился Ланской.

— И вообще, держался бы ты от женщин подальше.

— Как ты? — с иронией спросил Ланской.

— Я всегда честно предупреждаю, что не женюсь.

— Да. И женишься, в конце концов. И будет у тебя трое детей. А может, и больше.

— Возможно,— неожиданно согласился Шубин.

— Ну, пойду к себе.
— Никуда ты не пойдешь. Я велел проводнику приготовить две постели.
— А калоши?
— Схожу я за твоими калошами. На тебе, между прочим, лица нет.
— Вернется.

Они долго разговаривали в темноте. Поезд стучал успокоительно мерно. Шубин уснул. Вдруг не ответил на какой-то вопрос. Ланской читал стихи, когда не мог уснуть.

Много земель я оставил за мною,
Вынес я много смятенной душою.

Он вспомнил отца и мысленно поговорил с ним. Бедняга! Он отвык от неожиданных исчезновений блудного сына. Потом поговорил с Аришей. «Вот теперь мы и расстались. И, должно быть, надолго. Ведь ты любишь его больше, чем меня. Дети любят кукол, даже если они набиты опилками».

Много мятежных решил я вопросов,
Прежде чем руки марсельских матросов
Подняли якорь, надежды символ.

«И если навсегда, то навсегда прощай!»

ГЛАВА 8

Они никогда не надоедали друг другу. Можно откровенно поговорить о политике. Редкий случай. Никого не было в купе, кроме них.

— На днях я встретил Горинова,— сказал Шубин.

Это был крупный международный журналист.

— Он ездил в Магнитогорск с какими-то английскими инженерами.
— И что же?
— Ты читал его статьи?
— Читал. Интересно.
— То, о чем он мне рассказал, еще интереснее. И об этом никто в его статьях не прочтет. У него было рекомендательное письмо писателя Матвеева к секретарю горкома Корниенко. На всякий случай. Он мог ему помочь. Но случилось так, что он познакомился с двумя комсомольцами. И провел с ними два дня. Они показывали ему строительство и город. Бараки. А в бараках клопы. Рабочие спят на улице. Строят цирк.
— Цирк?
— Почему-то решили едва ли не в первую очередь построить цирк. Но это между прочим. Горинов показал им письмо к Корниенко, и почему-то они замолчали. Потом один сказал: «Корниенко арестован». И вернувшись, Горинов узнал, что и Матвеев арестован. Стало быть, Горинов привез письмо от арестованного арестованному. В общем, все обошлось. А могло бы... Связь от одного оппозиционера к другому. Я поздравил Горинова. А он говорит: «Ну, еще не известно, как все это окончится».
— А они не попросили его показать письмо?
— Нет.
— Тогда обойдется. Хорошо еще, что он поговорил с комсомольцами,— сказал Ланской.— Между прочим, у Матвеева есть книжка. Знаешь, как она называется?
— Нет.
— «Падение Совнаркома». Конечно, речь там идет о каком-то совнаркоме на периферии в годы гражданской войны. Матвеев — известный человек. Это он арестовал Колчака и захватил знаменитый «Золотой поезд».
— Да. Об этом я что-то слыхал.
— Не слыхал, а читал. У того же Матвеева в другой книжке.

От политики перешли к литературе. Оба недавно прочитали книгу Константина Вагинова.

— Мне кажется, что это первый случай в русской поэзии, когда определение жанра служит названием,— сказал Ланской.
— А как название? Я забыл.
— «Опыты соединения слов посредством ритма».
— Это не определение, а что-то другое. Прочти что-нибудь.

В стремящейся стране, в определенный час
Себя я на пиру встречаю,
Когда огни застигнуты зарей
И, как цветы, заметно увядают.
Иносказаньем кажется тогда
Ночь, и заря, и дуновенье,
И горький парус вдалеке,
И птиц сияющее пенье.

— Ничего не понимаю,— сказал Шубин.
— У него ведь есть и проза. Очень любопытная. И, между прочим, неожиданно сатирическая.
— Молодой поэт?
— Умер молодым.

И они заговорили о ранних смертях в искусстве, в науке.

— Меня всегда поражает, что они успевают сделать так много,— сказал Ланской.— Хотя Лермонтов, по-моему, не высказался до конца.
— Почему ты так думаешь? Он написал много.
— Да. Мне даже кажется, что он учился писать так долго, чтобы выложиться до конца в несколько лет. Но не успел. Впрочем, тогда было другое отношение к возрасту.

Они помолчали.

— Сыграем в шахматы,— предложил Шубин.
— Ты захватил?
— Карманные.
— Ладно. Но с условием, что ты будешь играть без ферзя.

Шубин был мастер.

— Нет, ферзь — это много. Неинтересно.

Шахматы были кожаные и складывались, как бумажник. Ланской неожиданно выиграл. Пошли в ресторан.

ГЛАВА 9

В Баталпашинске Ланской дал телеграмму отцу. Кроме того, в местной сберкассе он превратил свой скромный капитал в аккредитив. Им пришлось пересаживаться на ветку, проложенную до Невинномысской, и это заняло еще почти целый день. Впрочем, не день, а ночь, потому что, когда они добрались до Невинномысска, уже светало.

Шубин, деловитость которого была равна рассеянности его друга, быстро нашел линейку, и мальчишка лет шестнадцати в лихо заломленной кубанке, недовольный тем, что с поезда сошли только два пассажира, повез их на линейке в Теберду. Изображая взрослого, он всю дорогу ругательски ругался, беспощадно понукая свою лошаденку, которая вздрагивала при каждом ударе, но бежала все так же неторопливо.

К полудню добрались до Черкасска, маленького нового городка, выглядевшего странным своей обыкновенностью среди высоких обрывистых скал. Шубин остался на линейке, Ланской соскочил и с записной книжкой в руках мигом обежал городок. И дома и улицы были совершенно пусты. Значит, правду сказал им начальник станции Невинномысской, что карачаевцы не желают менять свои сакли на удобные городские квартиры.

Поехали дальше. Мальчишка, беспричинно ругаясь, взмахнул кнутом и вдруг замолчал, нерешительно оглянувшись на пассажиров. Два всадника показались вдали, на повороте дороги, и, не торопясь, стали приближаться к остановившейся линейке. Это были карачаевцы, молодые, с ружьями за плечами, в бурках. Один

из них что-то спросил, и Ланской, к изумлению Шубина, ответил ему по-карачаевски. Потом горцы недалеко отъехали и, посовещавшись, вернулись. Что произошло в ближайшие десять минут, Шубин не понял. Один из горцев показал Ланскому нож с ручкой, сделанной из козьей ножки, в черных ножнах с серебряными украшениями, а Ланской снял ручные часы на ремешке и покачал ими перед глазами горца, подъехавшего поближе. Тот взял часы, сказал что-то второму всаднику. Потом поцокал, покачав перед глазами Ланского ножом. Ланской подумал.

— Паша, у тебя есть часы?

— Конечно, есть.

— Давай-ка их сюда.

— Зачем?

— Говорю тебе, давай. Хуже будет.

Шубин вынул часы. Не ручные, а карманные, большие, серебряные, на золотой цепочке.

Теперь Ланской зацокал, раскачивая эти часы перед глазами горца. Потом всадники недолго поговорили, и первый протянул нож Ланскому и взял у него часы.

— Давай,— сказал Ланской кучеру. И линейка покатила. Впрочем, горцы в один голос еще крикнули вслед какое-то слово, и Ланской махнул им рукой и повторил это слово.

— Ничего не понимаю,— сказал озадаченный Шубин.

— А что тут понимать?

— Позволь, эти часы, можно сказать, наследственная реликвия. От прадеда.

— Обойдешься. Возьми мои. В крайнем случае, продашь кинжал. Он стоит гораздо дороже.

— Но все-таки ты мне объясни.

— Что тут объяснять? Или часы, даже прадедовские, тебе дороже, чем жизнь? Они зарезали бы нас вместе с нашим могучим возницей. Правда, Петя? — спросил он мальчишку.— Или как там тебя?

— Как пить дать, зарезали бы,— не называя себя, ответил приободрившийся мальчик.

Когда они уже подъезжали к Теберде, Шубин спохватился.

— Ты говоришь по-карачаевски?

— Немного. Ведь я здесь не впервые. Когда-то шатался по этим местам. Между прочим, с отцом. Он ведь тоже не любит сидеть дома.

ГЛАВА 10

Эта книга — не биография Бориса Ланского.

Скажу только, что его жизнь напоминает падающую звезду. Говорят, что желание исполнится, если успеть загадать его, прежде чем она упадет. Возможно, что люди, которые знали и любили его, не имели понятия о том, что существует такое поверье. Поэтому я не стану рассказывать о том, при каких обстоятельствах была пройдена Военно-Сухумская дорога. Тем более, что это была только одна из тысячи, которые он прошел, пролетел и проплыл.

В Латах он остался, потому что знал сванов только по рассказам отца. Но в первый же день своего пребывания он убедился в том, что нижние сваны живут не так, как верхние, хотя в чем-то их жизнь была похожа. Была и другая причина. Друзья Шубина не нравились ему. Не нравился спортивного склада молодой инженер, который интересовался своей подругой несравненно больше, чем Военно-Сухумской дорогой. Не нравилась и его подруга: кокетливо-беззаботная, но в присутствии Шубина старавшаяся вспомнить что-нибудь значительное, в то время как, без всякого сомнения, была просто глупа. Не нравилось, что Паша пригласил именно этих ничтожных людей, хотя среди его знакомых были серьезные ученые, занимавшиеся альпинизмом, или люди искусства.

Он не знал, что этот молодой инженер со своей подругой пригласили Шубина вместе пройти Военно-Сухумскую дорогу. И он согласился, потому что любил отдыхать в дороге.

Ланского встретили дружелюбно. В пустом чистом домике, который был отведен гостю, пол был покрыт кошмой, у стены стояла широкая лавка. И, не отказавшись от кислого молока, которое ему предложили, он заснул на кошме, прикрывшись пиджаком, а проснувшись, увидел старого свана, спокойно встретившего его вопросительный взгляд.

— Не чиновник? — спросил старик.

— Не чиновник. Певец, поэт,— ответил Ланской.

Отец рассказывал ему, что сваны очень уважают поэтов.

Старик остановил юношу, проезжавшего мимо домика, и что-то негромко сказал ему. Тот спрыгнул с лошади и вошел в домик. Оба молча сели на лавку. Ланской помолчал. Ему хотелось прочитать что-нибудь свое, но что-то остановило его.

Есть место: близ тропы глухой,
В лесу пустынном, средь поляны,
Где вьются вечером туманы,
Осеребренные луной...
Мой друг! Ты знаешь ту поляну,—
Там труп мой хладный ты зарой,
Когда дышать я перестану!

Могиле той не откажи
Ни в чем, последуя закону;
Поставь над нею крест из клену
И дикий камень положи;
Когда гроза тот лес встревожит,
Мой крест пришельца привлечет;
И добрый человек, быть может,
На диком камне отдохнет.

Он прочел стихотворение до конца, начал другое и увидел, что домик был полон. Стояли, сидели на полу и в настежь распахнутых дверях толпились девушки и юноши в сванках.

И вдруг все заговорили разом. Старик встал, подошел к Ланскому и молча низко поклонился ему. И все молча поклонились. На него смотрели, мало сказать, с уважением — с благоговением.

И так было все три дня, проведенные в Латах. Каждое утро на маленькую площадь собирались сваны, не только местные, как ему показалось. И он читал. Его чествовали. Перед его отъездом был устроен праздник. Танцевали девушки в черных платьях. Одна зурна сменяла другую. Ему подарили нарядные чубуры и сванку, потом принесли бурку и, хотя он отказывался, надели на него и дали в руки нагайку. Он сбросил кепку и надел круглую шапочку-сванку. Отдарить было нечем, кроме калош. Но, подумав, что сваны в горах могли обидеться на такой подарок, он снял свои наручные часы и подарил старику, который, как ему показалось, был самым почтенным человеком в поселке.

Из записной книжки Ланского: «Как в большинстве кавказских народов, женщины здесь в центре семьи. Они всегда носят только темные платья, надетые на грубошерстную рубашку. Я долго не мог понять, что черное платье — это траур. Если не по близким родственникам, то по дальним. Почему этот обычай не касается мужчин, я так и не понял. Женщины ведут хозяйство, в свободное время расчесывают шерсть, поливают ее, бьют вальками, делают кошму. Мужчины — в чекменях с газырями, в ноговицах (кожаные чулки до колен), в чубурах (мягкие башмаки), с ружьями за плечами. Небольшие дома, стены, построенные из орешника, скрепленного глиной. Очаг во дворе».

В Цебельду он приехал, когда единственная сберегательная касса была уже давно закрыта. Пришлось разбудить кассира, добродушного армянина, который не только выдал ему деньги по аккредитиву, но и угостил мамалыгой.

Дорога от Цебельды до Сухуми после сияющего снежного Клухора с его голубым озером, в котором плавали острые иголочки льда, после всех времен года, сменившихся за тот длинный день, пока он неторопливо спускался по склону, показалась ему скучной, хотя уже цвели сады. Тот же добродушный армянин устроил его на линейку, отправлявшуюся к морю по каким-то торговым делам.

ГЛАВА 11

И Шубин, и его спутники уже уехали, когда он добрался до Сухуми. Ему случалось бывать в этом городе и не хотелось терять время в ботаническом саду, некогда его поразившем.

Он оставил в гостинице бурку, пошел на базар, купил крапчатый кусок мыла и роскошную, пышную, толстую люфу с цветными тесемками по краям, чтобы тереть спину. На пляже стояли большие разноцветные зонты, под ними играли дети. Голые загорелые туристы раскладывали пасьянсы, играли в карты, в домино, купались, и он ушел далеко от них — надо было постирать белье и помыться.

Загорелый, слегка смахивающий на обезьяну человечек с волосатой грудью, на которой сквозь шерсть просвечивала татуировка, крепкий, с коротенькими ручками и ножками, лежал и читал толстую книгу. Его можно было не стесняться, и Ланской разделся и прежде всего выстирал рубаху, трусы и брюки. Человек, смотревший на него с заинтересованным видом, казалось, обрадовался ему. Стирка продолжалась долго, потому что Ланской то и дело терял и находил очки. Так долго, что человечек в конце концов не выдержал и спросил:

— Помочь?

— Нет, благодарю вас, почти управился.

Разложив выстиранную одежду на песке, он так же старательно стал мыться.

— Хотите, я вам спину потру?

— Нет, спасибо, для спины у меня есть люфа.

— Люфа?

— Роскошная люфа.

— Но вам она не поможет.

— Почему?

— Потому что вам нужна не люфа, а скребница. И мыло для морской воды. Ваше в морской воде не мылится. Я видел, как вы мучились.

И, живо вскочив на ноги, человечек намылил своим мылом щетку с железными, как показалось Ланскому, иглами и принялся энергично тереть ему спину своими коротенькими, но могучими руками. Потом он приказал ему окунуться в воду, поваляться по песку, поплавать, потом снова принялся тереть.

— «Исполнение предприятия всегда приятно щекочет самолюбие»,— процитировал он Козьму Пруткова и предложил Ланскому полежать рядом с ним на простыне.

— Вы почему были такой грязный? — спросил он.— Не любите мыться?

— Нет. Пришел из Теберды. И дорогой не мылся. Не было времени. Потом жил у сванов. Что-то не заметил, чтобы они любили мыться.

— Почему? Сваны — чистый народ.

— Да, может быть. Но некогда было.

— Вы из Москвы?

— Да, а вы?

— Родом или нынче?

— Ныне.

— А я с парохода «Чичерин».

И он указал на стоявший на рейде большой пароход.

— Штурман?

— Почему вы догадались?

— Не знаю, может быть, потому, что я немного знаю штурманское дело.

— Кончили морское училище?

— Нет, просто много читал.

Они помолчали.

— Рейсовый пароход?

— Да. Батум — Одесса.

— А в Турцию не заходили?

— Один раз. С грузом зерна.

Ланской посмотрел книгу, которую читал штурман. Это были «Три мушкетера».

— А вам не нужен помощник?

— Практикант?

— Ну, скажем, практикант.

— Вообще-то не нужен. А впрочем... У вас есть часы?

— Нет.

Штурман взглянул на свои часы и протянул их Ланскому.

— Ну-ка, скажите мне, на какой широте и на какой долготе мы находимся?

Ланской помолчал, подумал и сказал.

— Нет, наврали. Немного.

— Это не я наврал, а ваши часы врут,— сказал Ланской.— Вы, должно быть, завести их забыли. Взгляните на солнце.

Штурман взглянул и схватился за голову.

— Одевайтесь,—крикнул он, и Ланской буквально вскочил в свои штаны. Они были еще мокроваты. Ругаясь, штурман натягивал тельняшку, застегивал китель. Он ничего не сказал Ланскому, но они почему-то вместе побежали по бульвару.

Шлюпка с белой надписью на борту стояла у причала. Штурман прыгнул в лодку, матрос поднял весла. «Подожди,— приказал ему штурман и крикнул Ланскому: — Ну!» Ланской послушно прыгнул в шлюпку.

— Так вы кто? Пассажир или практикант?

— Вообще пассажир, а в частности практикант,— загадочно ответил Ланской.

— Где вы остановились?

— А я не останавливался. Только занес бурку в гостиницу. Не было времени. Сперва ехал из Цебельды на линейке, а сюда пришел пешком.

Штурман засмеялся. Ему нравился Ланской.

— Ладно, скажу, что пассажир.

— Скажите,— согласился Ланской.— Но у меня нет денег.

— Это не беда. Пароход не пассажирский.

— В крайнем случае, можно представить меня капитану как вашего племянника.

— Брата. У меня когда-то был брат.

— Не поверит.

— Меня зовут Иван Павлович Петухов.

— А меня Борис Матвеевич Ланской. А практикантам платят?

— Немного.

— Тогда как практиканта.

— Ладно. Вы учились в университете?

— И в институте.

— Одновременно?

— Да. Теперь это было бы невозможно.

— А в каком институте?

— В Восточном.

— Знаете языки?

— Немного.

— Какие?

— Ну, скажем, персидский, английский.

Шлюпка причалила к пароходу.

ГЛАВА 12

Хотя капитан ругал штурмана за опоздание и кричал, что никакого практиканта в штатном расписании нет, Ланской, едва взглянув на него, понял, что он останется на «Чичерине» и будет в Батуме, а потом в Одессе, а потом, если повезет, в Константинополе или Египте. Капитан был похож на Орландо Чачаву, как брат на брата, только Орландо был моложе лет на пятнадцать и, пожалуй, немного повыше ростом. Кроме того, у него не было такой богатой ослепительной седой шевелюры.

— Привет от Орландо,— сказал он, воспользовавшись минутой, когда капитан замолчал, чтобы перевести дыхание.

— Какого Орландо?

— Вашего брата. А может быть, сына. Нет, пожалуй, брата,— сказал Ланской, поправив очки и задумчиво разглядывая капитана.

Он давно знал об удивительном свойстве грузин мгновенно переходить из одного состояния в другое. Этим они, кстати, напоминали ему евреев.

Сердитый, задохнувшийся, замолчавший и снова собиравшийся обрушиться на штурмана капитан сразу подобрел и, как ни странно, стал чем-то похож на радостно удивившуюся старушку.

— Вы ленинградец?

— Бывший. Теперь москвич. Я встретился с Орландо в доме отдыха ученых под Ленинградом, и мы познакомились. А потом даже подружились.

— Младший брат,— сказал капитан и прибавил, очевидно, отвечая собственным соображениям: — Это другое дело. Рассказывайте.

— Да, собственно, нечего рассказывать. Я журналист, работаю в центральных газетах, по образованию лингвист, занимаюсь изучением кавказских диалектов. Вот недавно провел несколько дней у нижних сванов. Штурманское дело я знаю как любитель.

— Он широту и долготу определил по часам,— заметил штурман.

— Вот теперь собрался в Батум. Если нельзя практикантом, возьмите пассажиром. Мне много не надо. И каюты не надо. Устроюсь на палубе.

— Почему не надо? Кто сказал — не надо? В штатном расписании практиканта нет, но кто помешает мне взять вас в штурманские ученики? В особенности, если штурман — разиня?

— Тициан Шалвович, я не разиня,— возразил оскорбленный штурман.

— Ну, не разиня, я просто так сказал, Иван Павлович, для порядку. Найдется каюта. Ну, как Орландо? Я его хотел моряком сделать. Ни в какую! Наука и наука. И не грузинская литература — у нас хорошая литература,— а именно русская. Он в Тбилиси университет кончил. Хотели медаль дать, так он кончил! Но говорят, что теперь в университете медалей не дают. Я потребовал, а они не дают. Талант! Ну, как он? — снова спросил он.— Пишет редко.

— Занят,— объяснил Ланской.

— Конечно, занят. Наука.

ГЛАВА 13

В Батуме стояли долго. Грузили дерево, каменный уголь, стеариновые свечи, краски, лекарства, гончарные изделия. Ланской снял комнату у русской хозяйки. Ему хотелось пошататься по городу и потолковать с турками. В Батуме тогда еще было немало турецких семей. Он притерпелся к жаре — несмотря на октябрь, жара стояла свирепая, дикая,— и хотя, как известно, человек без дыхания жить не может, очень хотелось как-нибудь обойтись без этой досадной помехи.

Однажды, проснувшись, Ланской увидел на стене очень близко от себя большого бледно-желтого скорпиона с массивными клещами и четырьмя парами ног. Он знал, что укус такого скорпиона смертелен. «Впрочем, кажется, только в тропиках»,— подумал он, с интересом рассматривая скорпиона.

— Ну что, сукин сын,— сказал он и позвал хозяйку, толстую бабусю с крошечным седым пучком на крошечной седой головке.

— Ах, это,— спокойно сказала бабуся и ушла. Вернулась она с банкой, почти наполненной грязно-зеленой жидкостью. Ухватив скорпиона щипцами, она опустила его в банку.

— Помогает при пояснице.

Жара, из-за которой приходилось постоянно бегать под холодный душ, по вечерам сменялась чем-то вроде прохлады, и вечерами он допоздна сидел в кафе с Тицианом Чачавой, который рассказывал не только об Орландо, но и о всей своей многочисленной родне. К сожалению, это было все, что осталось в записной книжке Ланского после трех дней, проведенных в Батуме. Но кроме записной книжки у него была большая толстая тетрадь, над которой он подчас сидел до утра.

Трудно определить жанр того произведения, которое впоследствии было напечатано под скромным названием «Записки штурмана». Оно начиналось

с рассказа о двух рейсах «Чичерина» из Батума в Одессу. Третий рейс заставил меня задуматься не только над всем этим произведением в целом, но и над личностью Ланского, открывшегося мне с неожиданной стороны. Третий рейс был в Стамбул.

Дневники сменялись научным трактатом, рассказы — лирическими стихотворениями, принадлежавшими какому-то Дэну Строу — имя, которое я не нашел в Британской энциклопедии. Именно это обстоятельство внушило мне подозрение, что Ланской выдумал не только этого поэта, но и все свои приключения в Турции. Он рассказал, например, что турки приняли его за русского шпиона, что он три дня со связанными руками провалялся в каком-то сарае и что потом ему развязали руки, только чтобы он мог съесть лепешку, запивая ее простоквашей или водой из тыквенной бутылки. Однажды, проснувшись, он увидел в двух шагах от себя горбатого голландца, которого тоже обвиняли в шпионаже, на этот раз в пользу Британии. Этот голландец, превосходно говоривший по-английски, был в Лондоне лакеем у леди Стенгоп, а потом долго скитался между Иерусалимом и Нилом, торгуя опиумом и смоквой. С помощью этого голландца Ланскому удалось связаться с английским, а потом с советским посольством. Оправдавшись перед турками, он два месяца ждал парохода «Чичерин», шляясь по Стамбулу и изучая турецкий язык. В советском посольстве он прочел сотрудникам лекцию о современном состоянии советской литературы. Он жил в посольстве. К нему относились мало сказать по-дружески — с неподдельным интересом: как-никак, он был корреспондентом центральных газет.

Случалось, что эмигранты, которых в Стамбуле было полным-полно, подсаживались к его столику в турецких и армянских кофейнях и жадно расспрашивали о жизни в России.

Где-то он наткнулся на табор турецких цыган, которые так же были не похожи на своих русских собратьев, как русские не похожи на турок.

Если бы я не знал его, можно было бы, пожалуй, подумать, что он влюбился в пятнадцатилетнюю цыганку — так подробно и с такой любовью он описал ее в своей книге: «Распахнувшийся шелковый халат, подпоясанный кушаком, висел на ней складками, оставляя шею и нежно округленные смуглые плечи нагими. Черные лоснящиеся волосы лежали на спине, заплетенные в длинные бесчисленные косы. Коротенькая юбочка из полосатой ткани доставала только до колен, а ниже шаровары из такой же ткани сужались у подъема. Множество колец на руках и большой червонец во лбу, удерживаемый цветным шнурочком, дополняли ее скромный и изящный наряд».

Слегка старомодная манерность этого описания, соединившаяся с неведомым Дэном Строу, подтвердила мою догадку о том, что в сознании Ланского воображение и действительность легко соединялись. Знак равенства стоял между тем, что произошло, и тем, что могло бы произойти, если бы осуществилось его желание.

Вот почему обратный путь на «Чичерине» из Стамбула в Одессу с грузом лимонов, апельсинов и винограда занимает только несколько строк в его книге. О нем рассказано нехотя, почти небрежно. В этом рейсе он профессионально изучил штурманское дело, но упоминать об этом ему почему-то не хотелось.

ГЛАВА 14

Он вернулся в Москву через полгода и нашел отца неухоженным, поседевшим, постаревшим. Он по-прежнему работал в Кремлевской больнице. Уходил рано, возвращался поздно. Иногда приходила старушка-домработница — убирала квартиру. Каждое утро он варил себе гречневую кашу на завтрак и ужин.

Ланской выругал себя скотиной, купил отцу две рубашки, заказал новый костюм, нанял маляра, который выкрасил запущенную кухню и переклеил обои в отцовской комнате. Со старушкой он договорился, что она будет приходить теперь два раза в неделю. Столяр починил двери, которые не закрывались.

Арише он позвонил через несколько дней после приезда.

— Ты счастлива? — спросил он.

Молчание. Долгое. «Повесила трубку?»
— Да. Кажется.
— Так ты ушла от меня для того, чтобы «кажется» быть счастливой?
Снова молчание.
— Мне страшно.
— Что страшно? Почему?
— Не знаю.
Он не знал, что ответить.
— Ну, полно. Если тебе что-нибудь понадобится, звони.
— Хорошо. Боря...
— Да не плачь ты, ради бога!
— Я не плачу.
Снова молчание.
— Боря...
— Что?
— Я хочу тебя видеть.
— Нет,— решительно сказал Ланской.— Ты все-таки подумала бы и обо мне. Хоть немного. Мне тяжело тебя видеть.
— Я позвонила Матвею Борисовичу. Куда ты уехал так надолго?
— Не все ли равно?
Он повесил трубку и позвонил Шубину. Накануне он просидел у него до двух часов ночи.
— Паша, у меня к тебе просьба. Ты очень занят?
— Как всегда. Пишу очередную статью об очередной школьной реформе и ругаюсь.
— Это срочно?
— Не очень. Я тебе нужен?
— Да. Я хочу тебя попросить съездить к Арише.
— Зачем?
— Понимаешь, я позвонил ей, а она плачет.
— Ну и что же? — сердито спросил Шубин.— А ты надеялся, что она будет смеяться?
— Съезди, пожалуйста. Я бы сам поехал, но боюсь, что встречу у нее...
Он не назвал фамилию, но Шубин понял.
— Ладно,— буркнул он.— Где она живет?
Ланской продиктовал ему адрес Ариши.
Книга, о которой я рассказал, тогда еще была далеко не закончена. Но что-то плохо шла работа в этот ничем не замечательный день.
Шубин позвонил только часа через три.
— Ты дома?
— Да. Что там случилось?
— Тогда я лучше вечером к тебе зайду. Ко мне сейчас приедет один склочник. Надо поговорить.
То, что Паша не ответил на вопрос, обеспокоило Ланского. Но из редакции позвонили, и он заставил себя засесть за работу.
Матвей Борисович уже вернулся домой и разогревал на кухне вчерашнюю гречневую кашу. Вежливый старик, он предложил Шубину разделить с ним ужин. Шубин поблагодарил, отказался и прошел к Борису.
— Она беременна,— ворчливо сказал он, не здороваясь,— и вообще...
— Что вообще?
— Боится.
— Чего боится?
— Всего. Во-первых, рожать. У нее что-то в аппарате неладно.
— В каком аппарате?
— Ну, в каком? Понятно, в каком. Во-вторых, он оказался графом.
— Кто?
— Ну, этот субъект, с которым она теперь живет. Вернее, жила. Какой-то Бантыш-Каменский или Ипполитов-Иванов.
— Ипполитов-Иванов — композитор.
— Нет, он не композитор. Он, по-моему, актер. Но она боится того, что он

может загреметь. Дворянин, да еще граф. Да еще скрывается. Но вообще-то ей нечего беспокоиться, потому что он от нее уже удрал.
— Как удрал?
— Ушел и не вернулся.
— Когда?
— Давно. Уже месяца три. Может, и в самом деле загремел. А может, в другой город подался. А она сидит одна и ревет. И денег нет. Я ей десятку оставил. Больше не было.
— Она же в Большом театре работает?
— Уже не работает.
— Я сейчас же поеду к ней,— взволнованно сказал Ланской.
— Поезжай, дебил! Я от тебя ничего другого и не ждал. Может быть, тебе даже удастся родить вместо нее. У тебя, насколько мне известно, аппарат в порядке.
Ланской побледнел.
— Но я не позволю тебе издеваться над бедной женщиной.
— А я и не издевался. Не сердись, Боря. Честное слово, у меня больше десятки не было.

ГЛАВА 15

Это были утомительные дни. И Ланской растерялся бы, если бы не отец, в котором неожиданно вспыхнула прежняя молодая энергия. Он попросил старого приятеля, тоже работавшего в Кремлевке, и тот, после тщательного осмотра, сказал, что напрасно Ариша так боится родов, потому что их просто не будет. Придется, и в этом нет ничего страшного, делать кесарево сечение. Операцию взялся сделать знаменитый профессор Розенштейн. Денег он, конечно, не возьмет, но деньги были нужны, и Ланской продал свое зимнее пальто с барашковым воротником, которое он, впрочем, никогда не носил. Когда деньги за пальто кончились, он решил продать бурку и чекмень. И за бурку неожиданно заплатили много. У Ариши он бывал каждую неделю. Она перестала следить за собой, подурнела, и беременность придавала ей жалкий, растерянный вид. Они мало разговаривали, он приходил ненадолго. Однажды Ариша робко попыталась рассказать ему о своей жизни после того, как она ушла от него. Он оборвал ее на полуслове.
Обойдясь без кесарева сечения, Ариша родила девочку немного раньше положенного срока. У нее не было молока. И пришлось нанять кормилицу, совсем молодую, краснощекую, коренастую, с квадратным лицом и светлой, как спелая рожь, длинной косой. Это была жена извозчика-латыша, который каждое утро возил Матвея Борисовича со Стромынки в больницу и обратно.
Девочку назвали Машей, и она быстро превратилась из красного, сморщенного, бессмысленного существа, как бы недовольного тем, что оно появилось на свет, в маленькую Аришу, с крошечным вздернутым носиком и изящно изогнутым ртом. Теперь Ланской бывал у Ариши каждые два-три дня. И кормилица, считавшая его отцом ребенка, старомодно приседала перед ним, а потом демонстрировала Машеньку. Как она жадно сосет ее большую крепкую грудь, как ее купают, присыпают и пеленают. Когда все это происходило, длинная коса кормилицы была свернута жгутом вокруг головы и повязана белой косынкой.
Денег по-прежнему не хватало, хотя Ланской не только недурно зарабатывал, печатая свои статьи, но взялся преподавать персидский в бывшем Лазаревском институте.
Каждую неделю аккуратный извозчик-латыш предъявлял ему счет за молоко своей супруги, а Ланской, не имеющий никакого представления о стоимости женского молока, платил ему без возражений. Кормить надо было не только Аришу, но и латышку, у которой был вполне соответствовавший ее положению прекрасный аппетит.
Казалось бы, ничего не должно было измениться в его жизни от того, что на свете появилась Машенька, потребовавшая от него забот и внимания. А вот изменилось же! С каждым днем он привязывался к ней все больше и больше.

И эта привязанность не осталась в стороне от того, что он делал, о чем думал, а напротив, каким-то чудом участвовала в его размышлениях. Она участвовала даже в работе над книгой, о которой я упоминал. До сих пор книга писалась с трудом, а теперь работа пошла весело, свободно, как будто эта маленькая девочка, едва начавшая улыбаться, помогала ему. И вдруг все оборвалось. Машенька заболела, пролежала с высокой температурой несколько дней и скончалась.

К несчастью, в эти дни Ланской не был в Москве. Вернувшись, он нашел умирающую Машеньку, ошеломленную кормилицу с одеревеневшим лицом и Аришу в истерике, с которой у нее не было сил справиться: она на минуту переставала плакать, а потом начинала хвататься за сердце и корчиться в судорогах на полу.

Ланской где-то читал: чтобы привести в сознание человека, находящегося в истерике, надо сильно ударить его по лицу. Мало сознавая, что с ним происходит, он ударил Аришу. И старинное средство подействовало. Ариша замолчала и только с тревожным недоумением взглянула в его побелевшее лицо.

ГЛАВА 16

Провожающих не было. Маленький гробик стоял на колеснице, которую неторопливо тащила гнедая кобыла с пышным траурным веером на голове. Здоровенный мужик в нескладно висевшем на нем черном балахоне покрикивал на нее, как будто он вез не гроб, а кирпичи или бревна. Прохожие оглядывались, и Ланской подумал, что, должно быть, то, что он один идет за колесницей, на которой стоит маленький гробик, производит странное впечатление. Ариша не в силах была подняться с постели, да он и сам уговорил ее остаться дома. Паша был занят.

Шел мелкий дождь. Уже начало рано темнеть, и Ланской думал, что чужую девочку, которую он полюбил, надо хоронить именно в такую погоду, когда одиночество подступает вплотную и его нельзя отогнать, потому что оно все равно не отстанет.

Накануне он был на Ваганьковском кладбище, взглянул на ограду, окружавшую могилу Клариссы Ипполитовны Шуберт, матери Ариши, нанял могильщика и пошел за разрешением к директору, молодому человеку с равнодушно-наглым лицом. Он попытался дать ему четвертную, но директор, узнав, что Ланской писатель, неловко вернул ему деньги, сказав только: «У нас не берут-с».

Надо было вернуться откуда-то: от Машеньки, умершей с открытыми глазами, от отца, утром читавшего газету и сказавшего ему что-то важное. Невозможно было понять, что могильщик с молотком в руках уже в третий раз спрашивает его: «Будете прощаться?» И он ответил наконец, что не будет, простились дома и что гробик уже заколочен.

Это важное было рядом с ним, недалеко от Машенькиной могилы. Он пошел покупать цветы и купил много, едва унес в руках. Это важное было смертью академика Веланского, о которой известили газеты. Его лекции он слушал, в его семинаре читал доклад. Несколько раз Ланской был у Веланского дома, и он помнил его сравнительно молодым человеком.

Второй могильщик появился подле Машенькиной могилы, и они вдвоем на длинных веревках опустили гробик в могилу. Он бросил горсть земли на этот бедный гробик, и могильщики мигом зарыли его. Где-то близко стояли люди, много людей, толпившихся и слушавших чью-то речь. Отдельные слова донеслись до Ланского, вышедшего из ограды. Гражданская панихида!

Он отдал деньги могильщикам, украшавшим могилу Машеньки цветами, и, не слыша, что они говорили ему, подошел ближе. Что-то заставило его замешаться в толпе. Теперь он ясно слышал то, что говорил высокий белокурый красивый человек с непокрытой головой, в черном костюме, без пальто, хотя дождь еще моросил. Теперь сознание и наблюдательность окончательно вернулись к Ланскому, потому что иначе он не заметил бы, что этот костюм был как-то не к месту. Франтоватый пиджак в талию был по краям обшит шелком, и на брюках виднелся, впрочем едва заметный, поблескивающий кант. Но Ланской заметил и понял многое другое: у изголовья гроба, близко к неузнаваемо изменившемуся лицу

покойного, стояла его вдова. Моложавая, тоже красивая, с неподвижным лицом. Ланской узнал ее. А рядом стояла девушка лет восемнадцати, и лицо, с каким она слушала говорившего речь, поразило Ланского. Дочь?

Некогда существовало давно стершееся выражение, встречавшееся ему в детстве, когда он читал в плохих переводах Фенимора Купера и Майн Рида: «Лицо дышало ненавистью». Именно это выражение воскресло в его памяти, когда он смотрел на девушку, стоявшую у гроба. Речь была пылкая и умелая, хотя упоминать о научных заслугах покойного не стоило бы так профессионально. Речь была — Ланской почувствовал это, переводя взгляд с лица энергичного оратора на ненавидящее лицо девушки,— не то что фальшивая, но какая-то мнимая, как будто она только и ждала удобной минуты, чтобы растаять в воздухе, не оставив следа. И когда началось прощание, оратор слишком энергично припал к покойнику и долго целовал в лоб.

Простились, заколотили крышку, опустили гроб в могилу. Рабочие взялись за лопаты, и скоро гора земли исчезла под горой цветов. Разошлись. Ланскому еще раз захотелось взглянуть на Машенькину могилу. Он молча постоял подле нее с закрытыми глазами. Потом ушел и на широкой аллее, пересекавшей кладбище, встретил ту девушку, на которую давеча обратил внимание.

— Простите, вы Ланской? — сказала девушка.— Я Лиза Веланская. Я узнала вас, хотя была девочкой, когда вы к нам приходили. Я запомнила вас, а вы меня нет. Это совершенно естественно, правда?

— Правда, Елизавета Геннадиевна,— ответил слегка ошарашенный Ланской.

— Зовите меня просто Лизой. Вы ведь журналист? Я читала ваши статьи.

— Да.

— Мне необходимо поговорить с вами. Вы помните, где наша квартира?

— Помню. В Мертвом переулке.

— Я не могу пригласить вас к себе. Мама будет дома. Может быть, пообедаем вместе?

Ланской замялся. У него не было денег. Трудно было представить, что она об этом могла догадаться, но, очевидно, догадалась.

— Где вы живете?

Ланской сказал адрес.

— Это удобно, если я приеду к вам?

— Разумеется.

— Когда?

— Ну, хоть завтра, в пять часов.

Он проводил Лизу к трамвайной остановке, а сам пошел пешком. Он любил ходить пешком. Кроме того, было о чем подумать.

ГЛАВА 17

Загадочная фраза «мама будет дома» ненадолго заняла его. Надо было заглянуть к Арише, и он боялся, что она заговорит об их отношениях. Но, может быть, не заговорит?

Она была в халате, когда открыла дверь, непричесанная, с опухшими глазами и почему-то босая.

— Спала?

— Прости, я собиралась принять ванну.

У нее была однокомнатная квартира, которая осталась за ней после смерти матери. Очевидно, она жила здесь с любовником. Теперь, когда Машенька умерла, умерла вместе с ней и возможность приходить сюда, разговаривать, думать. Он вошел, сел и почувствовал с ужасом, что не в силах сказать ни слова. Ариша робко спросила: «Устал?»

Он не ответил. «Сейчас уйду и больше никогда не вернусь».

— Я буду иногда звонить тебе. Денег у меня нет. Я похоронил Машеньку рядом с твоей матерью. Надо как-то отметить ее могилу. Поставить памятник. Сейчас этого сделать нельзя. Могильщик сказал, через год.

Стараясь не смотреть на нее и все-таки каким-то образом видя ее лицо,

испуганное, растерянное, с полными слез глазами, он прошел в переднюю, сорвал с вешалки пальто.

— Я тебе позвоню.

Вечером, с трудом отделавшись от отца, он сунул голову под кран, а потом умылся до пояса холодной водой и растерся жестким махровым полотенцем.

Хотелось есть, но еще больше хотелось раздеться и лечь, с головой укрывшись одеялом. Но ему было жалко отца, и он немного посидел с ним. Отец не спрашивал ни о чем. Они вместе выпили чай, а потом, пожелав Матвею Борисовичу спокойной ночи, он ушел к себе. Но чувство жалости еще не прошло, и он вернулся к отцу.

— Ты не волнуйся, папа,— сказал он.— У меня сегодня был очень трудный день. Завтра я тебе все расскажу. Спокойной ночи.

Ланской рухнул в сон, как подстреленный. И проснулся не через полчаса, а в двенадцатом часу утра, с тяжелой, как свинец, головой. Отец уже давно ушел, в столовой стояла заботливо прикрытая тарелка с гречневой кашей. Ланской умылся и съел кашу. «Надо быстро что-нибудь написать и получить деньги».

Он перелистал записную книжку. О встрече с карачаевцами под Черкесском? Пожалуй. О нижних сванах?

Кое-что уже было написано. Переписать и отдать. Куда? Да хотя бы в «Вокруг света» или, на худой конец, в «Науку и жизнь», хотя там меньше платили. Он стал перечитывать, поправлять и увлекся. Как был одет карачаевец, менявший нож на часы? Эх, Пашки нет, он бы напомнил. Он позвонил Шубину, и женский голос ответил: «Нет, еще не приехал. Но мы ждем в среду». Голос был молодой.

Он вернулся к рукописи. Что у карачаевца было на ногах? Такие же чабуры, какие подарил ему старик в Латах.

Ланской посмотрел на часы и ахнул. Четыре часа пролетели как одна минута. Скоро должна была приехать Лиза Веланская. В кабинете на журнальном столе стояла недоеденная каша, у одного кресла была сломана ножка, и везде лежали книги: на стульях, на диване, на подоконниках и даже на полу.

Ланской любил книги, но не был книжником. Какой-то педант, заглянувший к нему, высокомерно заметил: «Это библиотека варвара». Но это была библиотека энциклопедиста. Можно подумать, что его книги принадлежали нескольким специалистам по разным областям знания. Здесь были и китайская грамматика, и стихи персидских поэтов, и сочинения Шеллинга, и экономические исследования о рынках Ближнего Востока.

Он выставил сломанное кресло в столовую, принес ведро и тряпку, вымыл пол и, стащив из комнаты отца коврик, положил его перед кроватью.

Когда Лиза пришла ровно в пять часов, он был побрит, на нем был черный свитер.

— Я вам не помешала? — спросила она, взглянув на рукопись, лежавшую на столе.

— Я вас ждал,— отозвался Ланской.

Лиза села на диван и вздохнула. «Некрасивая»,— подумал он.

— Не думала, что мне так трудно будет начать этот разговор.

— Ну, давайте я начну. С вопроса. Почему вы с такой ненавистью смотрели на оратора, произносившего речь над гробом Геннадия Павловича?

— Вы заметили?

— Это было трудно не заметить.

— Не знаю,— помолчав, ответила Лиза.— Наверно, потому, что не умею скрывать свои чувства. А вы?

— Я умею. Но вы не ответили.

— Это Лучанин, ученик отца. У вас голодный вид.

— Да. Очень хочется есть. Но как вы об этом догадались?

— По глазам. У моей собаки точно такие же глаза, когда я забываю ее накормить.

— Действительно, я, кажется, еще не обедал.

— Чем же мне вас покормить?

— За окном на кухне что-то висит. Сыр. Кастрюля с кашей. Мы с отцом по очереди варим гречневую кашу.

— А масло? Молоко? Картошка?

— Кажется, есть.

— Я вам сейчас разогрею кашу, а на первое сварю молочный суп. Это вкусно. Вы никогда не ели?

— Нет.

— Вы с отцом живете? А женщины в доме нет?

— Да. То есть нет. Приходит одна старушка, но редко.

— Вот и прекрасно. Представьте себе, что старушка пришла.

На кухне она разожгла плиту, поставила на одну конфорку сковородку с кашей, а на другую — кастрюльку с молоком.

Ланской с интересом смотрел на нее. С женщинами он всегда чувствовал себя неуверенно.

— Ну что вы на меня смотрите?

— Любуюсь,— неожиданно сказал Ланской.

— Нашли чем любоваться! Я развязная, да? Нескромная?

— Пожалуй,— задумчиво сказал Ланской.— Это от застенчивости? Вы непохожи на других женщин, по меньшей мере, для меня. Замужем?

— Нет.

— У вас такой вид, как будто вы всю жизнь стояли у нашей плиты и чистили для меня картошку.

— Именно вашей?

— Да.

«Пожалуй, красивая»,— подумал он.

— А у вас есть лапша?

— Где-то была.

Ланской почему-то полез под кухонный стол и уронил очки. Пока он искал их и, найдя, протирал носовым платком, Лиза нашла лапшу.

ГЛАВА 18

События, кажущиеся незначительными, подчас запоминаются навсегда. Мгновение останавливается, хотя, казалось бы, на эту неподвижность у него нет ни малейшего права. Несостоявшееся свидание, неотправленное письмо, пуля, попавшая в нательный крест, предательство друга могут оказаться погребенными под непроницаемой лавой времени, а суп с лапшой, который Лиза Веланская сварила для Ланского в 30-х годах XX века, как фреска, ожившая под кисточкой археолога, может остаться в памяти на всю жизнь.

— Вы пьете чай после обеда?

— Иногда.

— А у вас есть чай?

— Еще бы! И хороший. Я пью кофе, а отец чай.

— Ему кофе запрещен?

— Да. Сердце.

— Я поставлю чайник просто на всякий случай. Но сперва мы поговорим.

Они вернулись в комнату Ланского.

— На чем я остановилась?

— На Лучинине.

— Да. Вы когда-нибудь слышали о поисках Согдианы?

— Слышал. Кстати, на лекциях вашего отца.

— Где?

— В Лазаревском институте. Я кончил иранский разряд. Но мы все ходили на лекции Геннадия Павловича.

— Прекрасно. Значит, вы знаете, что с помощью академика Крачковского он первый прочел арабское письмо на коже. Вы знаете Крачковского?

— Его весь мир знает.

— Отец руководил археологической экспедицией, которая нашла столицу Согдианы.

— Пенджикент?

— Да. Еще до него кто-то предложил подняться на самолете и посмотреть сверху на холмы, на окрестности Пенджикента.

— Якубовский?

— Ах, вы знаете эту историю? Тем лучше. Так вот, отец в течение четырех лет работал над книгой о древнем Пенджикенте. А я ничего не понимаю в археологии.

— Вы в университете?

— Да. На втором курсе исторического факультета.

— Так Геннадий Павлович опубликовал свою работу?

— Да. Но только два тома. А когда писал третий, его прямо из института увезли в больницу. Инсульт. И очень тяжелый. Боялись, что не переживет. И вы знаете... Это странно, и вы можете мне не поверить, но ночью, после того как я провела весь день на похоронах и вернулась домой, какая-то сила, и даже не сила, а безотчетное желание помочь ему, хотя это было невозможно, заставило меня сложить все бумаги, лежащие на столе и в ящиках стола, и отнести их в мою комнату. А вот почему я утром не сказала об этом маме...

Она замолчала.

Это была странная минута, когда Ланской как бы почувствовал, что превратился в Лизу, потому что, как на белом листе бумаги, он прочитал ее мысли. Она пришла в незнакомый дом. Перед ней стоял незнакомый человек, в очках с толстыми стеклами, с правильными чертами лица, которого она видела едва ли не впервые. Она собирается довериться ему. Почему именно ему?

И он мягко, успокоительно ответил на то, что мысленно прочитал.

— Не говорите того, о чем вам трудно или не хочется говорить,— сказал он.— Может быть, потом, когда мы познакомимся поближе.

У нее было нерешительное, детски-неуверенное лицо. И Ланской вдруг понял, что она и есть девочка, заставившая себя прийти к нему, что она — одинокая, беззащитная и что ей трудно заставить себя держаться как взрослая.

— Да, не сказала. Это одна из причин, о которых я вам когда-нибудь расскажу. Словом, мне было страшно оставить эти рукописи в своей комнате. Я отвезла их... ну, все равно. К одной знакомой.

И она вздохнула.

— Сейчас вы все поймете. Дело в том, что папа часто уезжал в Туркестан. Чаще всего с Лучининым. Но вот однажды, года за полтора до смерти, уехал один, а Лучинин часто бывал у нас.

Она помолчала, но как-то значительно помолчала.

— Я тогда только что кончила школу, готовилась к экзаменам в университет и просто не замечала, что творится в доме.

У нее дрогнул голос. Как на коньках, она стремительно подъезжала к тому, что не хотела или не могла рассказать. И так же стремительно откатывалась в сторону, отъезжала.

Неожиданно для себя Ланской ласково погладил ее по голове.

— Не волнуйся.

— Я не волнуюсь,— вдруг резко ответила она.— И нечего гладить меня по голове, как ребенка.

— Простите.

— Пожалуйста.

Она рассердилась и стала еще больше похожа на девочку.

— Сперва я не обращала внимания. Ходит и ходит. Только один раз подумала: «А почему Лучинин приходит с „лейкой“?»

— С лейкой?

— Ну да. Разумеется, не с той, которой поливают цветы.

— Ах, с фотоаппаратом!

— Вы очень догадливы,— с грустной иронией сказала Лиза.— Все это долго соединялось в моей голове и было похоже на разрезанную картину. Отец в Туркестане, Лучинин часто приходит, мама... Вы видели маму?

— Только на похоронах.

— И что вы о ней скажете?

— Понравилась. Стройная, моложавая, изящная.

— Красивая?

— Да, пожалуй.

— Очень красивая,— твердо сказала Лиза.— Отец женился на ней, когда ей было двадцать три, а ему пятьдесят.

Ланской вспомнил Веланского. Еще молодого, но уже грузного, седого, с повелительным лицом, всегда готового оборвать, если собеседник говорит слишком много или то, с чем он не согласен.

— Мама его ученица. И она не мешала Лучинину сидеть в кабинете отца. Мне она говорила, что он приводит в порядок бумаги. Впрочем, тогда она была, возможно, действительно уверена в этом. Но я забегаю вперед.

Ланской слушал ее с возрастающим интересом. Зачем она пришла к нему? Не мать, а именно она.

Запутанная история.

Но Ланскому как раз нравилось, что она запутана. Почему-то он вспомнил фреску, которую видел в какой-то популярной книге. Пекарь, в белой рубахе, с открытой шеей, черноволосый, с сильным, твердым лицом не пекаря, а воина, и его жена — нежная, с разлетающимися бровями, с всматривающимися глазами, с книгой или чем-то похожим на книгу в руках. Но фреска только мелькнула и исчезла. Лиза была похожа на жену пекаря. Смуглая, с черной ленточкой, которой она завязала косы. И все, о чем они говорили, почему-то было похоже на эту пережившую столетия фреску.

— Он написал книгу и отдал ее в издательство «Наука». Вот тут он, как говорится, дал маху. Не похлопотал о рецензентах. А может быть, ему дали понять, что это — неудобно. И книга попала к Регине.

— Кто такая Регина?

— Ученица отца и моя подруга. Впрочем, не подруга. Она гораздо старше меня. Друг.

Лиза пришла с портфелем. Она открыла его и протянула Ланскому сверку — еще не сложенные под переплетом страницы.

Ланской перелистал сверку.

— И что же? — спросил он.

— А вы не догадываетесь?

— Нет.

— Здесь все украдено. От первой до последней страницы. Но украдено талантливо. Почти без улик. Я сличила ее с бумагами, которые унесла из кабинета отца. Не одна. Мне помогала Регина. Она тоже ненавидит Лучинина. Но у нее свои причины.

Лиза помолчала.

— Личные,— наконец сказала она.

— А ваша мать знает об этом?

— Нет. И не должна знать.

И снова она, как на коньках, стремительно подлетела к тому, о чем не хотела и не могла говорить.

Ланской снял очки, протер их, надел и взглянул ей прямо в глаза. «Сейчас заплачет»,— подумал он. Но Лиза не заплакала, а только крепко поджала губы.

— Вы можете мне помочь?

— Еще не знаю. Где она живет?

— В центре.

Ланской записал адрес.

— Завтра?

— С утра она на работе. Часов в шесть.

— Ладно. А вы не возражаете, если я расскажу эту историю одному редактору?

— Какой газеты?

— «Комсомольской правды».

— А вы в нем уверены?

Ланской засмеялся.

— Как в самом себе. Мы вместе учились.

— Тогда расскажите. Вы, наверное, думаете, что мне маму не жалко,— вдруг сказала она.— Очень жалко. Но иногда я и ее ненавижу.

ГЛАВА 19

Регина Владимировна оказалась совсем не той сухопарой, длинной, коротко остриженной, в длинном платье, закрывающем шею, какой он почему-то ее представлял.

Напротив, это была кокетливая толстушка и хохотушка, не связывающаяся в сознании Ланского с самим понятием «археолог». И с ним она сразу же стала кокетничать. Без сомнения, не потому, что он ей понравился, а потому, что кокетство было у нее в крови, и обойтись без него она не могла, как завзятые курильщики без табака или завзятые наркоманы без опиума или гашиша. Однако, вопреки этому кокетству, через полчаса Ланскому стало ясно, что перед ним серьезный, знающий свое дело ученый.

Сначала дело не ладилось. Она внимательно изучила бумаги, которые Лиза унесла из кабинета отца. У нее сохранились почти стенографические записи лекций Веланского. Но сличить все эти данные с книгой Лучинина было труднее, чем они ожидали.

Перед ними было стройное здание, построенное на строгой последовательности фактов. Осторожно разобрать это здание и снова сложить его — это была задача, чем-то похожая на попытку отказаться от одного стиля и на том же материале воспользоваться другим. Уничтожить без жалости изысканные украшения барокко и вновь сложить здание в духе суровой готики — так определил предстоящее дело Ланской, впрочем, мысленно, потому что это сравнение, сложное само по себе, было все-таки слишком приблизительно и неопределенно. Регина рассказала о других работах Лучинина, о его кандидатской, посвященной той же истории Согдианы, но другому ее периоду. И оба одновременно вспомнили знаменитую книгу И. Крачковского «Над арабскими рукописями». Лучший пример многолетней работы великого ученого, озаренный романтическим светом. А в книге Лучинина господствовал свет рампы, освещающий стену, на которой происходило то, что могло быть, а могло и исчезнуть при солнце трезвого дня.

Но все эти соображения были только поисками общности между Региной Владимировной и Ланским, впервые увидевшими друг друга. Или, точнее, поисками той точки зрения, открывающей пункт за пунктом путь, по которому они должны были пройти, помогая друг другу.

Прежде всего Регина Владимировна дельно и немногословно рассказала о том, что ей уже удалось. Она установила, что хотя Лиза унесла из кабинета отца многое, но это многое представляло собою лишь соображения, которые можно было назвать предварительными итогами, от которых надо было идти не вперед, а назад.

Ланской слушал эту женщину, показавшуюся ему хохотушкой и болтушкой, с изумлением: фрески, росписи, статуи, решительно все, вплоть до маленькой наковальни согдийского ювелира, на которой он выковывал браслеты и кольца, превращались в нечто вещественное, чтобы занять свое место в сложных, еще не разгаданных тайнах. Они еще не были уликами, разоблачающими книгу Лучинина. Они были лишь тенями улик или, точнее, уликами без тени, как герои Андерсена и Шварца. Но там тени враждовали с людьми, а здесь они стремились друг к другу. Тень тянулась за уликой, чтобы твердыми шагами пройти предназначенный путь.

Все это представилось Ланскому, когда поздним вечером он вернулся к себе и, вернувшись, стал думать совсем о другом. Лиза сказала, что Регина Владимировна ненавидит Лучинина «по личным причинам». Так вот, эти личные причины не имели ничего общего с тем, о чем подумал бы, оценив слово «личные», любой человек, услышав эту фразу. Нет и тысячу раз нет!

Ему случалось встречаться в научном кругу с такими людьми, как она. Это была женщина, защищавшая подлинную науку от мнимой. Все это представилось ему мгновенно, и так же мгновенно он увидел себя деятельно участвующим в этом столкновении. А засыпая, он подумал о Лизе, не позволившей ему проводить себя домой, хотя ему этого очень хотелось.

ГЛАВА 20

— Ну-ка, подвинься, Ариша,— сказал Лучинин, любивший спать лицом к стене, на левом боку, хотя знакомый врач советовал ему спать на правом.

Но Ариша не двигалась, и пришлось разбудить ее. Впрочем, к лучшему, потому что без завтрака ему уходить не хотелось.

В коридоре стоял станок для балетных упражнений, висели кольца и в углу, от стены до стены, была протянута штанга.

Он подтянулся на кольцах двенадцать раз, а потом раза три сделал «солнце» на штанге.

Приседая, он прислушивался к тому, что происходило в кухне, встала ли Ариша. А делая махи ногами, думал, заехать ли в институт. И решил с досадой, что придется заехать. Гимнастику он всегда делал до первого пота. Потом он принял холодный душ и, растираясь жестким полотенцем, даже закряхтел от наслаждения. Так приятно было это саднящее ощущение жесткости и свежести.

«Побриться?» — подумал он, причесываясь. У него плохо росла борода, и обычно он брился через день, но, перебрав в памяти все, что ему предстоит сегодня, решил, что, пожалуй, стоит побриться.

Веселый, румяный, в темно-синем костюме (недавно полученном от портного, хотя на его фигуру можно было бы купить в магазине), он прошел в маленькую кухоньку, где уже хозяйничала Ариша. Стол был накрыт, яичница из пяти яиц дожаривалась на плите. Два прибора, черный хлеб, масло, сыр — он любил за чаем съесть бутерброд из черного хлеба. Нежно поцеловав Аришу, он извинился, что разбудил ее, и сказал, что ему сегодня необходимо рано быть в институте — новый директор, заметил он, между прочим, редкий болван и требует, чтобы научные сотрудники являлись на работу согласно их званиям — младшие сотрудники ровно в девять, старшие — не позже четверти десятого, ну и так далее.

В передней он снова поцеловал ее. «Не так, как утром, но многообещающе»,— мельком подумал он.

— А у меня семь рублей,— с комическим отчаянием сказала Ариша.

Он был скуповат и не знал, скоро ли снова будет у нее. Но все-таки достал бумажник и дал ей десятку.

— Мало,— сказала она, вкладывая в это слово двойной смысл: шутливый — мало за ночь, серьезный — на жизнь.

Он засмеялся и дал ей еще десятку. Не на жизнь, а за остроумие, которого он не ожидал от нее.

ГЛАВА 21

В институт надо было заехать, чтобы поговорить с директором о защите. Когда? И об оппонентах. Кто?

Директор ничего не понимал в археологии и не старался понять. Это был плотный коротконогий мужчина с крестьянской внешностью, который не знал, как держаться с научными сотрудниками, и постоянно сердился на себя и на них. Пока Лучинин говорил, он, казалось, мучительно старался вспомнить что-то важное, о чем непременно нужно было сказать, и вспомнил, когда тот уже собрался уйти.

— По поводу вашей книги мне звонили из «Комсомольской правды». И по поводу вашей диссертации. Они хотят познакомиться с ней.

У Лучинина радостно екнуло сердце. Корреспондент! Рецензия в центральной прессе!

— И вы, я надеюсь, согласитесь? — сердито спросил директор, немного пугаясь, как бы Лучинин не обиделся на этот в общем-то вежливый вопрос.

— Конечно, отказался бы,— сказал Лучинин.— Научный институт, докторская диссертация по сложному вопросу — при чем тут «Комсомольская правда»? Шучу, шучу,— поспешно сказал он, сообразив по недоумевающему лицу директора, что тот не понимает шуток.— Вы очень обрадовали меня. Очень.

Из института он собирался заглянуть к Алке Изюмовой. Он вспомнил, что у нее сегодня день рождения. Но ехать без подарка неудобно. Надо было купить ей...

«Что бы ей купить?» — спрашивал он себя в автобусе. «Какую-нибудь блузку? Нет, блузки дороги, и кто его знает, какие теперь в моде? Чулки!» — неожиданно решил он и на Тверском зашел в галантерейный магазин и купил две пары чулок. Одну черную (он знал, что недавно появилась мода на черные), другую серую, обыкновенную, на каждый день.

Алка была художница, работавшая дома, и он застал ее перед едва намеченным холстом с кистью в руках. Она поблагодарила за чулки, поцеловала, но как-то холодно, между прочим.

Стихи Ходасевича, которые повторялись в памяти каждый раз с той минуты, как он вспомнил, что у Алки сегодня день рождения, снова повторились, и как-то весело, счастливо повторились.

> Что верно, то верно! Нельзя же силком
> Девчонку тащить на кровать.
> Сперва ей надо стихи почитать,
> Потом угостить вином.

Вина не было, и эти стихи едва ли понравились бы Алке. Лучинин вообще явился не вовремя. Она была увлечена работой. И теперь, после того как она бегло ответила на его поцелуй и рассеянно на какие-то его вопросы, он понял, что сегодня, пожалуй, он мог бы не приезжать.

Но все-таки он обнял ее сзади, положив руки на ее грудь, и радостно почувствовал эту крепкую молодую грудь. Она задумчиво и неторопливо сняла его руки и снова молча взялась за работу. Но теперь ему уже трудно было отказаться от того, чего он страстно желал. Он снова обнял ее и так поцеловал, что рука с кистью невольно опустилась.

— Ну ладно, только недолго,— сказала она.

Но зная, что она не перестает думать о работе, он постарался, чтобы это было долго.

А потом, прощаясь, подумал с невольным уважением, что никогда еще она не была так холодна.

— Не сердись,— сказала она ласково.— Ладно?

— Ну что ты! Это я должен просить у тебя прощения. Я знаю, что должен был сегодня оставить тебя в покое. Но ты сама виновата.

— Я?

— Да. Ты была так прелестна в этом запачканном краской халате, растрепанная, сосредоточенная. И потом я не виноват, что у тебя такая грудь. И такая кожа.

— Кожа?

— Да, шелковая.

Он снова поцеловал ее, теперь уже дружески.

— Бегу. Сегодня у меня трудный день. Тороплюсь в институт,— зачем-то соврал он.— Да и тебе не до меня. Да?

— Ты хочешь, чтобы я сказала правду?

— Конечно.

— В частности, не до тебя, а вообще, ни до кого на свете.

Он обедал всегда в три, но сегодня немножко опоздал, и Марта, немка из Поволжья, хозяйничавшая в его маленькой, но уютной квартире на Воротниковском, встретила его длинной укоризненной немецкой фразой. Он нанял ее в надежде научиться свободно говорить по-немецки, но так и не научился: у него не было способности к языкам. Кстати, это мешало ему и в работе над согдийскими текстами. Впрочем, читал он не только по-немецки, но и по-французски и по-английски. Беллетристику с трудом, а научные труды свободно.

После обеда он неизменно давал себе слово не спать, и иногда это удавалось. Но сегодня решил немного вздремнуть. Вторая половина дня и вечер обещали быть утомительными. Надо было просмотреть английские журналы, а потом Агния Илларионовна и Большой театр. Не пропадать же билетам!

Он умел засыпать и просыпаться точно минута в минуту — как это иногда случалось на ученых советах. Но на этот раз на всякий случай он приказал Марте разбудить его через полчаса.

В шесть часов он позвонил Веланской, рискуя нарваться на Лизу. И от этого

звонка, от этих немногих минут, когда он ждал, кто возьмет трубку — Агния или Лиза,— вдруг потянулась длинная, раздражающая, надоевшая, утомительная цепь отношений. Старая, отжившая, взявшая свое и все-таки требующая забот и внимания. Надо, надо разорвать эту цепь или, по крайней мере, подумать, как разорвать!

Они условились, что такси будет ждать ее на углу Мертвого и Пречистенки за сорок минут до начала.

Она прибежала в легком пальто и без шляпы, хотя вечер был прохладный и лениво падал мелкий снежок,— моложавая, стройная, невысокая, с оживленным, слегка загримированным лицом. Это он рассмотрел уже в театре. Морщины были тщательно запудрены, глаза искусно подведены, веки и ресницы подкрашены. Они показывались вместе еще до кончины Веланского, отношения были открытыми, о них когда-то говорили, а потом перестали, привыкли.

Но сегодня он впервые с досадой подумал, что она гораздо старше его. Давали «Лебединое озеро». И не только переполненный зал, но самая музыка ждали с нетерпением появления Улановой.

Воздушность, легкость были еще детские, когда она появляется. Но наступает мгновение, когда каждое новое движение как будто рождает догадку о том, что наступает юность.

И с этой минуты Лучинин, понимавший и тонко чувствовавший женщин, смотрел только на нее, ждал только ее появления. Он нашел Аришу в кордебалете (она снова работала в театре) и сразу же забыл о ней, а потом невольно вспомнил, но снова забыл.

С удивлением он заметил, что очень взволнован, и рассердился на себя за то, что не сумел скрыть это от Агнии Илларионовны, которая тоже была увлечена, но невольно думала и о том, как она выглядит и пригласит ли он ее к себе после спектакля, как это бывало не раз.

В антракте она встретилась со своей старой школьной подругой и с ее седым мужем, видным дипломатом. И представила им — это получилось очень естественно — Лучинина как ученика и друга покойного мужа. Но во время ничего не значившего разговора она снова невольно подумала, хорошо ли она выглядит, и все-таки расстроилась, поняв, что подруге было довольно одного взгляда, чтобы угадать их отношения. Она справилась с неожиданным чувством неловкости, а вот с мыслью, что он в сравнении с ней выглядит ее сыном, не могла справиться и весь второй акт, не забывая об Улановой, невольно возвращалась к этой мысли.

Но Лучинин, мгновенно забыв об этой случайной встрече, мало сказать, был глубоко поглощен Улановой и в какое-то мгновение даже сердито прогнал нелепую мысль, что хорошо бы ее... Он вздохнул. Как она была хороша!

Когда спектакль кончился, Веланская была уже уверена, что Лучинин не отвезет ее к себе, и не удивилась, когда он сказал шоферу такси ее адрес. Она чувствовала, что он взволнован спектаклем, и даже обрадовалась тому, что, прощаясь, он нежно поцеловал ее и сказал: «До завтра!»

ГЛАВА 22

Лиза задолго до смерти отца знала, что ее мать близка с Лучининым. Ее отношение к этой близости менялось с годами. Еще в школе она пыталась оправдать мать. Веланский, в сущности, по натуре был несемейный человек. Интересы семьи всегда были далеки для него. Он был не только увлечен своим делом, но увлечен маниакально, и, в сущности, его дом был не в Москве, в Мертвом переулке, а в древнем Пенджикенте. Он женился на своей ученице, которая родила ему дочь и бросила науку. И любил жену и дочь, но такой любовью, которая как бы присоединялась к его жизни, не наполняя ее.

И Лиза понимала его, быть может, потому, что была умнее матери, ревновавшей отца к Согдиане. Впрочем, с годами это переменилось. Он больше жил в южном Туркестане, чем в Москве, и однажды взял с собой дочь, когда ей шел уже пятнадцатый год. Она увидела отца на раскопках и поняла его не столько умом, сколько чувством. Счастье разгадки, преодоление тайны засверкали перед ней. И в этом ослепительном свете она увидела отца счастливым, неузнаваемо

вдохновенным, готовым преодолеть любые трудности, властным повелителем других людей, склонившихся перед его неукротимой волей. И с тех пор она не только глубоко, не по возрасту поняла его, но искренне полюбила. Она не могла стать его помощницей — у нее были другие склонности,— но совершенно иначе оценила она теперь его отношение к семье или, точнее, место этого отношения в его до края наполненной жизни. Может быть, именно поэтому близость матери и Лучинина, сперва болезненно поражавшая ее, со временем стала привычной. Она поняла и мать в ее одиночестве, хотя долго не могла привыкнуть к Лучинину, который не нравился ей как раз теми чертами, которые нравились другим женщинам. Но он был одним из самых деятельных помощников отца. Это внушало уважение. И, уверившись, что Лучинин искренне любит мать, она еще школьницей примирилась с этой близостью, о которой — в этом она не была уверена — может быть, знал и отец.

Англичане говорят, что в каждой семье есть свой «скелет в шкафу», о котором упоминать нетактично. Но все изменилось, когда она узнала, что Лучинин присвоил открытие отца. Теперь ей казалась оскорбительной его близость с матерью и то, что они видятся каждый день. «Она знает, не может не знать того, что он сделал».

Лиза не могла разлюбить мать, но трудно назвать чувство, которое она теперь испытывала по отношению к ней. Это были и жалость, и презрение, и невольный страх, и сознание невозможности изменить эти теперь казавшиеся ей грязными отношения. Она выросла в атмосфере обмана. Это сделало ее взрослой не по годам и научило преодолевать природную застенчивость, неуверенность, робость.

Когда Ланской узнал ее, она была уже сложившейся женщиной, научившейся распоряжаться собой, когда невозможно было поступить иначе. Она заставила себя подойти к нему на кладбище.

В редких случаях, когда Лучинин обедал у Веланских и Лиза сидела за столом вместе с ними, они разговаривали о чем угодно. О том, кому заказать памятник на могилу Геннадия Николаевича. О какой-нибудь пьесе или фильме, наделавшем шуму. Но за каждым словом неизменно чувствовался совсем другой разговор: мать спрашивала: «Все хорошо? Ты любишь меня?» — и он отвечал (как Лизе казалось): «Да, да! Ничего не изменилось», но отвечал каждый раз все холоднее.

В тот вечер, когда Агния Илларионовна была с Лучининым в Большом театре и Лиза вышла из своей комнаты, чтобы проститься с матерью на ночь, за притворно-спокойным лицом матери, старавшейся быть ласковой к ней, Лиза легко угадала, что этот безмолвный разговор повторился с другим, расстроившим мать оттенком.

— У тебя болит голова, мамочка?

— Нет, немного устала.

И она заговорила об Улановой, которой была тронута и восхищена, несмотря на мучительный вечер.

ГЛАВА 23

Почти ежедневно Лиза забегала к Ланским из университета и каждый раз находила их не обедавшими или, в лучшем случае, жующими никогда не надоедавшую гречневую кашу. Зная это заранее, она покупала что-нибудь на свою скромную стипендию. Сосиски, например, ливерную колбасу или консервы. Прежде чем зайти в комнату Ланского, она отправлялась на кухню. С Матвеем Борисовичем она подружилась, и он, никогда не вмешиваясь в дела сына, думал, что Лиза заняла место неожиданно исчезнувшей куда-то Ариши. Замена, с его точки зрения, была удачная: Ариша, например, никогда не спрашивала, сыт он или голоден, по месяцам не отдавала белья в стирку. И очень мало интересовалась его участием в гражданской войне.

При Лизе все постепенно стало меняться. Обеды она готовить им не могла, договориться в соседней столовой, чтобы обеды приносили на дом, не удалось, но она как-то устроила, что по утрам из сумки, висевшей за окном, можно было доставать не только ледяную гречневую кашу. Оказалось, что в больнице Матвею

Борисовичу полагался какой-то паек, и она убедила его брать этот паек на дом. Вместе с Ланским она выгребла из чулана кучу грязного белья, и они на извозчике отвезли ее в прачечную.

Словом, Матвей Борисович был доволен выбором сына. Но два обстоятельства все-таки немного смущали его: во-первых, молодость Лизы — она казалась ему шестнадцатилетней девчонкой,— именно поэтому он никогда не спрашивал, сколько ей лет, а во-вторых, он не понимал, почему вечерами — не позже одиннадцати — она всегда уходила. Об этом однажды он все-таки решился спросить сына. Но сын, к его удивлению, только от души рассмеялся в ответ.

— Где ты проводишь вечера? — как-то спросила Агния Илларионовна.

Лиза рассказала ей о Ланских.

— Покажи мне его.

— Отца или сына?

Агния Илларионовна рассмеялась.

— Разумеется, сына. Кстати, об отце мне кто-то говорил. Врач?

— Да.

— Я о нем слышала. Хороший?

— Мамочка, ведь я у него не лечилась. Он работает в Кремлевке.

— Ну, это еще ничего не значит. А сын — писатель?

— Журналист. Мамочка, он не пойдет.

— Почему?

— Он скажет, что его нельзя показывать, как... Ну, не знаю. Как севрскую чашку или породистую собаку. Он пригласит тебя к себе.

— Ну что ж! Я поеду. Вообще, ты у меня какая-то странная.

— Почему?

— У тебя нет подруг.

— Что делать! Вообще-то были. Но уже на втором курсе почти все выскочили замуж. Кроме Ленки Столяровой. Некоторые уже мамы.

— А ты не собираешься?

— Вообще — нет, а в частности — да,— загадочно ответила Лиза.

ГЛАВА 24

Не находка археологов, не письмена, не фрески поразили Ланского, который не мог оторваться от книги Лучинина. Если бы он не был человеком, легко переходившим из мира реальности в мир воображения, он не понял бы, что государственное мышление в ней, соединенное с ассоциативным талантом, не сливается с формой, в которой оно было осуществлено, и даже как бы не соглашается с ней. Два дарования скрестились в этой книге. Одно остроумно соединило юридические документы с оборванными клочками писем, договоров, манифестов, а другое поставило это соединение на сцене, как режиссер ставит спектакль. Одно построило на фундаменте этого соединения панораму согдийского города, покоренного арабским халифатом в начале восьмого века. А другое подало эту панораму, как подают новый экспонат на выставке модельеров.

Для одного дарования был характерен смелый и неожиданный ход мысли, превращающий догадку в неотразимое утверждение. А для другого было характерно почти наивное самолюбование этой смелостью, замаскированное подчеркнутым научным объективизмом.

Как в таблице Менделеева, в общей картине города встречались пустоты. Но для одного дарования это были живые пустоты, как бы ожидающие предсказанного содержания. Пустоты, без которых невозможно было вообразить историю города, уничтоженного огнем и мечом и через двенадцать столетий открывающегося под лопатой археолога, под его скальпелем и кисточкой. А для другого — мертвые, о которых было рассказано вполголоса и только потому, что о них нельзя было не упомянуть.

Но была задача, перед которой оба дарования сошлись. Мало было открыть страну, которая еще недавно была надежно скрыта под высокими холмами песка.

Необходимо было рассказать — и это было самое трудное,— что с ней случилось.

Случилось событие, прекратившее ее существование. Столица была сожжена. Жители убиты или бежали. Огнем или мечом были уничтожены города и селения согдийцев. Все, что нашли археологи: росписи, статуи, резные колонны,— было восстановлено только потому, что огонь, обуглив их, сохранил для потомков. И событие, погубившее селения и города, не упало с неба. Оно состояло из тысячи других. Кто же создал историческую карту того, что подготовило их? Веланский или его находчивый ученик?

Трудно было «снять лак», начинавшийся с посвящения: «Любимому учителю, одному из величайших исследователей Древнего Востока». Имя Веланского упоминалось на многих страницах, но не на тех, которые излагали сущность его размышлений. Словом, «снять лак» было не так легко, как казалось.

Но еще труднее было построить из этих украденных догадок и впервые обнаруженных Веланским фактов новую, подлинную систему. Эта работа, как ни странно, была чем-то близка тому выдуманному рейсу в Стамбул, о котором Борис рассказал в своей книге. Одно было совершенно ясно: Веланский не назвал бы свою будущую книгу «Трагедия Согдианы».

«Лучинин решил представить эту книгу как докторскую диссертацию,— думал Ланской.— Но ведь это-то как раз и глупо! Неужели он не догадывается, что если он хочет выдвинуться, создать себе научное имя, ему выгоднее подчеркивать, что его книга основана на работах Веланского. Более того. Умный человек постарался бы издать книгу под двумя фамилиями. Но убедить его в этом будет, пожалуй, трудновато. Он умен, но мелко, узко умен. Талантлив, но поверхностно, пошло талантлив».

День, проведенный над книгой Лучинина, прошел незаметно. Часов в пять Ланскому захотелось есть, но он не стал тратить время на приготовление обеда. Рядом с парком Сокольники была столовая, в которой старушке-домработнице подчас удавалось брать обеды. И он пошел в эту столовую.

Суп с пельменями и телячья отбивная с хрустящей жареной картошкой — это было прекрасно. И как ни странно, недорого.

Он не пил, но ему нравилось пиво. В столовой пиво не продавалось, но девушка, может быть, тронутая тем, что он вежливо поблагодарил ее за вкусный обед и заплатил едва ли не вдвое больше того, что он стоил, сбегала в соседнюю пивную и подала ему запотевшую бутылку жигулевского пива.

Этот роскошный обед почему-то внушил ему полную уверенность, что он напишет первоклассную статью, посвященную открытию Согдианы, о которой недели две тому назад он не имел никакого понятия.

Ему очень хотелось предложить девушке выпить с ним пива, но он не решился. Она и без того поглядывала на него с удивлением, удвоившимся, когда, прощаясь, он крепко пожал ей руку.

И долго потом надеялась бедная девушка, что этот странный вежливый молодой человек в толстых очках еще не раз заглянет в ее столовую, стесняясь, пошлет ее за пивом.

ГЛАВА 25

Шубин вернулся из затянувшейся командировки, познакомился с Лизой, и три вечера были отданы тому, чтобы изложить ему сущность дела. А с Региной Владимировной его познакомила Лиза.

Это был вечер, когда они собрались у Ланского все вчетвером.

— Неубедительно,— сказал Шубин, подводя итоги длинному разговору.— То есть, может быть, и убедительно, но для умных людей. А нужно, чтобы было ясно и для дураков. Послушай, Боря, ты же лингвист. Не может быть, чтобы Лучинин, пересказывая соображения своего учителя, не воспользовался, может быть невольно, каким-нибудь его любимым выражением.

— Ты прав. Об этом я не подумал.

— Он любил латинские поговорки,— сказала Регина Владимировна.— И подчас довольно редкие.— И она перевела, хотя Ланской понял: — «Скупой ничего путного не сделает, разве только когда умрет».

— Тебе, вероятно, мешало то, что ты знаешь языки. А ты притворись, что не знаешь. Но и этого мало. Вот если бы нашлось какое-нибудь письменное доказательство, что его мысль или догадка сложилась прежде, чем появилась книга Лучинина...

Он замолчал, потому что Регина Владимировна с такой силой хлопнула себя по лбу, что все невольно вздрогнули.

— Боже мой, какая же я дура! У меня есть письмо от Геннадия Павловича, в котором он доказывает... Нет, не доказывает, а предполагает, что Пенджикент держался еще лет десять после того, как арабы захватили Бухару.

— Вот это другое дело,— сказал Шубин.

ГЛАВА 26

Эта мысль появилась у него давно, еще в те дни, когда он читал сверку книги Лучинина. Как, едва удерживаясь от рыданий, Лучинин прославлял покойного, как пылко, с каким восхищением подробно перечислял его заслуги, как долго целовал его большие восковые руки!

Мысль была простая: представить ему неопровержимые доказательства того, что книга, в сущности, принадлежит Веланскому, а не ему.

Подсказать ему разумный выход — в предисловии он расскажет историю своего многолетнего сотрудничества с Веланским. Расскажет о том, что его книга продиктована горячим желанием довести до конца идеи своего учителя, после его смерти оставшиеся не высказанными до конца. Придать им стройность. Как бы прочитать их заново, но теперь уже в упорядоченной, построенной форме. А если Лучинин откажется от этого выхода и будет настаивать на своем, тогда осторожно намекнуть ему, что резко отрицательная, уличающая рецензия появится в «Известиях» или в «Комсомольской правде».

«Вы, без сомнения, понимаете,— репетировал Ланской предстоящий разговор,— в какое положение попадете после такой рецензии на защите. И не только на защите. Ваше положение в науке будет подорвано. И не только в науке. От вас отвернутся даже друзья. Зачем вам подвергать себя удару, который может надолго отравить вашу жизнь?»

Ну, а если он и тогда будет отказываться, показать ему письмо Веланского Регине.

Согласно здравому смыслу, встреча будет такой, какой она ему представлялась. Но здравый смысл в таких случаях — не судья. Может быть, воображение обманывает его? Для Ланского всегда было легко поставить себя на место своего собеседника. Но поставить себя на место Лучинина он, как ни старался, не мог. Может быть, Лучинин постарается купить его — конечно, не за деньги, это было бы глупо. А в сущности, почему так уж глупо?

Следовало бы, конечно, посоветоваться с Лизой. Но ему хотелось удивить Лизу — а вдруг Лучинин согласится? Что касается Паши, можно не сомневаться, что, по его мнению, на Лучинина можно подействовать не рецензией, а только угрозой казни на электрическом стуле.

Ему стало смешно. Надеюсь, что дело не дойдет до драки. И он сразу представил себе эту драку. Пожалуй, ему тогда пришлось бы худо. Правда, в юности он увлекался боксом и даже уговорил отца нанять ему учителя. Фамилия этого учителя была, кажется, Кох. И он учил фехтованию. Да, именно фехтованию в Большом драматическом театре. А боксом он занимался как любитель. Но когда Ланской, которому надоела роль ученика, однажды попросил этого любителя подраться «без дураков», он немедленно получил такой удар, что потерял сознание. Уроки продолжались, и кое-чему он все-таки научился.

Но, представив себе Лучинина, с его ростом и широкими плечами... Он посмотрел на себя в зеркало и рассмеялся. Вздор!

Он надел свой лучший костюм. На стенке в гардеробе висела нагайка, которую ему подарили сваны. Ланской, сам не зная зачем, сунул ее в пальто. Потом позвонил Лучинину и спросил, когда тот может его принять.

Ему открыла дверь аккуратная, гладко причесанная женщина, пожилая, в белоснежном переднике, в простом опрятном платье.

— Здравствуйте,— сказала она с легким акцентом.— Виктор Сергеевич уже ждет вас.

«Немка»,— подумал Ланской.

Лучинин встретил его сдержанно, но в этой сдержанности была какая-то нарочитость. Чувствовалось, что он очень доволен, хотя и не знал, с какой целью пришел к нему журналист, статьи которого, помнится, попадались ему на глаза в центральной прессе.

— Прошу,— сказал он, пройдя с Ланским в кабинет и показывая ему на кресло. Кабинет был просторный, с камином, обставленный черным кожаным гарнитуром: диван и четыре кресла. В камине уютно потрескивали дрова.

— Я собираюсь написать о вас статью.

— Простите, по поручению какой-нибудь газеты?

— Да. Эту статью мне заказала редакция «Комсомольской правды»,— соврал Ланской.— Впрочем, и по моему собственному желанию. («Что-то я не то говорю,— подумал он.— А, к черту, как-нибудь выскочу!») В издательство Академии наук вы предложили новую книгу. («Почему новую? Ведь это его первая книга».)

— Да, предложил.

— И хорошо сделали. Это — прекрасное издательство. Солидное.

— Одно из лучших.

— Вот именно. Предложили. И об этом факте издательство сообщило «Комсомольской правде»,— продолжал врать Ланской. («Что-то неправдоподобно»,— подумал он.)

— Простите, с какой целью?

— Да вот с целью ознакомить читателей с предстоящей новинкой. Так сказать, оценить ее.

— Так вам редакция поручила прочитать мою книгу и...

— И написать о ней,— твердо сказал Ланской.— Как это ни странно. («Что-то я не то сказал»,— подумал он.)

— Почему же странно?

— Видите ли... Потому что обычно статьи печатаются о вышедших книгах.

— Значит, это, так сказать, экстраординарный случай?

— Совершенно экстраординарный случай,— энергично подтвердил Ланской.

Пожилая женщина в переднике вошла в кабинет и по-немецки сказала что-то Лучинину. Впрочем, Ланской понял. Пожалуйте к столу.

— Может быть, вы пообедаете со мной? — спросил Лучинин.— Извините, что я пригласил вас в обеденное время.

— Благодарю вас, я уже обедал.

— Тогда выпейте со мной чаю.

Квартира, очевидно, была трехкомнатная. А занимал ее один Лучинин со своей немкой — это тоже был экстраординарный случай. «Требующий объяснения»,— подумал Ланской и немедленно получил это объяснение.

— Вы, наверное, удивляетесь, что у меня такая просторная отдельная квартира? — заметил, усаживаясь за стол, Лучинин, засовывая за воротник белоснежную салфетку.— Это объясняется очень просто. Здесь жил мой покойный дед. Он был крупный государственный деятель. И отец, который недавно скончался.

«Тоже врет,— подумал Ланской.— Какие-то связи».

Немка вошла с суповой миской. Поставила ее на стол, и Ланской пожалел, что отказался от обеда. Из миски валил душистый пар.

Стол был накрыт на два прибора.

— Может быть, вы все-таки...

— Ну, пожалуй, благодарю вас.

«Порядочный человек не должен обедать в доме прохвоста, которого он собирается проучить»,— принимаясь за суп, назидательно подумал Ланской.

Но суп был хорош! Суп был похож на сгустившийся весенний воздух, переполненный запахами леса и сада. И на котлетах де воляй стоял фирменный знак, поставленный не уроженкой республики немцев Поволжья, а богом гастрономии, имя которого Ланской забыл. Зато он вспомнил Эола, бога ветров, руками которого был, несомненно, создан этот воздушный, тающий во рту мусс.

За обедом шел разговор об археологии не вообще, а в частности, как инструменте, с помощью которого прошлое становится вещественно ощутимым. И Лучинин кратко, но толково рассказал ему, как просеивают землю сквозь сито, орудуя лопатой, а потом ножом и кисточкой. Как осторожно, неторопливо проникают сквозь десятиметровую толщу земли. Как тщательно и бережно археолог переносит открытую на стене роспись на лист ватмана, как эта осыпающаяся стена закрепляется с помощью специального раствора прозрачной смолы, как через 7—8 дней стена перестает осыпаться, роспись разрезают на квадраты и прикрепляют к каждому квадрату доску, обтянутую материей. Как тыльную сторону этой доски пропитывают смолой не меньше чем 15 или 17 раз. И все, что узнал Ланской, было лишь частицей того громадного дела воскрешения истории в ее вещественном, действительно существовавшем виде.

— Продолжать? — спросил, улыбаясь, Лучинин.— Ну вот. А потом... Еще вина?

Это был уже третий или четвертый бокал, и Ланской выпил его, думая, с какой стороны подобраться к книге Лучинина и убедить его взять сверку из издательства.

— Словом, все, о чем я рассказал вам, только частица громадного дела воскрешения истории в ее вещественном, действительно существовавшем виде. Впрочем, если бы вы прочли мою книгу...

— А я ее уже прочел,— твердо сказал Ланской.

— И что вы о ней думаете?

— Видите ли, я по образованию лингвист. И меня — может быть, это покажется вам странным — прежде всего заинтересовала стилистическая сторона вашей работы. Она буквально пересыпана латинскими поговорками.

— Вы это считаете недостатком?

— Нет. Мне просто кажется, что это характерно для книг академика Веланского, который, очевидно, говорил по-латыни. Может быть, и вы говорите по-латыни?

Лучинин засмеялся.

— Нет. Но Веланский был моим учителем. Что же, вас удивляет, что я находился под его влиянием?

— Не удивляет. Но невольно приходит мысль...

Они пообедали, вернулись в кабинет, и Лучинин предложил закурить. Он откинул крышку маленькой палехской шкатулки. В шкатулке лежали сигары.

— Прошу вас.

— Нет, спасибо. Я даже не знаю, с какого конца их курить. У меня свои.

Он посмотрел на Лучинина, который обрезал кончик сигары и закурил, развалившись в кресле.

— Ну и что же?

— Конечно, латинские поговорки не доказательство, но есть другие доказательства, более основательные.

— Простите... Что вы хотите сказать?

— Я хочу сказать, что ваша книга... Вы написали ее... Но, по-моему... Ну, словом, идеи, на которых она основана... Они прекрасно поданы. Именно поданы. Ну вот, как подают на стол,— стараясь не сердиться и все-таки сердясь, потому что это ему не удавалось, продолжал Ланской,— но вам они не принадлежат.

Лучинин давно уже не сидел, развалившись в кресле с сигарой в руках. Что-то зверское мелькнуло в его красивом лице. Он рассмеялся, но как-то неестественно, напряженно рассмеялся. Он не побледнел, а покраснел, и Ланской почему-то вспомнил, что Цезарь брал в свои легионы тех солдат, которые не краснеют, а бледнеют в гневе.

— А кому же они, по вашему мнению, принадлежат? — спросил он.

— Веланскому. И не сердитесь, пожалуйста, поговорим спокойно.

И он вынул из портфеля сверку книги Лучинина и положил ее перед собой на стол. И действительно, очень последовательно, спокойно, страница за страницей, глава за главой доказал, что именно Веланскому принадлежит разгадка десятилетнего сопротивления Пенджикента после победы Бухары. Фрески, росписи, статуи — решительно все, вплоть до маленькой наковальни согдийского ювелира, на которой он выковывал браслеты и кольца, все нашло свое место в этой

стройной системе доказательств. Они не были уликами, разоблачающими мир Лучинина. Они были лишь тенями улик, а точнее — уликами без тени, как герои Андерсена. Но там тени враждовали с людьми, а здесь, в этих доказательствах, они тянулись друг к другу. Тени тянулись за уликами, чтобы твердыми шагами пройти предназначенный путь.

Ланской успокоился, предлагая свои доказательства. У него были и другие. Он не забыл, что Веланский написал Регине письмо о своих догадках и, стало быть, задолго до Лучинина пришел к идеям, изложенным в книге. Но об этом удалось не упоминать, и он был рад, что не сослался на письмо. Это было опасно.

И Лучинин успокоился или, по меньшей мере, взял себя в руки.

— Стало быть, вы считаете,— спокойно сказал он,— что я просто-напросто совершил плагиат, воспользовавшись открытием Веланского. А вы не подумали о том, что этот мнимый плагиат заставляет меня гордиться? Я полагаю, вам хорошо известно, что некоторые, подчас замечательные открытия возникали и возникают одновременно. Лобачевский создал свою неевклидову геометрию одновременно с венгерским ученым Больяном.

«Не Больян, а Бойай»,— отметил про себя Ланской.

— И нет ничего удивительного в том, что загадка о десятилетнем сопротивлении Пенджикента пришла в голову сначала Веланскому, а потом мне. Ведь я придерживался той же линии развертывания фактов. Но мне интересно, кто вооружил вас всеми этими, с позволения сказать, доказательствами?

— Это мое дело.

— Впрочем, нетрудно догадаться. Очевидно, эта толстая стерва, которая сердится на меня за то, что у меня не нашлось времени, чтобы ее...

— Осторожно,— спокойно сказал Ланской.

Лучинин встретил его взгляд и не кончил фразы.

— Передайте ей мои извинения. У меня действительно не было времени. А теперь...

— Вы хотите сказать, что вы теперь спустите меня с лестницы? — спросил Ланской.— Послушайте, я вам зла не желаю. Хотя, откровенно говоря, стоило бы пожелать. У вас есть выход. Возьмите сверку из издательства и расскажите в предисловии, что книга представляет собою, в сущности, изложение того, что сделал Веланский. И что вы как его ученик считаете своим долгом познакомить читателя с его трудом, который преждевременная смерть помешала ему закончить.

Лучинин молчал.

— Давайте рассуждать спокойно. Вы талантливы, книга построена умно, написана прекрасно. Она, без всякого сомнения, будет иметь успех у людей науки. И не только науки. Она будет издаваться и переиздаваться. Ваше предисловие только украсит ее, и прежде всего в нравственном смысле. Учитель как бы передает эстафету своему ученику, который обязан ему всеми своими знаниями, своим пониманием истории. Благодарный ученик отдает учителю долг. («Это, кажется, похоже на то, что Лучинин говорил на похоронах»,— мельком подумал Ланской.) Много ли без Веланского вам удалось бы сделать в науке? И вот, когда он скончался, вы отдаете все силы, чтобы по крупицам собрать все, что от него осталось,— отрывки, черновики, наброски. И вы продолжаете и заканчиваете его оборванный смертью труд.

Лучинин молчал. И на этот раз молчание длилось долго.

— Ну вот что,— сказал наконец Ланской.— Мне не хотелось впрямую уличать вас в плагиате. Вас, очевидно, могут убедить только неопровержимые доказательства. Я ими располагаю.

Он вынул из кармана письмо Веланского Регине и неторопливо, внятно прочитал его вслух.

— Позвольте взглянуть,— вежливо и даже как будто лениво попросил Лучинин и, не читая, бросил его в камин. Ланской не шевельнулся.

— Это была заверенная копия письма. Подлинник хранится у Регины.

— Вон! — с бешенством закричал Лучинин.

Ланской не торопясь вышел из кабинета. Не зная расположения квартиры, он прошел в столовую и, спохватившись, вернулся назад, едва не столкнувшись с Лучининым в дверях. Тот отступил на шаг. Дверь в переднюю была открыта.

И все бы обошлось, если бы Лучинин справился со своим, очевидно, непреодолимым раздражением. Он был на полголовы выше. Когда Ланской надел пальто и повернулся к двери, он схватил его за плечи, встряхнул и, если бы Ланской не вывернулся, ударил бы его ногой. Но не удалось. Ланской вынул из внутреннего кармана пальто нагайку и, размахнувшись, сильно ударил Лучинина по лицу.

И все замерло. Как будто он взмахнул волшебной палочкой, останавливающей время. Ошеломленный Лучинин, влетевшая в переднюю и всплеснувшая руками немка и Ланской, изумившийся тому, что его затаенное желание невольно осуществилось.

ГЛАВА 27

Агнии Илларионовны не было дома, когда Лиза вернулась. Домработница тетя Шура, сухая энергичная старуха, чистая, опрятная, но со злым лицом, ответила на ее вопрос:

— Уехала к этому.

Она всегда называла Лучинина «этот». В доме Веланских она появилась давным-давно и сразу поставила себя так, что ее боялись. Гостей она терпеть не могла. И хотя готовила превосходно, хотя была честна и аккуратна, Лиза не раз просила мать уволить ее. Но почему-то Агния Илларионовна медлила, хотя ей тоже не нравилась бесцеремонность тети Шуры и ее склонность вмешиваться в чужие дела.

— Ужинать будешь?

— Нет, тетя Шура. Я устала. Пойду полежу.

Все в ее комнате было таким же, как прежде, и она удивилась. Что-то стало совершенно другим в ее жизни, и она чувствовала, что ее комната тоже должна была бы выглядеть хоть немного другой. Но та же книжная полка стояла у стены, тот же письменный стол, на котором были разбросаны книги, та же кровать, покрытая белым кисейным покрывалом. Только Рикки — лохматый фокстерьер с добродушной удивленной мордой — мирно посапывал на своем матрасике. Она сложила кисейное покрывало, сняла туфли, легла, не раздеваясь, и сразу же оказалась в каком-то светлом доме. Играла музыка, горящие свечи стояли в канделябрах, и она шла в паре с кем-то незнакомым, симпатичным, но думая не о нем, а о том, что все на нее смотрят, и надо стараться, почти не опираясь на сильную мужскую руку, плавно двигаться в полонезе. Она не сразу поняла, что кто-то вошел в комнату, склонился над нею и окликнул, а потом стал сильно трясти за плечи. Вошла и старалась разбудить ее мать. С минуту они молча смотрели друг на друга. Лиза еще цеплялась за оборванный сон.

— Лежи, лежи,— сказала ей Агния Илларионовна.

Лиза очнулась. Такой свою мать она еще никогда не видела. С потрясенным серовато-зеленым незнакомым лицом.

— Лиза,— сказала она и взялась рукой за сердце.

— Что, мамочка? Тебе дурно?

— Нет, уже прошло. Я только что от Виктора Сергеевича. У него сегодня был Ланской.

Лиза удивилась.

— Да?

— Он потребовал, чтобы Виктор Сергеевич взял свою рукопись из издательства.

— Не может быть,— сказала Лиза.

— Это ты послала его?

— Я? Нет, мамочка, я ничего об этом не знаю. Честное слово. Я вообще никуда не могу его послать.

— Он утверждал, что Виктор Сергеевич украл свою книгу у твоего отца.

— Ах, это!

«Сумасшедший!» — с нежностью подумала Лиза.

— Без твоей помощи...

Она задохнулась.

— Не огорчайся, мамочка. Сядь вот сюда, рядом со мной, и поговорим

спокойно. Когда я была маленькая, мы с тобой часто так разговаривали. Я помню, что однажды ты даже рассказала мне сказку. Да, Виктор Сергеевич воспользовался папиной работой, чтобы написать свою книгу. И ты не должна удивляться этому. Больше того. Ты легко могла предположить, что это случится.

— Он ударил его.

— Не может быть!

— Этот твой журналист, в которого, я знаю, ты влюблена, ударил Виктора Сергеевича палкой,— твердо сказала Агния Илларионовна.

— Ударил?

— Да. По лицу.

Шел двенадцатый час ночи. Тетя Шура давно спала. Звонок разбудил ее, и она недолго посидела на постели, услышав разговор в комнате Лизы. «Откроют». Но послышался второй звонок, и она, кряхтя, накинула халат, надела шлепанцы и пошла в переднюю.

Вошел Лучинин.

— Агния Илларионовна дома? — спросил он и быстро, не дожидаясь ответа, вошел в переднюю и остановился подле полуоткрытой двери в комнату Лизы.

— Как же ты не подумала обо мне? — страшным голосом спрашивала Агния Илларионовна.

— Ты ошибаешься, я думала о тебе, мамочка. Но ведь если бы я сказала, что Виктор Сергеевич... воспользовался для своей книги работами отца, неужели ты помешала бы мне...

Лучинин постучал и, не дожидаясь ответа, вошел в комнату Лизы. Синяк на его лице был тщательно запудрен.

— Добрый вечер,— мягко сказал он, и Лизу поразило спокойствие, с которым он остановил Агнию Илларионовну на полуслове.— Извините, что пришлось заглянуть к вам так поздно. Но я просто беспокоился, потому что...— Он помедлил.— Агния Илларионовна ушла от меня в таком состоянии...

В комнате было полутемно. Лиза уснула при свете ночника, стоявшего на столике подле кровати. Лучинин не сразу нашел выключатель за портьерой.

— Да будет свет! — шутливо сказал он.— При свете все становится ясным. И поговорим спокойно. Разумнее было бы, конечно, встретиться завтра, но так как разговор, по-видимому, уже начался...

— Мне неприятно ваше присутствие в моей комнате,— стараясь твердо выговаривать слова, сказала Лиза.— Если вы намерены сообщить мне что-нибудь, это можно сделать хотя бы в столовой. Кроме того, меня разбудили. Я не одета.

С незнакомым радостным чувством уверенности она взглянула на Лучинина. «Вот так!» — не то подумала, не то сказала она. Лучинин извинился и вышел. Лиза надела туфли, подошла к зеркалу, поправила волосы. Кого она могла увидеть, кроме себя? Но она увидела себя решившейся. И решившейся без колебаний.

Разговор начался снова.

— Я наводил справки о журналисте Ланском, с которым сегодня имел удовольствие познакомиться. Отзывы прекрасные, да и по нашему разговору видно, что он талантливый человек. Эрудированный! Знающий, например, латынь, что в наше время встречается редко. Впрочем, для того, чтобы цитировать поговорки, не обязательно знать язык. Не правда ли?

— Это не относится к делу,— спокойно ответила Лиза.

Часы пробили двенадцать раз и замолчали. И все молчали, пока не умолк этот органный полновесный звон. У Веланских были старинные часы, как бы живущие отдельной самостоятельной жизнью в своем высоком, как колонна, шкафу, украшенном капителями.

— У меня сложилось впечатление,— сказал Лучинин,— что вашим, Лизочка, мнением он дорожит. Редакция «Комсомольской правды» заказала ему рецензию на мою книгу. Агния Илларионовна рассказала мне о ваших дружеских отношениях. Я вас прошу, в сущности, о немногом. Он может отрицательно отозваться о ней. Ради бога! Но утверждать, как он пытался в разговоре со мной, что она, в сущности, мне не принадлежит... И приводить заведомо ложные доказательства этого утверждения...

Лиза молчала, опустив голову. Иногда она взглядывала на Лучинина, и чувство ненависти, перемешанной с брезгливым отвращением, как бы схватывало и отпускало ее. Он говорил долго. Он сознался, что виноват.

— Но если бы я этого не сделал,— сказал он,— открытие Геннадия Павловича, быть может, еще долгие годы осталось бы никому не известным.

— Вы ошибаетесь. Регина Владимировна Дессон пишет об этом открытии. Может быть, ей не удастся так легко напечатать книгу, как вам... Нет, я не считаю возможным умолчать о том, что вы сделали. Вот это как раз и было бы безнравственным.

До сих пор Агния Илларионовна молчала, но теперь она заговорила. И то, что услышала Лиза, поразило и оскорбило ее.

— В старину родители проклинали детей, когда те стремились причинить родителям зло. Я не знаю, что мне тебе сказать. Ведь это так просто. Он любит тебя?

Лиза могла бы ответить: «Мы просто друзья», но она сказала:

— Я не знаю. Но я, кажется, люблю его.

— Вот и прекрасно! — сказал Лучинин.— Тем легче будет вам исполнить нашу просьбу. Я говорю нашу, и вы понимаете, что это не случайное слово.

— Но почему вы думаете, что он согласится, если я его попрошу?

— Без сомнения! В особенности, если вы пообещаете ему...

Он не кончил. Лиза встала, подошла к нему и сильно ударила по лицу. Не по левой щеке, на которой был запудренный синяк, а по правой. Он растерялся.

— Лиза! — крикнула Агния Илларионовна.

Часы пробили час.

— Я думаю, нам больше говорить не о чем,— сказала Лиза.— Я ухожу, мама.

— Куда? — растерянно спросила Агния Илларионовна.

— Еще не знаю. Может быть, к Леночке Столяровой. Или к Регине Владимировне. Я не могу больше здесь оставаться.

ГЛАВА 28

В своей комнате она достала со шкафа чемодан и стала не торопясь укладывать платья. Еще долго говорили за дверью, закрытой на ключ, стучали, кричали. Ей хотелось проститься с матерью, но это было невозможно. Она написала записку: «Не беспокойся обо мне, мамочка. Завтра я позвоню» и, положив записку на стол, подошла к окну. Открыла его, выглянула. Было пусто в Мертвом переулке. Казалось, никогда еще в такой мере не оправдывал он свое название. Далеко высунувшись из окна, Лиза постаралась осторожно, без шума опустить чемодан. Не вышло. Открыть дверь? Окно было высоко над панелью. Она прислушалась. Тихо было в доме, тихо на улице, во всем мире стояла такая тишина, что, казалось, ничто не могло нарушить ее. И ей почудилось, что все это уже было. Она видела себя быстро идущей по Мертвому переулку с чемоданом в руке. Куда? Не все ли равно. Она сперва села на подоконник, свесив ноги вниз, а потом легко спрыгнула и, подхватив чемодан, почти побежала от дома, от матери, от этого разговора. «А здорово я влепила ему! — подумала она и рассмеялась.— Но каков Борис! Он — по левой щеке, я — по правой! Точно сговорились. С Рикки не попрощалась. Да он прибежит!»

Ночь была лунная, звездная и волшебная, словом, такая, как будто ей ничего не стоило это волшебство. Нигде, ни в каком другом городе, в другой стране не могло быть такой ночи. Счастье было даже в том, что она еще не знала, куда она идет. К Ленке Столяровой, которая давно спит или таращит сонные глаза над какой-нибудь скучной книгой, которую она дала себе слово прочесть. Или к Регине, которая сладко похрапывает и, проснувшись, будет удивляться и восхищаться Борей и долго хохотать над тем, что они, точно сговорившись, отхлестали Лучинина по физиономии. Правда, Регина жила далеко, а чемодан, черт возьми, был довольно тяжелый. За своими книгами она могла бы заехать через несколько дней.

На Пречистенке она встретила пьяного, которого куда-то вел милиционер, и хотя этот пьяный едва волочил ноги, ей захотелось, чтобы у него выросли

крылья и чтобы он улетел от милиционера, оставив его с открытым ртом. В конце концов, что за беда, если этот милый парень выпил?

Гоголевский бульвар был тихий, безлюдный, только на одной скамейке целовались лунные молодые люди — лунные, потому что, если бы не было полнолуния, их тени не лежали бы под их ногами на земле и Лизе не пришлось бы шагать через эти, показавшиеся ей тоже лунными, тени.

Регина жила у черта на рогах, а Ленка близко, на Сивцевом Вражке, но Лиза почему-то прошла мимо ее дома. Это было бы просто глупо — оставить за собой незнакомую ночную голубую Москву, и чувство счастья, и еще какое-то летящее, не касаясь земли, ненавистное чувство. Хорошо, что она несла чемодан, а то бог знает, за кого ее приняли бы ночью на улице. Какие-то люди прошли разговаривая, и до нее то внятно, то невнятно донеслись их голоса. Потом ее все-таки окликнули, она хотела вежливо ответить и не ответила только потому, что была занята. Она стояла теперь перед храмом Василия Блаженного и то закрывала, то открывала глаза. Все исчезало, когда она их закрывала, а когда открывала снова, храм снова появлялся перед ней, как ни в чем не бывало. Надо было куда-то идти, а она все не могла оторваться от этого чуда. Лунной ночью он был совсем другим, чем днем. Лунной ночью его можно было, кажется, унести на руках. Но ей некогда было с этим возиться. На Кремлевской башне пробило два часа, чемодан оттянул ей руку, она села на него и долго, сладко зевнула. Последний извозчик Москвы — в прошлом году она видела такую картину — спал на козлах возле ГУМа, и лошадь тоже повесила голову и сонно вздыхала. Было жалко будить их, но она со своим чемоданом добралась бы к Ланским только к утру.

Под мерное постукивание копыт она уснула и проснулась, когда извозчик что-то сказал ей. У него было доброе бородатое лицо, и он, несомненно, что-то сказал. Ах, да! Он спрашивал номер дома.

Почему-то Лиза была уверена, что Борис не спит, она знала, что он любит работать ночью. Ей заранее представлялось, что, если придется стучать в парадную дверь, она лучше просидит на лестнице до утра. В ту пору уже начинали побаиваться ночного звонка или стука в дверь.

Да, не спит! Но освещенное окно на втором этаже было закрыто. Она подняла маленький камешек и метко попала им в стекло.

«Уснул при свете»,— подумала она и уже наклонилась за другим камешком, когда выглянул и стал близоруко всматриваться удивленный Ланской.

— Кто там? — неуверенно и негромко спросил он.

— Простите, Боря.

— Это вы?

И он вихрем скатился с лестницы.

— Да вот, решила ночью погулять по Москве,— смеясь и плача, говорила Лиза.

— С чемоданом? Почему вы плачете?

— Разве я плачу? Я вас не разбудила? Впрочем, кажется, нет. Ничего не случилось. Впрочем, случилось, но, может, лучше подняться в вашу комнату? Мне не хочется будить Матвея Борисовича.

— Не надо бояться. Его и пушками не разбудишь. Впрочем, пушками, может быть, и разбудишь. Пойдемте.

Он схватил чемодан. Потом поставил его и поцеловал Лизу.

— Это просто так. Простите. Это потому, что вы пришли.

И он снова схватил чемодан.

Должно быть, Матвея Борисовича действительно можно было разбудить только пушками, потому что он не проснулся, хотя, услышав, что Лиза полгорода несла чемодан, Борис, бросившись на кухню, уронил сперва примус, потом еще что-то металлическое — сковородку или кастрюлю. В примусе не было керосина. Он стал искать его и снова уронил что-то, на этот раз тяжелое, может быть, утюг.

Когда Лиза пришла на кухню и сказала, что не хочет чаю, он все еще пытался открыть примус и налить в него керосин.

— Все равно надо приготовить чай. Или не чай? Сегодня моя очередь варить кашу.

— А где крупа?

Она прогнала Бориса в его комнату, не торопясь сварила кашу и вскипятила

чай. «А действительно, недурно бы выпить чаю»,— сказала она себе и через четверть часа вернулась с подносом, на котором стоял чайник, масло, хлеб и сыр. Хлеб был твердый как камень.

— Другого не нашла,— сказала она.

— Ну, рассказывайте, что случилось.

ГЛАВА 29

Матвей Борисович никогда не вмешивался в дела своего сына — кажется, я уже упоминал об этом. Когда однажды пятнадцатилетний Борис, задумавшись, не ответил на какой-то вопрос отца, Матвей Борисович перестал спрашивать, о чем он думает и чем намерен заняться. Он был деликатный человек. Тем не менее как-то получалось, что они знали друг о друге все, что по безмолвному договору должны были знать. Когда сын влюбился в Аришу и женился на ней, Матвею Борисовичу это стало известно из единственной фразы за воскресным обедом.

— Папа, я женюсь. Передай мне, пожалуйста, соль.

Ариша нравилась ему, и он жалел, что так и не удалось посмотреть ее на сцене. Он находил, что с ее стороны очень естественно было не заниматься домашним хозяйством: у балерин тяжелая жизнь, надо постоянно что-то делать с ногами, да и не только с ногами. Надо ходить на репетиции, выступать или не выступать, и это почему-то тоже отнимало время. Но вот однажды утром в столовой на диване он увидел спящую Лизу — и не очень удивился: заболталась с Борей и осталась ночевать. Но это стало повторяться, и наконец он понял, что Лиза переехала к ним. Это было прекрасно. Она нравилась ему больше Ариши. Она с интересом слушала его рассказы о гражданской войне и навела — это тоже было приятно — в доме строгий порядок.

Правда, было немного странно, что она и Боря были на «вы» и что она попрежнему спала в столовой. «Почему в столовой? — думал он.— Не может быть, чтобы они каждый день к вечеру ссорились». В молодости он был знаком с такой оригинальной парой.

В то утро, когда он впервые увидел Лизу спящей в столовой, он в носках подошел к буфету, взял сахар, посуду и позавтракал на кухне.

Было бы жалко, если бы она снова исчезла, как исчезла когда-то Ариша. С покойной женой Матвей Борисович никогда не ссорился. Она лежала на Ваганьковском кладбище, и прошло уже три месяца, как он не был на ее могиле. Минуло пятнадцать лет, как он ее потерял. Лейкемия, ничего нельзя было сделать!

Ему снова захотелось взглянуть на Лизу, и, поколебавшись, он все-таки приоткрыл дверь в столовую. «Симпатичная, некрасивая. Нет, пожалуй, красивая! Впрочем, не все ли равно?» Каштановые волосы упали на лоб, маленький, четко очерченный рот был крепко сжат, должно быть, сердилась на кого-то во сне. Он вздохнул. Она пошевелилась, и он испуганно прошел на цыпочках в переднюю и бесшумно запер за собой входную дверь.

Так продолжалось в течение недели, а может быть, двух. Впрочем, за это время произошли перемены. Во-первых, Борис спросил отца: «Тебе, может быть, неудобно завтракать на кухне?» На это Матвей Борисович ответил, что очень удобно, все под рукой.

А во-вторых, в столовой появилось небольшое трехстворчатое зеркало, а под ним столик, на котором стояли какие-то бутылочки, одеколон, что-то еще. И коробочки: пудра, хотя Лиза не пудрилась. Впрочем, иногда пудрилась. Когда изредка ходила с Ланским в театр. Почему-то им никогда не удавалось побывать в Большом — не удавалось или не хотелось? Матвей Борисович однажды узнал, встретив Аришу на улице, что она вернулась в Большой.

Ему очень хотелось узнать, почему все-таки Лиза спит в столовой, и он однажды, собравшись с силами, спросил об этом у сына.

— Поссорилась с матерью и ушла из дома,— не вдаваясь в подробности, ответил сын.— И я предложил ей пожить немного у нас. Ты не возражаешь?

— Конечно, нет! — ответил Матвей Борисович.— Напротив, я очень рад, что она живет у нас. Милая девушка!

— Очень милая.

— И хозяйственная!

— Да.

— Деловая.

«Спит в столовой, чтобы не мешать Боре работать,— вдруг догадался Матвей Борисович.— Ведь он работает ночами».

— Она в университете?

— Да. На историческом факультете.

Теперь надо было спросить, почему она все-таки спит в столовой, но Матвей Борисович не решился. Как-никак, это было неделикатно. Спит, и пускай спит! А может быть, между ними действительно только простые дружеские отношения?

Но вот однажды, поднявшись, как всегда, в семь утра, он вспомнил, что забыл в столовой часы. И так как без часов он не мог пойти на работу, пришлось бесшумно, на цыпочках, в одних носках, приоткрыть дверь в столовую, а потом так же бесшумно войти. Часы лежали на том же месте, где он их оставил, но диван, на котором спала Лиза, был пуст.

«Поехала домой»,— подумал Матвей Борисович. Но не прошло и минуты, как он убедился в своей ошибке. Между столовой и комнатой сына был маленький коридор. Не совладав с любопытством, он подошел к двери, прислушался. Тишина. Но Лизино пальто висело в передней. И шапочка лежала, и сумка перед зеркалом. И розовый зонтик стоял в углу. Словом, она больше не спала в столовой. И не надо было, стараясь не разбудить ее, завтракать на кухне.

Теперь все вместе завтракали в начале восьмого в столовой, и не только гречневой кашей. И как-то получилось, что не старушка-домработница, помогающая жить двум холостякам — старому и молодому, а энергичная хозяйка заботилась, чтобы в доме были чистота и порядок. Да, хозяйка, которую эти мужчины даже немного боялись. Но бояться было весело, как это ни странно!

...Однажды Ланской и Лиза одновременно подумали и одновременно сказали друг другу, что, пожалуй, пора бы расписаться.

Лиза поехала к матери, и они поговорили. Недолго. Она нашла мать подурневшей, постаревшей и глубоко, самозабвенно, опасно погруженной в себя.

Лизу она встретила равнодушно, хотя и не видела ее полгода. За кого выходит замуж ее дочь? Имени жениха даже не спросила. Только сказала: «Дай вам бог»,— и поцеловала Лизу.

Было более или менее ясно, что произошло. И стало совершенно ясно, когда тетя Шура, обрадовавшаяся Лизе, шепнула, провожая ее:

— Не приезжает.

— Кто, тетя Шура?

— Ну кто, кто! Этот.

После загса был обед в «Метрополе». У Матвея Борисовича, непривычно нарядного, в крахмальной белой рубашке и в черном костюме, который стал ему, к сожалению, немного тесноват, был торжественный вид. Поздравив новобрачных, он с неторопливым достоинством произнес длинную речь с цитатами из Овидия и Козьмы Пруткова.

Выпили за новобрачных, потом друг за друга, потом Борис сказал «горько» и поцеловал Лизу. Потом она тоже сказала «горько» и поцеловала Бориса. Говорили беспорядочно, ни о чем.

— А я боюсь,— вдруг призналась Регина Владимировна.— Вы думаете, что Лучинин доволен, что вы его отлупили? Он сговорится с парткомом и начнет меня есть. Ведь секретарь парткома — Лавровский, а они с Лучининым друзья. Сразу не съедят, ведь я жирненькая. А потом помажут горчицей, посыпят солью и съедят.

— Не посмеют,— возразил Ланской.— Я напечатаю в «Комсомолке» такую статью...

— Милый мой, вы его не знаете. У нас в парткоме, кроме Лавровского, все — бабы, и все до одной в него влюблены. А меня ненавидят и, между прочим, потому, что я не обращаю на него никакого внимания. А он... Вы не можете себе представить, как он на баб действует. Магически и гипнотически. Они вообще на меня сердятся.

— За что же?

— А за то, что я не поддаюсь гипнозу. И потом... Вот я страдаю оттого, что жирненькая, а они завидуют. И думают, что все дело в худобе. И что я мерзавка, потому что не страдаю, а вроде как даже радуюсь, что он меня до сих пор не осчастливил. Со света сживут. Пока Геннадий Павлович был жив...

Она замолчала. И все замолчали.

— Он меня учил,— со слезами на глазах сказала она,— от всех неприятностей прятаться в раскоп. Вот я и спрячусь.

Все встали и, не чокаясь, выпили за Веланского.

— Одна бутылка на четверых. Позор! — сказал Шубин и поставил пустую бутылку под стол.— Еще две,— сказал он официанту.

— Одну,— попросила Регина Владимировна.— Мне нельзя много пить. У меня склонность.

— Вот за вашу склонность и выпьем,— сказал Шубин.— Не огорчайтесь. За вас!

Лиза поцеловала его.

Впрочем, одно незначительное, но странное происшествие случилось за этим скромным и одновременно торжественным обедом. Регина Владимировна, любившая повторять, что ей нельзя пить, все-таки хватила лишнего, и, когда Шубин шепнул ей что-то на ухо, она, смеясь, показала ему кукиш.

ГЛАВА 30

Прошло с полгода, и книга «Трагедия Согдианы» вышла в свет. Темно-коричневый переплет, название золотыми буквами, имя автора — тоже золотыми другого оттенка. Триста пятьдесят страниц, двадцать тысяч экземпляров, для научной книги много.

Ланской перечитал ее и удивился, он помнил каждое слово. Две-три новые ссылки на Веланского и несколько новых комплиментов — немного Ланской добился с помощью своей нагайки.

Он поехал к Сергею Крамареву, заместителю главного редактора «Комсомольской правды»,— некогда в школе они сидели за одной партой. Длинный рыжий Крамарев, похожий на разговаривающую метлу, добродушный, поминутно запускавший пальцы в прямые длинные волосы, выслушал его, повертел книгу в руках и нерешительно спросил:

— Одолею?

— Ручаюсь. Читается как детективный роман.

— Ты, говорят, женился?

— Да.

— Счастливый человек. А вот я... Знаешь, как меня в редакции называют?

— Нет.

— Ездок по бабам. Своими ушами слышал. Не обиделся. Смешно.

Через неделю он позвонил.

— Рассказал главному. Заинтересовался. Благословил. Гони.

— Размер?

— Подвал.

Для задуманной статьи это было маловато. Но Ланской уложился. Через три дня статья была готова. К тому, что было у него в руках, он присоединил письмо Веланского Регине. Название придумала Лиза: «О совести в науке». Шубин прочел и одобрил.

Ланской отвез статью в редакцию и через две недели позвонил Крамареву.

— Ну как дела, Сережа?

— Мои ничего, а твои...

Долгое молчание.

ГЛАВА 31

— А ты не можешь заглянуть ко мне, Борис?

— Когда?

— Чем скорее, тем лучше.

И Крамарев бросил трубку.

Что-то неприятное почудилось Ланскому в этом коротком разговоре. В том, что Крамарев назвал его не Борей, как всегда, а Борисом, в длинной паузе, последовавшей за его первыми словами. И предчувствие оправдалось.

Крамарев, любивший много и неостроумно шутить, показался на этот раз Ланскому озабоченным, огорченным, мрачным.

Статья «О совести в науке» лежала перед ним на столе. Он взял ее в руки и, протянув Ланскому, сказал:

— Не пойдет!

— Позволь, как не пойдет? Ты же сам мне ее заказал!

— Да, заказал. Но обстоятельства изменились.

— Какие обстоятельства?

Наступило молчание. И какое-то неестественное, напряженное, вынужденное молчание. Казалось, Крамарев от души хотел объяснить старому товарищу причину, по которой статья не пойдет. И не мог. И стыдился. И сердился на себя за эту невозможность.

— Напрасно ты впутался в эту историю,— наконец с досадой сказал он.

— Как впутался? Я же тебе все рассказал.

— Ну, рассказал.

Крамарев вздохнул.

— Обстоятельства изменились,— тихо сказал он.

Ланской молча смотрел на него. Таким старого товарища он видел впервые.

— Ну, словом, меня вызвали к главному... И он мне сказал... Ну, это не важно, что он мне сказал.

— Не мучайся,—мягко сказал Ланской.— Я понимаю, что, прежде чем тебя вызвали к главному, ему позвонили... Словом, ясно, откуда ему позвонили.

И снова наступило молчание. Это были минуты, похожие на разговоры глухонемых. Безмолвный разговор, состоящий из вопросительных взглядов, на которые дается совершенно определенный ответ из беспомощно разведенных рук.

— Статья, между прочим, блестящая.

Снова помолчали.

— Ну, пойду,— сказал Ланской и бросил статью в портфель.

— Подожди, Боря! Я думал о тебе. Далась тебе эта археология! Ты засиделся. Тебе надо куда-нибудь съездить.

— Пожалуй. Куда?

— Да хоть в Керчь. Мы давно собираемся послать туда корреспондента.

— Почему в Керчь?

— Потому что оттуда рыбаки нам уже года три пишут.

— О чем?

— О том, что лов рыбы снизился и продолжает снижаться. Вот ты только у Лермонтова о Тамани читал, а между тем уже десять лет там происходит драма. И пишут не только нам. И в «Известия», и в «Правду».

— Там я должен выяснить, почему лов рыбы в Керченском проливе продолжает снижаться? Но ведь я ничего не понимаю в рыболовстве!

— Разберешься! Если ты в истории древней Согдианы разобрался, так что́ в сравнении с нею история Тузлинской косы!

— А что это за коса?

— Долго рассказывать. Возьми в отделе писем материалы и посмотри. Командировку я тебе оформлю на месяц.

— Почему на месяц?

— Потому что, дай бог, чтобы ты это дело за месяц распутал. Может быть, и два, и три просидишь. И знаешь что? Поезжай с женой. Вот тебе и свадебное путешествие. За казенный счет!

И повеселевшая рыжая метла оглушительно заржала.

ГЛАВА 32

Ланской не был очень огорчен, что его статья не пошла, хотя побаивался, что это известие расстроит Лизу. Но она спокойно заметила, что всегда подозревала Лучинина в связи с органами и, более того, думала подчас, что он состоит «наблюдающим» при ее покойном отце.

— И потом, Боря,— тихо сказала она и улыбнулась,— мы-то во всяком случае должны быть ему благодарны. Ведь мы жили бы, не зная друг друга.

Он засмеялся и поцеловал ее.

История с Тузлинской косой оказалась любопытнее, чем он ожидал. Впрочем, если бы даже она оказалась не такой любопытной, он все равно в ближайшее время удрал бы из Москвы, и то, что открылась возможность устроить, как сказал Крамарев, «свадебное путешествие», так ничего лучшего нельзя было и представить. Правда, оставался только август. В сентябре у Лизы начинались занятия. Но при одной мысли о такой поездке и ему и ей становилось весело. Кстати, Матвей Борисович тоже собирался воспользоваться отпуском в это же время.

Я надеюсь, что читатель еще не забыл, как Ланской уехал на Кавказ без чемодана, в кепочке и калошах. Но теперь он не бежал от изменившей жены. Наоборот. Он ехал с любящей, дельной и деятельной женой, которая спокойно и неторопливо приготовилась к отъезду. Калоши остались дома, зато было взято все, что могло пригодиться для жизни в течение месяца в дороге и в незнакомых местах.

В Джанкое была пересадка. Насилу выпросив два места в спальном купе, Ланской открыл дверь, приостановился и опустил чемодан на пол. Из темного купе пахнуло такой жарой, таким крепким мужским здоровым потом, что он пошатнулся. Была уже ночь, и в полутемном купе он различил двух голых мужчин, лежавших на верхних полках.

— Заходите,— радушно сказал один из них.— Вы один?

— Нет, с женой.

— Черт возьми, а мы в трусиках.

— Вот в них и оставайтесь,— сказала Лиза.

— Иначе невозможно.

— Понимаю. А может быть, дверь оставить открытой?

— Тоже невозможно.

— Почему?

— Мухи. Или, может быть, не мухи. Что-то летающее и кусающее.

Ланские, стараясь не шуметь, устраивались на нижних полках. Через несколько минут они тоже стали раздеваться.

— В Керчь?

— Да.

— Спокойной ночи.

Спать было трудно, но можно разговаривать, поминутно зевая. И тихо, беспричинно смеяться в темноте, просунув руку через купе с одной полки на другую. И чувствовать, что это счастье — ехать в Керчь или не в Керчь. Нет, именно в Керчь. Непременно в Керчь, чтобы увидеть — хотя бы с другого берега — места, где был Лермонтов и где его чуть не утопили.

Стало светать. Борис уснул, а Лиза, накинув платье, села к окну. Выжженная степь бежала за окнами поезда, желто-зеленая, покорная, слепая. Солнце, неторопливо поднимаясь, принялось за свое никогда ему не надоедавшее дело. Далеко в лиловом тумане время от времени начали мелькать какие-то белые домики. Непохожие на великанов Дон Кихота мельницы показывались и прощались, размахивая крыльями. Утренняя полутень рассеялась. На диких, побуревших от зноя травах засверкала роса.

«Все равно,— стучали колеса поезда, ворвавшегося в степное раздолье,— нам все равно».

«А вот мне не все равно!» — весело подумала Лиза.

Мужчины поднялись, весело разговорились, пошли умываться, вернулись. Сели завтракать, хотя по-прежнему было жарко и есть не хотелось.

...Мне кажется, что я добрался до тех страниц этой книги, когда пришло время передать перо моему герою. В самом деле, кто может лучше рассказать о Средней косе, чем он в своем очерке, напечатанном в «Комсомольской правде»?

ГЛАВА 33

«— Как, вы не знаете, что такое Тузлинская промоина? Да вам о ней расскажет в Керчи каждый школьник!»

И мой сосед по вагону, инженер-строитель, на папиросной коробке набросал очертания Таманского залива и знаменитую Среднюю косу с не менее знаменитой промоиной, которую он выразительно обозначил пунктиром.

В самом деле, немного времени нужно провести в Керчи, чтобы убедиться в том, что путь к сердцу любого керчанина лежит через эту промоину, или в просторечии «прорву».

Впрочем, в этом нет ничего удивительного. Керчь — город металлургов и рыбаков, причем каждый третий из металлургов в свою очередь любитель-рыбак. Все, что касается рыбы, встречается здесь с интересом, а пунктир, намеченный моим соседом на папиросной коробке, не просто касался, а, можно сказать, врезался в самую суть Керченского рыболовства.

Посмотрим на карту: налево — всем известные очертания Керченского полуострова. Направо — Таманский берег. Между ними — узкая полоска земли длиной в шестнадцать километров, как бы естественный мост между Кавказом и Крымом. Это и есть коса Средняя или Тузлинская. На нее-то и посматривают, вздыхая, керчане.

Коса эта лежит поперек Керченского пролива, по которому весной и осенью проходят огромные промысловые косяки хамсы, сельди, кефали. Весной — из Черного моря в Азовское, богатое кормами, а осенью — в обратном направлении. Естественная преграда — Средняя Коса — преграждает путь, и рыба по обеим сторонам косы успешно ловится и керченскими рыбаками, и приезжими — с Кубани и Дона.

Что же произошло? Почему о Средней косе так много говорят в партийных организациях Керчи, и в Рыбтресте, и в научно-исследовательском институте рыболовства? Случилось то, что в 1925 году косу размыло штормами недалеко от Таманского берега. Образовалась промоина, сперва маленькая, а теперь уже и большая, около четырех километров. Правда, неглубокая, но это не меняет дела. Рыба легко проходит в пролив, и ловить ее стало труднее. Снизился в особенности лов знаменитой керченской селедки. Закрылся некогда славившийся богатейшими уловами Камыш-Бурунский сельдяной промысел. Совершенно исчезли лещ, сазан, судак. К этим бедам присоединилась еще одна — быть может, самая главная: море продолжает размывать Среднюю косу, превратившуюся в остров, а на ней стоит рыбный завод, и живут люди.

Такую-то печальную картину нарисовал передо мной главный инженер Крымгосрыбтреста товарищ Денисенко. В заключение он посоветовал мне обратиться в Институт рыболовства, который специально занимался этим вопросом.

Без сомнения, он знал, что работники этого института придерживаются прямо противоположной точки зрения, то есть думают, что, если бы даже и удалось заткнуть «прорву», в крымском рыболовстве не изменилось бы ничего или почти ничего. И я, выслушав директора института товарища Сальникова, окончательно потерял представление о том, кто же все-таки прав.

— Конечно, следовало бы закрыть промоину,— сказал тов. Сальников.— А заодно укрепить и самую косу. Но выиграет ли что-нибудь от этой дорогостоящей затеи крымское рыболовство? Сомневаюсь. Нет биологических предпосылок, что, если промоину закрыть, в Таманском заливе будет задерживаться рыба. Задерживалась ли она там в былые времена — неизвестно. Свидетельства — устные и слегка смахивают, откровенно сказать, на бабушкины сказки.

Я робко спросил — что же это за биологические предпосылки — и тов. Сальников объяснил мне, что хамса не любит холодной воды и даже осенью в Таманский залив, сравнительно мелкий и быстро остывающий, все равно заходить не будет.

Я ушел от него с твердым убеждением, что на Среднюю косу нужно поехать — поговорить с народом и посмотреть на «прорву» собственными глазами.

Капитан суденышка только что уволился, матрос заболел, и мы пошли на Тузлу с одним «мотористом за всех», как он отрекомендовался, найдя меня на причале...

Хорош Керченский порт, раскинувшийся просторно, широко. Линия кавказского берега исчезает вдали. Это — Таманский полуостров.

Почему, осматривая рыбный завод, разговаривая с рыбаками, я нет-нет, да и поглядывал в ту сторону, где то затуманивалась в дымке, то прозрачно вырисовывалась эта нежная линия? Не знаю. Может быть, потому, что там была лермонтовская Тамань, вдруг вспомнившаяся с грустной и тревожной силой, а может быть, потому, что впервые в жизни я видел крымский и кавказский берега одновременно. Впрочем, и на узкой полосе земли, лежавшей между двумя морями, мне еще никогда не случалось бывать. На ней стояли дома — старые и новые, высокая горка соли белела рядом с бочонками, сложенными в штабеля, все несложное устройство рыбного завода раскинулось у причала, и крепкий запах смолы, мокрого дерева, рыбы встречал приезжего, едва он сходил на берег.

Я приехал не вовремя — санитарные врачи только что обследовали остров и, очевидно, нашли немало промахов по своей части; объяснение было в разгаре, и особенно пылко доказывал неправоту санпадзора высокий худощавый молодой человек с черными спутанными волосами. Врачи скучными голосами повторяли свои неопровержимые доводы, заместитель директора рыбнадзора, почему-то сидевший за столом в фуражке, слушал эти доводы с горькой улыбкой, а молодой просто потел — сразу было видно, что он, как говорится, «болеет» за дело.

Я шепнул заместителю директора, что приехал по поводу «прорвы», и он, заметно оживившись, кивнул мне с добрым заговорщическим видом.

— Это мы сейчас провернем,— сказал он.— Катя!

Девушка заглянула в контору.

— Катя, сходи за Слоном. Да живо! Скажи, что ждут его... Посидите.

В конторе было жарко, я вышел и, недолго постояв в тени, отправился вслед за Катей.

Признаться, я подумал, что Слон — это прозвище, и немало удивился, убедившись, что человек, которого я встретил, пройдя полдороги до причала,— решительно ничем не походил на Слона. Это был пожилой рыбак, без одной руки, лет, должно быть, пятидесяти, крепкий, загорелый, с утиным носом и маленькими глазами, умно поглядывавшими из-под выгоревших бровей. Мы поздоровались — вот тут-то и выяснилось, что Слон — это фамилия. Я объяснил, что интересуюсь «прорвой», и у него, к моему огорчению, стало недовольное скучающее лицо.

— Ох, ездят и ездят,— сказал он сердито.— А толку что? Чуть!

И он показал краешек ногтя — самую настоящую «чуть». Но поехать со мной к промоине все-таки согласился.

Идя к причалу, мы разговорились о том, как живут рыбаки на Средней косе, и оказалось, что в общем они живут неплохо.

— Нам бы еще милиционера,— сказал он,— и на́ тебе, республика как республика. Жилья мало, а то ведь к нам народ валом валит. Семейных не берем — вот что плохо! Холостому что! Рванул в путину — только его и видели. А семейные — солидный народ.

Мы уже сидели на катере. Запачканный, весь в масле моторист, показавшись из машинного отделения, спросил: «Запускать?», когда кто-то прыгнул с причала к нам и, прежде чем мы успели опомниться, ответил: «Давай!» Это был давешний черноволосый молодой человек, пылко споривший в конторе с врачами,— секретарь парторганизации Среднекосинского завода Жадан, как выяснилось несколько позже.

— Запыхался?.. — сочувственно спросил его Слон.

— Хорошенький, черт возьми, кросс! Я же видел, что вы уходите!

И не теряя времени, товарищ Жадан принялся рассказывать о житье-бытье среднекосинцев, о том, что санврачи составили неправильный акт, о том, что рыбзавод растет и уже сейчас выполнил или почти выполнил план, что орудий лова с 1932 года стало много больше и что все было бы хорошо, если бы удалось закрыть проклятую «прорву».

— Да мы бы здесь такой комбинат отгрохали — небу жарко,— сверкая черными глазами, сказал он.— Этакое место! Ведь сюда со всего Союза ездят рыбу ловить! И с Кубани, и с Украины, и с Дона. Здесь в путину по всему заливу невода стоят — некуда плюнуть! И подумать только — какая несогласованность!

Сложиться бы всем этим богатым колхозам, завалить промоину сообща — какая бы выгода всему государству была! Так нет же! Не доходят руки.

И он рассказал, что в прошлом году кубанские рыбаки поставили на месте промоины сети — поставили кое-как, неумело, и заграждение было вскоре сорвано штормом.

Чем ближе подходили мы к размытому краю косы, тем все больше волновался товарищ Жадан, да и неподвижный Слон как будто стал терять свою неподвижность.

— Вот они,— закричал вдруг Жадан.— Столбики! Я весной от этих столбиков уток стрелял, а теперь? Видите? Метров сто размыло,— с отчаянием сказал он.— Где столбики? Под водой.

Слон подтвердил, что размыло не меньше ста метров, и, походив недолго вдоль промоины,— убедившись, так сказать, в самом факте ее существования,— мы направились к видневшейся вдалеке узкой песчаной полоске.

— А там что? — спросил я Слона.

— Нужно посмотреть. Островок намыло.

Вот когда я снова убедился в том, как глубоко волнует керченских рыбаков история Тузлинской «прорвы». Куда девалось спокойствие бывалого Слона? С тревогой, с надеждой уставился он на эту полоску, лежавшую сравнительно недалеко от того места, где море некогда отделило косу от Таманского берега. А Жадан? О нем нечего и говорить. То и дело он шестом мерил глубину — а ну как нельзя будет подойти к островку!

Да, нельзя! Моторист заглушил двигатель, и несколько минут мы молча стояли на борту, глядели на островок, сверкавший под солнцем, как показавшаяся из моря светло-желтая рыба. Потом Слон решительно снял штаны и прыгнул с катера в воду. За ним последовал Жадан, за Жаданом — я, а за мною шест, который бросил моторист, чтобы мы замерили остров.

Что за чистый, лежавший крутыми слоями песок был на этом новом отрезке земли — новом, потому что в прошлом году здесь не было ничего, кроме моря! Как нежно и сильно блестели под солнцем ракушки! Как тонко нарисовались на песке следы птичьих ножек! И как близко сошлись здесь моря. Можно было, окунувшись в Азовском, спустя три минуты броситься в Черное!

Впрочем, среднекосинцы мои мало интересовались красотой природы. Слон уже бродил вдоль берега, беря в ладонь песок, и что-то выглядывал в нем острыми глазами, а Жадан, широко шагая, мерил остров шестом.

— Шестьсот метров в длину, тридцать пять в ширину,— с торжеством объявил он, вернувшись.— Вот, товарищи! Пока начальство раскачается — сама природа пошла к нам навстречу.

Трудно сказать, как посмотрели бы строители будущей дамбы на это «подспорье природы». Среднекосинцы уверяли меня, что появление нового островка — если его своевременно укрепить — в известной степени помогло бы решению задачи.

Солнце уже склонялось, когда мы пустились в обратный путь. Цапли сидели на стойках контрольных неводов, и необычайно отчетлив был тонкий рисунок их ножек и как будто втянутой в плечи надменной головки.

От Средней косы отвалил катерок, и Слон сказал, что это киномеханик отправился в Керчь за картиной. Жадан задумался, потом вдруг рассказал о себе, и простая история комсомольца, приехавшего с Украины к друзьям и увлекшегося делами и трудами рыбаков на Тузле, показалась мне чем-то сродни величественной простоте моря.

На обратном пути я завернул в Капканы — так называется один из самых богатых керченских рыболовецких колхозов. Рядом с ним расположился Сипягинский рыбзавод — тоже богатый, это видишь, едва подойдя к причалу. Чистые белые дома стоят на крутом, изрезанном дорожками берегу. На фронтонах и в лепных рамках — даты постройки и инициалы владельца. «Е. С.» было крупно вылеплено на одном из домов. Я спросил встретившегося паренька, что это значит, и он ответил:

— Евдоким Столяренко.

В Капканах — хороший клуб, хорошие магазины, и первое впечатление чистоты рабочей атмосферы, прочного, давно заведенного порядка охватывает

вас, когда вы разговариваете с людьми, торопливо отвечающими на ваши вопросы — торопливо, потому что они заняты делом.

Девушки кроили парус прямо на улице, пожилой мужчина с красным лицом и пышными льняными усами распоряжался работой. На вид ему было лет пятьдесят, а на деле — шестьдесят пять, как выяснилось несколько позже. Он был коренной рыбак, проживший в Капканах всю свою жизнь. «Стало быть,— подумалось мне,— помнит же он те времена, когда никакой «прорвы» не было и в помине!»

Еще бы не помнит! Едва я упомянул о «прорве», как и без того красное лицо покраснело еще больше, глаза засверкали и даже усы как-то распушились от волнения.

Подошли другие рыбаки, вышел из соседнего нового дома человек с добрым лицом, со страшными, падающими на глаза бровями — Борис Яковлевич Грибов, начальник цеха добычи Сипягинского рыбзавода, и на улице само собою открылось собрание, посвященное вопросу о прошлом и настоящем Керченского пролива.

Открыл собрание товарищ Грибов.

— Как видите, товарищи, я говорить не в состоянии,— невнятно сказал он,— ибо вчера мне вставили зубы — и не просто вставили, а на полтора сантиметра глубже, чем полагается согласно природе. Но поскольку вопрос касается «прорвы», я буду говорить. Буду!

Размахивая от возбуждения руками, один из рыбаков нарисовал на земле уже знакомую мне карту, и начался разговор интересный, потому что в нем главную роль играли не доказательства, а воспоминания.

— Разве такой лов был? — сказал пожилой колхозник с льняными усами.— Как в ловушку попадала рыба, и не день, не два крутилась, пока мы ее брали. Нет, дело ясное. Напишите, дорогой товарищ, попросту — что думает об этой прорве народ. А наука — пожалуйста! Честь и место! Но должна же и наука прислушаться к тому, о чем думает и говорит народ?

Он был прав. Нельзя пройти мимо всеобщего народного обсуждения. Необходимо укрепить Среднюю косу, пока она не исчезла с лица земли — ведь море-то беспрерывно продолжает свою разрушительную работу. Оно работает и сейчас, в эту минуту. Оно работает последовательно, неуклонно — совсем не так, как люди, которые годами уклоняются от решения важного жизненного вопроса».

ГЛАВА 34

Разумеется, автор этого очерка не мог рассказать о том, что поездка в Керчь была свадебным путешествием. Он назвал Керчь «городом рыбаков и металлургов». Между тем к этому определению так и просятся слова: «и историков Крыма». С вершины горы Митридат открывается панорама с лодками, обгоняющими друг друга, громадами лениво покачивающихся судов, и видно, что город возник и развернулся у подошвы горы.

Видны предместья, в отдалении дачи и нивы, а в легкую прозрачную погоду Лиза, у которой было снайперское зрение (это выяснилось на военных занятиях в университете), видела даже развалины какого-то монастыря.

Из оставшихся в памяти со студенческих лет лекций и единственной книги Занкевича «Керчь в прошлом и настоящем» Ланской развернул перед Лизой историю древней Пантикапеи, основанной греками в VI веке до Рождества Христова. Это была мать городов Босфорского государства.

Он рассказал ей о расцвете города, украшенного грандиозными памятниками архитектуры и ваяния, величественными храмами из паросского мрамора и зданиями из палисандра и кипариса, о Митридате Великом, который тринадцати лет был спасен верными слугами от коварной и честолюбивой матери, покушавшейся на его жизнь. О том, как он долго жил в Припонтийских горах, подвергаясь опасностям, развивавшим в нем силу и ловкость, о которых ходили легенды.

Рассказывая о величии и падении Митридата, Ланской чувствовал счастливую разлуку с одиночеством, которым он бессознательно в течение многих лет тяготился. «Куклу, набитую опилками» он любил, вопреки тому, что не мог

поделиться с ней тем, что он знал и над чем работал. Ничего не оставалось, как всматриваться в окружающую жизнь, замыкаясь в себе. Теперь ключ от всего, что он знал, задумал, рассказал в своих книгах, от его размышлений был в руках девятнадцатилетней жены.

Лунными ночами, когда, взявшись за руки, они поднимались до самой вершины горы, он наслаждался возможностью открыть себя, а она наслаждалась радостью узнавания.

Вернувшись в гостиницу, он в постели обнимал ее, и узнавание превращалось в страсть. Но ничему не мешало это превращение. По-прежнему оно было похоже на открытие новой неизвестной страны, или не страны — океана.

Океаном была его юность, когда он бродил с отцом по стране, помогая ему развертывать госпитали на фронтах гражданской войны. Океаном была поездка на Памир в 1925 году, когда он был «регистратором демографической переписи ЦСУ, знающим туземный язык». Он рассказал Лизе о неожиданных встречах во время разъездов по этой горной стране. Забытые богом поселки, которых даже нет на карте. Закутанные одинокие фигуры, безмолвно выплывающие из-за поворотов, останавливающие коня на пять минут, чтобы обменяться пятью словами. Государство горных всадников! На много месяцев он стал одним из них.

«На мне была кожаная шапка, ватный цветной халат, высокие кожаные чулки с бахромой на ляжках, мягкие сапоги и поверх остроносые афганские туфли». Потом он стал рассказывать ей о жизни поселков Чукотки. Работник пушной фактории, он подружился с чукчами и изучил их язык. Только большие очки отличали его от них, и чукчи называли его «тиндолиляккай» — «очкастенький».

А Лиза рассказывала о себе. Ей было десять лет, когда он плавал по Тихому океану, изучал китайские иероглифы и подписывал газетные корреспонденции «Странник».

Все это было полно для нее ошеломляющей новизны, но и Ланского не переставало радовать то, что он открыл в молодой жене. И не только радовать, но и восхищать.

Невозможно обменяться одиночествами, но им подчас казалось, что в числе других невозможностей удавалась и эта.

Лиза не помнила материнской нежности и, может быть, впервые узнала ее, познакомившись с Региной Владимировной, которая была на десять лет старше ее. Круг друзей и учеников отца был и ее кругом. Мать рано поняла, что ее молодость кончилась, когда она вышла замуж за старого человека. Эта догадка постепенно превратилась в уверенность. Жизнь не удалась. И появление дочери не в лучшую, а в худшую сторону направило ее жизнь. Она поняла, что «продолжение следует...» не будет. У нее были любовники и до Лучинина, она металась, и Лиза очень рано, еще ребенком, почувствовала, что матери не до нее, что мать любит ее только потому, что не может не любить. Вот почему шестилетней девочкой она потянулась к отцу, и он сделал все возможное и невозможное, чтобы скрасить детское одиночество — самое страшное из одиночеств. Но в его силах было немногое. Он был безнадежно, безвыходно, страстно поглощен наукой.

И характер девочки рано сложился в этой атмосфере правды и лжи, доверия и обмана. Она научилась строго судить себя и других, и приговоры были трезвыми, суровыми — так строго взрослые не судят. Встреча с Борисом не изменила ее или изменила только в одном: душа ее прежде томилась без дела, теперь дело нашлось. Оно раскинулось перед ней и захватило ее. Это дело было любовью к Борису.

ГЛАВА 35

До той минуты, когда за свадебным обедом Ланских Регина показала Шубину кукиш, Борис и Лиза не догадывались об их отношениях. Очевидно, что-то значил этот неожиданный кокетливый жест. Но несомненно было, что ни подвыпившая Регина, ни трезвый (хотя он выпил много) Шубин не хотели делиться с друзьями чем-то, что должно было до поры до времени остаться скрытым.

Вот почему Ланской был поражен, когда, вернувшись из Керчи, он позвонил Павлу Петровичу и в ответ услышал только два слова: «Приезжай, плохо». Голос был мертвый. Отчетливый, трезвый, но именно мертвый. Шубин не положил трубку, слышалось дыхание. Ему как будто мучительно хотелось теперь же, не откладывая ни на минуту, сообщить другу о чем-то, беспощадно ворвавшемся в жизнь. Но когда Ланской спросил: «Что случилось?», он с трудом выговорил, понизив голос: «Взяли Регину». В те годы было не принято пользоваться словом «арестовать». Говорили «заболеть», впрочем, главным образом, в телефонных разговорах и письмах. А в быту было принято грубое, как булыжник, «сажать». Были и другие синонимы, не менее выразительные: «загреметь», «замести» или, как сказал Шубин, «взять». А в печати было принято другое слово — значительное, торжественное слово, как бы предполагающее за арестованным неведомую вину — «репрессировать». Шубин сказал «взяли», но не это слово, а голос, которым он произнес его, раскрыл перед Борисом не только полное совпадение с любым из них. Мгновенным, но ослепительным светом оно озарило ту истину, смысл которой был трагически прост. «Им нравилось скрывать свою близость от всего мира,— думал в трамвае Борис,— и это, мне кажется, очень похоже на них». И он вспомнил кукиш Регины. «Это была игра. А ведь она едва ли моложе его, а выглядит гораздо моложе. И, помнится, у него как-то светлело лицо, когда он смотрел на нее. Он редко смеялся, а разговаривая с ней... Смеялся. И тогда — редко, но как-то светло. Регина любит его, и она действительно прелесть. Толстая, но грациозная. И смелая по-мужски. У нее брат в Париже, и это опасно. Что он там делает? Неужели она переписывалась с ним? Может быть. Она была способна и на такое безумство».

Шубин открыл ему дверь. Они обнялись.

— Рассказывай, когда это случилось?

— Третьего дня. Ночью.

— Ты был у нее?

— Да.

Он не стал объяснять, почему оказался ночью у Регины. Он понял, что Борис уже обо всем догадался.

— Я думал, что за мной. Предъявили ордер. Нет, за ней. Потом обыск. До трех часов дня. Шилом протыкали кресла, матрацы. Но они знали, что ничего не найдут. Знал и я. А Регина была спокойна. Она была спокойная,— почему-то повторил он.— А я... Я сразу стал сходить с ума. Ты не поверишь, я начал с ними спорить.

— О чем?

— Не помню.

— Слушай, Павел, очнись,— с досадой сказал Ланской.— Я тебя не узнаю.

— Я сам себя не узнаю.

— Ты сегодня завтракал?

— Да. Впрочем, кажется, нет.

— Ну вот что. Побрейся и умойся. И не забудь сунуть голову под кран. Приди в себя.

— Они опечатали ее квартиру. Я думал, что меня тоже возьмут. Но только допросили.

«Ему страшно»,— подумал Ланской. Это было очень трудно — представить себе, что Паша испуган. Глаза... «Ну, нечего врать самому себе. Он боится. Таким я его еще никогда не видал».

Он оставил его в кабинете и приготовил завтрак. Зажарил яичницу, вскипятил чай. Шубин неподвижно сидел в кресле. На журнальном столе лежали газеты. Ланской сложил одну из них перед Шубиным и поставил яичницу на газету.

— Ешь!

Шубин молчал.

— Да приди ты в себя, черт побери! — крикнул Ланской. Он грубо выругался и встряхнул друга за плечи.— Или я уйду, слышишь?

Шубин вздохнул.

— Пожалуйста, не кричи,— жалобно сказал он.— И не уходи. Я просто не знаю, что делать.

— Что делать? Поедем к отцу. Впрочем, он сейчас в клинике. Придется подождать, пока вернется. Посоветуемся с ним. У него есть очень близкий приятель еще с гражданской... Он... Не знаю, кто, но очень влиятельный человек. В ЦК. Или в Совнаркоме. Он может помочь. Но прежде всего очнись. Пока ничего страшного не случилось. Сегодня посадили — завтра выпустили.— Он говорил, не веря себе.— Но если ты будешь...

— Я его убью.

Борис не сразу понял.

— Ах, Лучинина... Может быть, это не он. У нее брат в Париже.

— Этот брат старше ее на двадцать лет. Регина никогда не видела его. Лет пять тому назад он прислал ей письмо. С каким-то дипломатом.

— Она ответила?

— Нет! — выкрикнул Шубин.— И письмо сожгла. А они его искали.

— Ничего они не искали! Может быть, они ничего не знают о письме. Они всегда прокалывают матрацы.

— Нет, это Лучинин! Я его убью!

— Никого ты не убьешь. Ешь яичницу. И попробуй уснуть. Ты ведь не спал прошлую ночь?

— Не знаю.

Ланской провозился с другом весь день. К вечеру тот уснул, и в этот день они с Матвеем Борисовичем не говорили.

ГЛАВА 36

Самым старым и любимым другом отца был Андрей Михайлович Чугай, хотя последние годы виделись они редко. Но причина заключалась не в том, что оба были с утра до вечера заняты, а в том, что положение их в обществе изменилось. Тогда Чугай был командиром конного полка, а Матвей Борисович служил в этом полку, а теперь, когда он собрался ехать к нему хлопотать за Регину, он по-прежнему был врачом, а Чугай стал видным государственным деятелем, кандидатом в члены Политбюро, имя которого было широко известно. Это был безупречный человек, глубоко порядочный, чистый. Матвей Борисович любил его, как брата, а Борис, сравнивая два поколения, не колеблясь, всегда поражался бесспорным преимуществам старшего перед младшим. Если необходимо было определить эталон порядочности, отец и сын всегда называли этим эталоном Чугая.

Матвей Борисович позвонил в его секретариат, попросил о встрече и был принят. Но не в учреждении, а у него на квартире.

Чугай обрадовался ему, познакомил с сыном, работавшим у Вавилова, и прежде всего стал заботливо расспрашивать, как живется старому другу, не нуждается ли он в чем-нибудь, не нужна ли помощь.

Это было трудно — сразу заговорить о Регине, и Матвей Борисович, давно не встречавшийся с другом, размяк и, растроганный воспоминаниями (которыми они занялись, перебивая друг друга), долго не мог перейти к разговору, который неизбежно должен был омрачить эти воспоминания. Вечер уже приближался к концу, шел двенадцатый час, и он наконец решился.

Чугай был сед, высок, костляв. Непослушные белые вихры беспорядочно торчали на большой голове, брови, тоже косматые, круто взбегали вверх. И в том, как опустились широкие плечи, сразу же показалось чувство, которого Матвей Борисович не ожидал и которое можно было, пожалуй, назвать страданием. Сразу стало ясно, что просьба, касавшаяся Регины, всколыхнула размышления, мучившие его и отрадно забытые в минуты воспоминаний. Но он заставил себя остаться спокойным, и это усилие было так очевидно, что, кажется, можно было коснуться его рукой.

Он прямо сказал, что ничего существенного сделать не может.

— Но постараюсь... Постараюсь...

И, провожая Матвея Борисовича, расцеловался с ним и повторил:

— Постараюсь.

ГЛАВА 37

Борис не знал, куда спрятать эту школьную тетрадь, в которую с каждым днем добавлялось несколько страниц. Это было бы легко, если бы можно было не думать о том, что каждой строкой подписывает свой приговор. Он начал эти записки случайно и, может быть, не начал бы, если бы не встретил Аню Верстовскую, девушку, в которую он когда-то был влюблен в Ленинграде.

Когда убили Кирова, бывшие дворяне были высланы из Ленинграда и вынуждены были бродить по стране без крыши над головой. Взрослые и дети. Некоторым из них впоследствии разрешено было вернуться. И вот тогда он снова увидел Аню Верстовскую. У нее всегда были сияющие голубые глаза, которые видели мир в голубом сияющем свете. Теперь глаза погасли. За преступление одного человека, кем бы он ни был, другой человек, очевидно, Сталин, приказал сделать несчастными тысячи ни в чем не повинных врачей, музыкантов, ученых, художников, инженеров. Он приказал им считать себя не несчастными, а счастливыми, потому что они были только высланы, а не расстреляны. А ведь могли бы и расстрелять!

Безумство и размах этого нового преступления поразили Ланского. Он знал, что погасший взгляд Ани Верстовской останется с ним навсегда. Он стал частью его жизни. Он участвовал в снах преследования, чудившихся ему каждую ночь.

Никто не должен был знать, что́ он пишет, даже те, кого он любил и кому доверял так же, как самому себе. Он ни с кем, даже с отцом, даже с Шубиным, не мог делить ответственность за эту книгу, каждая строка которой дышала опасностью, а может быть, смертью.

Но вот куда спрятать эту неизбежную смерть? Ведь надо было спрятать так, чтобы можно было по временам раскрыть тетрадь и заполнить новую страницу.

И он придумал. Между нижним ящиком письменного стола и дном было пустое пространство. Это было не самое лучшее решение. Другое нашла Лиза.

Много перемен произошло в квартире Ланских после того, как Лиза переехала к ним. Прежде всего надо было сделать ремонт, а для ремонта взять со сберегательной книжки деньги, которые ей оставил отец. Маляр нашелся знакомый. Обивку на мягкой мебели надо было сменить, а старые венские стулья, те самые, модные в девятнадцатом веке стулья фирмы «Братья Тонет, венская мебель», о которой некогда говорили: «Братья, тонет венская мебель», расшатавшиеся, чиненые-перечиненые, надо было просто выбросить или отправить в темную комнату за кухней—в очень старых квартирах еще можно было увидеть такую комнату неизвестного назначения—должно быть, в таких комнатах спала прислуга. И Лиза все-таки выбросила стулья, а комнатку, освещенную теперь электрическим светом, тоже велела оклеить светло-серыми обоями и вообще привела в порядок — кто знает, может, и она когда-нибудь пригодится.

Нельзя сказать, что отец и сын принимали деятельное участие в этой энергичной деятельности. Лиза редко советовалась с ними. Впрочем, обои они выбирали вместе с Борисом, недорогие, красивые, одноцветные, для каждой комнаты другого оттенка. А новую мебель — стулья в столовую, полки для книг, валявшихся в каждом углу,— с Матвеем Борисовичем. Чем был вызван этот выбор — осталось неизвестным.

Квартира Ланских помолодела, обновилась. Только две тяжелые бархатные портьеры на подкладке, висевшие на тяжелых дубовых карнизах перед дверьми в столовую и в кабинет Бориса, остались на месте. Побывали в чистке и вернулись, хотя теперь они выглядели особенно старомодными в помолодевшей до неузнаваемости квартире.

В сущности, необходимо было вернуть одну из них — ту, которая висела перед кабинетом Бориса. Но лучше было оставить и вторую. И Борису и Лизе показалось, что она отведет подозрение от первой.

А над первой была проведена операция — подкладка была вспорота, и между бархатом и подкладкой теперь находился карман. Не очень глубокий и не очень широкий карман, в который перебралась черновая тетрадь, наполовину исписанная рукой Бориса.

Портьера была постоянно раздвинута и не мешала открывать двери. И до тетради легко было дотянуться. В подкладке Лиза оставила небольшую прореху.

ГЛАВА 38

— Борис Матвеевич?
— Да, это я.
— Говорят из Управления.

Он не сказал, из какого Управления. Это было ясно. Голос показался вежливым, мягким.

— Мне бы хотелось увидеть вас, Борис Матвеевич. Не можете ли вы приехать к нам завтра, в десять утра?

С этого мгновения Ланской как бы отделился от себя и удивился, услышав свой голос. Голос, тоже вежливо, ответил:

— К сожалению, не могу. Очень занят. Может быть, вы будете так добры приехать ко мне?

Собеседник помолчал, и до Ланского донесся слабый отзвук его дыхания.

— Одну минуту,— сказал он.

И послышался еще более легкий отзвук какого-то разговора.

«Советуется»,— с дрогнувшим сердцем подумал Ланской.

— А кроме вас в квартире никого не будет?
— С десяти утра я — один. Отец в клинике, а жена в университете.
— Хорошо, я приеду.

Лиза возилась на кухне, и он не сразу рассказал ей об этом разговоре. Он бросил курить, а теперь снова захотелось. Где-то сохранились папиросы. В старом кожаном портсигаре. Он достал одну и закурил.

«Это не арест,— подумал он,— хотя могут арестовать и без обыска. Селивановского арестовали на улице. Но у меня был бы обыск».

Теперь сердце билось ровно, и можно было рассказать Лизе о том, что случилось. Еще ничего не случилось. И очень хорошо, что он не согласился приехать в НКВД. Он не знал, почему хорошо, и Лиза, которая пришла из кухни, тоже сказала, что она не знает. Но она не испугалась — вот это было действительно хорошо.

— Вообще, разговор странный,— сказала она и поцеловала его.— Ты куришь?
— Да вот, захотелось.

Ланской несколько раз пытался бросить курить.

— По-видимому, они в чем-то рассчитывают на тебя. Матвею Борисовичу ни слова.
— Сегодня понедельник?
— Да.
— Это удачно. Во вторник у него прием.

Они редко бывали в кино, но оба почувствовали, что с вечера начинают ждать. И они решили посмотреть новый фильм, о котором много писали.

Потом вечер перешел в ночь. Матвей Борисович спал, когда они вернулись.

Ничего не случилось, и можно было лечь, не опасаясь, что не удастся уснуть. Но когда она ночью проснулась, Борис лежал с открытыми глазами. Они не любили спать вместе, но в эту ночь она перебралась со своей кушетки к нему.

— Не спится?
— Да.
— Думаешь? Или вспоминаешь?

Она знала, что Борис вспоминает стихи, когда не может уснуть.

— Вспоминаю. Чтобы не думать.
— Кого?
— Ахматову. Забыл одну строчку. Потом вспомнил:

Не недели, не месяцы — годы
Расставались. И вот наконец
Холодок настоящей свободы
И седой над висками венец.

Больше нет ни измен, ни предательств,
И до света не слушаешь ты,

Как струится поток доказательств
Несравненной моей правоты.

Лиза прижалась к нему.

— Я тебя люблю.

Под утро ему удалось уснуть, и он встал с ясной головой. Она и прежде была ясна, ведь он часто работал по ночам.

Они позавтракали, Лиза уехала, и он стал ждать, не волнуясь.

Ровно в десять утра позвонили, вошел высокий молодой человек, худощавый, чисто выбритый, в новой черной кепке и легком темно-синем пальто. Он снял пальто. Костюм был тоже темно-синий, тоже новый. Галстук завязан аккуратно. Все впору, в меру. Лицо простое.

— Воробьев Петр Николаевич,— еще в прихожей назвал он себя.

Борис молча пожал ему руку.

— Захотелось поговорить с вами,— мягко сказал он, когда они прошли в кабинет.— Я читал ваши книги. Понравились. Вы ведь много путешествуете?
— Последнее время редко.

Закурили.

— Впрочем, недавно провел месяц в Керчи.
— Совершенно верно. Я читал ваш очерк. Вы хорошо пишете. Коротко и ясно.
— Как умею.

Это был холодный ответ. Но Борис так и решил держаться. Он еще не понимал, кто перед ним.

— У вас ведь, как у каждого писателя, много друзей.
— Не очень.

«Сейчас начнет спрашивать о Регине»,— подумал он и ошибся.

— Может, вы мне расскажете о них?
— Почему же не рассказать?

Он начал с самых известных, пользовавшихся заслуженным успехом.

— Конечно, они не похожи друг на друга, как полагается талантливым людям, но в одном отношении очень похожи.
— В каком?
— Можно не сомневаться в том, что они глубоко и безусловно преданы своему народу.
— Это ваши друзья?
— С некоторыми я близок, с некоторыми просто знаком. Самый мой близкий друг Павел Петрович Шубин. Я его прекрасно знаю, о нем могу рассказать подробно.
— Да нет, не надо. Мы его тоже знаем. У него было недавно большое огорчение. Репрессирована жена, Регина Владимировна. Что вы скажете о ней?
— Я убежден, что она ни в чем не виновата и не может быть виновата.
— Почему?
— Потому что она талантливый ученый и глубоко порядочный человек. Ни одного слова неприязни или критики по адресу советской власти, организации и отдельных лиц я от нее никогда не слышал.
— Ну, это мы оставим. Следствие разберется. Но ваше мнение будет принято во внимание. Мы вообще дорожим вашим мнением и, откровенно говоря, были бы очень благодарны, если бы могли время от времени посоветоваться с вами.
— О чем?
— Ну, это заранее трудно сказать. То и дело встречаются затруднения. Конечно, нам помогают люди разных профессий. Понимают, что нам поручено государственное дело и что у нас много врагов. Между прочим, помогают и писатели и журналисты.

Он замолчал, ожидая ответа. И не дождавшись, снова заговорил.

— Конечно, мы знаем, что вы заняты важной работой. И тоже, так сказать, государственной. И, между прочим, эта работа тоже направлена на утверждение советской власти. Я хочу сказать, что мы так понимаем нашу литературу. У нас задача одна. И вот теперь хочется, чтобы ваша помощь была, так сказать, конкретной.

Ланской молчал. Он понял, что перед ним — следователь. Зачем он пришел к нему? Догадка мелькнула, но он не поверил ей — она показалась ему невероятной. Теперь все стало ясно, и нужно было оставаться спокойным, хотя это было почти невозможно. Надо было придумать спокойный, убедительный ответ. Не просто ответ, а отказ? «Сказать, что я не могу ему пригодиться, потому что разговариваю во сне?» Случалось, что он действительно разговаривал во сне, пугая Лизу, не сознавая, не запоминая и удивляясь, когда она его будила. Но это показалось ему неубедительным. Ну и что же, что разговаривает, ему не собираются доверять государственные секреты. И он стал придумывать другой, более убедительный довод.

— Вы не подумайте, что мы намерены отнимать у вас много времени. Раз в месяц, на пятнадцать минут.

Ланской молчал. «А, к черту! Просто скажу, что не могу. И баста».

Может быть, это решение как-то сказалось на разговоре, хотя следователь — это стало ясно с первых слов — был туповат и, без сомнения, не обладал способностью угадывать мысли.

Он сказал еще что-то в прежней, уговаривающей манере и, снова не дождавшись ответа, заговорил в другом тоне.

— Ну-с, я к вам пришел не в молчанку играть. Я пришел, чтобы выяснить, намерены вы нам помогать или нет?

— Я понял,— сказал Ланской. Ему казалось, что он спокоен.— Нет, не намерен.

— Почему?

— Не могу. Ведь придется притворяться и врать. А у меня это просто не выйдет. Все сразу поймут, что я...

Ему захотелось сказать — стукач, но он удержался.

— Тут, знаете, очевидно, надо быть немного актером. А я начисто лишен актерского дарования.

— А ведь Управление располагает материалами, никому неизвестными, и они на выбор будут предложены вам! Тут не один роман можно написать, а собрание сочинений. Да вы такое узнаете, что никому и не снилось!

Это предложение было легко отклонить. В ответ Ланской прочел ему, нарочно стараясь говорить сложно, длинную лекцию о том, как пишутся романы. Примеры он бесстыдно приводил не из собственного опыта, а из биографии Тургенева и Льва Толстого.

Следователь молча смотрел на него. Может быть, он понял, что с Ланским надо говорить как-то иначе.

— Ну, как хотите,— миролюбиво сказал он и, покопавшись в портфеле, вынул лист бумаги. И Борис неприятно удивился, когда следователь положил лист на стол и взялся за перо.

Слова становились тяжелыми, опасными, превращаясь в какую-то часть его существования, и вместе с тем они были отторгнуты от него. Слова можно было взять в руки и унести от него.

Краешком сознания Борис отметил, что бумага очень хорошая. Он любил хорошую бумагу. Теперь он жалел, что отказался без основательной причины. «Все-таки можно было придумать, и он придумает, когда следователь уйдет. Но в такие минуты ничего не приходит в голову». Протокол лежал перед ним вверх ногами, и он прочел несколько фраз. В одной из них была грамматическая ошибка. «Не вздумай исправлять ее»,— медленно проплыло в его сознании. Следователь писал тщательно, долго. Время от времени он что-нибудь спрашивал и терпеливо выслушивал ответ. Капельки пота выступили на низком лбу под густыми жесткими волосами. Он достал платок, вытер лоб, откашлялся и продолжал писать.

За окном потемнело. Пошел дождь. Множество событий происходило в мире. Рождались и умирали люди. По дорогам мчались автомобили. На аэродромах выходили из самолетов пассажиры. По улицам Индии бродили священные коровы. В Испании началась гражданская война. А следователь Воробьев все писал и писал. «Черт возьми, а ведь я не предупредил Пашу. Он может прийти».

Кто-то позвонил по телефону. Борис не подошел.

— Возьмите трубку,— сказал следователь.

Борис послушно снял трубку и услышал короткие гудки.

Наконец следователь кончил.

— Прочтите и подпишите.

То, что Борис сказал о Регине, было записано слово в слово. «Хорошая память». Он подписал протокол, и следователь дружески протянул ему руку. Он почему-то вспомнил, что еще в тридцать четвертом году знакомый врач, просидевший всего четыре месяца, сказал ему: «Я не мог спать, когда видел, что после допроса следователь был доволен».

Он ушел, но что-то, связанное с ним, осталось. Может быть, легкий запах дешевого одеколона? Нет. Не в комнате, а в нем самом, в Борисе Матвеевиче Ланском, гражданине СССР, тридцати семи лет, журналисте.

Стоило бы, пожалуй, записать разговор, но некогда. Он уже был занят: ждал Лизу. Следователь сидел в двух шагах от портьеры.

То, что ему предложили, называется профессиональным обманом доверия. Необходимо было проглотить это предложение, а он не мог его проглотить. Оно застревало в горле. Царапало горло. Оно было необкатанное, дурно пахнувшее, мешающее вздохнуть полной грудью и заставившее его открыть форточку, хотя было холодно и сыро.

Лиза ушла из дому в плаще и вернулась замерзшая. Он рассказывал и дышал на ее руки, целовал их и дышал. Следователь взял с него расписку о неразглашении. Он плевал на эту расписку и рассказывал. Ведь это значило рассказать себе.

— Я все время думала о тебе. Помогло?

— Да. Кроме тебя мне помогло воображение. Ведь я действительно не могу. А он уверен, что на свете нет людей, которые не могут.

— Что же будет теперь? — спросила Лиза.

— Ничего не будет. Вообще, со мной ничего плохого никогда не будет.

— Ты завтракал?

— Да нет, какого черта! Мне не хочется есть. Ты знаешь, я бы выпил чего-нибудь. Коньяку.

Лиза засмеялась.

— Я забыла. Ты завтракал. Со мной. Коньяку нет, есть «Саперави».

— Это хуже, но все равно. Давай.

— И вообще, пора не завтракать, а обедать.

Она достала из буфета вино и две рюмки.

— За твое «не могу».

— К дьяволу. Забудем об этом.

— Забудем,— согласилась Лиза.— Ты хочешь девочку или мальчика?

Он кинулся целовать ее.

— Подожди, я, может быть, ошибаюсь.

ГЛАВА 39

Ей всегда хотелось похудеть, хотя Паше нравилось, что она пухленькая. Теперь по юбке стало видно, что похудела. Кормили какой-то дрянью, а она любила поесть. И вдруг принесли передачу. Это было прекрасно. Значит, за нее хлопочут, и, может быть, все обойдется.

Может быть, просто вышлют из Москвы. Ну и что же! Она отправится на раскопки, и Паша приедет к ней. Он знает, что она не может жить без него. А он без нее. Впрочем, в этом она была не очень уверена. И вообще, до поры до времени лучше о будущем не думать. Уже было много хорошего. Ведь ей уже минуло тридцать, и она вообще сомневалась, что когда-нибудь выйдет замуж.

В тюрьме есть библиотека, и однажды она попросила часового, заглядывавшего в глазок, принести ей какую-нибудь книгу. Он не ответил. Оставалось вспоминать. И она вспомнила о том, что казалось давным-давно забытым. Отец был реставратор, и, может быть, она унаследовала от него любовь к старине. А мать пела в хоре. «Девушка пела в церковном хоре». Она не была очень религиозна, но соблюдала праздники, и маленькой Регине нравилась служба. Должно быть, она была хорошенькая в шесть или семь лет. Какие-то люди приходят в гости. Она им нравится. Они называют ее куклой. Родители смеются. Но ей хочется показать,

что она не кукла, а девочка, и она начинает энергично хлопать глазами. Как это было в «Войне и мире»? «Вспоминаешь-вспоминаешь, и начинает казаться, что вспомнила то, что случилось, когда ты еще не появилась на свет».

Вот при свете керосиновой лампы она складывает слова из картинок. На каждой картинке какой-нибудь предмет или животное, а под ним первая буква, с которой начинается слово. Под зайцем буква «З», под самоваром «С». В доме кто-то ждет маму. Я составляю слово «хлеп». Он смотрит и поправляет. И она из вежливости соглашается с ним. Не спорит. Гость в рясе и сапогах. С ним невежливо спорить.

А вот окно, которое нельзя назвать окном, потому что оно состоит из косо поставленных брусьев железа. Но все-таки через это неокно видны полоски серого неба. Это неокно опускается вниз и становится все больше и больше. Вот это уже дверь, которую своей большой рукой открывает Паша. И входит. И обнимает ее, как будто ничего не случилось. Она любит целовать его руки и целует, и никто не мешает им сесть в машину. Он за руль, она рядом. И только что была Москва, и вот уже не Москва, а широкая дорога между высокими белыми тополями. Это Памир, Хорог. И они мчатся по этой горной дороге. Все выше, выше. Из хижин выходят люди и весело машут им вслед. Куда деваться? Куда спрятаться от счастья? Она свободна! «Ты свободна, ты свободна!» — слышится в шуме ветра. И становится счастьем все: тополя, дорога, ветер. Просторнее и радостнее с каждой минутой. К ним выходят. В каждом доме для них накрыт стол, но почему-то нельзя остановиться. Паша третий день за рулем. Нельзя. Надо торопиться. Их ждут в Согдиане.

Она открывает глаза. Это сон? Серые стены. Серый пол. Под потолком неокно, но через него теперь видны полоски голубого неба.

ГЛАВА 40

Минуло полгода, и беда, ворвавшаяся в жизнь Павла Петровича Шубина, устроилась, обжилась, обленилась. Ей стало легче. Она была не одна. Она была всеобщая, всенародная, и перед ней открылись многие двери. Ее легко узнавали в лицо. И от нее некуда было уйти. К соседу Шубиных в шесть часов утра позвонила молочница, и он, решив, что пришла беда, выбросился из окна и разбился насмерть.

Павел Петрович не мог сжиться с ней, хотя по временам очень старался сжиться. Он жил в трех кварталах от Бутырской тюрьмы и терзался мыслью, что не может ничем помочь жене, которая тоже мучилась и которую, может быть, мучили. За что?

Шли процессы, шла мутная кровавая игра. И всем своим существом он чувствовал, что это — игра, что виновные судили тех, кто не был и не мог быть виновен. Но даже догадаться об этом чувстве было преступлением. «До сих пор нам запрещали говорить, а теперь нам запретили молчать»,— сказал с горечью Борис.

Театры были полны, у Мейерхольда шла «Дама с камелиями», в Камерном — «Оптимистическая трагедия».

Но он не ходил ни в кино, ни в театр. Отупение, в котором его застал Борис, когда арестовали Регину, прошло, но ежечасное, без устали мучившее его беспокойство осталось. Он начинал в заводской многотиражке, он всю жизнь работал. Он много писал о людях науки, это помогало ему не лгать. Это была работа, заставлявшая думать. Теперь думать ни о ком и ни о чем, кроме Регины, он не мог.

И вдруг она позвонила.

Сперва мужской голос сказал: «Павел Петрович? Передаю трубку».

А потом он услышал ее голос. Ее, совсем другой, чем прежде, как будто придавленный чем-то очень тяжелым, но ее, ее голос.

— Паша, это ты? Ну, как ты?

— Родная моя.— У него сорвался голос.— Ты здорова?

— Паша, мне разрешили получать передачи. Пришли. Только не слишком помногу. Целую тебя.

И все оборвалось. Может быть, не она, а кто-то другой бросил трубку.

Он минуту постоял с закрытыми глазами. Что это значит? Это хорошо или плохо? Голос без интонации. Ей было разрешено позвонить. Почему? Ему прежде не приходилось слышать, чтобы из тюрьмы звонили. Передачи разрешены. Только не слишком много. Этого добился Чугай. Конечно, немного, ведь масло или мясо негде хранить. Матвей Борисович поедет к Чугаю, надо поблагодарить. Но отчего как камень на сердце легло это неожиданное разрешение?

Он поехал к Ланским, и они обрадовались. Борис был уверен, что Чугай добьется. Возможно, что он добился и того, что ей разрешили позвонить. Неохотно, но согласились.

— И почему ты думаешь, Паша, что это было нужно не ей, а следователю? А при чужом человеке она не могла сказать что-нибудь нежное. Она сказала только то, что ей разрешили. Но ведь был ее голос?

— Да. И не ее.

— Это тебе показалось.

— Нет, не показалось. Или ее, но разглаженный, как утюгом.

— А я тебе говорю, что это Чугай!

— Может быть. Но тогда почему он сделал это через полгода?

— Он сделал это, когда обещал. Давно.

— Тогда почему он не позвонил Матвею Борисовичу? — спросила Лиза.

— Потому что у него нет ни одной свободной минуты.

— Вздор! У него секретариат.

Шубин сидел, схватившись за голову. Лиза погладила его по руке. Шубин поцеловал ей руку.

— Голова раскалывается.

— Полежите, Паша. Дать вам таблетку агрофена?

— Две.

Едва закрыв глаза, он заснул на диване в столовой и проспал долго, часа два. Смеркалось. Что-то поздно вернулся домой Матвей Борисович. Что-то долго он снимал пальто в передней. Он рассердился, когда Борис хотел повесить пальто,— не любил, чтобы ему помогали. Что-то слишком долго мыл руки в ванной.

Он молча съел первое. Таким он возвращался домой, когда пациент, которого лечил Матвей Борисович, умирал. Потом молча съел второе. Потом сказал:

— Чугай арестован.

ГЛАВА 41

Ланской не удивился, когда следователь позвонил ему снова,— что-то было недоговорено в прошлый раз. Он знал, что добровольных осведомителей и без него, без сомнения, хватает. Почему Управлению был нужен именно он? Впрочем, не стоило теряться в догадках.

— Борис Матвеевич? Здравствуйте, это Воробьев. Вы еще не забыли меня?

На этот раз он решительно отклонил приглашение приехать к Ланскому.

— Сегодня в десять вечера, третий этаж, комната 41, пропуск будет оставлен.

Тон был не допускающий возражений.

— Могу и не вернуться,— после долгого молчания сказал Лизе Борис.

— Нет, ты вернешься. Может быть, что-то переменилось? Но до сих пор за несогласие не сажали.

— Родная моя, откуда ты это знаешь? Расписку о неразглашении подписывают все. Могут посадить, а потом с тебя возьмут такую расписку.

— Ну, посмотри мне в глаза.

Ланской засмеялся и посмотрел. Потом поцеловал, не только в глаза.

— Хочу мальчика,— сказал он.

— Придется подождать, я ошиблась.

— Жалко.

Теперь она засмеялась.

— Очень?

— Да.

— Ну, ладно. Я постараюсь.

И день прошел, как будто ничего не случилось.

Правда, в квартире стояло что-то тяжелое, вроде каменной бабы. Но они старались не смотреть на нее. Лиза не поехала в университет. Часов в шесть она сказала, что ему нужно поспать.

— Нет, разденься.— Он хотел лечь, не снимая костюма.— И постарайся уснуть. Может быть, тебе предстоит бессонная ночь.

Он послушно разделся, лег, но не уснул. Дремота иногда подступала, но что-то неизменно прогоняло ее. Глупо было готовиться к разговору, но он невольно готовился. И в воображении разговор удавался.

В девять часов Лиза пришла и огорчилась, что он не уснул.

— Не вышло, черт побери,— сказал он.— Но ты не беспокойся. Голова ясная. А там, мне кажется, станет еще ясней. Но знаешь что, мне хочется взять с собой что-нибудь твое. На счастье.

— Мне бы тоже хотелось. Но что?

Туалетный столик с трехстворчатым зеркалом переехал из столовой в кабинет-спальню. Лиза открыла ящик, другой, казалось, она искала что-то и ей не удавалось найти. Но вот удалось.

— Отец, когда ему запретили курить, подарил мне вот эту трубочку.

И она показала мужу маленькую трубочку, изящную, украшенную тонкой бисерной цепочкой.

— Это не трубочка, а мундштук,— сказала Лиза.— Видишь, чубук крошечный. Не для табака. Без сомнения, следователь предложит тебе закурить. Кури и крепко держи ее в руках. Я ее заговорила.

Она засмеялась сквозь слезы.

— Ну, поезжай.

— Еще рано. Послушай, я давно хотел спросить тебя,— сказал Ланской.— Вот я смотрю на тебя и не понимаю. Откуда ты взялась такая? И неужели тебе только двадцать лет?

— Двадцать один. А какая «такая»?

— Ну, не знаю. Как будто ты уже прожила одну жизнь. И как ни в чем не бывало взялась за вторую.

— А я живу сразу и в первой и во второй. Но не как ты, а как-то иначе. Тебе пора.

— Ты счастлива со мной?

Лиза снова засмеялась.

Он ушел, унося с собой ее последние слова: «Нет, несчастна». И потом: «Ни пуха ни пера».

Как будто он шел на экзамен.

ГЛАВА 42

Борис удивился, найдя, что комната, номер которой ему назвал Воробьев, заперта. Какие-то люди прошли мимо него по коридору, смеясь. И странно прозвучал смех в этих стенах. «Впрочем, странно для меня,— подумал он.— А для них нисколько не странно».

Следователь пришел через четверть часа.

— Виноват, опоздал. Обедал.

Комната была пустая. Серые пустые крашеные стены. Два стола. В правом и левом углу.

— Садитесь.

Ланской сел. Следователь был и похож и не похож на того высокого простоватого парня, с которым Борис разговаривал на Стромынке. Тогда его можно было принять не за следователя, а за обыкновенного заводского слесаря или монтажника. Теперь в его обыкновенности появился оттенок угрозы.

— Обдумали вы наш разговор, Борис Матвеевич?

— Нет, Петр Николаевич.

— Почему?

— Потому что я о нем не думал.

Это был дерзкий ответ. «Но, может быть, так и надо держаться»,— как прежде подумал Ланской.

— Вот вы говорили о своих друзьях. Московских. Но почему-то о других, не московских, вы промолчали.

— Так ведь у меня много друзей. И на Чукотке, и на Памире, и на Кавказе.

— Увиливаете,— хмуро заметил следователь.— Я говорю о друзьях, а не о случайных знакомых. В Ленинграде у вас есть друзья?

— Конечно.

— Назовите.

Это был уже совсем другой разговор. Не добродушный, как на Стромынке, а требовательно-резкий. Теперь следователь стремился доказать, что Ланской неискренен, что-то скрывает, следовательно, виноват. А раз виноват, следует искупить свою вину. Чем же? Миролюбивым сотрудничеством, которое должно было отнять у него час или два в месяц и на которое он почему-то, без всяких причин, не соглашался.

И многое стояло за этим отказом. Стояла обидная уверенность, что Воробьев занимается сомнительным делом, а он, Ланской, считает себя выше его. Не желает им заниматься. Товарищ Сталин сказал: «Революцию нельзя делать в белых перчатках». А вот этот интеллигент в толстых очках, называющий себя советским гражданином, гордится своими белыми перчатками и не желает помогать людям, которые занимаются государственными делами.

Как на белом листе бумаги, Ланской прочитал эти мысли, и это было мгновение, когда ему стало ясно, что этот долговязый нескладный парень, который, должно быть, совсем недавно сменил свою косоворотку на нарядный пиджак, как говорится, «не тянет» в сравнении с ним и не в силах заставить его, Ланского, переломить себя, потерять доверие к людям и служить этому «обману доверия».

Говорили уже добрый час. Из ленинградских друзей Борис назвал Аню Верстовскую и удивился, когда следователь спросил:

— Это которая как дворянка была выслана из Ленинграда?

«Все знают, черти»,— подумал Борис с досадой.

— Да. Но она вскоре вернулась.

— А вы дворянин?

— Да. Но не из тех Ланских, один из которых женился на вдове Пушкина.

— А из каких?

— По-видимому, из рода Сергея Степановича Ланского, бывшего декабриста, а потом министра. Отец не интересовался нашим происхождением, а я интересовался.

— Вашего отца мы знаем. А кто еще, кроме Верстовской?

— А еще Евгений Рутенберг, мой одноклассник.

— Профессия?

— Океанолог. Между прочим, сын того Рутенберга, который убил Гапона.

Воробьев не знал, кто убил Гапона, и Борису пришлось прочитать ему небольшую лекцию по истории боевой организации эсеров.

Шел первый час ночи, когда, ничего не добившись, следователь позвонил кому-то и сказал виноватым голосом:

— Петр Николаевич?

У Ланского мелькнула мысль, что он с какой-то целью назвал собеседника собственным именем. Вскоре он убедился, что у них были одинаковые имена.

— Вот разговариваем мы с Борисом Матвеевичем. Упирается он. Отказывается. Не согласен.

Тон был почтительный.

Ланской не знал, что ему ответили, но это стало ясно, когда через несколько минут в кабинет вошел какой-то человек, которого, очевидно, прислал второй Петр Николаевич. Он, небрежно кивнув Ланскому, сел за второй стол. Низенький и неприятный. В форме, но без знаков различия. Подпоясан ремнем, на котором висела кобура с револьвером. В том, что кобура не пуста, Ланской вскоре убедился, потому что, перебирая для вида какие-то бумаги, он, как бы между прочим, ввязался в допрос и положил перед собой револьвер. Ланского револьвер не испугал, на что, очевидно, был расчет. Но лицо вошедшего увеличило душевную напряженность. Это было лицо звериное, скуластое, с грубыми, твердыми, злобно поджатыми губами, с низким лбом, над которым торчком стояла толща прямых волос.

Со стороны могло показаться, что он мешал Воробьеву. На деле помогал: неожиданными вопросами сбивал Ланского, обрывал на полуслове.

Курили, и Борис не выпускал из руки мундштук-трубочку, которую «заговорила» Лиза. Каким-то чудом в ней воплотилось все, что было до этого допроса. И крепко сжимая трубочку, он как будто держался за это прошлое, за встречу с Лизой, за ее ласковое «ни пуха ни пера», за ночь рядом с ней, когда он вспоминал стихи, за счастье, вошедшее вместе с нею в его жизнь.

Почему-то Воробьев снова заставил Бориса повторить имена ленинградских друзей. Вдруг он крикнул, стукнув кулаком по столу:

— А вы знаете, что один из ваших друзей сказал, что готов хоть голым, в чем мать родила, оказаться за границей!

Ланской спокойно ответил:

— Кто же, по вашим сведениям, решился сделать такое заявление? Шубин, Верстовская? Рутенберг?

— Это вы должны ответить.

— А я ничего подобного никогда от моих друзей не слышал.

Через полчаса Петр Николаевич снова позвонил Петру Николаевичу, повторив, что «упорствует, отказывается Борис Матвеевич».

— Ну что же, пойдемте,— положив трубку, сказал он.

Они спустились на второй этаж. Второй Петр Николаевич был нимало не похож на первого. Плотный, в очках, лет тридцати, с квадратным лицом, на котором застыло выражение пытливости, он встретил Ланского вежливо, предложил папиросы, чай. Видно было, что он смертельно устал, преодолевает себя,— и Борису стало ясно, что сейчас на него обрушится эта усталость, и бессонные ночи, и сдержанная, но острая досада, что к тем важным делам, которыми он занимался, присоединилась еще и необходимость уламывать Ланского только потому, что с этим ничтожным делом не справился его подчиненный.

Было, должно быть, уже часов пять утра, когда Воробьев, у которого был виноватый вид, оставил Ланского в этом комфортабельном кабинете. На стене висел портрет Сталина, под ним стоял книжный шкаф. За стеклами шкафа видны были смутно знакомые корешки переплетов.

— Что ж, значит, не желаете нам помогать? — спросил следователь.— Считаете себя избранником богов, которому не к лицу черная работа?

Ланской не знал, что в Управлении существует литературный отдел — может быть, под каким-нибудь другим названием. Второй Петр Николаевич был, без сомнения, начальником этого отдела, и подготовленным, начитанным,— это стало ясно в первые же минуты допроса. Он не стал, как Воробьев, ловить Бориса на мелочах. Он опрокинул на него всю его работу за двенадцать лет, представив ее как антисоветскую,— тут-то он и показал начитанность, изумившую Ланского. Он, оказывается, читал все статьи о книге «Крутой поворот», статьи, в которых автора громили за «буржуазное реставраторство». Книгу «Четвертый рейс», которая была осуждена критикой за «бездарную мистификацию», он оценил как «мещанский индивидуализм». Ланской был и остался — как он утверждал — скрытым врагом советской власти, а теперь, когда ему предоставляется возможность хотя бы в малой степени искупить свою вину, он ломается, отказывается, ускользает.

— Вы неправы,— дождавшись паузы, спокойно сказал Ланской.— Вы цитируете рапповские статьи, а РАПП в тридцать втором году был распущен и деятельность его признана вредной. И никакой я не враг советской власти. Если был бы врагом, вы посадили бы меня, а не стали вербовать. Мои книги вы оценили пристрастно. В «Крутом повороте», например (он вспомнил разговор с Шубиным), нет никакого буржуазного реставраторства. Это вообще вздор! Книга посвящена грандиозному опыту преобразования деревни. И даже слепому ясно, что я за это преобразование, а не против.

Ему показалось, что второй Петр Николаевич слегка оторопел. Должно быть, в этом комфортабельном кабинете ему до сих пор не случалось выслушивать возражения.

— А вы, оказывается, упрямый,— с блеснувшим злобным огоньком сказал он.

— Да уж не взыщите! Но и вы должны понять, что я даже вообразить себя не могу в этой роли. Понимаю, что отказываться небезопасно. Или даже опасно. Послушайте, Петр Николаевич! Вы думаете, у меня не хватило бы воображения, чтобы вас обмануть? Я мог бы придумать тысячу причин для своего отказа. Мог бы! Но не хочу.

Следователь внимательно, долго смотрел на него и, как показалось Ланскому, с интересом. Что-то очень простое, человеческое мелькнуло в этом квадратном, холодном, усталом лице.

«Вспомнил детство,— почему-то подумал Ланской и спрятал Лизину трубочку в карман.— А, к черту! Будь что будет!»

Разговор возобновился. Снова начались обвинения, упреки, угрозы. Но что-то переменилось в этом разговоре, и Ланской, едва веря себе, почувствовал, что следователь уступает, отступает, отпускает его. И не ошибся.

— Можете идти.

...И ведь что любопытно: Воробьев пошел его провожать, и они еще не спустились с лестницы, как между ними уже установились совершенно другие отношения. Ему понравилось, что Борис устоял, и это невольно проскользнуло в уважительном тоне, манере держаться, в том, что они, как добрые знакомые, закончили неприятное дело и заговорили об испанской войне и даже о погоде. Он предложил Ланскому машину, и тот не отказался. Наступало темное туманное предзимнее утро.

ГЛАВА 43

Он вернулся измученный, но довольный. Лиза не переставала его ждать. Это было трудно — не смотреть на часы. Так трудно, что она устала не меньше, чем он. Она провела в этой борьбе с собой только одну ночь. Но какая это была долгая, бесконечная, карающая (за что?), беспощадная ночь. Напрасно она уверяла себя, что так не бывает. Приходят с ордером, обыскивают, приезжает «черный ворон», увозит. Нет, все бывает! Берут и на улице. Судят без суда. Расстреливают без приговора.

Она давно не плакала, кажется, с того дня, как умер отец. Но когда стало светать, а его еще не было, она не могла удержаться от слез, хлынувших потоком, неудержимо.

Но она плакала не только потому, что уже светает, а его еще нет. Она плакала оттого, что ничего нельзя изменить. Все белое стало черным. Над милосердием смеются, и некому пожалеть ее. Она плакала, потому что все, во что она бессознательно верила, рухнуло. Потому что сумрачная жизнь сотен тысяч таких, как она, в черных обломках лежит перед ней.

Тысячи женщин, таких, как она, в темноте, в тесноте, в слепоте плачут, не стараясь уснуть.

На всем беспредельном пространстве России плачут женщины, как Ярославна в Путивле на городской стене. Плачут, всматриваясь вдаль, не появится ли там князь Игорь? На щите или со щитом?

Бессонные ночи. Опасно закрыть глаза. Еще, не дай бог, увидишь то страшное, о чем стараешься не думать.

Она еще плакала, когда он вернулся, побледневший, осунувшийся, но спокойный.

Боже мой, он вытирает ей слезы, целует, рассказывает! Нет, не рассказывает.

— Потом расскажу. А сейчас стакан чаю и спать, спать. И интересно, что этот грозный следователь совершенно переменился, когда увидел, что не может меня переубедить. Нет, я говорю не о том, который никогда не переменится. Тот просто жалеет, что напрасно потерял время. Я говорю о долговязом парне, который был у меня. Мы заговорили как равный с равным. Я вернулся домой в его машине.

Он забыл, что решено было ничего не рассказывать сегодня, потому что голоден и устал, как дьявол.

И все происходило одновременно: он пил, ел, целовал Лизу и все-таки рассказывал, пока Лиза почти насильно не увела его в кабинет.

— И ты ложись,— потребовал он.— Нет, не со мной, а на свой диванчик. А отцу мы оставим записку, что работали целую ночь. И очень устали. И чтобы он нас не будил.

ГЛАВА 44

Когда прошел день, заменивший ночь, и был съеден ужин, соединившийся с завтраком и обедом, черновая тетрадь была извлечена из портьеры. Потом пришел обеспокоенный Шубин, который звонил десятки раз и не мог дозвониться. И вернулся из клиники Матвей Борисович, которому все было доложено точно и кратко. И все собрались в кухне, был задан долгожданный вопрос — все равно кем, потому что он был у всех на устах: как поступить?

О Регине было сказано на допросе два-три слова, очевидно, ее дело вел другой следователь. И Ланского к этому делу не пристегнули.

— И вообще, почему они именно за меня ухватились?

— Ну, это ясно,— сказал Шубин.— Широко известно, что ты услышишь что-нибудь вроде,— он понизил голос,— «Мы живем, под собою не чуя страны» и останешься дома, не побежишь, куда надо. Кому же довериться, если не тебе? Они были убеждены, что тебя мама изготовила из воска или из глины, и ты действительно в своих толстых стеклах производишь впечатление мягкого человека. Ты им очень нужен.

Матвей Борисович сидел, опустив голову. Сын пожалел его:

— Ну, пап, что с тобой? — с беспокойством спросил он.— Почему ты молчишь? Со мной ничего не может случиться.

— Все может случиться. Сегодня посадят тебя, завтра меня, а послезавтра, не знаю кого, может быть, Лизу. Я ничего не понимаю.

— Логически рассуждая, то есть нелогически рассуждая, посадят прежде вас всех меня. Муж арестован — сажают жену, жена арестована — мужа. Так что из перечисленных вами преступников первый кандидат — ваш покорный слуга. И, между прочим, Боря, мне кажется, в известной мере как раз застрахован.

— Почему? — все одновременно задали этот вопрос.

— Потому что они убедились, что с ним придется долго возиться.

Раздался звонок. Все вздрогнули.

— Нет, это телефон,— спокойно сказала Лиза и засмеялась, потому что все потащились за ней в прихожую, где висел аппарат.

— Я слушаю,— она помолчала и повторила: — Нет, вы ошиблись. Две последние цифры не 53, а 58.

— Эх вы, мужчины,— сказала она, когда все вернулись на кухню.— Посадят не посадят. Пока посадили только Регину. Она жива и здорова. Разрешили передачи. Неожиданно разрешили пользоваться библиотекой. Кое-кто, правда, немногие, возвратились домой. И вообще, мы, кажется, собрались, чтобы решить, как должен поступить Боря. Между прочим, он даже не изволил сообщить нам, что он сам-то думает — как поступить.

— Да что тут думать? Для меня все ясно. Надо удирать.

ГЛАВА 45

В каждом доме висела карта Европы, на которой Испания была обведена красной чертой. Висела она и у Ланских в столовой. Линия фронта, отмеченная крошечными флажками, вилась, пересекая Эстрамадурскую дорогу. Эти флажки втыкал Матвей Борисович, напрасно искавший в Испании сходство с нашей гражданской войной.

О чем бы ни говорили, любой разговор сводился к Испании. В каждом доме читали корреспонденции Эренбурга и Михаила Кольцова.

Испания — это было то немногое, о чем можно было говорить, спорить, обсуждать, открыто сочувствовать, открыто желать добра, победы, удачи. Не пройдут! Но пасаран! Можно было открыто ненавидеть Франко, который стремился лишить Испанию свободы. Если приходится врать, что у нас свободная страна, так пускай хоть Испания, черт побери, будет свободной! Известно было, почему русские летчики, танкисты, моряки сражаются на стороне республиканцев под испанскими именами — договор о невмешательстве. Дон Антонио, дон Педро — это было трогательно, увлекательно, романтично.

Десятиклассники и студенты приходили в военкоматы с просьбой, чтобы их отправили в Испанию. Им отказывали. Обойдутся без вас! Они уходили расстроенные, огорченные. Черт возьми! А ведь мы показали бы этому Франко, где раки зимуют.

ГЛАВА 46

— Надо удирать,— сказал Ланской.

— Куда?

Это спросили все.

Он не успел ответить. Снова послышался телефонный звонок.

— Тебя, Боря,— сказал Шубин.

Ланской взял трубку.

— Это ты, карась-идеалист? — услышал он веселый голос Крамарева.— Куда пропал?

— А что случилось?

— А то, что обстоятельства опять переменились. Главный вызвал. Гони свою статью.

— Какую статью? После «Средней косы» я для тебя ничего не писал.

— А до «Средней косы»?

— Ту статью ты мне вернул.

— Как она называлась?

— «О совести в науке».

— Вот-вот. Это насчет того прохвоста, который украл работу Веланского?

— Да. О книге Лучинина «Трагедия Согдианы».

— Когда ты можешь мне ее притащить?

— Да хоть завтра.

— Гони. Там нужно будет, помнится, вставить несколько строк. Но это — мелочь. Впрочем, важная мелочь.

В аппарате что-то щелкнуло, тоже весело, как показалось Ланскому. Он повесил трубку.

— Ничего не понимаю? Что это значит?

— А я понимаю,— зазвеневшим, торжествующим голосом сказал Шубин.— А я понимаю.— И он радостно потер руки.

— Попал в пятачок, вот что это значит! Мог промахнуться и уже начинал думать, что промахнулся, но оказалось — попал. Есть у тебя вино?

— Есть. «Саперави».

— Давай твою «Саперави», хотя это кислятина, а не вино. Простите, Матвей Борисович, я забыл, что вы любите «Саперави». Что касается меня, то я предпочитаю коньяк.

— Да скажи наконец, что случилось?

— Скажу. Вот сядем за стол, выпьем, и скажу.

Бутылка «Саперави» была пуста, когда он кончил свой, впрочем, недлинный рассказ.

— Мне кажется, вы все знаете, что во Франции у Регины есть брат. Как он попал туда, она не помнит. Он старше ее на двадцать лет. Но однажды она получила от него письмо. Не почтой. Кто-то принес из посольства. И между прочим, не ушел от нее, пока она не написала ответ. Я читал письмо. Очень ласковое, с французскими словами. Обращение было такое: «Дорогая сестренка!» Спрашивал, не нужно ли чем помочь, просил прислать фотографию. А к этому письму приложил свою. После обыска фотография, конечно, исчезла, но я, не будь дурак, записал адрес. О себе он почти ничего не сообщил, впрочем, что-то было в двух словах и в шутливом тоне. Вроде «Я теперь, как видишь, „персона грата“». И действительно, фотография была роскошная, цветная. У нас таких еще нет. В саду, на фоне белого дома, обвитого виноградом,— высокий седой человек в генеральской форме. Мне не случалось видеть французских генералов, но на кителе нашивки, а на груди ордена. Один я узнал — Почетного легиона. Но еще какие-то. Много. Старый, но подтянутый, статный. Регина говорила, что смутно помнит его молодым. А теперь не узнала. Помню, меня поразило, что письмо такое ласковое. Видно, что помнит и любит. «Ты не можешь приехать ко мне?

Я сейчас в отпуске, в Ницце». Чудак! И вот когда ее посадили и прошло месяца три — второе письмо, тоже через посольство. Он, конечно, не знал, что с ней случилось. Прочел в каком-то научном журнале перевод ее статьи о Пенджикенте. Радуется. Счастлив, что у него такая ученая сестра. Благодарит за ответ, спрашивает: «Ты замужем?» Тоже очень ласковое письмо. Принесли, а квартира ее опечатана. Узнали у соседей мой адрес и принесли письмо ко мне. Ну, я попросил этого дядю из посольства подождать. Кстати, это был не дядя, а какой-то молодой человек, прекрасно говоривший по-русски. И была не была, написал... Ну, все написал! И то, что посадили ее в тюрьму, очевидно, по ложному доносу одного прохвоста, и почему этот прохвост написал донос, и что она ученица Веланского, которого знает весь мир. Словом, все, что с ней случилось. Бывают минуты, когда голова не просто ясная, а пронзительно ясная. Вот с такой головой я ему и писал. Кстати, кое-что удалось узнать. Он теперь не генерал, а кто-то в правительстве. Может быть, он поговорил с каким-нибудь послом во Франции, а тот с Литвиновым. А что? — спросил он по-детски.— Вполне возможно. Такая история уже была. Профессор Гартох, микробиолог, был освобожден по просьбе французского правительства. Лизочка, гоните вторую бутылку.

ГЛАВА 47

Важная мелочь, о которой в телефонном разговоре упомянул Крамарев, заключалась в том, что в статье Бориса не был упомянут Сталин. Правда, к открытию древней Согдианы он не имел прямого отношения, но сослаться все-таки было необходимо. Под диктовку Крамарева Борис вставил в статью несколько строк. Все в стране происходило под мудрым руководством Сталина. Следовательно, и древний Пенджикент был открыт под его руководством.

Крамарев вызвал секретаря.

— В набор,— сказал он и отдал секретарю статью.

— Но может быть, ты все-таки расскажешь мне, что случилось.

— Честное слово, не знаю. Просто сцена повторилась. Тогда редактор вызвал меня и сказал: «Не пойдет», а теперь вызвал и сказал: «В один из ближайших номеров». Ты понимаешь, конечно, что и тогда и теперь ему позвонили сверху. Но, знаешь, тогда это «сверху» было одним, а теперь другим. Совсем другим,— значительно подняв брови, сказал он.— Но, понятно, по договоренности с первым. Но Лучинин, мне кажется, не очень пострадает. Он, думается, под надежным прикрытием.

— Да черт с ним!

Крамареву позвонили, и Борис долго, терпеливо ждал, когда кончится длинный разговор.

— Извини,— прикрыв трубку ладонью, шепнул Крамарев.— Ты не торопишься?

— Нет. Мы не договорили. Я хотел спросить,— сказал он, когда Крамарев освободился,— у вас в Испании есть свой корреспондент?

— Нет. Изредка пишет Савич. Редко. Он корреспондент ТАСС. Кстати, хорошо пишет.

— Поговори с главным. Возьмите меня.

Крамарев подумал. Просьба была обыкновенная. Он слышал ее не в первый раз. И принял ее спокойно. Как будто Ланской попросил послать его не в Испанию, а в Тулу.

— Я думаю, согласится. Ему нравятся твои статьи. Статью о Согдиане он читал и, по-моему, жалел, что ее сняли. Да, кстати, ты там отдаешь должное ученице Веланского. Как ее там?

Борис назвал фамилию.

— Ты знаешь, что она арестована?

— Знаю.

— Так вот, я спросил главного: «А как быть с Дессон?»

— И что же он ответил?

— А ничего не ответил. Слушай, а может быть, ее уже выпустили?

— Едва ли. Я бы об этом знал. Когда позвонить насчет Испании?

— Да хоть завтра.

— Ты ему скажи, что я все равно непременно поеду. Не возьмете, буду проситься через военкомат.

— Тебя не возьмут.

— Почему?

— Потому что с такими глазами можно писать, но нельзя стрелять. Но ты не волнуйся, я думаю, мы пошлем. А теперь извини.

— Ты меня извини. Задержал.

— Вздор! Я всегда рад тебя видеть,— сердечно сказал Крамарев.— А помнишь «Санька наврал!».— Это воспоминание относилось к Александру Ивановичу Турбину, любимому учителю и горькому пьянице, которого вся школа называла Санькой. Однажды он написал на доске сложное алгебраическое уравнение, и лучший в классе математик Шурка Каплан, решавший любую задачу в десять минут, вдруг закричал с торжеством: «Санька наврал!»

— Сережа,— сказал Ланской, крепко пожимая руку Крамарева,— мне надо уехать.

ГЛАВА 48

Регина заболела, потому что ей не хватало воздуха. В камере было душно. Дома всегда, зимой и летом, она спала с открытым окном. Паша огорчался, но она его приучала. На прогулке — пятнадцать минут — она старалась поглубже дышать.

Зима была холодной, и она простудилась. Потом, когда у нее уже была высокая температура, она вспомнила, что в одной книге Чарской девочка зимой открывает форточку, чтобы надышаться морозным воздухом, заболевает и умирает.

Ее положили в отдельную палату. Это было странно. А может быть, не очень странно. Что-то переменилось в отношении к ней. «Чтобы не заразить соседей,— подумала она.— Чтобы подсадить кого-нибудь. Может быть, она выболтает что-нибудь в бреду? Или просто потому, что ей „шьют крупное дело“».

Бред начался, как всегда, когда у нее поднималась температура выше 39 градусов. И это был веселый, хотя и мучительный бред. Веселый потому, что ей дарили цветы, а однажды принесли широкий и длинный шелковый шарф и хотели накинуть на плечи. Но она отбивалась, смеясь и крича, что это мужской французский шарф и что женщины таких шарфов не носят. А мучительный потому, что краешком сознания она понимала, что это не шарф, а саван и она умрет, как девочка из повести Чарской.

Но иногда, когда она приходила в себя, и ее не душила мокрота, и можно было не так судорожно-коротко дышать, и переставало болеть в боку, она чувствовала себя прекрасно. Или не очень прекрасно, потому что вдруг оказывалось, что она лежит в поту и что ее обтирают мокрым полотенцем. И очень жаль, что ей было то холодно, то жарко. Она не знала, что случилось бы, если бы ей не померещился этот шарф, может быть, мелькнула бы надежда.

Она жаловалась, как дети. Сто лет тому назад тюремный врач сказал, что у нее острое воспаление легких. Но даже когда он ушел, она продолжала жаловаться. Кому? Кажется, Паше. Она просила, чтобы его пустили к ней, а его не пускали. А может быть, ей только приснилось, что она просила?

— Не беспокойтесь, доктор,— однажды сказала она,— я всегда очень плохо переносила высокую температуру. («А ему-то что беспокоиться? Может быть, ему даже хочется, чтобы я умерла».)

Но, очевидно, почему-то ему не хотелось. Он приходил дважды в день — утром и вечером. И она разглядела наконец, что у него доброе озабоченное молодое лицо. Он заставлял ее глотать какие-то лекарства, ставил банки, менял перцовый пластырь и уговаривал есть. Даже когда ей было очень плохо. А когда температура упала, то он несколько раз выводил ее в коридор и вежливо разговаривал, пока проветривалась палата.

И вот однажды, когда он разрешил ей сидеть и читать, и сам принес ей Стендаля, и выслушивал ее не с озабоченным, а со спокойным лицом, к ней явил-

ся следователь. Тот самый, который кричал на нее, ругался по матери и бил по щекам, утверждая, что она участвовала в отравлении какой-то фруктовой воды, доставлявшейся в Кремль.

Теперь он не бил ее по щекам. Регине всегда нравились блондины высокого роста, широкоплечие, с военной выправкой, со светлыми глазами. Но хотя следователь тоже был статный, с прямой шеей, широкоплечий и со светлыми глазами, эти глаза заставили Регину вздрогнуть и мгновенно перенестись из этой палаты в другой мир. Глаза были холодные и жестокие. Глаза отказывались улыбаться, хотя они, как это ни странно, старались изображать улыбку.

— Добрый день, Регина Владимировна,— поздоровался он.— Ну как вы? Похоже, что совсем молодец.

Регина хотела вежливо ответить, но не вышло. Губы задрожали.

— Легко себе представить, как вам надоело у нас! Да еще заболели! Ну, не беда. Теперь поправились, и все будет прекрасно.

Она была еще слаба, чтобы справиться с нахлынувшими чувствами: страхом, отчаянием, страстным желанием не видеть его или самой раствориться, исчезнуть. Она была бесконечно сильнее, когда он допрашивал ее, когда она возражала, доказывала, отказывалась подписать, даже смеялась. Теперь он мог сделать с ней все что угодно. Заставить сознаться, что она была шпионкой фашистской Германии. Сознаться, что она хотела отравить Сталина фруктовой водой. Сознаться, что она всегда была врагом советской власти. Сознаться, что она принадлежала к группе японских разведчиков. Или не японских, английских.

Но он говорил... Да, боже мой, мало ли что он говорил! Нельзя верить ни одному его слову.

Когда он в третий раз сказал: «Вы свободны»,— она потеряла сознание.

ГЛАВА 49

Академический отпуск не давали, и пришлось пойти к проректору, которому Лиза неожиданно рассказала все. И что мать пыталась покончить самоубийством, и что Матвей Борисович затосковал после отъезда сына и решил уйти на пенсию. И что ей приходится уговаривать его этого не делать, потому что он не может жить без работы. И что ей приходится разрываться между матерью и Матвеем Борисовичем.

Конечно, надо было начать с отъезда Бориса в Испанию, но это было настолько важнее академического отпуска, что как-то не вмещалось в разговор. Проректор слушал внимательно, но с оттенком недоумения, пока она все-таки не упомянула о Борисе. К Испании присоединился еще один вопрос: «Вы дочь академика Веланского?» И соединение этих двух бесконечно далеких друг от друга фактов решило вопрос. Из того, о чем Лиза рассказала проректору, самое трудное, отнимавшее у нее больше всего времени и сил, было то, что она боялась оставлять мать надолго.

Тетя Шура, ненавидевшая Лучинина и радовавшаяся тому, что он бесследно исчез, продолжала ругать его в присутствии Агнии Илларионовны, несмотря на запрещение Лизы. Одно это обстоятельство мешало забыть его, а ведь когда все душевные силы направлены на страстное желание забыть, откуда-то являются другие душевные силы, постоянно напоминающие, что забыть невозможно.

Агния Илларионовна всю жизнь плохо спала, а последние годы совсем не могла уснуть без снотворных. А между тем, ведь если принять очень много снотворных, можно уснуть так крепко, что между «проснуться» и «воскреснуть» не остается зазора.

Именно это и сделала Агния Илларионовна, и хотя реанимация была новостью в середине тридцатых годов, ее сердце, готовое остановиться навсегда, удалось заставить вернуться к работе.

Но это могло повториться, хотя Лиза тщательно пересчитывала порошки и каждый день оставляла матери не больше, чем она принимала всегда. Но, как известно, человек может покончить с собой не только с помощью снотворных. Он может повеситься, может вскрыть себе вены. И для того, чтобы этого не случилось, приходилось убеждать Агнию Илларионовну, уламывать, доказывать...

В чем убеждать, что доказывать, если жизнь действительно не удалась и одинокую больную женщину ждет одинокая старость?

А вот и доказывать, что не одиночка, что у нее есть дочь, которая ее любит и у которой когда-нибудь, может быть, будут дети. А ведь внуки — это такая прелесть! И что все случившееся с ней не несчастье, а счастье, потому что подлинным несчастьем была вся ее минувшая жизнь. Наконец, ей далеко до старости, она красивая, и, между прочим, очень хорошо, что она похудела. Что на свете существует многое кроме того, чем она жила до сих пор и о чем думала непрестанно. Есть природа, есть Уланова, есть живопись, литература. Есть музыка — ведь она когда-то прекрасно играла на рояле, и Гольденвейзер, с которым она была знакома, сказал, что ей надо серьезно учиться. Ведь она талантлива. И наконец Лизе стало казаться, что мать прислушивается к ее уговорам. Может быть, потому, что на лице Агнии Илларионовны, слушавшей ее все внимательней, однажды мелькнула улыбка.

— Не я, а ты талантливая,— сказала она.

— Я?

— Да, ты. Талантливо убеждаешь меня, что черное — белое и что нам жить незачем и нечем. И что не стоит постоянно думать о себе, тем более, что в душе ничего не найти даже с помощью микроскопа.

Все это было делом, требующим терпения и заставившим Лизу в конце концов переехать к матери. Ей удалось сделать это, потому что Регина каждый день ждала Матвея Борисовича и ухаживала за ним не хуже, чем Лиза.

Выздоровление Агнии Илларионовны, или то, что можно было, пожалуй, назвать возвращением к жизни, началось с того вечера, когда она попросила Лизу познакомить ее с Региной. И когда Лиза, пораженная этой просьбой, переспросила:

— С Региной Дессон?

— Да, и не удивляйся, пожалуйста. Мы, как это ни странно, сестры по несчастью.

(Каким образом могли оказаться сестрами по несчастью Агния Илларионовна, которая любила Лучинина, и Регина, которая его ненавидела,— над этой загадкой Лиза долго ломала голову и не догадалась. Впрочем, одно предположение Регина все-таки сделала: «Может быть, она хочет меня убить?»)

В тот день, когда эта просьба была высказана, Лиза постаралась принять ее спокойно.

— С удовольствием,— сказала она матери.— Ты ведь знаешь, что мы очень близки.

— Знаю. И вообще знаю то, о чем ты не имеешь никакого понятия.

И Лиза вскоре убедилась, что мать совершенно права. Она действительно не знала, например, что статья Бориса появилась в «Юманите», и что в Лондоне состоялось заседание, посвященное открытиям Веланского, бесстыдно украденным его ближайшим учеником. Она не знала, что о книге Лучинина было подробно рассказано в той же «Юманите» с блестящими комментариями известного писателя-коммуниста Владимира Познера, который юношей уехал в 1920 году в Париж.

«Так, может быть, статья Бориса была напечатана после того, как брат Регины передал письмо Шубина в «Юманите»? — подумала Лиза.— Поднялся шум, и мы были вынуждены сделать вид, что нам вся эта история прекрасно известна. И ни при чем тут французское правительство, как думает Паша...»

Агния Илларионовна приоделась перед встречей, и Лиза подумала, что если бы не подкосившее ее несчастье, она была бы совсем еще недурна. Похудела, постарела, но сохранились изящество, умение держать себя с достоинством, приветливо и радушно. Она была еще «постановна», как сказала тетя Шура. Такой она и встретила Регину.

Накануне этого свидания Лиза спросила мать, оставаться ли ей дома или уйти.

— Конечно, останься. Ты будешь мне помогать.

Это была новая загадка. Впрочем, задуматься над ней уже не было времени.

И Регина приоделась. В тюрьме ее заветная мечта осуществилась: она похудела и постаралась (даже посоветовалась об этом с врачом) сохранить эту молодившую ее внешность.

Нет, Агния Илларионовна, очевидно, вовсе не собиралась ее убивать. Они до сих пор были мало знакомы, хотя Регина часто бывала у Геннадия Павловича, а когда он болел, даже дежурила по ночам у его постели. Но малознакомые люди при встрече не целуются. А вот Агния Илларионовна сперва пожала Регине руку, а потом притянула ее к себе и крепко поцеловала.

Уселись за обед. Тетя Шура, о которой Лиза всегда говорила, что если бы ее жизнь сложилась счастливее, она без сомнения стала бы доктором наук, очевидно, прекрасно поняла все значение встречи. Стол был сервирован севрским сервизом, который до сих пор стоял без дела на буфете для украшения столовой, а обед состоял из четырех блюд и завершился мороженым со свежей клубникой. Где она в октябре добыла клубнику, осталось загадкой.

Разговор начался очень простой, без предисловий и сразу в откровенном дружеском тоне.

— Вы, должно быть, заинтересовались, почему я назвала нас сестрами по несчастью?

— Да, признаться, и Лиза и я долго размышляли над этими словами.

— И не догадались? — улыбаясь, сказала Агния Илларионовна.

— Нет.

— Ведь он... вы знаете, о ком я говорю?

— Еще бы.

— Он нас обеих постарался угробить. Только вас простым способом, который называется «секим башка» и который не отнял у него много времени. А меня он мучил долго. Пытался сделать преступницей и, в конце концов, только когда я стала умирать, отступил. Ведь я о его доносе знала, или, точнее, не знала, но с большой вероятностью догадывалась и должна была предупредить вас.

Она замолчала. На столе стояло «Цимлянское», но она взяла из буфета коньяк и налила его в высокую рюмку на тонкой ножке — рюмку, из которой пьют не коньяк, а вино.

— Мамочка, не надо!

— Нет, надо! — твердо сказала она и медленно опорожнила рюмку, закусив коньяк ломтиком лимона. Регина подсела к ней поближе.

— А я этого не сделала.

Она снова замолчала. И не удержалась от слез.

— Не надо, Агния Илларионовна,— сказала Регина, ласково погладив ее по руке.— Ну, хорошо. А что произошло бы, если бы меня предупредили? Пришлось бы куда-нибудь удрать? Скитаться из города в город, без крыши над головой? И потом, если бы я удрала, значит, виновата. Вы напрасно мучаетесь. Ничего бы не изменилось.

— Нет, изменилось! Потому что я вдруг поняла, кто передо мной. Не переставать любить, несмотря на то, что человек, за которого ты готова жизнь отдать, тебе изменяет, это трудно. Но что поделаешь? С ума сходишь от ревности и все-таки любишь. Ведь я знала, что у него были любовницы. Я даже была на выставке одной из них — очень талантливой художницы, между прочим. И с балериной, первой женой Бориса, он жил. Ты, Лиза, не говори Борису об этом. Может быть, это будет ему неприятно. Я тысячу раз клялась его бросить и не могла.

И Лиза и Регина сидели оглушенные, ошеломленные, опустив головы, не смея поднять на нее глаза. И обе, обменявшись единственным взглядом, поняли, что не надо ее останавливать, что она должна высказаться до конца. Что ей станет легче, если она выскажется до конца. Что надо молчать и ждать. И они молчали и ждали.

— Тут я поняла, что такого человека стыдно любить. Что любить такого подонка, как он, это значит сделаться таким же грязным подонком. Вот вы — женщины молодые, а я старая, все равно мне кажется, только женщины могут это понять. Это было, как если бы я, много лет таскавшая на плечах ношу, под которой едва переставляю ноги, вдруг сбросила ее. Ведь это, девочки, очень трудно,— жалобно сказала Агния Илларионовна и заплакала.

И Лиза и Регина, едва не столкнувшись лбами, бросились ее обнимать.

ГЛАВА 50

Если судить по расцветке, по низким перилам на крыше, старенький автобус когда-то принадлежал туристскому агентству. Он был набит до отказа, но Паши среди будущих бойцов интернациональной бригады Ланской, к сожалению, не нашел.

Кого-то ждали. Шофер, развалясь, мурлыкал песенку. Прошло минут двадцать, и во двор влетел белый автокар, в котором сидели фламандцы в спортивных куртках,— некоторых из них Ланской встречал в Париже. Среди них он с радостью увидел Шубина. Ланской окликнул его.

— Ах, это ты? — сказал Шубин с неожиданным удивлением, хотя не было ничего неестественного в этой условленной встрече.

Они обменялись рукопожатием. Едва Шубин втиснулся на единственное оставшееся свободным место, перпиньянский распорядитель поднялся в автобус и, помолчав, обвел всех внимательным взглядом.

— Внимание, товарищи,— сказал он.— Мы пересекаем границу совершенно легально. Вы — испанцы, которые возвращаются на родину. При таможенном досмотре прошу вас соблюдать полное молчание. Окна не открывать. О чем бы вас ни спрашивали, в ответ — ни слова.

И руководитель группы уселся на свое место рядом с шофером, где обычно помещается гид. Автобус тронулся, объехал город и помчался по асфальтированному шоссе.

Шлагбаум, перед которым он остановился, был поднят. Из домика, украшенного трехцветным флагом, с надписью «Таможня», вышел сержант. Паспорт был выписан на всю группу, распорядитель развернул его перед ним. Сержант бегло просмотрел паспорт и пересчитал пассажиров. Шубина не было в паспорте, и почему перпиньянец разрешил ему перебраться в автобус, Ланской так и не понял.

— Двадцать девять,— сказал сержант стоявшему рядом с ним капралу.

— Запрещенного ничего нет? Золота, наркотиков? Денег во франках, огнестрельного оружия?

Он подмигнул.

— Например, пулеметов?

Почему-то маленький чемодан Шубина заинтересовал его.

— Откройте!

В чемодане было носильное белье, сигареты, аккуратно сложенный черный костюм, желтый свитер и две книги — самоучитель испанского языка и томик стихов Элюара. Сержант засмеялся.

— Вы очень разумно поступили,— сказал он.— Возвращаясь на родину, вы захватили самоучитель испанского языка. Желаю успеха!

Он возвратил паспорт и отдал честь.

— Все в порядке. Можете ехать.

Шофер закрыл дверь, автобус переехал через рельсы и помчался по белой, украшенной платанами улице.

— Вот мы и в Испании,— сказал перпиньянец, и все заговорили сразу. Над мелькавшими мимо домиками высоко поднимались флаги, состоявшие из двух, сшитых по диагонали треугольных полотен: черного и красного. Это был анархистский флаг.

Почти рассвело, когда шофер вдруг остановил машину и начал внимательно всматриваться вдаль. Серое пятно вдалеке пересекало дорогу. Он погудел. Ничего не изменилось. Подъехали ближе. Теперь стало видно, что поперек шоссе стоит осел. Машина остановилась в двух шагах от него, но он стоял неподвижно. Шофер выругался и снова нажал на грушу сигнала — на этот раз так, что зазвенело в ушах. Осел не шелохнулся. Он стоял, грустно опустив голову и прижав к спине мохнатые уши. Шофер выскочил и ударил его ногой в брюхо. Ничего не изменилось. Будущие бойцы интербригады, хохоча, выскочили из автобуса и дружно взялись за осла, пытаясь столкнуть его с дороги. Это удалось в конце концов. Осел помахал хвостом и с достоинством, не торопясь, спустился в канаву.

«Да, мы в Испании,— подумал Ланской.— Во Франции беспризорные ослы не останавливают автобусы на дорогах».

ГЛАВА 51

Испания — только одна глава в истории Бориса Ланского, которую я решил рассказать. О том, насколько она окажется важной, будет судить читатель.

Советские фильмы, советские люди, советские книги восхищали испанцев, сражавшихся за свободу. Светловская «Гренада» и знаменитый «Чапаев» были для них не явлением искусства, а руководством к действию. Смертельно раненный русский большевик тонет в реке Урал, и в ответ зрители с восторгом и бешенством кричат: «На Сарагоссу!»

Все это широко известно. Но история Ланского, которому я посвятил эту книгу, неизвестна. А между тем в этой истории важно не то, что он сделал в Испании, а то, что почти два года он не расставался с Павлом Шубиным и эта близость украсила его жизнь и обогатила ее.

И к Испании, и к войне в Испании у них было разное отношение: для Ланского и то и другое было неповторимым материалом для наблюдений. Он не расставался с записной книжкой, фронтовые корреспонденции были ничтожной долей его работы. Он записывал все, что видел, короткими, оборванными словами, почти иероглифами, которые впоследствии мог разгадать только он. Память его всегда была готова к действию, может быть, даже во сне. Но он не доверял ей, его рука ежеминутно тянулась к перу.

Шубин наблюдал войну как зритель, пришедший в театр на незнакомую, интересную пьесу, конец которой угадать невозможно.

Казалось, военкоры в границах своей профессии не отличаются друг от друга. Но одни рисуют картину боя по рассказам тех, кто участвовал в этом бою, а другие не забывают, что они вооружены и что их пистолет, висящий на поясе, подчас может с успехом заменить самопишущую ручку.

Шубин участвовал в атаках с жадной любознательностью, не дума́я о том, что придет время, когда ему пригодятся впечатления. Ланской неизменно присоединялся к нему, успевая занести в записную книжку все, что могло бы когда-нибудь появиться в очерке, повести или рассказе. И никакая опасность не могла остановить его руку. Он как бы приказывал: «Мгновение, остановись!» — И на очередной странице появлялось изображение мгновения.

ГЛАВА 52

«Дорогой мой, когда я сажусь писать тебе, я всегда вспоминаю песню:

Миленький ты мой,
Возьми меня с собой...

Мне иногда кажется, что прошло только несколько дней с тех пор, как я вышла за тебя замуж.

У нас все в порядке. Причем это касается не только Матвея Борисовича, не только моей мамы и не только Регины. Всех вместе. И это не пустые слова.

Мама настолько успокоилась, что я уговорила ее познакомиться с Матвеем Борисовичем. Она теперь часто бывает на Стромынке и дважды так заболталась с ним, что даже осталась ночевать, и я уложила ее на том самом диване в столовой, с которого ты однажды меня уволок. Как ты понимаешь, я никогда не прощу тебе этого хулиганского поступка. Так что теперь у Матвея Борисовича появилась внимательная слушательница, которая до сих пор не задумывалась о том, как повлияла на ее жизнь гражданская война и почему она не напоминает ему испанские события. Тобой он гордится, вырезает твои корреспонденции и завел для них такой толстый альбом, который заставил меня с грустью предположить, что я тебя еще долго не увижу. Регина тоже часто бывает у нас. Такое время, мой родной! Ничего не поделаешь! Такое время, что порядочные люди тянутся друг к другу. Впрочем, мои университетские подруги с успехом устраивают танцевальные вечера и удивляются, что я (стараясь не обидеть их) не хожу на эти вечера и делю время между домом и библиотекой. Обнимаю тебя, мой дорогой.

Это только одно письмо из множества других, которые я мысленно пишу тебе каждый день. Твоя Лиза».

ГЛАВА 53

Дверь дома была распахнута настежь. Снаружи торчал ключ. Дом был пуст, так же как все дома в этой деревне, по которой недавно проходила линия фронта. В комнатах все выглядело так, как будто хозяин ушел работать в поле, а хозяйка отлучилась на минутку к соседке. Рядом с зеркалом, украшенным бумажными цветами, висели стенные часы, стрелки показывали обеденное время — половину первого. И Ланской, и Шубин одновременно посмотрели на себя в зеркало. В нем отразились два грязных, давно не бритых оборванца, с похудевшими лицами, голодными глазами, в черных потрепанных комбинезонах, подпоясанных широкими ремнями, на которых висели в незастегнутых кобурах пистолеты. Может быть, они посмеялись бы, если бы не голод, мучивший их уже целые сутки.

— Здесь были наши,— сказал Шубин.— Франкисты разграбили бы деревню.

— Да, может быть. Но я думаю, что наши выбили их, прежде чем они успели ее разграбить.

На окнах висели занавески из тонкой дешевой материи, похожей на русский ситец. Шубин сдернул их и протянул одну Ланскому, а вторую разорвал пополам.

— Ничего, не беда. Они свои, не осудят.

Ланской снял башмаки. Ноги были натерты до крови. Носки присохли к ранкам, и он не решился снять носки. Посидел несколько минут, собираясь с духом, потом решился, рванул и едва не потерял сознание. Боль была такая, как будто он опустил ноги в кипящую воду.

Портянки он никогда не носил, и ему не удавалось гладко завернуть занавеску вокруг грязной ноги. Шубин, служивший в армии, помог ему.

Ходить стало легче, и Ланской, не найдя в доме ничего, кроме бутылки оливкового масла, решил пошарить в пристройках на дворе. Впрочем, пристройка была только одна — небольшое деревянное здание с широко распахнутыми воротами. В русской деревне его назвали бы амбаром.

За несколько шагов до этого здания он невольно остановился. Страшный тошнотворный запах поразил его. Он заставил себя преодолеть отвращение и войти в ворота.

В здании не было окон, но можно было разглядеть множество мух, жирных, блестящих, гудящих, кружащихся, облепивших потолок и стены. Ланской зажег фонарь, и мухи испуганно взлетели откуда-то снизу. Он направил фонарь на потолок, на стену, потом на пол. У стены лежали, раскинувшись, и сидели, опустив головы, мертвые люди.

Здесь расстреливали. Завалился на бок молодой парень, совсем мальчик, в разорванных штанах и распахнутой на груди рубахе. Бородатый мужчина, по одежде крестьянин, лежал рядом с ним, как будто угрожая кому-то откинутой рукой со сжатым кулаком — жест, которым обменивались республиканцы. Молодая черноволосая женщина прижалась к стене. Смуглая красавица с широко открытыми неподвижными глазами. Между ними начиналась и почти достигала порога густая темно-коричневая спекшаяся лужа крови. Ланской едва не ступил в нее.

Надо было уйти, но он не мог уйти. Он стоял на пороге и водил фонарем по мертвым телам. Странное оцепенение охватило его. Все происходившее в Испании впервые появилось перед его глазами с отчетливостью цветного кадра, внезапно возникшего на экране кино.

Он не заметил, что Шубин стоит за его спиной. Оба уже немного говорили по-испански, но он с бешенством выругался по-русски, и так, что Ланской, никогда не ругавшийся, пришел в себя. Но и он с бессильной злобой сказал: «Сволочи!»

Надо было похоронить расстрелянных, но голодные и измученные — что они могли сделать? Пока Ланской был на дворе, Шубин нашел в кухне глиняную миску с каким-то коричневым варевом. Обрадованный, он побежал за Борисом.

В кухонном столе нашлись алюминиевые ложки, но в миске было то, что нельзя было есть,— в миске была густо замешанная холодная фасоль с неприятным запахом меди. Борис с трудом проглотил первую ложку.

— Как ты думаешь, что это?

— Заткни нос и ешь,— сердито ответил Паша.— Это нут.

— Впервые слышу.

— Турецкий горох,— объяснил Шубин, левой рукой и в самом деле заткнувший нос, а правой энергично очищавший миску.

— Ешь, говорят тебе,— крикнул он.

Уже давно постреливали, и по звону разбитых стекол в соседнем доме нетрудно было догадаться, что присутствие их обнаружено. Они не понимали, почему батальон Гарибальди, который они вторые сутки искали, не оставил прикрытия. Но им уже давно пришлось привыкнуть к загадкам. Загадки встречались почти каждый день в этой беспорядочной, непонятной войне.

— Надо уходить,— сказал Ланской, управившись с «нутом», отвратительней которого он ничего никогда не ел.

— Да. Но куда?

Они вышли за ворота, огляделись. Перед ними расстилалась долина. Вдалеке она переходила в холм, на вершине которого зеленела густая оливковая роща. А за рощей неясно просматривались какие-то башни. Справа от рощи тянулись свежевырытые канавы, по сторонам которых был навален песок. По долине, покрытой папоротником, кто-то — трудно было сказать, человек или собака — торопливо двигался по направлению к деревне. Стреляли из рощи. Пули падали близко от этого движущегося существа. Фонтанчики песка то и дело взлетали подле него. Но торопливое, казавшееся равнодушным к опасности движение продолжалось.

На груди у Шубина висел полевой бинокль. Он вынул его из футляра, посмотрел, пожал плечами и передал Ланскому.

— Зачем? Ты же видишь лучше меня.

— Да. Это не собака.

— А кто же?

— Пока трудно сказать. Собака убежала бы. Собаки прекрасно чувствуют опасность.

Он не отрывал бинокль от глаз.

— Очень маленький человек,— наконец сказал он.— Или ребенок.

Одни пули подвывали на лету, другие щелкали, третьи звенели как струны. Теперь и без бинокля стало видно, что, не обращая на них никакого внимания, к деревне бежит ребенок.

Ланской не выдержал и кинулся ему навстречу. Шубин догнал его, грубо выругался, швырнул на землю и, прежде чем ошеломленный Борис очнулся, быстро по-пластунски пополз навстречу ребенку. Они встретились. Шубин ловко посадил его на спину, и он послушно ухватился за его широкие плечи.

Только теперь Ланской заметил слева от деревни редкие кусты ивняка. Прикрываясь ими, Шубин приблизился к дому.

Прошло, должно быть, не больше пятнадцати минут, показавшихся Ланскому вечностью, как любили писать в старину.

Пуля на излете ударила в распахнутую калитку за спиной у Шубина. Не поднимаясь, он добрался до крыльца, но не стал заходить в дом, обогнул его и сказал ребенку, лежавшему на его спине:

— Слезай!

Это была девочка лет семи, черненькая, в простом, но чистом платье, мешковатом, подпоясанном цветным кушаком. Она не казалась ни застенчивой, ни испуганной. Можно было подумать, что ей уже не раз случалось под обстрелом перебираться через долину. Она вежливо поздоровалась с Ланским, а потом, спохватившись, с Шубиным, который осторожно поставил ее на пол, сел на лавку и стал, шумно дыша, вытирать мокрое от пота лицо.

— Салюд,— вежливо сказала она.

— Салюд,— отозвался Ланской.— Как тебя зовут?

— Кончита.

— Куда ты шла? Тебя могли застрелить. Ты не боялась?

— Очень боялась. Тетя Мария сказала, чтобы я ее ждала, а я соскучилась: она не возвращалась долго.

— Ты здесь живешь?

— Да. Я шла домой. Где мама?

Ланской внимательно посмотрел на нее. Не было ни малейшего сомнения, что ее мама лежит в амбаре, прижавшись к стене, закинув голову, смуглая красавица с широко открытыми неподвижными глазами. Там, в неверном свете фонаря, ее лицо, над которым жужжали блестящие, проносящиеся зигзагами мухи, казалось мраморно-мертвым, таким мертвым, как будто оно никогда и не было живым.

Теперь перед Ланским было то же самое смуглое, но детское румяное личико, которое невозможно было вообразить себе мертвым. Бывает сходство, ограниченное неподвижностью, черты лица повторяют друг друга, но зеркальность стерта походкой, манерой говорить, голосом, взглядом. Совсем о другом сходстве подумал Ланской, который с удивлением и ужасом всматривался в Кончиту. Если бы ее мать была жива, она так же говорила бы, так же улыбалась бы и у нее была бы такая же легкая, танцующая походка. Она так же, как это бывало во всех крестьянских домах, кинулась бы угощать прохожих и так же весело удивилась бы, когда Ланской сказал ей, что в доме ничего нет. Она так же легонько ухватила бы Шубина за руку и повела его в кухню и показала бы на крышку, незамеченную, потому что она была врезана под кухонным столом в пол.

— Где мама? — снова спросила она.— Когда вы пришли, ее не было дома? И где Ансельмо?

— Никого не было, когда мы пришли.

Павел за кольцо поднял крышку, лестница, скрывавшаяся под ней, вела в подвал. Он зажег фонарь. На полке, близко от земляного пола, стояли овощи: черно-коричневые маслины, крупные стручки зеленого перца, помидоры и холодное мясо.

Поднявшись на несколько ступенек, он передал мясо и помидоры Ланскому. Когда он поднялся, Кончита что-то сказала. Оба не поняли. Но когда Шубин взялся за кольцо, чтобы опустить крышку, остановила его. Дважды или трижды она показала рукой на лестницу.

— Поррон,— повторила она это непонятное слово.

— Вино? — спросил Шубин. И когда девочка, рассмеявшись, кивнула, снова спустился по лестнице. И вернулся с глиняным сосудом, в котором плескалось вино.

Пуля ударила в окно. Стекла посыпались.

— Прицельный огонь.

Пора было уходить. Через две-три минуты посыпались стекла и из второго окна. Но расстаться с холодным мясом, перцем, помидорами и глиняной бутылкой, странной, потому что у нее было два носика — длинный и короткий,— было невозможно.

Ланской попытался пить из короткого — вино полилось мимо рта на грудь. Девочка снова засмеялась и стала показывать, как пить из поррона — так, чтобы вино лилось прямо в открытый рот.

Пули то и дело влетали в дом, и наконец откуда-то слева послышалась ответная стрельба.

— Это наши,— сказал Шубин и прислушался, не переставая жевать.

— Да. Наконец-то!

Кончита достала из низкого буфета глиняные кружки, и они торопливо съели все, что стояло на столе, запивая вином.

— Что делать? — спросил Паша по-русски, показав глазами на девочку. Вместо ответа Ланской подхватил ее на руки.

— Мы идем к твоей маме,— сказал он.— Я не знаю, как называется эта деревня, но мама там. Надо торопиться. Я понесу тебя на плечах.

ГЛАВА 54

«Родная моя, ты обещала подарить мне мальчика и ошиблась. Зато с полной уверенностью могу сообщить, что привезу тебе девочку. Причем это событие произойдет без тех неизбежных тревог и забот, которые в первом случае тебя (и меня) неизбежно ожидали бы, если бы это случилось. Ей семь лет. Ее зовут

Кончита. Она красавица и будет красавицей. Для меня в этом нет сомнений, потому что я своими глазами видел ее мать. К моему глубокому сожалению, мертвой. Об отце я ничего не знаю, но думаю, что и он погиб. Девочка ласковая, доверчивая и хозяйственная, как все крестьянские дети. Ничего или почти ничего не изменилось в моей жизни, но изменилось, как ты понимаешь, многое.

У меня новые друзья, и не только «курносенькие», как здесь называют русских. Мы часто говорим о женах. Каждый хвалит свою, и только я скромно молчу. Все, что я могу сказать о тебе, не только мое, но и твое.

Читаешь ли ты мои корреспонденции? Я знаю, увы, что они выглядят бледными в сравнении с Эренбургом или Кольцовым. Немного лучше, мне кажется, выходят статьи. Ими я и занимаюсь в последнее время.

Паша чаще, чем я, выезжает на фронт. Я никогда не сомневался, что приобрел друга на всю предназначенную мне жизнь, и я почему-то не очень боюсь за него. Он не носит очки и, стало быть, не боится каждую минуту их потерять. За кажущейся беспечностью у него тщательно скрывается разумная осторожность.

Обнимаю тебя. Твой Борис».

ГЛАВА 55

Это был запомнившийся день. Никто не знал, почему мятежники Алькасара потребовали священника: одни думали, что для отпущения грехов, другие — для переговоров о перемирии.

Ланской замешался в толпу, сопровождавшую каноника. Поп в пиджаке, обшитом шелковой тесьмой, с распятием в правой руке, в крахмальном воротничке, бледный, испуганный, спотыкается и шагает нетвердо.

Его встречают жандармы в черных треуголках. Стрельба смолкает. С горы, через пролом в стене навстречу выходит группа солдат и позади три молодых франкистских офицера.

В пятнадцати шагах от республиканцев и горожан они останавливаются и молча, с интересом разглядывают друг друга.

Потом начинается то, что заставляет Бориса не верить глазам и ушам. Один из франкистов говорит неуверенно.

— Ребята, дайте покурить.

И эти слова производят неожиданное потрясающее действие на толпу, сопровождающую каноника. Все азартно начинают шарить по карманам, ища сигареты. Каждому хочется похвастать, что он дал мятежному закурить. Сержант грозно командует: «На месте!»

И сам подходит к мятежникам с зажженной сигаретой.

Но его команде начавшие перебраниваться солдаты расходятся без стрельбы.

Через час сквозь пролом стены каноник вернулся, на этот раз с поднятым — Рот-фронт! — кулаком. Вместо распятия он держал в левой руке большой белый конверт. Вскоре он сел в автомобиль и уехал.

Очевидно, в письме, которое он передал гражданскому губернатору, были изложены условия, согласно которым мятежники согласились сдать Алькасар.

Гражданский губернатор, молодой человек, державшийся с необычайной гордостью, не понравился Ланскому, но все-таки он заставил себя спросить его об этом письме.

Это было частное письмо от полковника Маскардо. Письмо жене.

— От Маскардо? Командира мятежников? Его жена на свободе?

— Да. Она в санатории. Вас это удивляет?

— Это галантность?

Губернатор презрительно посмотрел на Ланского.

— Это великодушие.

— И это в то время, когда в Толедо морят голодом женщин и детей? И прикрывают себя их телами от снарядов и бомб?

— Да. И посмотрим, кто победит. Вы в Испании, сеньор. Вы в стране Дон Кихота.

Ланской замолчал. Это была минута, когда он почувствовал, что франкисты и республиканцы ближе друг к другу, чем они и тем и другим. У нас на гражданской войне красные не кидались к белым, чтобы угостить их табаком.

...Он боялся, что в атаке потеряет очки. Фернандо из Пятого полка, лучшего полка бригады, высокий, в опрятном военном моно (комбинезоне), обветренный, загорелый, с густыми сросшимися бровями — Ланской подружился с ним — где-то достал и прикрепил к дужкам резинку. Резинка держала очки.

Едва машина исчезла вдали, как стрельба возобновилась. И казалось, что стреляют не только сверху, с вершины холма, но и слева и справа.

Нет, только сверху и слева, из-под уцелевшей арки домв.

Знакомый артиллерист из Пятого полка, прикрываясь щитком, выкатывает пушку и начинает прямой наводкой стрелять в эту полутьму. И после каждого выстрела десяток бойцов перебегают площадь, соединяясь у подножья холма.

Начало положено! Новый выстрел — еще десяток. В третьем десятке перебегают Ланской и Фернандо. Впереди подъем.

Нельзя записывать, но можно наблюдать и запоминать. А это почти одно и то же. «Поднялись шагов на полтораста. Уже человек семьдесят или больше. На четвереньках вползаем в какой-то домик. Он еще горит, крыша провалилась. Доски, балки дымятся. Это ошибка. Сверху заметили, стреляют в нас».

Не только Ланской, многие сообразили, как опасно отсиживаться в этом домике с провалившейся крышей. Вместо того, чтобы окружить холм, поднимаясь отдельно друг от друга, почти все сбились в кучу перед хорошо укрепленной позицией, и противники немедленно воспользовались этим. Вдруг что-то оглушительно ударило по ушам, по глазам. Ланской упал, и на него упали. Мокрое, страшное сильно удврило его по лицу. Кровь плеснула в глаза, но он не потерял глаза. С режущей остротой, как бы отстраняющей поднявшийся шум, он освободил руку и стал старательно вытирать очки. Это была чужая кровь. Он не был ранен, чужая, чужая! И Фернандо не был ранен. Он распахнул дверь и выбрасывал из домика бойцов, живых и мертвых, раненых и здоровых. И когда крики смолкли и все побежали вниз, он встал с револьвером в руках, стреляя в воздух и пытаясь остановить бежавших. Он ругался и что-то кричал, трудно было понять, что он кричал, но Ланской понял не слова, а чувство, диктовавшее эти слова. Он понял, потому что сам испытывал это чувстао. Фернандо кричал, что стыдно бежать, когда они поднялись так высоко, что это только мина, которая может убить не больше двух-трех человек. Он останавливал бойца, тыча ему пистолетом в голую грудь.

И Ланской, приладив свои еще мутноватые очки, бросается ему на помощь. Он просит, умоляет. Забыв, что он в Испании, ругается по-русски, как еще никогда в жизни не ругался.

Все напрасно. На месте остается только один раненый боец. Вся группа катится по склону обратно вниз. Неужели еще вниз? Снова вниз? Почему? Ведь здесь уже можно окопаться. Смазывают обожженные миной места и говорят, что подняться можно, что они уже были бы в Алкасаре, если бы не мина.

Все, что Ланской видел и чувствовал в минуты боя, все впечатления, все чувства превращались в слова, и он торопливо набрасывает их, страницу за страницей, в своей записной книжке. И на записную книжку, которую он носил на груди, попала кровь, но многие страницы остались нетронутыми. «Бойцы жадно пьют, заклеивают пластырем обожженные места и повторяют, что подняться можно, что они уже были бы там, если бы не проклятая мина!»

Что за люди! Проходит час, и они успокаиваются, смеются, они хотят снова штурмовать Алькасар. Они уговаривают тех, кто не решается, и Ланскому кажется странным, что командиров нет. Может быть, так было в самые первые месяцы нашей гражданской войны — решения принимались совместно.

И здесь все решает не командир, а батальон «Виктория» из Пятого полка. Он пойдет первым, за ним готовы пойти анархисты.

Еще час, и тот же знакомый артиллерист снова стреляет под арку губернаторского дома. На этот раз перебежки через мостовую происходят быстрее и подъем происходит быстрее, чем прежде. Путь знакомый, но теперь идут, стараясь держаться далеко друг от друга. Не проходит и получаса, как домик без крыши, от которого остались лишь дымящиеся развалины, остается позади.

Второй штурм повторяет первый, но они не похожи, и Ланской с радостью, с незнакомым чувством уверенности в победе понимает, что это уже не игра в неизвестность, а сознательная обдуманная атака. У бойцов внимательные,

взволнованные лица. Они ползут, вжимаясь в землю. И становится легче, когда удается добраться до вершины холма, покрытого свежей травой. Ограда военной академии в двух шагах. Она невысока, но к стене приставлены лесенки, по ним влезали франкисты. Бойцы бросаются к лесенкам, поднимаются, и Ланской поднимается вместе с ними. Что-то толкает его в грудь так сильно, что он падает на землю. Ограда отодвигается влево от него, и не только ограда, но и бойцы, перелезающие через нее. И вдруг приблизившееся пространство переходит в бесконечное пространство, освещенное солнцем, покрытое свежей травой. К боли, мешающей дышать, присоединяется чувство удивления и ужаса, потому что в тумане, надвинувшемся на это пространство, он видит легкую, стремительно бегущую к нему Лизу. Боль становится острее, радости мешает страх за нее. И когда она растворяется в воздухе, он понимает, что ранен. Озабоченное лицо Фернандо склоняется над ним, и он хочет сказать ему, что умирает, но уже некому сказать. Ночь настунает стремительно, неудержимо, раскинувшийся сумрак нельзя оттолкнуть, отстранить, а потом и он исчезает, унося с собой последнюю мысль.

ГЛАВА 56

Необходимость возможно скорее отправить Кончиту в Москву заставила Шубина впервые с начала войны расстаться с другом.

Он надеялся, что ему удастся отправить Кончиту. И это была не пустая надежда. Он знал, что Михаил Кольцов отправил осиротевшего мальчика в Россию.

В Мадриде стекла оклеены тонкими полосками бумаги. На улицах, которые никто не подметает, осколки снарядов, обрывки старых афиш. Ранним утром возле костров греются женщины и солдаты. Длинные очереди перед булочными и молочными. В кафе подают похлебку из чечевицы.

Каждый день бомбы сносят дома — развалины, земля, мусор и мертвые, которых не успевают убирать.

Павел Шубин знал о воздушной связи между Москвой и Мадридом. Но это была связь, которую ему, рядовому корреспонденту, найти было не так легко, как казалось. Знакомого летчика, воевавшего под испанским именем, он не застал в Мадриде. Да если бы и застал, ничего бы не изменилось. Он бродил по Мадриду как разведчик, который получил приказ и, прежде чем выполнить его, должен изучить обстановку.

Кончита сидела в номере, присмиревшая, побледневшая, грустная, молчаливая. Шубин предложил ей погулять по Мадриду, но в больших глазах с такими длинными ресницами, что легкая тень их падала на лицо, он прочел такую не детскую тоску, что растерялся и только прижал ее головку к груди.

Он купил ей красивое платье, чулки, башмаки, белье. Она вежливо поблагодарила.

— Можно? — спросила она, аккуратно сложив все покупки в ящик комода. Это значило: «Можно мне остаться в своем старом платье?»

Он купил ей роскошную куклу. Белокурую, с накинутой на плечи шелковой шалью, с голубыми глазами, которые открывались и закрывались.

Она снова поблагодарила, присела и, чтобы показать ему, как дорог ей подарок, поцеловала куклу. Но не прошло и получаса, как Шубин увидел куклу лежавшей на кресле и Кончиту сидящей в другом кресле, у окна, с неподвижным, окаменевшим лицом. Она не спрашивала, где ее мать и вернется ли, жива ли, она не спрашивала ни об отце, ни о брате — Шубин догадался, что юноша, лежавший в амбаре с голой простреленной грудью, был Ансельмо, брат, а старый крестьянин с откинутым ротфронтовским сжатым кулаком — дед. Но, может быть, она догадывалась, что никогда больше их не увидит?

Однажды она спросила, почему не приходит Борис, и он рассказал ей о нем, о его молодой жене, о его отце, который когда-то тоже был участником гражданской войны. И по неуловимому выражению доверчивости и внимания, еле заметно мелькавшим на ее нежном личике, он понял, что все, касающееся Ланского, трогает и занимает ее. Он и прежде замечал, что в отношениях, сложив-

шихся между ними за эти немногие дни, она как бы выбрала Бориса. Охотнее держалась за его узкие плечи, когда больше не могла идти, чем за могучие широкие плечи Шубина. Чаще говорила с ним, кидалась искать его очки, когда утром, после ночи, проведенной в каком-нибудь сарае, он просыпался и начинал повсюду шарить, чтобы найти их.

Надо было подготовить ее к отъезду, и он стал рассказывать ей о Москве. «Это большой красивый город, такой большой, что надо идти целый день, чтобы пересечь его от края до края. В России живут добрые и смелые люди, недаром они приехали, чтобы помочь вашему народу в его борьбе против франкистов».

Он не без труда говорил по-испански, повторялся, искал слова, но она слушала внимательно и, казалось, все понимала.

— И мы с Борисом приехали сюда, чтобы сражаться за вашу свободу, но мы не солдаты, мы писатели. Ты умеешь читать и писать?

Она покачала головой.

— Нет. Но у нас была одна книжка.

— А если бы ты поехала в нашу страну, ты научилась бы читать и писать и по-русски и по-испански.

— Да. Спасибо. Я поехала бы, если бы мне разрешила мама.

Шубин замолчал. Что делать?

Он посоветовался с пожилой женщиной, которая убирала номера. Скуластой, с толстыми ногами и добрым квадратным лицом. Она несколько раз ласково разговаривала с Кончитой. Шубин сказал, что хочет посоветоваться с ней. Она привела его в свою комнату и выслушала, не перебивая. Ответила она в нескольких словах, и этот короткий совет ужаснул Шубина и заставил его задуматься надолго.

— Она не уедет, пока не узнает всю правду,— сказала старая женщина с квадратным лицом,— и не вздумайте увозить ее силой. Ей семь лет, но она испанка.

И снова Шубин беспомощно останавливался перед вопросом: что делать?

Он знал, что в нашем посольстве работает переводчица, с которой он был близок еще в Москве, но решил не разыскивать ее — боялся, что могут возобновиться тяготившие его отношения. У нее было странное имя — Элина, не вязавшееся с длинной фамилией — Барок-Трахтенбауэр. Шубин знал, что она сделает для него все, что было и что не было в ее силах.

В конце концов он все-таки разыскал ее и, притворяясь, что от души разделяет радость неожиданной встречи, рассказал о Кончите. К сожалению, ничего нового она ему не сказала. Он и прежде знал, что из Мадрида в Париж ходит рейсовый самолет и что из Барселоны можно теплоходом добраться до Одессы.

Был избран второй вариант. На пароходе, наверное, найдутся люди, которые позаботятся о девочке. Лиза приедет в Одессу, чтобы встретить ее.

ГЛАВА 57

От Мадрида до Барселоны поезд шел немного больше часа. И хотя в спальном вагоне, в чистом купе они были одни, Шубин почему-то не мог сказать то, что помогло бы Кончите покинуть родину. Несколько раз он пытался подойти к этому разговору и не мог, хотя девочка, казалось, безропотно подчинялась ему, так безропотно, что даже не спросила, куда и зачем они едут.

Ланской, вот кто был просто дьявольски нужен ему! Он сумел бы найти единственные, неповторимые, ласковые и мягкие слова, которые Шубин безуспешно искал и не мог найти при всем желании. Слова, которые должны были хотя бы утешить, если не успокоить ее. И все-таки в конце концов он решил как-нибудь подойти поближе к этому разговору.

— Кончита, ты когда-нибудь видела море?

— Нет. Но Ансельмо рассказывал мне о нем. Это большой пруд, такой большой, что не видно края.

— Да. И вода в нем голубая. В нашей стране голубая, а в других странах другого цвета. Синяя, а иногда даже белая.

Ему было тридцать шесть лет, у него была трудная жизнь, полная забот

и лишений. Журналистом он стал случайно, работая в многотиражке автомобильного завода. Случалось ли ему волноваться, огорчаться, приходить в отчаяние? Тысячу раз! Но то было совсем другое. Тогда перед ним были взрослые люди, и он говорил с ними, убеждая и возражая им. И все это было просто, потому что естественно связывалось с положением, в котором он тогда находился.

— А где Борис? — вдруг спросила она.— Почему он не едет с нами? Он уже видел море?

— Мы условились с ним, что он останется в этой деревне под Алкасаром, где мы провели последнюю ночь. Мы условились, что он останется на фронте, а я отвезу тебя в Мадрид. Ты сказала, что у вас в доме была книга. Кажется, я тебе уже рассказывал о том, что мы не бойцы и что мы пишем книги и рассказываем в газетах о том, как Испания сражается за свободу.

— Мой отец тоже ушел сражаться. Мама беспокоилась за него. Может быть, она поехала к нему, а меня отвела к тете Марии, чтобы не мешать ей уехать? Ведь она знала, как будет трудно мне, если она уедет.

У Шубина сердце сразу ухнуло куда-то в ноги. Сама заговорила о матери. И смотрит еще сохранившими маленькую надежду огромными черными остановившимися глазами. И тени длинных ресниц едва заметно скользят по исхудавшему смуглому личику. Надо решиться. Надо собраться с силами. Надо сказать.

— Кончита,— у него дрогнул голос,— я должен огорчить тебя,— он взял ее за руку.— Мне нужно сказать тебе,— он погладил ее по голове и хотел прижать к груди. Она отстранилась, выпрямилась и посмотрела ему в глаза.

— Не надо,— прошептала она.— Я знаю.

И слезы хлынули, такие неудержимые, горькие, вырвавшиеся, как ни старалась она их удержать, что и Шубин с трудом удержался, чтобы не заплакать. Теперь он говорил и говорил, не слыша себя, не умолкая.

ГЛАВА 58

Ланской был ранен в грудь. Пуля была на излете. Пробив насквозь записную книжку, она застряла близко от сердца. Так что ему действительно повезло, как он сообщил Лизе.

Операция оказалась несложной, пулю извлекли, и он получил ее от хирурга на память. Но ему предстояло пролежать не меньше месяца, и нельзя сказать, что этот месяц остался в его жизни отрадным воспоминанием. Госпиталь был расположен в узком тоннеле. Койки стояли почти вплотную друг к другу, между ними с трудом пробирались сестры. Стояла жара, и в тоннеле было сыро и душно. Он не мог ни читать — не было книг, ни разговаривать — голос заглушался стонами, и казалось, что стонет самый воздух, отравленный запахами гниения и йода. И спать было трудно, хотя время от времени он забывался на час или два. Оставалось только думать и вспоминать. И ему становилось легче, когда он думал и вспоминал. «Я в Испании. Я увидел и пережил то, о чем можно было только мечтать. Какое счастье! Я страдаю и надеюсь так же, как эти люди, которых я полюбил, так же, как они полюбили меня. Я останусь жить, чтобы рассказать о том, что я видел. Я свободен, обо мне заботятся, меня жалеют. Вчера сестра в испачканном кровью халате сказала мне: «О руссо!», и сказала так, что у меня дрогнуло сердце. Какое счастье! Записная книжка оказалась между смертью и мной. Ведь это значит, что меня спасло все, о чем я хотел рассказать и еще расскажу».

ГЛАВА 59

«Дорогая Лиза! У меня так много новостей, что я не знаю, с которой начать это письмо. Я только что вернулся в деревню под Алкасаром, где меня ждал Борис. Прежде всего о нем. В нашем посольстве я нашел много писем от Вас, и нетрудно было догадаться, что Вы беспокоитесь, не получая ответа. Он не мог ни получать Ваши письма, ни ответить на них. Дело в том, что он участвовал в штурме Алкасара (это крепость) и ранен. К счастью, легко. Я удержал бы его, если бы в эти дни был под Алкасаром. Но необходимо было позаботиться о том, чтобы отправить Кончиту (он писал Вам о ней) в Москву, а это оказалось не так просто, как мне и ему казалось. Когда мы встретимся — а это непременно произойдет, вот только не знаю, когда,— я расскажу, как мне удалось с помощью друзей устроить Кончиту на теплоход «Нева», который привез в Аликанте продовольствие и другие подарки от советских женщин. Через два-три дня теплоход отправится обратно, и вам придется встретить Кончиту в Одессе. Я поручил ее буфетчице Матрене Павловне Одинец. Впрочем, ее так сердечно, я бы сказал, с таким восторгом встретили на теплоходе, что беспокоиться за нее нет никаких оснований. Капитана (Ивана Степановича Шумилова) я попросил дать Вам телеграмму, когда теплоход будет приближаться к Одессе. Теперь снова о Борисе. Вы беспокоитесь о нем, а он о Вас. В то время как для беспокойства ни у него, ни у Вас нет никаких оснований. Он непременно хотел написать Вам и, надо надеяться, через несколько дней непременно напишет. Дело в том, что пуля задела кисть правой руки, а левой он, естественно, писать не умеет. Вот почему вместо него пишу я. Но он продиктовал мне и свое письмо. Вот оно:

„Родная моя, мне не повезло. Но когда я встану на ноги — а это, надо надеяться, произойдет скоро — тебе станет ясно, что я не мог поступить иначе. Спасибо тебе за твои милые письма. Я перечитываю их без конца. Как отец? Как Регина? Не могу передать, как я скучаю и томлюсь без тебя. Старший по корреспондентскому корпусу отправляет нас в Барселону. Стало быть, в тыл. Там, может быть, я буду писать статьи, которые удаются лучше, чем фронтовые корреспонденции, когда некогда думать. Мне не позволяют закончить письмо, даже Паша не понимает, что я радуюсь, а не волнуюсь. Никому на свете я не мог бы продиктовать то, что мне хотелось бы сказать тебе. Я твой должник на всю жизнь. Обнимаю тебя“».

ГЛАВА 60

Так и не дождавшись названной внучки, Агния Илларионовна скоропостижно скончалась от тяжелого инфаркта. Лиза похоронила ее на Ваганьковском, рядом с отцом.

Письмо Шубина шло очень долго, и когда Лиза добралась до Одессы, теплоход уже стоял на рейде. Дежурный в порту известил капитана, и через несколько минут катер доставил Лизу на теплоход. Девочка ждала ее на палубе, затерявшись среди моряков и судовой прислуги.

Прошло немного месяцев, и тысячи маленьких испанцев нашли свою вторую родину в Советском Союзе. Кончита была одной из первых. За время пути ее полюбили. Она не говорила по-русски, и никто на пароходе не говорил по-испански. Объяснялись жестами, невольно заставлявшими смеяться. Но и Кончита и экипаж — от буфетчицы до капитана — прекрасно понимали друг друга.

Лиза с детства знала два языка — французский и английский. Не вмешиваясь в ее школьные занятия, за этим строго следил отец.

На другой день после отъезда Бориса она взялась за испанский. Ей казалось, что она будет ближе к нему.

С его способностями он-то без сомнения уже говорит по-испански.

Теперь нежданно-негаданно ее занятия пригодились.

Взволнованная, но державшаяся сдержанно, девочка вышла к ней навстречу из расступившейся толпы моряков. Они никогда не видели друг друга, но Кончита сразу же потянулась к ней. Угадала? Они обнялись, как будто всю жизнь терпеливо ждали и не могли дождаться друг друга.

Буфетчица, толстая, рябая, кривобокая, с грубым мужским лицом, заплакала и сразу же испуганно замолчала. В наступившей тишине послышался негромкий ласковый голос Лизы.

Все было необыкновенно. И то, что она заговорила по-испански, и то, что она была еще так молода, совсем девочка. Высокая, стройная, с взволнованным добрым лицом.

К нежности встречи, которую почувствовали все свидетели этой сцены, присоединилось даже солнце, вдруг раздвинувшее облака и сделавшее порт веселым, праздничным и нарядным.

ГЛАВА 61

Лиза догадалась, что письмо Бориса продиктовано не потому, что у него «поцарапана рука». Он ранен серьезно. Но невозможно было представить себе, что она его больше никогда не увидит. И эта невозможность помогла ей успокоиться и взять себя в руки. Надо не приходить в отчаяние, не плакать и, может быть, даже скрыть от Матвея Борисовича, что случилось с Борисом.

Ей было трудно справиться с волнением, с острым желанием помочь ему, увидеть его хоть издалека, если нельзя приблизиться к нему, если нельзя остаться с ним хоть несколько минут, если нельзя увидеть его хоть во сне.

Она сравнила две корреспонденции Эренбурга о Барселоне — город опустел, город бомбили, но до фронта было еще далеко.

Фронт был здесь, в Москве. Здесь нужно было говорить даже с близким другом, оглядываясь по сторонам. Здесь каждый день она слышала: такой-то «заболел», такой-то «загремел», такого-то «взяли». Здесь судили знаменитых политических деятелей, которые, как уверяли газеты, оказались грязными предателями и шпионами. И виновниками бедствий, готовых обрушиться на страну. Здесь надо было притворяться, не быть собой, говорить одно, а думать другое. Здесь происходило то, что заставило бы Бориса достать из портьеры тетрадь, о которой было страшно подумать и которую мучительно хотелось сжечь,— она тысячу раз думала об этом, удивляясь тому, что у нее хватает сил оставить ее на месте. Здесь по ярко освещенным улицам с магазинами, в которых толпились люди, с дорогими ресторанами, с переполненными театрами и кинотеатрами бродили в потемках. Здесь было указано, что жить стало лучше, веселее, и надо было перешагнуть эту ложь. Здесь заставляли людей верить, что они окружены врагами, здесь господствовал «Большой страх».

И казалось чудом, что притихший дом на Стромынке, в котором теперь редко бывали друзья, оказался самым счастливым в огромном городе, по которому на длинных ногах шагал этот страх.

На одной чаше весов лежала громада притворства, неволи, лести, лжи, преступлений, а на другой — маленькая испанская девочка, которую судьба подарила Лизе и которой жизнь в Москве казалась прекрасной. Все было для нее новым. Скромная квартира на Стромынке казалась ей волшебным дворцом, о котором Лиза рассказывала ей в сказках. Лиза не забыла, как в детстве относилась к ней мать, и теперь ей просто было решить, как надо относиться к Кончите. О ней не думали в детстве, не замечали, она чувствовала одиночество, она смутно чувствовала, что несчастна.

И теперь, думая о Кончите, она торопилась к ней, она смотрела на нее по ночам, невольно улыбаясь от нежности и счастья.

Она радовалась и поражалась ее крестьянской деловитости. К роскошной кукле, которую подарил ей Шубин, Кончита была холодна. Кукла напоминала то, о чем она все равно не могла забыть. Кукла, механически открывавшая глаза, казалось ей, безучастно относилась к ее горестным воспоминаниям.

Кончита старательно училась читать и писать. И с чтением дело пошло, а вот с писанием долго ничего не получалось. Перо плохо держалось в ее руке, привыкшей помогать отцу в поле, а матери в доме. Но она была упряма. Она огорчалась, даже плакала, но через некоторое время снова принималась за дело.

ГЛАВА 62

«Барселона, июнь 1937 г. Родная моя, еще Паша удивлялся, что Кончита никогда не упоминает об отце. Мне трудно судить об этом, и кажется, что испанцы вообще не любят говорить о своей семейной жизни. Легко догадаться, что отношения были плохие, девочка, горячо любившая мать, едва ли могла хорошо относиться к отцу, если он сделал ее несчастной. И то, что она никогда не вспоминает о нем, говорит о многом.

После фронта Барселона, вопреки ежедневным бомбежкам, кажется мне курортом. С тех пор как врачи разрешили мне работать — правда, не больше чем два часа в день, я принялся за большую статью об испанцах из интербригады. Мы с Пашей задумали книгу, и эта статья, может быть, нам пригодится.

В твоем письме меня особенно обрадовало, что отец ушел на пенсию и что ты, таким образом, можешь оставлять с ним Кончиту. Таким образом, ты вплотную можешь заняться своими запущенными университетскими делами. Кроме того, я боялся, что он будет скучать, оставшись без дела. Ты даже не представляешь себе, как важно для него, что дело нашлось. Я от души смеялся, читая твой пересказ разговора между ним и Кончитой. Очень смешно, что они все-таки понимают друг друга. Сегодня послал тебе с молодым испанцем Томасом Гарсия Гарсия (два раза) несколько книг. Они пригодятся мне для будущей нашей затеи. Обязательно напиши, получила ли ты их, и никому не давай, как бы ни просили. Для меня это память об Испании, да и обошлись они дорого, а у меня денег мало.

Работой теперь почти не загружают, меня еще щадят, но надо скорее готовиться к двадцатилетию. Никаких колец интербригадовцы не носят, а носят звезду на рукаве. Как жаль, что мне не удалось встретиться с Кончитой! Я давно не нумерую письма. Сбился со счета. Да и не хочется, чтобы военная цензура знала, как я скучаю по тебе. Поэтому просто два слова — нежно целую».

ГЛАВА 63

Это был трудный, утомительный год. Старушка-домработница уехала в деревню — «умирать», как совершенно спокойно объяснила она Лизе. Из-за академического отпуска Лиза лишилась однокурсниц и оказалась в незнакомом чужом кругу. Среди этих незнакомых девочек и мальчиков она чувствовала себя давно сложившимся и много испытавшим человеком. Она запустила свою дипломную работу, а между тем в давно написанных главах многое казалось ей приблизительным и неточным.

И к этому чувству недовольства собой, душевной неустроенности присоединилось болезненное ожидание Бориса. Она знала, что в Испании больше нет основания беспокоиться за него. Он поправился, он в Барселоне, он работает, он скоро вернется. Почему же ей все-таки еще снятся странные сны? Она с нетерпением ждет, и вместе с тем боится его приезда. Ведь он уехал, чтобы спрятаться, исчезнуть, не показываться на глаза. А когда он вернется... Она старалась не думать о том, что может случиться, когда он вернется. О нем забыли? Нет, у тех, которым он отказался помочь, хорошая память. Единственным утешением, свободно и счастливо расположившимся в жизни, в доме, была Кончита. Странно, но ведь она приняла разлуку с родиной, жизнь на новой родине с такой естественностью, как будто ничего неожиданного с ней не случилось. Правда, здесь не молились на ночь, здесь принято было проводить час или два в садике недалеко от дома, ничего не делая. Это было странно. Здесь каждый день ее учили читать и писать, и она инстинктивно чувствовала, что в жизни доброго старого человека, который находит время, чтобы гулять с ней, просто гулять, который подарил ей большую коробку цветных карандашей, она занимает свое, только ей принадлежащее место. Она любила рисовать и на родине завидовала подруге, у которой были не только карандаши, но и краски. Она постоянно чувствовала, что о ней заботятся и днем и ночью. Однажды она проснулась, потому что тетя Лиза поправила на ней одеяло. Тетя Лиза, которая казалась ей доброй, как мадонна. Поправила ночью. И поцеловала ее.

За обедом в этом волшебном доме подавали два, а иногда даже три блюда. И скоро она привыкла ходить с судками в столовую, где ласково встречали ее, а иногда дарили что-нибудь сладкое: пирожок с вареньем или конфету.

Дедушка удивлялся и смеялся, когда русские буквы в ее тетради превращались в рисунки. Букву И она однажды нарисовала в виде зайца, убегающего со всех ног от лисицы, напоминавшей букву М, с пушистым хвостом.

Она боялась, что дедушка рассердится, а он показал рисунок тете Лизе, и она тоже была довольна, смеялась и на другой день подарила ей ящичек с красками, две кисточки и чашечку для воды. Вот когда новая жизнь Кончиты стала еще более новой, хотя это было почти невозможно.

Каждую свободную минуту она писала красками, сперва на бумаге, а потом на толстых матовых листах, которые она разрезала на квадраты.

Она писала птиц, цветы, деревья, а потом нарисовала деда — непохоже, но все-таки чем-то похоже. С глубокими морщинами на старом толстом лице и смеющимися глазами. Ей хотелось развесить эти рисунки по стенам, и она пристроила один возле буфета. Кажется, самый удачный.

Была уже зима, выпал снег, который она увидела впервые. И было очень жалко, что с этими миллионами поблескивающих под солнцем ослепительных звездочек поступают так грубо. Увозят из города на грузовиках или выметают.

В какой-то зимний светлый день кто-то попросил к телефону Елизавету Геннадьевну.

— Я Алла Евгеньевна Изюмова, и мне надо поговорить с вашим мужем. Я могу увидеть его?

— Нет. Он в Испании.

Минутное молчание.

— Тогда с вами.

— Пожалуйста.

— Когда?

Кончита поняла, что тетя Лиза, пригласившая к себе какую-то сеньору, взволнована и тревожно ждет этой встречи.

ГЛАВА 64

Она от матери знала, что Лучинин близок с какой-то молодой женщиной и даже привязан к ней больше, чем к другим. Фамилию ее она забыла, и когда эта женщина с приятным тонким лицом, в скромном, мужского покроя костюме явилась к ней незадолго до нового, 1938 года, встретила ее сдержанно и с заметным недоумением. В самом деле, что могло понадобиться ей от Лизы Веланской, жены журналиста, неожиданно ворвавшегося в сложившуюся жизнь человека, которого она, очевидно, любила? И странно, что она попросила разрешения встретиться с Лизой, узнав, что этот журналист в Испании.

— Я очень благодарна вам,— сказала она и замолчала. Голос был тихий, неуверенный, и сразу стало ясно, что ей трудно начать этот разговор.— И я никогда не позволила бы себе... Но мне почему-то показалось: может быть, это даже хорошо... То есть мне легче говорить об этом с вами...

«Чем с вашим мужем», очевидно, хотела она сказать и не сказала. Казалось, она долго готовилась к этой встрече и даже не раз мысленно представляла ее себе — а теперь все вдруг забыла и вспоминала с трудом.

— Дело в том, что у меня нет никакого другого выхода. Он очень убедительно доказал, что все это ложь и клевета. И я поверила. А теперь, когда он стал настаивать...

— Кто он?

Что-то случилось, но что именно, об этом посетительница, казалось, сказать не могла.

— Может быть, вы думаете, что я очень волнуюсь? Нет, не очень.

Она солгала. Волноваться больше, чем она, было, кажется, невозможно.

— Простите,— мягко сказала Лиза,— но я все-таки не понимаю, о ком вы говорите?

— Вы знаете о ком. О Лучинине. В сущности, это глупо, что я пришла к вам посоветоваться о своей беде. Глупо и бестактно. И вы будете совершенно правы, если укажете мне на дверь. Беда заключается в том, что мне предложили выйти замуж.

Она засмеялась. Но невесело засмеялась.

— Мне тридцать лет и пора бы, наверное, создать «крепкую советскую семью», как пишут в газетах. И я очень люблю детей. У вас есть дети? Судя по этому рисунку, есть?

— Нет. Это рисунок моей приемной дочери.

— Так вот, Лучинин предложил мне выйти за него замуж. Зачем это ему понадобилось, непонятно. Может быть, его убедили газеты? Но он настаивает,

хотя до сих пор в этом не было ни малейшей необходимости. Вы понимаете, почему?

— Больше чем понимаю. Знаю.

— Тем более. А между тем я до сих пор не имею никакого представления о нем. Что это за человек? Может быть, была бы более уверена, если бы он приходил ко мне отнюдь не для того, чтобы... вы понимаете? У нас постоянно не было времени. То я была занята, то он торопился. Я не помню, чтобы мы о чем-нибудь говорили... То есть говорили, конечно. Но как-то ни о чем. Так вот, что это за человек?

Лиза молчала. Ей чем-то понравилась эта женщина, в ее искренности можно было не сомневаться. И Лизе не казалось таким уж глупым, что она пришла, чтобы поговорить о нем. И, может быть, даже лучше, что с ней, а не с Борей.

— Но я все-таки, наверное, не решилась бы прийти, если бы у меня случайно не сохранилась газета со статьей вашего мужа. Лучинин тогда уверил меня, что это интриги и что ваш муж оклеветал его. Я даже запомнила фамилию: какой-то Лавровский. Этот Лавровский будто бы помогал вашему мужу написать статью для «Комсомольской правды». И это было особенно подло, потому что прежде он хорошо отзывался о книге. Ваш муж знаком с Лавровским?

— Нет.

— Не может быть!

— Вы мне не верите?

— Ну что вы, конечно, верю! У вас такое лицо, что вам нельзя не поверить. Я художница, пишу портреты и привыкла, как бы это сказать, видеть не только внешнее, но и внутреннее лицо. Так значит, Лучинин мне все наврал? И его книга, действительно превосходная, принадлежит... Ведь вы Веланская.

— Да.

— Значит, его книга, которой он так гордится, украдена?

— Нет. Книга принадлежит ему. Но все, что рассказано на ее страницах, принадлежит отцу.

Снова наступило молчание.

— Так,— сказала наконец Изюмова.— Все ясно.

У нее был повеселевший голос.

— То есть не совсем все. Но по меньшей мере совершенно ясно, что мне суждено, очевидно, остаться старой девой.

Это было сказано с таким неожиданным юмором, что Лиза невольно рассмеялась.

— Ну, об этом мне трудно судить.

— А вы бы решились выйти замуж за такого человека?

— Не знаю. Мне кажется, что это зависит от ваших отношений.

Ей захотелось прибавить, что она знает женщину, которая так любила Лучинина, что готова была простить ему... И простила... Но Лиза удержалась. Кроме того, в голове стала вертеться поговорка: «Любовь зла — полюбишь и козла». Но это было бы уж совсем некстати.

На этот раз молчание продолжалось так долго, что Кончита, решившая, что чужая сеньора ушла, робко выглянула из кабинета-спальни.

— Это ваша приемная дочка?

— Да. Кончита, я тебя позову.

— Не отсылайте ее. Ее зовут Кончита?

— Да.

— Она испанка?

— Да.

— Теперь многие берут испанских детей,— задумчиво сказала Изюмова.— Может быть, и мне взять? Обойтись без мужа? Хорошая девочка?

— Очень.

— Она понимает по-русски?

— Нет.

— А это ее рисунок на стене?

— Да.

— Ну, так как она по-русски не понимает, я могу сказать, что такой красивой девочки я никогда в жизни еще не видела. И мне сразу же захотелось ее написать.

Кроме того, я должна прибавить, что она не только красива, но талантлива. О детских рисунках трудно судить, у них природная точность зрения, и часто бывает, что эту точность принимают за талант. А она любит рисовать?

— Очень. Когда я купила ей краски, она сказала, что так добра была только Мадонна.

— Да? Возможно, что она была совершенно права. Хотите, я буду с ней заниматься?

Лиза подумала и согласилась. Ей нравилась эта женщина, явившаяся к ней с такой неожиданной просьбой.

— Но как это сделать?

— Очень просто. Сперва я буду приходить к вам, а потом, когда она немного привыкнет ко мне и научится говорить по-русски, она будет приходить ко мне. Я тоже живу на Стромынке, недалеко.

Кончита поняла, что разговор идет о ней. Она взволнованно переводила взгляд с тети Лизы на незнакомую сеньору.

— Кончита, эта сеньора — художница. Ей понравился твой рисунок. Она предлагает заниматься с тобой.

У девочки широко раскрылись глаза. Она молитвенно сложила ладони. Если бы Лиза не удержала ее, она встала бы перед сеньорой художницей на колени.

— Бог знает, о чем вы говорите,— сказала Изюмова, когда Лиза, стесняясь, упомянула о деньгах.— Да я буду счастлива, если у меня появится такая прелестная ученица. Но часто бывает, что я занята,— прибавила она, спохватившись.— Раз в неделю, может быть, два, утром, при дневном свете. Я буду забегать к вам утром.

— В эти часы я бываю в университете.

— Преподаете?

— Нет, учусь. Кончаю. На пятом курсе.

— Господи, вот уж не могла предположить, что вы студентка!

— Почему?

— Вы такая положительная, серьезная.

— Это только кажется. По утрам и вообще в любое время дня дома мой свекор. Его зовут Матвей Борисович Ланской. Он врач, на пенсии. Я вас сейчас познакомлю.

Матвей Борисович спал на кухне, уютно устроившись в кресле, над «Хождениями по мукам», книгой, которую он читал уже полгода. Он сердился, когда выяснилось, что он уснул днем. Лиза разбудила его.

— Прекрасно,— выслушав ее, сказал он.— А я думал, что письмо от Бориса.

Сеньоре художнице пришлось подождать, пока он снимет халат и наденет свой лучший костюм. Они познакомились и уговорились о встрече.

ГЛАВА 65

«Через три часа Новый год. Лежу один в своем «бюро», таком холодном, что надел пальто и все-таки не согрелся. Отопления нет. Весь день болела голова, а сейчас прошла, но я решил никуда не ходить и не «праздновать». Папа пошел в посольство, и я просил его не торопиться ко мне. Там отмечают и будут, надо полагать, прилично кормить, что последнее время случается сравнительно редко. Шофер и домработница тоже куда-то ушли. Я один в пустой квартире, которая больше похожа на конюшню, чем на жилой дом. Но мне ничего не нужно, и я ни о чем не жалею. Я не ожидал, что мы расстанемся так надолго. Много дал мне этот год. Я узнал Испанию, страну, где все так необыкновенно, что в книге, которую мы с Пашей пишем, почти нет места воображению, и мне не надо представлять себе, что теплоход «Чичерин» отправился из Батума в Стамбул. Я понял, что такое война. Я видел ее, и притом современную. И в тылу, и на фронте. Мне кажется, что я стал глубже понимать себя. Несмотря на усталость и на госпиталь, я чувствую себя внутренне более сильным, чем прежде, и более способным оценить счастье обыкновенной жизни. Я понял, что был болен жаждой скитаний и что Испания излечила меня от этой болезни. Читала ли ты замечательную книгу писателя и этнографа Максимова «Бродячая Русь Христа-ради»?

Там рассказывается о странниках, бродивших по русской земле. Во имя веры собирали на церковь или в надежде как можно дольше сохранить «драгоценную чашу жизни». А ведь я скитался для того, чтобы скитаться, и мои скитания недалеко ушли от праздного любопытства туриста.

Нет, конечно! Вернувшись на родину, я буду сидеть и писать. Не о себе, а о других, что в тысячу раз важнее.

Но что-то я расфилософствовался в новогоднюю ночь. Как мне хочется передать мою тоску по тебе. За окном ветер и буря, но я согрелся, может быть, потому, что вижу тебя так близко, как будто ты рядом со мной. Спасибо, что ты так подробно мне пишешь о Кончите. Я уже скучаю по ней».

ГЛАВА 66

Уже тогда, в 1937 году, Ланской понял, что победят франкисты, и не был удивлен, когда его и Шубина в начале 38-го отозвали в Москву. Они не были свидетелями судорожной борьбы за власть, когда после падения Негрина только случайность помогла русским переводчикам и корреспондентам спастись от расстрела. Ланскому удалось предупредить по телефону Лизу о возвращении. И они с Кончитой встретили его на аэродроме. Шубин вылетел на другом самолете.

Это была самая долгая разлука за всю их короткую семейную жизнь. И они нашли друг друга изменившимися. Оба похудели и, можно было бы сказать, помолодели, если бы у Ланского, рано начавшего седеть, не появились новые морщины на высоком лбу. И если бы у Лизы не появился утаенный счастливый оттенок в глазах. Морщины подарила Ланскому война, счастливый оттенок подарила Лизе Кончита. Она удивилась и обрадовалась, когда сеньор в толстых очках, которого с таким нетерпением ждала тетя Лиза, свободно заговорил с ней по-испански, и то, что он попросил Кончиту называть себя папой. Как будто ее таинственно исчезнувший отец, о котором она никогда не говорила, наконец занял в ее жизни долгожданное место.

Кончита усердно занималась у Аллы Евгеньевны, хотя после того, как она справлялась с очередным уроком, начинала рисовать все, что приходило в голову. Если у нее действительно был талант, опытный глаз нашел бы его не в строгом копировании античных образцов, которые поручала ей Алла Евгеньевна, а в фантастических «цветах на Луне» или крокодилах с крыльями, на которых сидели разноцветные бабочки. Но эти рисунки она с виноватым видом показывала только Лизе.

По-прежнему Алла Евгеньевна забегала к Лизе один-два раза в неделю, но к разговору о Лучинине не возвращалась, хотя Ланской мог прибавить много к тому, что о нем рассказывала Лиза. Но о том, что статья была снята по невидимому, но высокому приказанию, он все-таки Алле Евгеньевне рассказал. Они были мало знакомы, но он (так же, как в свое время Лиза) сразу почувствовал в ней искреннего и честного человека. Он успокоился, когда она со смехом сказала: «Я ему, как некогда говорили, „отказала от дома“».

Теперь случалось, что Кончита сперва вместе с Лизой, а потом одна бывала у нее. Она жила в коммунальной квартире среди старух с моськами, брошенных жен и бывших воров, которые втихомолку продолжали заниматься своим ремеслом. Союз художников вот уже пять лет обещал ей студию и выполнил обещание, но студия была в двух часах езды на трамвае, и ей было жаль терять время.

Комната была большая, светлая, на пятом этаже, но запущенная, и Алла Евгеньевна решила заменить выгоревшие обои. Однажды, когда Лиза была занята, Кончита сама пришла к Алле Евгеньевне и застала у нее маляра, который, стоя на верхней ступеньке лестницы, держал в руках намазанный клеем длинный кусок обоев. Алла Евгеньевна помогала ему. Он оглянулся на шум открывшейся двери, и это была минута, когда у девочки неожиданно началась новая жизнь.

— Кончита! — закричал он и, соскочив с лестницы, одним прыжком перелетел комнату. Алла Евгеньевна не поняла, о чем они говорили, перебивая друг друга, по-испански. Он подхватил девочку на руки, прижал к себе, целовал, смеялся, глядел на нее, не веря своим глазам. Немного успокоившись, он объяснил Алле Евгеньевне, что это его дочь, которую он считал погибшей.

— Моя семья была расстреляна франкистами,—объяснил он.—И отец, и жена, и сын. Я давно потерял надежду, что моя младшая дочь жива. Это вы приютили ее?

Алла Евгеньевна объяснила, что Кончиту удочерили ее друзья Ланские.

— Так мы сейчас же поедем к ним,— сказал маляр.— Я женился в Москве. Мы бездетны, и жена будет очень счастлива, что нашлась моя дочь.

Лиза уже вернулась домой, когда маляр с Кончитой, которую он то и дело брал на руки, целовал, гладил, пришли на Стромынку.

Нетрудно было понять, что случилось, но понять — это одно, а принять — совершенно другое. У Лизы не было детей, и она чувствовала себя обделенной, незаслуженно лишенной того, что доступно другим. Нежная привязанность к Кончите помогла ей избавиться от этого мешавшего ей жить чувства, соединившегося с необъяснимым чувством вины — перед кем? Не только перед Борисом. Она знала, что женщины, равнодушные или даже не любящие детей, понять этого никогда не могли. Кончиту она любила с чувством незаслуженного счастья и даже с чувством прибавившихся жизненных сил, когда после болезни радуешься солнцу, легкому воздуху, освежающему ветру. Но вот приходит незнакомый человек, ее отец, о котором девочка, быть может не случайно, никогда не вспоминала. Приходит и отнимает ее, и она должна повиноваться ему, потому что этот человек — ее отец. Когда она спросила Кончиту, хочет ли она остаться с ней, девочка ответила, покорно опустив глаза: «Как прикажет отец».

Онемевшими руками Лиза достала с антресолей чемодан и начала складывать в него вещи Кончиты. Она не плакала — ведь это хорошо, это прекрасно, что Кончита нашла отца.

Из столовой, где остались Ланской с отцом, послышался шум, возгласы, даже, кажется, смех.

«Послышалось,— подумала она.— Кому придет в голову смеяться, когда Кончиту уводят».

В спальню вошел взволнованный Ланской.

— Лиза, где же ты? Ты плачешь?

Она и не знала, что плачет.

— Лиза, это Фернандо. Какое совпадение! Мы встречались под Алкасаром. И оказалось, что он — отец Кончиты.

И начался длинный разговор по-испански, уже за столом, уставленным тарелками и блюдами и винами,— всем, что было в доме. А Лиза и Кончита молчали. Потом за столом оказался Матвей Борисович, который после краткого объяснения о том, что произошло, тоже погрустнел и тоже замолчал. Было выпито — для Ланского много, для Фернандо — в меру. Расставаясь, Ланские и Фернандо условились — занятия Кончиты рисованием будут продолжаться два раза в неделю. Летом обе семьи поедут на юг как дикари и будут жить в палатках где-нибудь на берегу Черного моря.

ГЛАВА 67

Лиза редко принимала снотворное, но в этот вечер приняла и все-таки долго не могла уснуть. Потом уснула, или забылась — и оказалось, что она не на земле, в своей комнате, а нигде, словом, в смутном пространстве, где может случиться все, от чего уйти невозможно. В холоде одиночества, который нельзя было выразить словами и который заставлял ее дрожать, как будто она была в легком платье и шла, не зная куда, по заснеженному полю. Иногда она догадывалась куда, но догадка сливалась с туманным воздухом, в котором тонули и поле, и дальний лес, и жалкие голые березки, примирившиеся с холодом и туманом. Догадка заключалась в том, что это — сон и что все это чудится ей, потому что увели Кончиту. Сама Кончита была догадкой, и, оглядываясь, останавливаясь,

дыша на озябшие руки, Лиза все-таки надеялась добраться до нее, найти ее в этом морозном тумане. Найдет — не найдет? И она все шла, хотя надо было остановиться, отдохнуть, может быть, даже прилечь, если бы это было возможно.

Борис разбудил ее.

— Ты стонешь. Что с тобой?

Лиза не сразу очнулась.

— Ты заболела?

— Нет, нет. Все хорошо. Мне приснилось что-то страшное. Кончите не хотелось расставаться с нами.

— Да, но что делать?

ГЛАВА 68

Фернандо жил далеко от Ланских, в одном из переулков Арбата. Пока они ехали на трамвае, он расспрашивал дочку о матери, о том, как она попала в Москву, о том, как ей жилось у Ланских. От Арбатской площади надо было идти пешком, и только когда они подходили к дому, он сказал ей, что жена русская, зовут ее Марья Ивановна. Она тоже маляр, но сейчас не работает, хозяйничает. Заработка хватает на двоих. Кончита слушала молча. Отец приказал, нечего было думать о том, что можно ему не повиноваться. Она и не думала.

Марья Ивановна оказалась красивой полной женщиной тридцати пяти лет. Накрашенной, хотя у нее был хороший цвет лица. В переднике, надетом на цветастое платье,— словом, если бы Фернандо видел малявинских баб, он нашел бы в любой из них сходство со своею женой. Она не обрадовалась и не расстроилась, когда Фернандо привел Кончиту.

— Лишний рот,— только и сказала она.

Если бы Кончита поняла смысл этого выражения, она повернулась бы и ушла. Все-таки она была испанкой!

Но она не поняла. С той минуты, когда ее увели от Ланских, ко всякому, что она чувствовала, присоединялась горестная задумчивость, заставлявшая ее полувидеть и полуслышать.

Комната, в которой жил Фернандо, была одной из двенадцати в коммунальной квартире, некогда принадлежавшей видному чиновнику министерства торговли. Кое-где сохранились вытертые ковровые дорожки. В передней стояла мраморная статуя Меркурия с отбитым носом. Комнаты были разделены широким, под углом, коридором.

Напротив Фернандо жила сеньорита Мальвина, красиво одевавшаяся и очень любившая гостей. Она нравилась Кончите. Гость обычно проводил у нее немного времени, час или два, а потом она провожала его и приводила с улицы другого. Рядом с нею жил старик-музыкант, на которого все кричали, потому что он целыми днями играл на своей флейте.

Жили в этой квартире городские рабочие, штукатуры и плотники, слесари и точильщики. В коридоре играли дети.

Самым богатым среди этого трудового народа был нищий, который с надписью «Подайте бывшему артисту» на груди и с ободранной ушанкой в руке стоял на Арбате и бесследно исчезал при появлении милиционера. Говорили, что у него под Москвой есть дача.

Нельзя сказать, чтоб Марья Ивановна плохо относилась к Кончите, но она была к ней равнодушна.

Правда, Кончита могла помешать ей в одном отношении, но она надеялась, что не помешает... Как женщина практичная, она постаралась воспользоваться неожиданным появлением девочки для своего несложного хозяйстаа. Пол в комнате теперь мыла не она, а Кончита. Она не любила стирать, и теперь часть белья, конечно, не простыни, а кальсоны, носки и рубашки стирала Кончита.

Ей даже и в голову не приходило, что у девочки могли быть свои дела, интересы, занятия. Она пропустила мимо ушей все, о чем Фернандо условился с Лизой. Девочка любит рисовать. Ну и пускай рисует, когда найдется свободное время. А ездить к какой-то художнице на другой конец города куда-то к черту на рога — это уж нет. Кто будет ее отвозить? И кто будет ее привозить? И отпускать ее к чужим людям на два-три дня, как условились...

В Испании этот разговор был бы другой. Но в Москве перед своей рослой, властной, молодой, сильной женой Фернандо растерялся. Он пытался возражать, он сказал, что сам будет отвозить Кончиту, тем более что он отделывает у хозяйки квартиру. Он замолчал, потому что Марья Ивановна закричала. Это был дикий захлебывающийся крик. Бессмысленный, но действующий на него неотразимо. Так в течение десяти минут было покончено и с уроками рисования, и с несколькими днями у Ланских, о которых Кончита мечтала.

Что касается той стороны жизни Марьи Ивановны, которой Кончита могла помешать, то она поступила просто. К ней приходил молодой, добродушный милиционер, такой же красивый, здоровый, веселый, как она. Марья Ивановна, прежде чем они запирались вдвоем, посылала Кончиту к соседям. Чаще всего к старому флейтисту. Старик был рад маленькой слушательнице, и флейта в этот день звучала нежно, взволнованно, легко, как человеческий голос.

ГЛАВА 69

Раза три или четыре приезжала Лиза, и Кончита в слезах кидалась к ней, но не жаловалась, молчала.

При первом взгляде на Марью Ивановну Лиза поняла, что разговаривать с ней бесполезно. Конфеты, которые Лиза привозила девочке, она у нее отбирала, оставляя ей две-три из коробки. Фернандо ругал ее, она огрызалась.

В огромной коммунальной квартире, жильцы которой могли бы составить население небольшого села, она была властительницей, королевой. Ее боялись. Только этим можно объяснить, что она, никого не стесняясь, запиралась со своим добродушным милиционером.

Но вот кто-то не испугался, и Фернандо в свою очередь закрыл дверь комнаты на ключ и избил свою жену так, что она пролежала целый день и только к вечеру, прикрыв платком синяки на лице, хромая, прошла в туалет.

Кончита молча ухаживала за ней. Однажды она ласково назвала ее Кончиточкой и, когда Фернандо ушел на работу, написала своему милиционеру записку.

— Кончиточка, пожалуйста, будь другом, для меня зарез, если он снова придет. Отнеси ему, пожалуйста, эту записку. На улице дождь, возьми зонтик.

Кончита надела пальто, взяла зонтик и вышла в переднюю. С запиской в руке она долго стояла перед входной дверью. Потом сняла пальто, поставила зонтик в угол и вернулась.

— Как, уже? — спросила Марья Ивановна.— Да это же моя записка! Ты что же, раздумала? Не хочешь?

Она так сильно ударила Кончиту по лицу, что девочка упала. По ее понятиям, Фернандо поступил совершенно правильно, избив жену. Мать Кончиты он не раз бивал и без такой веской причины. Если бы он узнал, что в его отсутствие мать Кончиты принимала другого мужчину, он не стал бы размениваться на мелочи, вроде синяков и ссадин, а просто убил бы ее. Кончита уже давно была оскорблена за отца. Относить записку любовнику ей не позволила гордость.

Старый флейтист обрадовался ей. Он не стал расспрашивать, да он ничего и не знал. В этой мешанине сплетен, интриг, обид, зависти, оскорблений, которыми была полна грязная, запущенная квартира, он интересовался только своей флейтой.

Ему нечем было угостить девочку, кроме любимого этюда Шопена. Кончита молча слушала его, а потом поцеловала и снова стала слушать.

Он видел, что она думала о чем-то своем, и старался, чтобы музыка помогала ей думать. И музыка помогала. В ее еще не ясном решении появились определенность, твердость, а поступать так, как она задумала, без решительности и твердости было невозможно.

«Нельзя ждать до вечера,— пела флейта.— Ты не знаешь города, ты знаешь только название улицы. И я, флейта, не скажу тебе номер дома. Надо решиться. Надо уйти сейчас, когда еще светло, и тебе могут помочь».

Она уже научилась немного говорить по-русски, но спросить этого милиционера, по каким улицам надо пройти, чтобы добраться до Стромынки, она не

хотела. Может быть, она встретит другого, доброго милиционера, который покажет ей дорогу.

«С богом! — пела флейта.— И пусть святая Мадонна прикажет добрым людям встречать тебя на каждом углу».

— Может быть, мы не скоро увидимся,— как взрослая, сказала она старику.

Она показала, что хочет помолиться, и спросила: «Можно?»

На коленях, шепотом она прочитала все молитвы, которые знала: перед едой, перед сном и за старика-флейтиста, чтобы Мадонна позаботилась о нем, когда его душа вознесется на небо. Потом она простилась с ним, в передней надела пальто, повязала голову косынкой, взяла зонтик — это был ее зонтик — и ушла.

ГЛАВА 70

Так же, как Лиза, некогда убежавшая от матери, она убежала от отца и знала, что больше никогда к нему не вернется. В конце концов, в этом огромном и шумном городе есть только один дом, где ее, может быть, ждут. Она помнила не только название улицы, но и фамилию тети Лизы — «Лански».

В деревне все знают друг друга, но, может быть, и в городе она встретит человека, который знаком с Борисом и тетей Лизой.

Переулок, в котором жил Фернандо, выходил на Арбатскую площадь, и на площади она спросила высокого седого человека в шляпе и красивом пальто: «В какой стороне Строминка?» Он удивился.

— Но это же очень далеко. У Сокольников. Туда надо ехать в метро или на трамвае.

Кончита была смелая девочка. Лиза рассказывала ей и о трамваях, и о метро, но она не знала, как надо вести себя в метро или трамвае. Здороваться со всеми входящими? И прощаться с уходящими? Все-таки это были дома, хотя и на колесах. Старой даме она рассказала все. И что она испанка Кончита Гонзалес, и что еще никогда не ездила на трамваях или на метро, и хотя у нее есть двадцать копеек, она думает, что доехать так далеко, до Строминки, стоит гораздо дороже. Русские слова тонули в испанских. Испанские приобретали несвойственные русские окончания. Но добрая старая дама, как ни странно, поняла ее.

Разговор происходил на Гоголевском бульваре. Кончита свернула на бульвар наудачу. Ей понравился этот неожиданный, далеко протянувшийся сад. Широкие ряды деревьев начинали разноцветно желтеть. Стояла ранняя осень.

— Да, Стромынка далеко, но ты права,— сказала старая дама.—Для тебя лучше добраться туда пешком. Этот сад, который тебе понравился, называется бульваром. Ты знаешь, где Арбатская площадь?

— Да.

— Ну вот. А от этой площади...

И она зонтиком на песке нарисовала самый короткий путь до Стромынки.

Кончита длинно поблагодарила ее по-испански, а потом в двух словах по-русски. Дама поцеловала ее.

Она шла по бульвару — оказывается, так называются эти длинные чистые сады,— и ей становилось все веселее. Правда, хотелось есть, и она обрадовалась, встретив женщину, стоявшую за лотком с пирожками. На двадцать копеек можно было, оказывается, купить два пирожка с капустой.

Неприлично было есть на ходу, и она уселась на скамейку, рядом с девушкой и юношей, которые говорили что-то, не переставая смеяться. Иногда они целовались, это тоже естественно становилось частью разговора. Говорил, главным образом, юноша. Красивый, немного похожий на Ансельмо. А девушка смеялась.

Они очень заинтересовались Кончитой, узнав, что она испанка. И девочка на своем фантастическом русско-испанском языке рассказала им, что идет на Стромынку, к тете Лизе. Это было глупо, но, рассказывая, она почему-то тоже смеялась.

— А давай, Верочка, проводим ее до Стромынки. Сегодня такой день, что сам

бог приказал нам сделать доброе дело. Сегодня мы поженились,— объяснил он Кончите.

Тут уже русский язык не мог пригодиться. Она по-испански поздравила новобрачных, пожелала им счастья и сказала, что Мадонна благословила их брак...

ГЛАВА 71

Нет, все-таки предчувствия бывают! Ночью тихие ласки Бориса, которые она так любила, днем — профессор похвалил ее дипломную работу. Сокольники тоже были радостью — все радуги мира соединились, чтобы окрасить и украсить их. И не желтый тусклый свет осени господствовал среди рощ, а медный, золотой, звонкий, торжественно льющийся, не замечая своего богатства.

Все было хорошо, но что-то тайно подсказывало Лизе, что именно сегодня должна случиться счастливая неизвестная случайность, которая, может быть, неожиданно украсит жизнь. Меньше всего она думала в этот день о Кончите. Кончита — это было горе тайное. Она старательно спрятала его в самый далекий угол сознания. Это было: «ничего не поделаешь, надо примириться». Все-таки она здесь, в одном городе с нею, и, может быть, они встретятся. Но с этим «может быть» она обращалась строго. Чудес не бывает.

Вот почему она не поверила глазам, когда произошло это чудо. Вот почему, когда Кончита кинулась к ней, она подумала, что это сон. Вот почему она кинулась целовать двух незнакомых молодых людей, которые, ничего не понимая, растерянно отвечали на поцелуи.

Они хотели уйти, но она не отпустила их. Узнав, что они молодожены, она начала кидать на стол все, что было в доме: холодную курицу, соленые огурцы, хлеб, сваренную про запас картошку в мундире. Они выпили «Саперави» и еще какое-то вино, очевидно, очень крепкое, потому что Борис, которого никто не заметил, остановился в недоумении на пороге столовой, в которой происходил этот шумный пир.

Кончита первая увидела его, побежала к нему и что-то сказала по-испански. Она сказала два слова, но, очевидно, они заменили длинную речь, потому что он, улыбаясь, взял девочку на руки и, поздравив незнакомых молодоженов, сел за стол. Когда они остались одни, Кончита рассказала все, что с ней случилось.

— Ну, теперь я тебя никому никогда не отдам,— сказала Лиза, и девочка впервые заплакала и встала перед ней на колени...

Через несколько дней пришел Фернандо. Он знал, где искать дочку. Борис отвел его в свой кабинет, и пока мужчины разговаривали, женщины, обнявшись, сидели и, волнуясь, ждали и ждали... Легко было сказать «никому не отдам», но ведь Фернандо был отец Кончиты, и что значили любые слова перед этим неоспоримым фактом.

Наконец кончился показавшийся мучительно долгим разговор. Решено было, что Кончита останется у Ланских. Фернандо хотя и был простым маляром, прекрасно понимал, что под руководством Марьи Ивановны его дочь такого воспитания, как у Ланских, не получит. Условились, что он будет навещать ее, когда найдет время.

Расставаясь, Борис напомнил Фернандо, что они встречались под Алкасаром. Маляр только рукой махнул. Самое воспоминание о проигранной войне было для него неприятно.

— Не сделать ли вам резинку для очков? — грустно сказал он, уходя.

ГЛАВА 72

Одни, вернувшиеся из Испании, были награждены, другие — расстреляны, а третьи — сперва награждены, а потом расстреляны. Иные спрашивали: «За что?», а иные, поумнее, отвечали на этот вопрос с иронией: «А я вот знаю, да не скажу!»

Никто ничего не знал ни друг о друге, ни о положении в стране. И многое, как это ни странно, держалось именно на этой секретности, на этих высоких заборах,

ограждавших пустое пространство. Более того, некоторые ловкачи делали на этой секретности карьеру. В каждом номере любой газеты врагом номер один объявлялась фашистская Германия, и вдруг как снег на голову упал договор с этим заклятым врагом. Появилась фотография — Риббентроп пожимает руку Молотову.

Проницательный Шубин разглядел на лице одного из советников, сопровождавших германского министра иностранных дел, еле заметную улыбку, зловещую улыбку торжества умного человека, одурачившего тех, кого должен был одурачить этот неожиданный договор.

ГЛАВА 73

Речь Молотова застала семьи Ланских и Шубиных под Ялтой, в палатках, на берегу Черного моря. В поднявшейся суматохе только на третий день удалось добраться до Москвы. Мужчины нашли у себя повестки, явились в военкомат, прошли медкомиссию — Ланскому пришлось доказывать, что близорукость не помешала ему работать военкором в испанской войне,— и оба были направлены в распоряжение ПУРа. Оба попросились в «Знамя победы». И просьбы их были уважены — их знали...

Лиза всегда боялась разлук. Ей казалось, что, когда любимые люди рядом, им ничего не грозит. Конечно, и вдалеке друг от друга можно жить, мысленно не разжимая рук, но ей казалось, что сосредоточенное внимание, неустанная забота, даже взгляд на любимого человека может уберечь его от беды. Но вот Борис снова уходил — куда? На фронт, в неизвестность, грозившую тем, что предсказать невозможно. Она могла попросить его поберечь себя, он военкор, его орудие — перо, а не винтовка, не пистолет, висящий в кобуре на его ремне. Но она знала Бориса. Никто не приказывал ему участвовать в атаке на Алкасар, и никто не остановит его, если теперь часть, в которую случай пошлет его, пойдет в атаку.

Ее немного успокаивало, что Шубин едет вместе с ним. Их не разлучали в мирные времена, они не только статьи, но книги выпускали под двумя подписями: Шубин и Ланской. К этому привыкли.

Первая корреспонденция под этими двумя подписями появилась из-под Смоленска. И в этот же день Лиза получила первое письмо.

«Родная моя, писать пока не о чем. Я жив и здоров. Паша написал Регине. Если его письмо почему-либо не дойдет, передай ей, что он тоже в полном порядке, насколько это возможно на фронте. Обнимаю. Твой Борис».

В первые же дни войны Лиза прошла краткосрочные курсы для медицинских сестер. А когда университет эвакуировался (она была в аспирантуре), осталась в Москве. И Матвей Борисович, хотя ему уже стукнуло семьдесят и он был давным-давно снят с учета, предложил свои услуги, и помощь его была принята. Он занялся своим профессиональным делом — организацией госпиталей.

Он помолодел, посвежел, военная форма шла ему — изменился «до узнаваемости», как сказал он себе.

Кончита, которой минуло одиннадцать лет, стала хозяйкой в доме. Она уже давно говорила по-русски, правда, с акцентом, умела писать, училась в школе, много читала и продолжала изредка встречаться с Аллой Евгеньевной. Изредка, потому что художница вышла замуж. На этот раз ни с кем не советуясь. Ее муж был тоже художник, но не рядовой, как она, а известный. Он был гораздо старше ее, но стройный, моложавый, «постановный», как сказала бы тетя Шура, давно отправившаяся вслед за своей хозяйкой в ту страну, из которой еще никто никогда не вернулся.

Фамилия его была Субботин. У него были ученики. Внимательно познакомившись с работами Кончиты, он сказал: «Рано», и решено было, что девочка будет по-прежнему еще года два учиться у Аллы Евгеньевны. Это решение было принято в первые месяцы войны. Осенью, когда немцы были на Волоколамском шоссе и город опустел, Субботины так же, как и Лиза, остались в Москве. И Кончита продолжала ездить к ним, хотя Алла Евгеньевна переехала к мужу. Он жил далеко от Стромынки, на Ленинградском шоссе.

ГЛАВА 74

Вся страна бросилась читать «Войну и мир». И Лиза, разрознив свое собрание сочинений Толстого, отдала три тома в устроенную ею же маленькую госпитальную библиотеку. У Регины, которая уехала в Туркестан — несмотря на войну, раскопки продолжались,— она взяла второй экземпляр романа.

Друзья и знакомые, покинувшие город и оставшиеся, отдали ей свои книги. Госпиталь был расположен в трех этажах огромного дома на Кировской, а в четвертом продолжало работать какое-то учреждение, об эвакуации которого по неведомым причинам не могло быть и речи.

Так началась новая жизнь. Работа в госпитале подчас по три-четыре подряд дня — и ожидание писем от Бориса. Хлынувшая в душу история множества жизней, расколотых войной, недосказанных, оборванных смертью,— и ожидание писем от мужа. Менявшийся на глазах душевный строй огромной страны, в которой страх, подозрительность, обман доверия отступили перед лицом еще не бывалого чувства равенства перед смертью, решимости победить, как бы это ни было трудно,— и никогда не оставлявшее ее, присоединявшееся к большому и малому, ко всему, чем было занято сердце и делали руки,—ожидание писем от Бориса.

Как безбожно, с каким безумством обладания она не ценила немногие годы, месяцы, дни, когда они были рядом! А его писем, прочитанных тысячу раз, выученных наизусть, было немного и с каждым месяцем становилось все меньше. Письма — она догадывалась — метались с одного фронта на другой, из одной дивизии, победы которой отмечались салютами, в другую, которая, может быть, была окружена, с бесчисленными потерями вышла из окружения и была расформирована, потому что превратилась в полк, или даже батальон, или роту. Письма отступали вместе с отступавшими войсками и шли в наступление, когда можно и должно было наступать.

Об этом не рассказывалось в сложенных треугольником листках из блокнота, но Лиза, знавшая мужа лучше, чем знала себя, вычитывала недосказанное за каждой строкой.

Раненые полюбили ее. Она была не только медицинской сестрой для них, они любили ее братской любовью. Она читала им стихи, писала под диктовку письма родным, устраивала концерты. Шульженко по ее просьбе приехала в госпиталь, и это был день, запомнившийся надолго.

Когда писем не было, она училась ждать их. И это была целая наука. Пригодилось все: и то, что она гнала от себя всю свою усталость, и то, что Кончита почти каждый день забегала к ней, и то, что раненые расспрашивали ее о подросшей смуглой красавице-испанке с точеным лицом, с начинающими, как у отца, срастаться бровями.

И то, что Лиза (это было самое главное) была глубоко увлечена своей внезапно открывшейся возможностью помочь сразу многим, и ворвавшееся, как вихрь в пустыню, чувство надежды, что война сметет Большой страх, в котором уже много лет находилась незаслуженно униженная страна.

И был случай, единственный в ее жизни, когда это счастливое чувство надежды вдруг возникло перед ее глазами.

Ленинградский театр комедии привез в Москву свою премьеру пьесы «Дракон». Билеты распределялись по учреждениям, и Матвею Борисовичу выпала удача. Но он не мог пойти, был занят, и отдал свой билет Лизе.

То, что она увидела, даже вообразить было невозможно. В скрытой сказочной форме на сцене развернулась история неизвестной страны. Лиза и прежде слышала имя драматурга Евгения Шварца и даже читала Кончите его сказки. Но она не ждала, да и никто не ждал, что этот писатель для детей напишет такую глубокую, смелую пьесу.

Странствующий рыцарь Ланцелот приходит в город, который четыреста лет тому назад был порабощен трехголовым драконом. Кот рассказывает рыцарю, что каждый год дракон выбирает себе девушку и уводит ее к себе в пещеру. Ланцелот — в доме архивариуса Шарлеманя. Девушка — его дочь. Но она просит не говорить о том, что ее ожидает. «Лучше расскажите нам что-нибудь интересное»,— просит Шарлемань. И рыцарь рассказывает о том, что в пяти годах ходьбы отсюда в темных горах лежит книга, которую пишет весь мир. Жалобная книга! Каждая травинка, камни, деревья видят, что делают люди. Им известны все преступления, все несчастья страдающих. От ветки к ветке, от облака к облаку доходят до книги человеческие жалобы, и книга растет и растет.

«Это о нашей стране,— думает Лиза.— И не природа, а новый Ланцелот пишет Жалобную книгу. Ланцелот, которого я люблю».

Рыцарь побеждает дракона, но ничего не меняется, потому что у жителей города безрукие продажные души, окаянные души. И когда он, смертельно раненый, все-таки выздоравливает далеко в горах и возвращается, он видит, что жизнь в этом городе стала еще страшнее, чем при драконе.

«Ну, это уже сказка,— думает Лиза.— То, что было, не может вернуться. Потому что мы доказали всему миру, что заслужили лучшую участь. Потому что артиллерист, отдавая команду, кричит не только «За Сталина!», но и «За „Анну Каренину"!». Потому что двадцатилетний десантник, бросаясь в атаку, не боится смерти, а жалеет только о том, что приходится умирать в несвежем белье. Потому что в записной книжке убитого немецкого офицера Ланской прочитал (и об этом знает Лиза): «Видел казнь пятерых комсомольцев. Мы проиграли войну!»

Сказка кончается счастливо, и хотя мало надежды на сказочное чувство свободы — жизнь теперь не может остаться такой, как была. И может быть, придет время, когда не надо будет прятать Жалобную книгу, которую пишет новый Ланцелот.

ГЛАВА 75

В первые месяцы войны Ланской и Шубин бывали в Москве. Но когда сжавшаяся, как пружина, оборона начала распрямляться, превращаясь в наступление, стали приезжать все реже, а после Сталинграда исчезли надолго.

Редактор, профессиональный военный журналист в генеральском звании, показавший смелость и незаурядный военный талант в боях на Халхин-Голе, был суровым, жестким человеком, не дававшим своим военкорам ни отдыха, ни срока. Но когда редакцию наградили орденом Красного Знамени, ему пришлось (против его желания) разрешить самым деятельным из них поехать на одни сутки в Москву.

Так Лиза после показавшейся бесконечной полуторагодовой разлуки неожиданно увидела мужа.

Он изменился. Окреп, загорел и даже — военная выправка — стал казаться выше ростом. Плечи развернулись, а шея, на которой висел полевой бинокль, распрямилась. Ведь он много лет склонял ее над столом.

Вечером, после праздничной веселой летучки, на которой даже беспощадно суровый редактор неожиданно объяснился своим военкорам в любви, собрались у Ланских — Регина, прилетевшая неделю тому назад из своей Согдианы, Шубин, Матвей Борисович и тринадцатилетняя Кончита, красавица, на высоких каблуках, смуглая, с ресницами Суламифи и черными сросшимися бровями. «Грозна, как полки со знаменами»,— сказал Ланской, смеясь и целуя ее. Он знал «Песнь песней» наизусть.

Лиза не помнила, чтобы он был так весел, как в этот на всю жизнь запомнившийся день. Он много рассказывал, а когда Шубин только раскрывал рот, он перебивал его: «Я расскажу лучше». Куда девались его сдержанность, его молчаливость, его короткое, значительное молчание перед каждой фразой?

Он не шагал, а летел, рассказывая о том, что поразило или насмешило его. Он смеялся, представляя в лицах какую-то историю или сцену, происходившую на расстоянии тридцати метров от позиции противника.

Правда, на редакционной летучке он хватил несколько стопок коньяку, а дома добавил, но он не был пьян. «Он увлекся войной»,— подумала Лиза. «Есть наслаждение в бою» — невольно вспомнилось ей. Но он был военкором. В боях он бывал очень редко. Нет, это было то счастье надежды, которое объединило в те годы всех, от мала до велика. И в госпиталях, и на фронте, и в глубоком тылу — везде господствовало это неведомо откуда взявшееся, скрытое в своей неуверенности чувство.

Потом все разошлись. И была ночь, и долгожданная близость, зачеркнувшая разлуку после вечности полутора лет. И тихий разговор о том, как жизнь устроится после войны. Может быть, ему удастся купить или построить домик где-нибудь под Москвой. Денег нет, но Паша и он напишут книгу о людях войны и о том, какой дорогой ценой досталась победа.

Матвей Борисович тоже давно мечтает о таком загородном домике с садом, в котором он будет выращивать овощи и фрукты. И заведет кур, а может быть, козу. Нет, кур, с ними меньше хлопот. Они наконец удочерят Кончиту — Фернандо погиб в ополчении, давно, еще под Москвой. За Кончитой уже бегают мальчики, она выйдет замуж, и кто знает, может быть, Лиза станет самой молодой бабушкой в мире.

Потом рассвело, и Борис вспомнил Пастернака: «Я белое утро в лицо узнаю». И оказалось, что Лиза ничуть не устала, хотя провела бессонную ночь. И пришло время новой разлуки. Шубин и Ланской уезжали вместе, и Регина присоединилась к Матвею Борисовичу, Лизе и Кончите. Вместе с Ланским и Шубиным уезжали на фронт другие военкоры из «Знамени победы». И на вокзале нельзя было плакать.

Но вернувшись домой, женщины, так бодро, так уверенно державшиеся на вокзале, дали волю слезам. И старый военный врач, никогда не повышающий голоса, накидывается на Регину, сказавшую сквозь слезы: «Мы больше их не увидим».

— Почему? Откуда этот вдовий тон после такой счастливой неожиданной встречи?

Жизнь продолжается. Дел много, и они не ждут. Тяжелораненный двадцатилетний лейтенант просит Лизу навестить мать, которая уже два дня не была у него. Здорова ли, не надо ли помочь чем-нибудь? Письма тех, кого Лиза выходила и кто снова сражается уже где-то в Восточной Пруссии, приходят на ее адрес, и надо ответить, хотя писем много, а времени мало.

Пожилой полковник просит достать «Декамерон». Пришла же в голову человеку, которому только что отхватили три четверти желудка, такая странная мысль!

Двухчасовой сон — и снова госпиталь с вечера до утра. И через две-три недели после разлуки новое острое ожидание писем. Забыта, как будто ее никогда и не было, наука ожидания. Больше не помогает чувство усталости.

Чувство счастья, что она заботится о многих.

Ничего особенного, все помогают всем.

Ничто не помогало.

И редкие письма Бориса она теперь никогда не оставляет дома, прячет на груди, хотя знает их наизусть. Перечитывает и снова прячет.

«Сегодня мы занимаемся делом, которое для нас труднее всего: мы должны написать «литературный портрет героя». Впрочем, трудно только потому, что для нас неясно самое понятие «герой». Очевидно, это тот, который понятия не имеет о своем героизме.

Здесь на улице продают вареную кукурузу. Представляешь себе, как я объедаюсь! Ведь это для меня как арбуз, апельсин или виноград. Крепко тебя целую...

Пишу под артиллерийский гул, какого я еще никогда не слышал,— непрерывный, без интервалов, как будто большая телега катится по булыжной мостовой. Гул приятный — это наши орудия бьют по немецким позициям...

Завтра мы опять едем на несколько дней на фронт — куда, еще не знаем. Куда пошлют. География стала очень разнообразной.

Пиши. Машинка работает».

Машинка — это было условное обозначение войны, «работает» — значит, дела хороши.

«Мы очень недовольны работой последних дней,— писал он неизвестно откуда.— Очерк о переправе не напечатан (переделывать его, как предложил редактор, мы не будем — там теперь все изменилось). «Портрет», и так незавидный, страшно искажен и стилистически «выправлен» глупейшим образом: вставлены фразы, выброшены слова и т. д. Очень грустно, что мы расстались и теперь долго не увидимся. Много думаю о тебе.

...Машинка печатает хорошо, несмотря на всю дорожную тряску».

Нельзя сказать, что она не борется с собой. Не старается уверить себя, что просто сходит с ума. И сойдет в конце концов, если не возьмет себя в руки. «Сильна, как смерть»,— впервые понимает она это казавшееся ей слишком высоким определение любви. Но что смерть? Каждый день она видит смерть, и борьбу со смертью, и ее поражение. Смерть не побеждает жизнь.

Случалось, что писем не было долго, но, должно быть, существует же какая-то неведомая божественная сила — мольба помогала.

Никто не понимал ее — может быть, только Регина, которая не в силах была сидеть без дела в Москве, искала и нашла работу в другом госпитале. Не сестрой, а санитаркой.

Кончита все больше, волей-неволей, занималась собой и своими холстами. Она уже успела получить какую-то премию на выставке детских рисунков и занималась теперь у Субботина, считавшего ее одной из лучших учениц.

Нет, в труде ожидания Лиза была одинока. И ничто не могло заменить, смягчить, заслонить этот мучительный труд.

К войне невозможно привыкнуть. Но вот как-то привыкли. Невозможно сжиться. Но вот как-то сжились. Москва снова была полна. Театры вернулись. Говорили не только о победах, но о премьерах, о новых фильмах, о первых военных романах, о Шостаковиче и Козловском, об Улановой, о надеждах и ожиданиях.

Последнее письмо Лиза получила в октябре 1943 года. Потом — весна, лето — ни слова. И ожидание превратилось в пытку.

ГЛАВА 76

День рождения Бориса отмечался каждый год — был ли он в Москве или не был. Впрочем, не только Бориса. И Матвея Борисовича, и Лизы. Кончита не могла с полной уверенностью сказать, когда она родилась, и Ланские еще до войны решили, что 1 мая — трудно придумать лучший день для появления на свет их названной дочки. А Борис родился 25 декабря, на Рождество, и хотя в годы войны трудно было достать хорошую, небольшую, но ветвистую елку, Субботины, которые в этот день были приглашены к Ланским и у которых был собственный финский домик, стоявший в хвойном лесу, легко решили задачу.

А украшениями — длинными цепями из разноцветной бумаги, ремонтом старых, сохранившихся еще с тех времен, когда Борис был не старше Кончиты,— занялись две беленькие девочки, подруги Кончиты. Все эти игрушки: фонарики, блестки, серебряные бумажки, хлопушки, флажки, маленькие звездочки и большая, слегка потускневшая звезда, увенчавшая елку,— сохранились в корзине, стоявшей в той маленькой темной комнатке за кухней, которую Лиза превратила в приют для случайных и неслучайных гостей.

Субботины привезли подарки: для Матвея Борисовича большой шелковый шарф, который художник купил некогда в Париже. Такой большой, что его можно было смело назвать шалью, а не шарфом. А для Лизы, впрочем, для всех Ланских, портрет Бориса в военной форме: когда редакция «Знамени победы» была награждена и Ланской наконец увиделся с Лизой, Алла Евгеньевна, случайно оказавшаяся на Стромынке, сделала с Бориса набросок на листе ватмана итальянским карандашом. Таким образом, он как бы тоже участвовал в праздновании дня своего рождения.

Впрочем, самым большим подарком не только для Ланских, но и для всей страны, было известие о том, что наши войска окружили еще в конце ноября 330-тысячную группировку фашистских войск под Сталинградом.

Как только сели за стол, одна за другой стали приходить девочки, и не очень смутившаяся Кончита сообщила, что она пригласила на елку весь класс. В школе на завтрак давали бублики, каждая девочка сохранила свой завтрак до вечера, и бублики весьма своеобразно украсили праздничный стол.

После ужина, за которым все вино, хранившееся в доме, к которому присоединились три субботинских бутылки портвейна, было выпито за здоровье именинника и его верного друга, среди школьниц началось загадочное перешептывание. А потом то, что уже нельзя было назвать перешептыванием, потому что вся квартира, может быть, одна из немногих в Москве, наполнилась звоном весело спорящих детских голосов. И взрослые не сразу догадались, что готовится представление. Столовая была самой большой комнатой в доме, вот почему она быстро превратилась одновременно в сцену и в зрительный зал.

Кончите с помощью подруг удалось соорудить нечто вроде занавеса, состоящего из двух цветастых Лизиных сарафанов, и после торопливой возни за этим занавесом на сцене появилась Оля Туманова, прославившаяся искусством передразнивания, обещавшим в ней будущую соперницу Рины Зеленой. Она умело изображала собачий суд, состоявший из грозного лая прокурора, убедительного лая защитников и последнего слова подсудимого, превратившегося в жалобный писк.

Потом выступила ее сестра, Туманова-вторая, в тельняшке и широких черных штанах, прекрасно исполнившая матросский танец, раскачиваясь на воображаемой палубе так энергично, что несколько раз едва не упала.

К этому искусству она присоединила щелканье соловья, кваканье лягушки и ночное пение петуха, которому смертельно хочется спать и который непременно заснул бы, если бы ему не мешали наследственные традиции предков. Потом выступила Кончита, которая с неискоренимым испанским акцентом прекрасно прочитала знаменитое стихотворение Лермонтова.

В полдневный жар, в долине Дагестана
С свинцом в груди лежал недвижим я.
Глубокая еще дымилась рана,
По капле кровь точилася моя.

Лежал один я на песке долины;
Уступы скал теснилися кругом,
И солнце жгло их желтые вершины,
И жгло меня — но спал я мертвым сном.

Мало кто заметил, что Лиза и Регина, с трудом удерживаясь от слез, обнялись и слушали девочку, крепко прижавшись друг к другу.

В этот день редакционная полуторка, ждавшая их больше суток, ушла наконец, потому что немцы были близко. И Ланской не сомневался, что она ушла. Но Шубин, который был ранен в грудь и неумело перевязан застывшими руками друга, все-таки надеялся и говорил, что она, может быть, еще не ушла. Кровь не удалось остановить, и уже затвердевшие багровые пятна проступили не только через гимнастерку, но кое-где и через шинель.

Трудно было понять, о чем он говорил, потому что неумолчный, давно измучивший их свист метели заглушал его слова — они тащились по лесной дорожке против ветра. И тащились уже давно, должно быть, всю ночь, потому что где-то над деревьями на востоке показалось слабое подобие света. Но этот свет означал только необходимость укрыться, спрятаться, потому что где-то чудились — или не чудились — голоса. Ланской слишком устал, чтобы можно было трезво решить этот самый сложный в мире вопрос. Он устал не только оттого, что Шубин был ранен (и тяжело — в этом, кажется, трудно было сомневаться). Он устал тащить его сперва на плечах, а потом волоком по нетронутому снегу.

Что было хорошего в этой безнадежности? В этом подлом свисте метели? В этом одиночестве. В этой невозможности разжечь костер в двух шагах от немцев.

Хорошо было, что Паша наконец перестал просить застрелить его.

Хорошо было, что он стал бредить, в сознании труднее умереть.

— Журавли летят,— бредит Паша, стараясь отчетливее выговаривать каждое слово.— Да ты не туда смотришь, чудак! Надо маму позвать. Мы не уплывем без мамы.

Хорошо было думать, что Лиза ждет его и будет ждать его еще долго, потому

что никто не узнает, что они погибли в этом проклятом лесу. Всю жизнь он любил лес. Он засмеялся бы, если бы ему сказали, что когда-нибудь он станет его проклинать. Но вот пришлось.

— Времени нет,— бредил Шубин,— откуда же взять, когда его нет? И почему я должен искать его, когда меня отогнали от печки. Когда дует в окно? Когда раньше тебя я помнил и любил только маму?

Свет все-таки понемногу разгорался, и надо было что-нибудь придумать, чтобы спрятаться в этом изменившем ему лесу. Впрочем, почему изменившем? Он друг, он поможет спрятаться. Но куда? Ведь голоса уже не чудятся, а слышатся, и с каждой минутой все отчетливее, все ближе. Куда спрятаться? Если он ясно слышит голос, громко спрашивающий по-немецки «Варум»? Это не немец, который через несколько минут убьет его, это судьба спросила его: «В самом деле, варум?»

ГЛАВА 77

Прошло много лет, но до сих пор никто не знает, при каких обстоятельствах погибли Ланской и Шубин. Слухов много, но сходятся они только в одном: Шубин был тяжело ранен, и Ланской отказался оставить друга. А может быть, они попали в плен, и Шубин умер, а Ланской пытался бежать и был убит? Когда? Зимой 1943 года. Где? В брянских лесах.

Один из близких друзей Ланского сказал автору этой книги: «Он не в бою никого не мог застрелить». Но Лиза была убеждена в другом. Знакомый военкор рассказал ей, что на вопрос, что Ланской сделает, если попадет в плен, он ответил: «У меня есть револьвер». Лиза знала, что в испанской войне смертельно раненный боец Одиннадцатой интербригады попросил Бориса застрелить его и Борис исполнил его последнюю просьбу.

Ни она, ни Регина не получили похоронок. Пропали без вести — так о них было сказано в газете «Знамя победы».

И все, о чем мечтали Ланские в ту последнюю ночь — и дом в Подмосковье, и книга о людях войны, и Кончита, счастливо вышедшая замуж и сделавшая Лизу самой молодой бабушкой на свете,— все растаяло, развеялось, пропало.

Впрочем, Кончита действительно вышла замуж и стала известной художницей, и о ней, может быть, будет издана книга, но на немногих страницах, которые мне осталось написать, для ее судьбы уже не найдется места.

ЭПИЛОГ

Ночь сорок седьмого года. Москва. Спит Орландо Чачава, профессор истории русской литературы. Смуглый, моложавый, но с такой же ослепительно белой, как у покойного брата, шевелюрой.

Спит Регина, сменившая раскопки Согдианы — не по возрасту — на преподавание в Педагогическом институте.

Спят Субботины, недавно вернувшиеся из Германии, где и муж и жена с успехом показали свои новые и старые холсты.

Спит, смежив свои загнутые, в пол-лица, ресницы, Кончита, отказавшаяся расстаться с названной матерью и заставившая мужа переехать на Стромынку — мужа, аспиранта-биолога Московского университета, которому тоже хочется спать, но не спится от счастья. Занят с утра до вечера, и только ночью находится время наглядеться на молодую жену.

Спит член-корреспондент Академии наук, известный археолог Лучинин, осчастлививший браком восемнадцатилетнюю девочку, только что окончившую школу. Холодную, расчетливую, развратную, каждый час просыпающуюся от его здорового мужского храпа. От ненависти, которую она научилась скрывать. Эта девочка подрастет и возьмет его в руки.

Но спят не только живые. На Ваганьковском кладбище спит старый воен-

ный врач Матвей Борисович Ланской, не вынесший потери сына. Спит в братской могиле подле Волоколамского шоссе Фернандо Гонзалес, маляр из Толедо.

Февраль, кривые дороги. Метет снежок по улицам опустевшей Москвы.

И не спит в Кремле тот, низкий лоб которого двумя пальцами — большим и указательным — показывал Шубин.

И те, которые ждут, что их могут каждый час вызвать к нему. Борются со сном и не спят.

Бодрствует Лиза Веланская, хотя она-то знает, что ее не вызовут в Кремль. Она занята делом: недописанная Жалобная книга лежит перед ней, и она неторопливо вносит в нее одну потаенную строку за другой.

1987

Я. Гордин

ПОВТОРЕНИЕ НАДГРОБНОГО СЛОВА [1]

Когда думаешь о человеке, только что ушедшем, то исчезают частности и мелочи и остаются черты крупные, главные, и начинаешь понимать то, о чем не думал ранее.

Странно и тяжело говорить над гробом человека, которого знал и любил тридцать лет, имя которого сопровождало тебя всю жизнь, с детства, и не только из-за читаных и перечитанных книг, но и потому, что наши семьи связаны более столетия. Как и семья Каверина, как и семья Тынянова, так и наша семья — псковские семьи. Вениамин Александрович учился в псковской гимназии вместе со старшими братьями моего отца, дружил с ними, одного из них сделал персонажем романа «Скандалист». Он присутствовал при обыске в доме моего деда в 1918 году и написал об этом в воспоминаниях. Я говорю это не для того, чтобы похвастаться столь давней связью. Просто в силу этих чисто человеческих обстоятельств я, быть может, лучше многих представляю себе — откуда пришел в литературу молодой Вениамин Каверин, представляющийся нам типичным петроградским интеллигентом, «серапионом». Это характерная ошибка восприятия — произвольный выбор точки биографического отсчета.

Из нашего исторического сознания по причине его разорванности выпали за последние десятилетия многие принципиально важные компоненты. Так, мы плохо помним, сосредоточившись на «столичной культуре», о российской провинции, которая мало была похожа на провинцию советскую. Мы забываем о могучем слое российской провинциальной интеллигенции, разночинной по преимуществу.

К началу двадцатого века русское дворянство потерпело историческое поражение, и заменить его мог только интеллектуальный разночинец, выработавшийся к тому времени в силу, способную спасти страну. Надо сказать, что большая часть дворянской интеллигенции уже потеряла свою кастовую специфику и слилась с интеллигенцией разночинной. Спасти страну разночинной интеллигенции не дали. Самодержавие не подпускало ее к реальной власти, а послереволюционная формация громила последовательно и безжалостно, очищая место для антиинтеллигенции, которую Солженицын точно определил как «образованщину».

И тем не менее, именно интеллектуальное разночинство оказалось той почвой, в которой, несмотря на титанические усилия наших доморощенных вандалов, сохранились семена русской культуры, тем слоем, который обеспечил в конце концов культурную преемственность.

Платонов, Пастернак, Зощенко, Булгаков, Тынянов... Очень разные писатели, но это наша интеллектуальная аристократия, выросшая именно из разночинной интеллигенции. И не важно, что Зощенко был из бедных дворян, а Пастернак из благополучной семьи известного художника, что земский врач Булгаков был дворянином по рождению, а земский врач — отец Тынянова — был евреем. Все они были аристократы-разночинцы. И все они — кроме москвича Пастернака — провинциалы.

---

[1] Речь, произнесенная в день похорон Вениамина Александровича Каверина на Ваганьковском кладбище 6 мая 1989 года.

Рафинированный «серапион» Каверин пришел из провинции. Из российской провинции, которая дала Петрограду — Ленинграду многих: Заболоцкого, Шварца, Рахманова, Добычина...

Молодой Каверин — подчеркнутый литературный европеец, ориентированный на стилистику и сюжетную механику западной литературы. Тут можно вспомнить английскую традицию с ее скрытой философичностью, растворенной в бытовых и авантюрных повествованиях — от Филдинга до Диккенса; тут нужно говорить о поэтике немецкого романтизма и особенно, разумеется, о Гофмане. В молодом Каверине сильно было стремление словесной фактурой, динамикой и многозначностью самого сюжета заменить философическое говорение, столь характерное для целого пласта русской литературы. Здесь он шел за великим русским европейцем Пушкиным с его головокружительной лаконичностью и стремительностью сюжета.

Молодой Каверин, выходец из интеллигентной российской провинции, с ее здоровьем, упорством, интеллектуальной уравновешенностью,— фигура, притом весьма рафинированная. Востоковедческое образование, жадное внимание к культуре западной и в то же время блестящее знание русской дворянской культуры пушкинской эпохи — великая школа Тынянова. Отсюда — подчеркнутый рисунок общественного поведения. Отсюда — далеко не случайный псевдоним, ставший совершенно органично фамилией,— Каверин, не писатель, не революционер, всего-навсего гусарский фрондер, превыше всего ценивший *личную независимость.*

Чутьем русского интеллигента, чьих предшественников и современников слишком часто старались загнать в клетку, Каверин очень рано понял значение этого качества в наступающей эпохе. Недаром герой его первого по-настоящему известного произведения «Скандалист» выламывается из всех рамок и рядовых представлений.

Принцип независимости сослужил Каверину великую службу и позволил ему — несмотря ни на что — остаться собой.

Существует традиционное отношение к русскому интеллигенту как к существу мягкому, податливому. Но только недалекие и глухие люди не понимают, что осознание необходимости разумного компромисса и терпимости как основы сосуществования индивидуумов куда выше злобного упрямства и болезненного социального самолюбия, выдаваемых за твердость и принципиальность.

Настоящий интеллигент именно в силу своей интеллигентности способен на абсолютную неуступчивость в главном, на упорство, могущее переупрямить в конечном счете любую деспотическую власть, передавая культурную эстафету от поколения к поколению. Результат налицо. Мы их переупрямили. И роль Каверина в этой победе велика.

Ему свойственна была внутренняя несгибаемость, основанная на сознании высоты своего дела и святости наследия, которое он получил. И Каверин — не единственный, но один из немногих — ничем не запятнал себя даже в те апокалиптические времена, когда предательство и убийство считались делом едва ли не рядовым и простительным.

Он был и остался человеком, в котором жило стремление все додумать до конца, не унижаясь до самообмана. Когда в мрачное и вполне безнадежное время середины семидесятых годов я читал его «потаенные» мемуары — «Эпилог», рукопись настоящих его воспоминаний, которые он не рассчитывал опубликовать в своей стране в обозримые годы,— то я поражался трезвости и мужеству его взгляда.

Мы жили тяжело и стыдно. Но была, к счастью, плеяда людей — и в общественной жизни, и в литературе, которые, пользуясь известной формулой, «спасли честь русской демократии». Одни из них противостояли невежественной деспотии и массовому ослеплению в собственно политической сфере — Григоренко, Сахаров, Солженицын, Лидия Чуковская, всех не перечислишь. Другие делали свое дело в сфере общественной и культурной. И здесь незаменимую роль играл Каверин.

И если подлинная русская литература трех последних столетий уникальна по своей открытости, стойкости и стремлению сомкнуться с лучшим в мировой культуре, не теряя при этом ни своего облика, ни своей сути, ни своего печального драматизма, то Вениамин Каверин — истинный сын русской литературы не только в собственно художественном, но в этическом смысле.

Вячеслав Кузнецов

* * *

«Киностудия купит волосы.
Лучше, если —
седые волосы» —
Стали частыми объявления
по радио
и в газетах.

А что тут, собственно, странного?
Подумаешь —
купят волосы!
В век всеобщей купли-продажи
покупается все что угодно.

Одни продают кровь.
Президенты
торгуют солдатами.

А один безработный в Турции
хотел бы продать глаза.

Пестрят объявленья в газетах:
«...продается кожа...»
«...продается почка...»
«...мать продает ребенка...»

Девочка —
продается.

...И все-таки я не слышал,
чтоб кто-то продал
седые волосы.

* * *

Женьшень и женщина —
два слова,
такие близкие на слух.
Быть может, есть тут подоснова,
таинственный и древний дух?

(Он словно бы в волшебной призме
витает, мысль мою дробя.)
Женьшень —
ведь это корень жизни!
Я думал так
и про тебя...

НЕ ХВАТИЛО ОТКРОВЕНЬЯ...

Двое встретились однажды —
знать, свела
сама судьба...
Задохнулись, как от жажды,
и...
не поняли себя.

Не хватило откровенья —
так бывает иногда.
Разминулись на мгновенье.
Оказалось —
навсегда...

* * *

Старик без седины —
душой калека.
Понятно это
с детства было мне.
Проживший на Земле уже полвека,
я много размышлял о седине.

Конечно, есть фальшивые кудели,
не знавшиеся с правдой иль бедой.
Не все мои погодки поседели —
я, может быть, за них
седым-седой.

Пусть кто-то бросит:
«Седина — старенье!..»
Познавший трудных дней водоворот,
я славлю седину,
которой — время.
Седым я верю.
Седина — не врет.

ЕЩЕ О ПАМЯТИ

А мне с малолетства известно,
хоть не был я важным лицом:
чтоб жить и достойно,
и честно,
не надо быть мудрецом.

К чему принародно лукавить,
искать свой отдельный успех,
коль знаешь:
есть личная память
и общая Память —
на всех.

* * *

Когда говорят очень много
и что-то решают,
не спрашивая тебя,—
не очень-то и огорчайся.

Пусть их себе говорят,
пусть их себе решают —
это не окончательно.

Сам говори медленно:
думай, не торопись.

Ведь то,
что сегодня кажется тебе очень хорошим,—
это не окончательно.

Время так быстро летит!
(Всё изменяется в мире.)
И то,
что нынче тебе кажется абсолютно
плохим,—
это тоже не окончательно.

К ПОЭЗИИ

Любят и не любят не случайно,
а бывает —
сходят и с ума.
Все-таки, поэзия,
ты — тайна,
как любовь,
как смерть,
как жизнь сама.

Тайна, а не омут!
Непокоя
никакому сердцу не унять!
Ведь порою скажется такое,
что и самым сильным не поднять...

А. А. Фурсенко

У КРАЯ ПРОПАСТИ

Карибский кризис 1962 года

Самая острая конфронтация между СССР и США за всю историю отношений между нашими странами произошла в октябре 1962 года, когда разразился Карибский кризис, поставивший мир у края пропасти — на грань ядерного столкновения. С тех пор прошло более четверти века. Но эта тема не утратила своей актуальности.

Многие годы обстоятельства возникновения Карибского кризиса получали одностороннее освещение в нашей литературе, так как замалчивался вопрос о том, как было принято решение о размещении советских ракет на Кубе. Не было ясности и в том, как произошло урегулирование кризиса. Целые звенья переговоров и имена участвовавших в них людей держались в секрете.

Политические деятели и историки возвращаются к истории Карибского кризиса, обсуждая перипетии событий того времени и их уроки для будущего. Уже много написано по этому поводу. Но до последнего времени это были главным образом воспоминания американских политических деятелей из числа ближайшего окружения президента США Джона Ф. Кеннеди, принимавших непосредственное участие в состоявшихся тогда обсуждениях и переговорах, а также книги американских историков, анализирующие эти воспоминания, и некоторые документы, ставшие доступными в США. С советской стороны история Карибского кризиса — это одно из белых пятен в истории нашей внешней политики. Дело не только в том, что до недавнего времени ни один из советских участников событий не печатал своих воспоминаний, но и в том, что работы историков, основанные на американских материалах, наталкивались на практически непреодолимые препятствия при попытке их опубликования, в чем автору этих строк пришлось убедиться самому в 1982 году.

Положение радикальным образом изменилось, после того как гласность распространилась на историю внешней политики.

В январе 1988 г. С. А. Микоян поместил в редактируемом им журнале «Латинская Америка» очерк о событиях 1962 г., основанный на неопубликованных мемуарах его отца и своих собственных воспоминаниях. В ноябре 1988 г. другой советский журнал, «Эхо планеты», опубликовал воспоминания бывшего посла на Кубе А. И. Алексеева, впервые рассказавшего о том, как принималось решение о размещении советских ракет на Кубе. В январе-феврале 1989 г. журнал «Новое время» поместил рассказ бывшего советника посольства СССР в Вашингтоне Г. Н. Большакова о том, как через него осуществлялась секретная связь между Н. С. Хрущевым и президентом Кеннеди. К сожалению, неофициально изданные в 1970 г. и 1974 г. мемуары Н. С. Хрущева, озаглавленные «Хрущев вспоминает», аутентичность которых никем не подвергается сомнению, до сих пор не изданы у нас в стране. Они содержат специальный раздел о Карибском кризисе.

Исключительно важным источником новых знаний по истории Карибского кризиса стали совместные симпозиумы политических деятелей и ученых, проходившие в США в 1987 г. и в СССР в 1989 г. Особое значение имела последняя встреча в Москве 27—28 января с. г. В ней приняли участие советская, американская и кубинская делегации. Хотя давно нет в живых Н. С. Хрущева, Джона и Роберта Кеннеди, на симпозиум собрались многие поныне здравствующие высшие политические представители трех стран, принимавших непосредственное участие в урегулировании Карибского кризиса. С советской стороны — бывший министр иностранных дел А. А. Громыко, послы в Вашингтоне А. Ф. Добрынин и в Гаване А. И. Алексеев. С американской — советник президента Джона Кеннеди Т. Соренсен, бывший министр обороны Р. Макнамара, помощник президента по вопросам национальной безопасности Дж. Макджордж Банди, заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США У. Смит, заведующий отделом госдепартамента США Р. Гартхов, пресс-секретарь Белого дома П. Селинджер и другие. С кубинской — член политбюро компартии Кубы Хорхе Рискет, тогдашний начальник кубинского генштаба Рафаэль Эрнандес, члены руководства — С. Валье, Э. Арагонес и другие. Самой многочисленной и наиболее активной по участию в дискуссии была советская делегация. Кроме уже названных лиц в нее вошли Ф. М. Бурлацкий, тогдашний сотрудник аппарата ЦК КПСС; сын Н. С. Хрущева Сергей Никитич, специалист по ракетостроению, и сын А. И. Микояна — Сергей Анастасович — историк-латиноамериканист, участвовавший вместе со своим отцом в переговорах с Фиделем Кастро, а также видные советские ученые академики Е. М. Примаков, Г. А. Арбатов, член-корреспондент Г. Х. Шахназаров и другие. Среди членов советской делегации, принимавших участие в дискуссии, был и автор этих строк.

Хочу особо подчеркнуть участие в симпозиуме двух бывших сотрудников посольства в Вашингтоне Г. Н. Большакова и А. С. Фомина, активно участвовавших в переговорах об урегулировании кризиса. Их имена давно знакомы на Западе, а у нас в стране они были, к сожалению, практически впервые легализованы. Автор этих строк неоднократно призывал ввести их в нашу литературу, говорил об этом специально на совещании историков и литераторов в Москве, отчет о котором был опубликован в журнале «Вопросы истории», № 6, 1988 г. Особенно важным было приглашение на симпозиум Г. Н. Большакова, который практически являлся личным представителем Н. С. Хрущева, через него регулярно осуществлялся обмен устными посланиями между главами СССР и США.

Обсуждение происходило за закрытыми дверьми, но по степени открытости и откровенности оно было беспрецедентным. На состоявшейся в заключение пресс-конференции представители советских и зарубежных средств массовой информации получили подробную информацию об итогах встречи. В советской и зарубежной печати появились обширные статьи. Согласно принятому по итогам симпозиума постановлению материалы этого обсуждения будут опубликованы, подобно тому, как американская сторона издала отдельной книгой отчет о предыдущей встрече в 1987 г. в США.

Не остывающий интерес к истории Карибского кризиса объясняется тем, что событие это, как ни одно другое со времени второй мировой войны, подвело человечество к самому краю военной пропасти. Обстоятельства возникновения кризиса и пути его преодоления сохраняют непреходящее значение для путей и судеб мира, остаются злободневны сегодня.

Поэтому важно восстановить историческую канву событий того времени, проанализировать всю совокупность фактов, относящихся к возникновению и ликвидации кризиса.

В сознании большинства нашей читающей публики имя президента Кеннеди ассоциируется с проблеском в улучшении советско-американских отношений, и это верно, так как к концу его пребывания в Белом доме был действительно сделан важный шаг в этом направлении. Но вначале отношения с администрацией Кеннеди складывались отнюдь не лучшим образом.

Начавшийся советско-американский диалог при его предшественнике президенте Д. Эйзенхауэре был прерван в результате инцидента с самолетом-разведчиком США У-2, сбитым над советской территорией в районе Свердловска. Этот инцидент отбросил назад начавшееся улучшение советско-американских отношений. Не состоялась намеченная весной 1960 г. встреча в верхах в Париже, и был отменен ответный визит Эйзенхауэра в СССР летом 1960 г.

Советское руководство считало, что для возобновления диалога могут быть созданы благоприятные условия в случае избрания на пост президента кандидата демократической партии Джона Кеннеди, выступившего в предвыборном поединке 1960 г. против кандидата республиканцев Никсона, имевшего репутацию ярого антикоммуниста и сторонника «холодной войны». В ходе избирательной кампании Кеннеди выдвинул и претворил затем в практические действия массированную программу ракетостроения, внешнюю напряженность в отношения с СССР. Известный американский обозреватель Д. Холберстам отмечал, что с приходом Кеннеди к власти «возник редкий момент — появился шанс если не повернуть вспять гонку вооружений, то по крайней мере заморозить ее». Однако военные сделать этого не позволили. Министр обороны Макнамара, ознакомившись с настроениями Пентагона, вынужден был признать, что руководимое им военное ведомство «это — джунгли». Но именно закону

джунглей следовало военное ведомство, выдвинувшее беспрецедентную по масштабам программу ракетостроения.

Другим неблагоприятным фактором, подрывавшим возможность развития советско-американского диалога, была враждебная политика США в отношении Республики Куба.

В результате народного восстания 1959 г. под руководством Фиделя Кастро кубинский народ сверг деспотический режим Батисты. В Советском Союзе симпатизировали кубинской революции. У североамериканского соседа Кубы отношение к этому событию было иное, ибо правительство Батисты рассматривалось как дружественное США, а новая власть считалась враждебной. Ко времени избрания Кеннеди ЦРУ закончило подготовку к вооруженному вторжению на Кубу с целью свержения правительства Кастро.

Эта операция готовилась секретной службой совместно с кубинской контрреволюционной эмиграцией. Одним из ее главных организаторов был ответственный сотрудник ЦРУ, «супершпион» Говард Хант, непосредственный организатор государственного переворота в Гватемале в 1954 г. Имя этого человека и его причастность к подготовке вторжения на Кубу стали известны позднее в связи с Уотергейтским делом — взломом штаб-квартиры демократической партии в июне 1972 г. в разгар кампании за переизбрание Никсона президентом США. А пока даже лица, занятые на работе во внешнеполитическом ведомстве, ничего не знали о Ханте и лишь в самых общих чертах были осведомлены о том, что готовится вооруженная акция против Кубы.

Представитель США в ООН Э. Стивенсон, сенатор У. Фулбрайт, рупор либерально настроенных демократов в конгрессе, и заместитель государственного секретаря Ч. Боулс выражали несогласие с методами подготовки этой операции и были против нее. Впрочем, никто из них так и не был осведомлен о том, что же происходит. Когда Ч. Боулс наконец узнал о целях и характере предприятия, он подал записку государственному секретарю Дину Раску, чтобы убедить правительство отказаться от вторжения на Кубу. Считая эту затею «в высшей степени рискованной», он выражал глубокую тревогу: «В случае ее провала престиж и сила правительства Кастро колоссально возрастут». «Я понимаю,— писал Боулс,— что эта операция готовилась в течение нескольких месяцев. Потрачено много времени и большие деньги. Вовлечено большое количество людей, которые все поставили на карту. Но мы не должны участвовать в авантюре лишь потому, что вовлечены в нее и не можем остановиться. Если вы согласны, что операция ошибочна, я советую сообщить об этом доверительным образом лично президенту. Думаю, что ваше мнение может иметь решающее значение». Государственный секретарь Раск, видимо, разделял сомнения своего заместителя, но сказал об этом президенту в весьма осторожной форме.

Перед самым вторжением на Кубу вопрос обсуждался кабинетом. После заседания Кеннеди попросил задержаться своего советника А. Шлезингера, чтобы в частной беседе выяснить его мнение. «Я высказался против этой операции,— рассказывает Шлезингер.— ...Слушая меня, он раз или два покачал головой, но предпочитал не говорить». Решение уже было принято, и Кеннеди едва ли что-то мог изменить. В ходе предвыборной кампании он сам критиковал республиканцев за то, что они позволили утвердиться на Кубе, как он выразился, «коммунистическому сателлиту», всего лишь в полутораста километрах от территории США или «восьми минутах для реактивного самолета». Кеннеди тогда еще не знал, что велась тайная подготовка к вторжению на Кубу. Перебазированные в Гватемалу отряды кубинских контрреволюционеров под руководством американских инструкторов готовились к военной операции, на которую правительство Эйзенхауэра ассигновало 13 миллионов долларов.

Сразу после избрания президента директор ЦРУ А. Даллес информировал Кеннеди о замышляемом вторжении, ознакомил его с деталями плана. Возражений со стороны вновь избранного президента не последовало. «Если бы Джон отказался действовать дальше,— объяснял потом его брат Роберт,— все считали бы, что он не проявил достаточного мужества... Люди Эйзенхауэра, все как один, твердили бы, что операции был гарантирован успех, а он ее отверг».

Внешняя политика США традиционно строилась на двухпартийной основе. Поэтому не было ничего необычного, что президент-демократ продолжал линию республиканцев. Кеннеди и не пытался что-либо изменить, оставив без внимания высказанные ему предостережения. За это он был жестоко наказан. Буквально в первые же часы вторжения, когда в апреле 1961 г. интервенты высадились в заливе Кочинос, стало ясно, что операция обречена на провал. Спустя три дня военные действия окончились победой кубинских революционных сил, большая часть интервентов вынуждена была сдаться в плен.

Кеннеди тяжело переживал этот провал. Отец, пытаясь его утешить, твердил, что «Куба — наилучший урок для начала правления». Но президент был не в состоянии скрыть угнетенного настроения. Он не стал сваливать вину на республиканцев, готовивших вторжение, приняв на себя единоличную ответственность. «Есть старая поговорка,— заявил он на пресс-конференции,— у победы сотня отцов, поражение — сирота». По свидетельству Шлезингера, Кеннеди выглядел в те дни «чрезвычайно усталым». Переносясь мысленно в любимую с детства игру футбол, он рассуждал: «Нам сильно ударили по ногам. Мы это заслужили. Но может быть, нас это чему-то научит».

Провал кубинской авантюры пришелся на конечный период первых «ста дней» пребывания Кеннеди у власти, по итогам которых обычно судят о личности президента как политического деятеля. Результат был, прямо скажем, неутешительным. Но надлежащего урока не извлекли.

Оправившись от кубинского фиаско, Кеннеди в конце мая отправился с визитом в Западную Европу, посетив Париж, Лондон и Вену. В Австрии он встретился впервые с главой Советского правительства Н. С. Хрущевым, который прибыл в Вену специально для переговоров с президентом США. Этой встрече предшествовала интенсивная дипломатическая подготовка, в которой участвовал советник посольства в Вашингтоне Георгий Большаков. К тому времени через него уже осуществлялся непосредственный контакт с Робертом Кеннеди, служивший каналом горячей быстродействующей связи между Белым домом и Кремлем.

От имени президента Роберт Кеннеди просил передать Хрущеву, что Куба «изменила все наши представления о внешней политике», «мы не намерены повторять прежних ошибок». Однако далее делались оговорки, из которых следовало, что американцы будут в дальнейшем бороться и отстаивать свои интересы любым, «даже вооруженным путем». Придавая большое значение своей встрече с Н. С. Хрущевым, президент Кеннеди выражал беспокойство по поводу ее возможного исхода. Через Большакова он как бы предостерегал, что не следует действовать методом давления. «Брат,— заявил Роберт,— едет в Вену с большими сомнениями. У нас создается впечатление, что премьер Хрущев считает, будто имеет дело с довольно слабой политической фигурой, молодым человеком, который еще не обладает опытом ведения государственных дел, не обладает сильным характером и уверенностью в себе. Все первые пять месяцев президентства Кеннеди на него оказывалось определенное давление с вашей стороны... Я часто спрашивал его, как ему нравится быть президентом. На что он, как правило, отвечал: „Если бы не русские, это была бы лучшая должность в мире"».

Судя по воспоминаниям Хрущева о встрече в Вене, Кеннеди ему понравился. Он отмечал, что новый президент выгодно отличался от Эйзенхауэра своей живостью и компетентными суждениями. Он был хорошо осведомлен в делах. По предложению Кеннеди большинство бесед проходило с глазу на глаз, лишь при участии переводчика. При первом знакомстве оба руководителя тепло приветствовали друг друга. Хрущев выразил удовлетворение, что Кеннеди одержал победу на выборах над Никсоном. «Знаете, господин Кеннеди,— сказал он,— мы голосовали за вас».— «Каким образом?» — изумился Кеннеди. Хрущев объяснил, что советское правительство решило подождать с освобождением американских военных летчиков, самолет которых оказался в воздушном пространстве СССР и был посажен в Карелии. Правительство СССР решило не давать лишнего козыря противнику Кеннеди в предвыборной кампании Никсону, который добивался возвращения летчиков домой. Кеннеди рассмеялся в ответ и сказал: «Вы правы. Я знаю, что вы на выборах опустили бюллетень за меня».

К сожалению, начатая на такой оптимистической ноте встреча в дальнейшем пошла по другому пути. Хрущев рвался продемонстрировать решимость ни в чем не уступать Кеннеди. Он вел себя агрессивно, разговаривал грубо, чем совершенно обескуражил президента. В начале встречи, по рассказу американского обозревателя Теодора Уайта (со слов Кеннеди), Хрущев, указав на медаль на лацкане своего пиджака, спросил, знает ли президент, что сие означает. «Это медаль лауреата Ленинской премии мира»,— пояснил он. «Надеюсь, вы не хотите сделать ничего такого, чтобы у вас ее отобрали»,— сказал Кеннеди. Хотя в дальнейших беседах по некоторым пунктам было найдено взаимопонимание, в целом ни конструктивных переговоров, ни соглашения не получилось. Хрущев применял прессинг. В заключение встречи Кеннеди сказал ему: «Я полагаю, что зима у нас будет очень морозной».

Впоследствии в своих воспоминаниях Хрущев отмечал, что после переговоров в Вене Кеннеди выглядел мрачным и опустошенным. Он тяжело переживал неудачу.

Единственным представителем прессы, которого к нему допустили, был Джеймс Рестон, влиятельный американский обозреватель и большой друг Кеннеди. Ему просто не могли отказать в аудиенции. Но были приняты меры, чтобы об этой встрече никто не знал. Рестону пришлось провести несколько часов в ожидании президента, скрываясь в служебном помещении американского посольства в Вене, куда Кеннеди прибыл к вечеру. Он вошел в полутемную, с зашторенными окнами комнату и, когда заметил Рестона, сел рядом с ним, тяжело опустившись на диван. Президент надвинул шляпу на глаза и с горечью вздохнул. «Что, очень сурово?» — спросил Рестон. «Самый суровый случай в моей жизни»,— ответил Кеннеди.

Почему это произошло? Из-за крушения кубинской операции? Или из-за того, что он выглядел молодым, недостаточно сильным? Эти вопросы не давали ему покоя. С ними

он обратился и к Рестону при первом же размышлении об итогах советско-американской встречи. А заключил Кеннеди так: «Мы должны действовать». Он пояснил, что собирается увеличить военный бюджет США, отправив дополнительный контингент войск в Западную Европу, что вскоре и было исполнено.

Стремясь «показать свои мускулы», Кеннеди послал советников во Вьетнам и начал массированные поставки вооружения в Юго-Восточную Азию.

На протяжении 1961—1962 годов Соединенные Штаты приняли ряд экономических и военных мер в отношении Кубы. Они установили экономическую блокаду и открыто поддерживали кубинскую контрреволюционную эмиграцию в США, снабжая ее деньгами и оружием. Средства массовой информации нагнетали военную истерию. Известный американский публицист Ричард Ровир отмечал, что партия сторонников войны в Вашингтоне не менее активна, чем та, которая в 1898 году добилась войны с Испанией, завершившейся аннексией Кубы и превращением бывшего испанского владения в колонию США. Опасность вооруженной интервенции возрастала с каждым днем.

На симпозиуме в Москве в январе 1989 г. бывший министр обороны Макнамара заявил, что правительство Кеннеди не собиралось воевать против Кубы. В то же время поведение средств массовой информации и алармистские выступления в конгрессе давали, как он признал, кубинской и советской сторонам основания считать, что США готовят нападение. Макнамара сказал, что у Пентагона был план военных действий против Кубы, но правительство рассматривало его как технический документ на случай непредвиденных обстоятельств, а не план реально готовившихся военных операций. Вместе с тем, на конференции в Москве американская сторона обнародовала ранее засекреченный «План Мангуста», который ставил целью свержение правительства Ф. Кастро в октябре 1962 г. путем оказания американской военной помощи кубинским контрреволюционерам, а также организацией актов саботажа. Об этом плане знал лишь узкий круг лиц из администрации Кеннеди, всего 12 человек, включая самого президента. Хотя Макнамара и отрицает намерение США напасть на Кубу, автор «Плана Мангуста», датированного 20 февраля 1962 г., бригадный генерал Э. Лэнсдейл настаивал на том, что необходимо «открытое использование вооруженных сил США». 14 марта последовало разъяснение, из которого вытекало, что США «предпримут максимум усилий, чтобы использовать местные (то есть кубинские.— *А. Ф.*) ресурсы, внутренние и внешние», сознавая, однако, что «окончательный успех потребует решительной военной интервенции США». Трудно предположить, чтобы этот документ не был известен президенту, хотя мы и не располагаем данными о том, что он его одобрил.

Решение о посылке ракет на Кубу практически было принято лично Н. С. Хрущевым. К обсуждению этого вопроса привлекался лишь очень узкий круг лиц, хотя в своих воспоминаниях Хрущев и утверждает, что решение принималось коллегиально. Эта коллегиальность, однако, была практически такой же, как при Сталине, когда все важнейшие внешнеполитические акции предпринимались по инициативе главного лица. По-видимому, начальным толчком для решения о посылке ракет послужили беседы Хрущева с А. И. Микояном, который еще в 1959 г. побывал на Кубе, познакомился там с Фиделем и Раулем Кастро, Эрнесто Че Геварой, другими руководителями кубинской революции и проникся глубокой симпатией к их борьбе за независимость. На Кубе побывали также дочь Хрущева — Рада и ее муж А. И. Аджубей, рассказы которых, несомненно, еще более усилили заряд эмоций, полученных из бесед с Микояном. У Хрущева появилось острое желание оказать Кубе поддержку в борьбе против американской угрозы. После провала авантюры ЦРУ в заливе Кочинос он был убежден, что США предпримут новую попытку вторжения и постараются на этот раз гарантировать ее успех. Советский Союз уже начал посылать кубинцам оружие и военных инструкторов, обучавших, как им пользоваться. Но Хрущев пришел к выводу, что обычными вооружениями обеспечить оборону Кубы невозможно и только ядерные ракеты могут стать надежным средством сдерживания.

В конце апреля 1962 г. он поделился этой идеей с А. И. Микояном, который был одним из ближайших его соратников и соседом по даче. Он говорил Микояну, что только так можно гарантировать безопасность Кубы. «Мой отец рассматривался как специалист по Кубе,— отмечает С. А. Микоян,— и когда Хрущев стал обсуждать с ним вопрос о посылке ракет, отец выступил против этой идеи». Он считал, что американцы обязательно узнают об этом и всеми мерами станут препятствовать размещению советского ядерного оружия вблизи своей территории. Кроме того, А. И. Микоян полагал, что план этот вызовет сильные возражения со стороны Фиделя Кастро, который не станет рисковать, опасаясь спровоцировать американское вторжение на остров.

Отправившись затем на отдых в Крым, Хрущев спросил находившегося вместе с ним министра обороны Р. Я. Малиновского, что он думает по этому поводу. Маршал ответил, что американские ракеты находятся на другом берегу Черного моря в Турции и могут достигнуть жизненно важных центров Советского Союза всего за 10 минут, в то время как нашим ракетам нужно 25 минут, чтобы долететь до американской территории. Этот разговор еще более укрепил Хрущева в том, что следует действовать.

Ф. М. Бурлацкий, работавший тогда в аппарате ЦК КПСС, вспоминает, что уже после окончания Карибского кризиса он участвовал в редактировании послания Фиделю Кастро, в котором отмечалось, что во время прогулки с Малиновским по черноморскому пляжу Хрущев был поражен тем, что сказал ему маршал о стратегическом дисбалансе СССР—США. Бурлацкий предполагает, что так родилась идея размещения ракет на Кубе. Однако более правдоподобным представляется рассказ Микояна. «Баланс сил», пользуясь выражением Хрущева, несомненно сыграл свою роль, и довольно важную, как увидим ниже, но сама по себе идея посылки ракет появилась в связи с решением защитить Кубу от вторжения США.

Чтобы продолжить проработку этого вопроса, Хрущев созвал совещание, пригласив на него кроме двух наиболее близких ему членов Политбюро (тогда — Президиума ЦК КПСС) А. И. Микояна и Ф. Р. Козлова, министра иностранных дел А. А. Громыко, а также двух военных — Р. Я. Малиновского и только что назначенного главнокомандующим ракетными войсками маршала С. С. Бирюзова. Хрущев спросил Малиновского, сколько времени потребовалось бы Советским Вооруженным Силам, чтобы захватить остров, расположенный в полутораста километрах от нашей территории, даже при отчаянном сопротивлении его защитников. «Три-пять дней, не более недели»,— ответил Малиновский. Развивая свою идею, Хрущев отметил, что в случае нападения США на Кубу мы просто не успеем оказать ей помощь, если не примем план разместить на острове советские ракеты. «Маршалы не возражали, а, наоборот, проявили интерес к идее установки ракет как сдерживающей мере,— отмечает С. А. Микоян.— Дополнили тем, что это вообще поможет хоть как-то компенсировать ущербное положение нашей страны в смысле ядерного противостояния США и странам НАТО в целом». Возражал только А. И. Микоян по уже отмеченным выше мотивам, настаивая, в частности, на том, что операция такого крупного масштаба, как доставка и установка ядерных ракет на Кубе, не может быть произведена скрытно. По этому вопросу должны были сказать свое веское слово военные. Но с Малиновским, по-видимому, все было заранее оговорено. А маршал Бирюзов, которого Микоян считал весьма недалеким человеком, заявил, что, по его мнению, ракеты можно будет укрыть в горах.

Для выяснения возможной позиции Фиделя Кастро в Москву был вызван советник посольства на Кубе А. И. Алексеев, которого, по совету А. И. Микояна, решили назначить послом, ибо находившийся на этом посту С. И. Кудрявцев авторитетом в Гаване не пользовался. Что же касается Алексеева, то он попал на Кубу еще до восстановления дипломатических отношений между Гаваной и Москвой, работая там с октября 1959 г. корреспондентом ТАСС, а после открытия посольства на Кубе перешел на дипломатическую службу в ранге советника. Алексеев установил хорошие личные отношения с Фиделем и Раулем Кастро, Э. Че Геварой, а также другими кубинскими лидерами.

По прибытии в Москву Алексеев был приглашен в Кремль для беседы с Хрущевым, который сообщил ему о назначении послом, а затем в ходе продолжавшейся более часа беседы расспрашивал о проблемах Кубы и о ее руководителях, не раз во время обсуждения снимая трубку телефона, чтобы поручить Ф. Р. Козлову разобраться с тем или иным вопросом. Хрущев подчеркнул, что правительство СССР сделает все возможное, чтобы помочь Кубе отстоять свою независимость, не упомянув, однако, о плане размещения ракет. Об этом Алексеев узнал через несколько дней, когда его снова пригласили в Кремль. На этот раз в кабинете Хрущева находились А. И. Микоян, Ф. Р. Козлов, А. А. Громыко, Р. Я. Малиновский, С. С. Бирюзов, а также тогдашний кандидат в члены Политбюро Ш. Р. Рашидов. Снова состоялся обмен мнениями, в ходе которого Алексеев, а также Микоян делились своими впечатлениями. Н. С. Хрущев постоянно задавал вопросы, подчеркивая необходимость помочь кубинцам противостоять американскому нажиму. «И вдруг прозвучал вопрос,— вспоминает А. И. Алексеев,— неожиданность которого повергла меня в оцепенение: Хрущев спросил, как, по-моему, прореагирует Фидель на предложение установить на Кубе наши ракеты». С трудом преодолев замешательство, Алексеев, по его словам, сказал, что Кастро вряд ли пойдет на это, ибо Куба строит свою стратегию на самообороне — боеготовности своего народа, а также на солидарности мирового общественного мнения с кубинской революцией. В случае отказа Кастро от установки ракет Хрущев выразил готовность оказать поддержку любыми другими средствами, хотя их, по его мнению, может оказаться недостаточно, чтобы отразить подготавливаемое вооруженными силами США вторжение на Кубу. Хрущев подчеркнул, что советское руководство располагает на этот счет «достоверными данными». Видимо, речь шла о «Плане Мангуста». Выступая на симпозиуме 1989 г. в Москве, Х. Рискет сообщил, что кубинскому руководству тогда уже стало известно о существовании этого плана от собственной разведки, а также из сообщений советского правительства. На том же симпо-

зиуме директор Архива национальной безопасности США С. Армстронг высказал предположение: «Если Советы знали, что свержение Кастро намечено на октябрь, то это может объяснить, почему они так спешили что-то сделать к этому времени».

В середине мая для переговоров с Фиделем Кастро на Кубу была послана делегация в составе Рашидова, Бирюзова и Алексеева. Перед отъездом они были приглашены на дачу Хрущева в Горках, где встретились со всеми членами Политбюро, находившимися в то время в Москве. В своих воспоминаниях Алексеев подчеркивает, что на этом заседании «царило полное единодушие», опровергая распространившуюся на Западе после снятия Хрущева в 1964 г. версию о том, что план установления ракет ва Кубе вызвал разногласия в советском руководстве. Однако «единодушие», царившее на встрече в Горках, едва ли служит достаточным для этого аргументом. В своих воспоминаниях Хрущев подчеркивает, что вопрос о размещении ядерного оружия на Кубе, как и последующие решения периода Карибского кризиса, обсуждался коллегиально, решался демократическим путем, хотя, чтобы преодолеть имевшиеся разногласия, пришлось провести три заседания Политбюро. Это утверждение, однако, никак не служит доказательством того, что механизм принятия политических решений носил демократический характер, коллегиальные решения и ликвидация разногласий достигались путем приказа и давления.

В первый же день по прибытии на Кубу советской делегации Алексеев посетил Рауля Кастро. Он проинформировал его, что находившийся в составе делегации «инженер Петров» — это главнокомандующий ракетными войсками С. С. Бирюзов. В тот же вечер делегация была принята Фиделем Кастро. Он выслушал сообщение об угрозе вооруженного вторжения США на Кубу и заявил, что кубинское руководство оценивает создавшееся положение идентичным образом. Хотя, по словам Алексеева, у него сложилось впечатление, что Фидель понял, в чем суть вопроса, и готов был сразу двть положительный ответ, однако кубинский лидер сказал, что должен еще посоветоваться со своими сорвтниками и лишь после этого сможет ответить.

На следующий день во время встречи советской делегации с Фиделем и Раулем Кастро, а также членами кубинского руководства Э. Че Геварой, Освальдо Дортикосом и Рамиро Вальдесом предложение о размещении ракет было полностью принято. Для разработки практического соглашения в июне в Москву направился Рауль Кастро. Переговоры велись в строжайшей тайне. Круг участвовавших в них лиц был предельно ограничен, чтобы избежать какой бы то ни было утечки информации, во время встреч с Хрущевым, Малиновским и Бирюзовым переводчиком служил Алексеев. Он же вместе с Раулем Кастро переводил на испанский язык текст выработанного соглашения. Для подготовки же технических условий соглашения было привлечено всего два-три генерала.

В итоге достигнутой договоренности решено было, что ракеты будут находиться в ведении советского командования и обслуживаться советским военным персоналом. Это соглашение парафировали Р. Я. Малиновский и Рауль Кастро. По ознакомлении с документом Фидель Кастро внес некоторые поправки, с текстом которых в конце августа в Москву прибыл Э. Че Гевара. Но, как замечает Алексеев, «из-за осложнившейся обстановки» высшие руководители СССР и Кубы документ этот так и не подписали. В целях сохранения тайны никакой дипломатической переписки по этому поводу не велось, пользоваться шифром и радио было запрещено. Поэтому никаких документов в архивах не отложилось.

Практически соглашение состоялось, и с советской стороны оно было утверждено соответствующим решением летом. К этому времени уже началась подготовка ракет и персонала к отправке на Кубу. Через Атлантику хлынул буквально поток судов, количество которых увеличилось примерно в десять раз по сравнению с обычным уровнем перевозок. Это объяснялось тем, что помимо ракет отправлялось мощное противовоздушное охранение с соответствующим обслуживающим персоналом. И здесь соблюдение тайны было непременным условием — воинские контингевты направлялись в порты погрузки с полным обмундированием, включая полушубки и лыжи. «Лишь в Атлантике,— отмечает С. А. Миконн,— было объявлено, что лыжи и полушубки скорее всего не понадобятся». Приказ о пункте назначения зачитывался только в открытом море. На всем пути следования выходить на палубу персоналу не разрешалось. Покидать трюм можно было только ночью.

В августе-сентябре перевозки стали особенно интенсивными, на что обратила внимание американская разведка. Причем первые сведения об этом она получила от западногерманской службы. Хотя перемещение прибывших на Кубу грузов производилось по ночам и только советским персоналом, родственники бежавших с Кубы после революции эмигрантов стали получать письма о завозе странного вида советского вооружения. «...Скрыть факт движения по дорогам даже надежно закамуфлированных 30-метровых ракет было очень трудно»,— отмечает Алексеев. Предлагая разместить свои ракеты на Кубе, советское руководство подчеркивало, что оно это делает для того, чтобы предотвратить подготавливаемое США вооруженное вторжение на остров. Принимая советское предложение, кубинская сторона выразила готовность пойти на этот шаг также в расчете на то, что он поможет изменить соотношение сил между социализмом и капитализмом в мировом масштабе. Тема эта подверглась интенсивному обсуждению во время симпозиума 1989 г. в Москве, и практически все его участники в той или иной форме пришли к выводу, что в условиях значительного преимущества США в ядерных вооружениях решение СССР послать ракеты на Кубу ставило также целью изменить стратегический баланс. В самом деле, США располагали тогда 5000 ядерных боеголовок, в то время как у СССР их было всего 300, то есть в 17 раз меньше. По данным американской разведки, СССР располагал тогда 75 межконтинентальными баллистическими ракетами, хотя на самом деле, как об этом было рассказано на симпозиуме, их было всего 20. Поэтому размещением запланированных 42 ракет среднего радиуса действия под боком у США на Кубе СССР существенно изменил бы соотношение сил.

Судя по публичным выступлениям того времени, Хрущев постоянно возвращался к мысли о том, что Советский Союз окружен американскими военными базами, которые были понатыканы, по его словам, вблизи наших границ. Причем в разговорах со своими соратниками, а позднее и в воспоминаниях Хрущев подчеркивал, что, размещая ракеты вокруг СССР, правительство США не ставило нас об этом в известность. Почему же, говорил он, мы должны информировать американцев о посылке ракет на Кубу. Вопрос этот не был риторическим.

Кубинское руководство предлагало после окончательного подписания соглашения обнародовать его. «СССР и Куба,— говорили кубинские представители,— являются суверенными государствами и имеют полное право заключить между собой подобное соглашение». Чтобы избежать обвинений в тайном сговоре, по прибытии в августе 1962 г. в Москву Че Гевара предложил объявить о советско-кубинском договоре. Но его убедили, что об этом следует сказать позже, когда ракеты уже будут размещены. Хрущев настаивал на том, что доставка ракет может быть осуществлена только тайно либо не состоится вообще. Он собирался сам проинформировать затем президента Кеннеди и с этой целью готовился к поездке в Нью-Йорк во второй половине ноября, после промежуточных выборов в США, приурочив свой визит к участию в очередной сессии Генеральной ассамблеи ООН. В такого рода процедуре ничего не было дурного, если бы официальные советские заявления, а также послания по конфиденциальным каналам не передавали заведомо ложной информации, вводившей в обман правительство США, в то время как советская сторона старалась представить дело так, будто она хочет установить доверительные отношения.

Колоссальный поток советских поставок Кубе, куда за сравнительно короткий срок прибыли десятки советских и зафрахтованных у других стран судов, порождал все более серьезные подозрения со стороны США. В июле на Кубу прибыло 30 судов с грузами из СССР, в августе 55, столько же в сентябре и 10 в октябре. В числе доставленных грузов находились, как обнаружила американская разведка, ракетные комплексы «земля-воздух». По этому поводу у директора ЦРУ Маккоуна зародились, по словам А. М. Шлезингера, некоторые «предчувствия» еще в августе. В самом начале сентября во время утренней прогулки по Парижу с помощником президента по вопросам национальной безопасности Макджорджем Банди, где они по случайному стечению обстоятельств оказались вместе, Маккоун поделился своими опасениями, подчеркнув, что его предположения основываются на личном анализе, а не на сведениях ЦРУ. «Он считал,— пишет Банди,— что объем материалов, направляемых на Кубу, слишком велик и дорог, особенно ракеты «земля-воздух», чтобы это можно было объяснить чем-то менее амбициозным, нежели попыткой установить ядерное оружие». Маккоун настаивал на необходимости вести постоянное наблюдение за положением на Кубе.

Во время московского симпозиума Банди задали вопрос, какую роль в информации о советских ракетах на Кубе сыграл О. Пеньковский, завербованный американской и британской секретными службами. Советские органы госбезопасности обнаружили утечку информации, напали на след Пеньковского, вели за ним наблюдение, а 22 октября 1962 г., в тот день, когда разразился Карибский кризис, его арестовали. Банди отрицал, что Пеньковский информировал США о размещении советских ракет на Кубе. То же самое заявил в своей книге 1987 г. присутствовавший на симпозиуме Раймонд Гартхов: хотя Пеньковский «передал огромное количество важной военной информации, он не знал о ракетах на Кубе и потому ничего не мог сообщить о них». Американский журналист Томас Пауэрс — биограф Ричарда Хелмса, тогдашнего заместителя директора ЦРУ — отмечает, что Пеньковский был «самым лучшим из когда-либо завербованных в России агентов ЦРУ», он снабдил американскую разведку подробными данными о мощности и параметрах действия различных советских ракет, в том числе и тех, которые были доставлены на Кубу, что «оказалось исключительно важным» при последующем анализе их военного потенциала в условиях Карибского кризиса. ЦРУ гордилось тем, что смогло завербовать Пеньковского, во относилось к нему с известной долей скептицизма, в частности из-за свойственных ему чванства и спесивости. Пеньковскому доставляло удовольствие, например, наря-

жаться в форму полковника британской или американской разведок, которую он носил в служебных помещениях, находясь в Англии и США. Пеньковский кичился своим положением, требуя от руководителей британской и американской разведслужб, чтобы они организовали ему встречу, соответственно, с королевой Елизаветой II и президентом Кеннеди. Эта заносчивость записывалась ему в минус. 25 лет спустя после провала Пеньковского Гартхов рассказал, что во время ареста тот успел подать условленный в случае чрезвычайных обстоятельств телефонный сигнал. Однако вместо сообщения о провале Пеньковский просигнализировал, что СССР готовит нападение на США. Нетрудно представить, как эта информация могла повлиять на развитие обстановки в условиях Карибского кризиса, если бы она была признана достоверной. Но Маккоун, доложив о провале Пеньковского, решил о телефонном сигнале не сообщать, ибо счел его провокационным.

Между тем опасения, которыми поделился Маккоун с Банди, были приняты к сведению. В конце августа во время ланча с послом А. Ф. Добрыниным советник Кеннеди Т. Соренсен обратился от имени президента к правительству СССР с просьбой не подвергать США испытаниям в условиях надвигавшейся предвыборной кампании. Через несколько дней, 4 сентября, Добрынин встретился с Робертом Кеннеди и сообщил ему, что получил инструкции от Хрущева уведомить, что «ничего не будет сделано такого, что может испортить отношения между двумя нашими странами в предвыборный период». Он заявил, что уполномочен заверить президента, что «на Кубе не будут размещаться ракеты «земля-земля» или другое наступательное оружие». «Председатель (Совета Министров.— *А. Ф.*) Хрущев любит Кеннеди и не хочет причинять ему вред»,— заключил Добрынин. Р. Кеннеди ответил, что считает «странным» способ, которым Хрущев решил продемонстрировать свое «расположение» к президенту, сославшись на растущий поток военных грузов на Кубу.

Два дня спустя, 6 сентября, советский посол пригласил Т. Соренсена и повторил ему то же самое, заверив, что Хрущев не намерен вмешиваться во внутренние дела США. «Ничего не будет предпринято до выборов в конгресс такого,— гласил ответ Хрущева,— что могло бы осложнить международное положение или обострить отношения между двумя нашими странами». Соренсен квалифицировал этот ответ как «пустой и запоздалый», ибо доставка на Кубу военных материалов и советского персонала «уже привела к обострению международной обстановки и вызвала беспорядок в наших внутренних политических делах». Согласно записи этой беседы, сделанной Соренсеном сразу после ее окончания, Добрынин сказал ему, что советское правительство не предприняло «ничего нового или экстраординарного». «События, вызывающие такой ажиотаж, носят рутинный характер и продолжаются уже давно. Все эти шаги носят оборонительный характер и не представляют никакой угрозы безопасности США»,— заключил посол.

Проблема эта чрезвычайно беспокоила Белый дом. За несколько дней до встречи с Добрыниным Роберт Кеннеди позвонил домой Г. Большакову и в связи с его предстоящим отъездом в отпуск в Москву пригласил на «прощальную встречу». Когда вечером 31 августа Большаков прибыл в резиденцию министра юстиции, они сразу вместе поехали в Белый дом, где советского дипломата ждал президент, чтобы передать с ним личное послание Хрущеву. «Наш посол в Москве Луэллин Томпсон информировал меня,— сказал президент,— что Хрущев обеспокоен облетами нашими самолетами советских судов, направляющихся на Кубу. Передай ему, что сегодня я отдал распоряжение о прекращении этих облетов». Далее Кеннеди выразил надежду на улучшение советско-американских отношений в ближайшем будущем и на новую встречу с Хрущевым. После беседы с президентом Роберт Кеннеди, провожая Большакова, в острой форме выпалил: «Неужели премьер Хрущев не понимает положения президента! Неужели премьеру не известно, что у президента не только много друзей, но и не меньше врагов... Ведь «они» в порыве слепой ненависти могут пойти на все...» Большаков, по его словам, никогда ранее не видел Роберта Кеннеди таким открытым и искренним.

Прилетев в Москву, Большаков узнал, что Хрущев находится на отдыхе в Пицунде. Его пригласили приехать туда через несколько дней. Между ним и Хрущевым состоялся длинный разговор, во время которого Хрущев подробно расспрашивал о Кеннеди и его окружении, о настроениях этих людей. Затем к их беседе присоединился А. И. Микоян. Речь пошла главным образом о Кубе. Хрущев спросил, решатся ли Соединенные Штаты на вооруженную конфронтацию с Кубой. Большаков ответил утвердительно, подчеркнув, что Кеннеди находится под большим давлением со стороны ультраправых, жаждущих реванша за провал авантюры в заливе Кочинос. «Он и сам не прочь взять реванш,— испытующе взглянув на меня из-под шляпы, вставил Никита Сергеевич.— Да руки коротки. Куба не та. Щекочет им брюшко»,— вспоминает Большаков. Тогда он выразил уверенность, что президент будет искать разумный компромисс, передав, однако, свой последний разговор с Робертом о том, что на президента оказывается сильное давление и с этим следует считаться. «Прибедняются,— заметил Хрущев.— Президент он или не президент? Если сильный президент, то ему некого бояться. Вся власть в его руках, да еще брат — министр юстиции». Подводя итоги беседы, Хрущев уже в спокойном тоне просил передать, что советское руководство положительно оценивает шаги президента, направленные на нормализацию советско-американских отношений и уменьшение международной напряженности. Большакова он просил быть внимательным ко всему происходящему, подчеркнув, что «нам в Москве нужно знать все, особенно сейчас».

Возвратившись в Вашингтон 3 октября, Большаков неожиданно для себя встретил равнодушный и даже холодный прием. Выслушав устное послание Хрущева, Роберт Кеннеди просил повторить лишь ту его часть, где говорилось, что СССР направляет на Кубу «оружие только оборонительного характера». Он записал эти слова под диктовку Большакова. На следующий день Большакову позвонил близкий друг президента журналист Чарлз Бартлетт, с которым у советского дипломата сложились неплохие отношения. Они встретились в ресторане недалеко от Белого дома, и Бартлетт попросил снова продиктовать послание Хрущева, выразив озабоченность по поводу событий вокруг Кубы. Как показалось Большакову, в Вашингтоне ждали еще какого-то важного сообщения из Москвы.

Большаков задает риторический вопрос: «Но какого именно?» — и отвечает: «Об этом я смог узнать лишь несколько недель спустя». Однако такому внимательному наблюдателю, как он, уже могло бы быть ясно, что братьев Кеннеди интересовал один вопрос — собирается ли Советский Союз размещать на Кубе ракеты с ядерными боеголовками? Но Большаков утверждает, что ему это в голову не приходило.

Нет оснований подвергать его заявление сомнениям, хотя эта тема уже в полный голос обсуждалась в конгрессе и средствами массовой информации. В начале избирательной кампании представители республиканской партии заявляли, что не собираются подвергать критике политику Кеннеди в отношении Кубы, чтобы не превращать ее в объект предвыборных споров. Но за месяц с небольшим до выборов эта точка зрения была пересмотрена. Куба — это «самый крупный козырь в руках республиканской партии». Такое решение принял «кокус» — партийное собрание конгрессменов-республиканцев — в конце сентября. Несколько дней спустя сенатор К. Китинг, ярый антикоммунист и сторонник агрессивной политики, выступил с резкими нападками на правительство, заявив, что располагает абсолютно достоверными данными о том, что на Кубе находятся советские ракеты с ядерными боеголовками. Известный реакционными взглядами издатель журнала «Лайф» К. Люс писал в те дни: «От решения вопроса, предпринимать или не предпринимать интервенцию против Кубы, зависит не только престиж Америки, но и выживет ли она вообще».

В течение двух с небольшим недель с разных трибун Китинг 24 раза выступил с критикой политики администрации, повторяя, что доподлинно знает о наличии советских ракет на Кубе. Впоследствии, когда заявления Китинга подтвердились, его не раз спрашивали, откуда он смог получить эти сведения, в то время как представители администрации ими не располагали. Китинг ссылался на то, что его снабдила информацией компетентная служба, не раскрывая, однако, своего источника. Никто никогда не высказывал подозрений, что этим источником могло быть ЦРУ и лично его директор Маккоун. По этическим соображениям, как представитель администрации, Маккоун не должен был этого делать, но его принадлежность к оппозиционной республиканской партии, боровшейся с демократами на выборах в конгресс, вполне допускает такое предположение. Тем более что о подозрениях Маккоуна по поводу советских ракет на Кубе в общей форме, как уже отмечалось, некоторым лицам из окружения Кеннеди он говорил. Но никаких подробных сообщений президенту по этому поводу, как впоследствии утверждал Роберт Кеннеди, директор ЦРУ не делал, хотя американская агентура на Кубе его такими сведениями уже снабдила.

Сложилась довольно парадоксальная ситуация. Президент и глава военного ведомства, не имея достоверных сведений и полагаясь на конфиденциальные заверения советских представителей и официальные заявления СССР, отвергали наскоки республиканцев, уверявших, что они твердо знают о доставке советских ракет на Кубу. Однако это положение сразу изменилось после того, как в результате очередного полета самолета-разведчика У-2 над Кубой 14 октября были получены снимки, при расшифровке которых были обнаружены явные признаки строительства стартовых комплексов для ракет «земля-земля». В ходе предшествующих полетов в конце сентября — начале октября разведка распознала лишь ракетные противовоздушные комплексы. Затем в течение нескольких дней стояла пасмурная облачная погода, и разведывательные полеты были бессмысленны. Когда же облачность исчезла и был послан очередной разведывательный самолет, то доставленные им снимки не оставили сомнений — на Кубе широким фронтом развернулась установка советских ракет.

Когда вечером 15 октября об этом сообщили помощнику президента по вопросам национальной безопасности Макджорджу Банди, он решил дождаться следующего утра, чтобы дать Кеннеди спокойно выспаться. Но на следующий день с самого утра, когда президент еще, не выходя из спальни, просматривал за завтраком газе-

ты, как он это делал каждый день, Банди нарушил его уединение и сообщил о результатах аэрофотосъемки: на Кубе строились площадки для советских ракет, а на взлетных полосах кубинских аэродромов шла сборка бомбардировщиков ИЛ-28.

Выслушав Банди, Кеннеди распорядился созвать экстренное секретное совещание, пригласив на него ведущих членов кабинета и ближайших советников. Затем он позвонил Роберту и попросил его приехать. 16 октября в 11.45 Кеннеди открыл в Белом доме совещание, которое продолжалось с небольшими перерывами семь дней, иногда не только днем, но и ночью. В отсутствие президента председательствовал Роберт Кеннеди. Он был главным действующим лицом. Чтобы не привлекать внимания репортеров, заседания проводились в разных местах: в самом Белом доме, в расположенных по соседству с ним особняках и госдепартаменте. Были приняты строжайшие меры, чтобы предотвратить утечку информации.

Среди приглашенных находились вице-президент Л. Б. Джонсон, министр обороны Р. Макнамара, государственный секретарь Д. Раск, министр финансов Д. Диллон, директор ЦРУ Дж. Маккоун, председатель объединенного комитета начальников штабов генерал Дж. Тейлор, заместитель министра обороны Р. Гилпатрик и помощник министра П. Нитце, заместитель государственного секретаря Дж. Болл и помощник госсекретаря Э. Мартин, заместитель директора ЦРУ М. Картер, представитель США в ООН Э. Стивенсон, ответственный сотрудник госдепартамента А. Джонсон, эксперты по отношениям с Советским Союзом послы Ч. Болен и Л. Томпсон, советник президента Т. Соренсен и М. Банди. Кроме них пригласили бывшего госсекретаря Д. Ачесона, бывшего министра обороны Р. Ловетта и бывшего верховного комиссара США в Германии Дж. Макклоя. По мере надобности на заседания приглашались другие лица.

Созванное Кеннеди совещание получило название Исполкома Совета национальной безопасности. Оно началось под знаком откровенно алармистских настроений. Тон задавали военные и представители разведки, призывавшие подвергнуть Кубу массированной бомбардировке с воздуха и интервенции. Слушая их выступления, Роберт Кеннеди передал записку Соренсену: «Теперь я понимаю, какие чувства владели Того (японским адмиралом.— *А. Ф.*), когда обсуждался план нападения на Пирл-Харбор». Банди и Тейлор, а вместе с ними Ачесон, были решительно поддержаны Маккоуном и Диллоном. Президент склонялся к той же точке зрения. «Я был немного напуган,— вспоминал позднее Стивенсон,— что вначале Кеннеди считал, что следует прибегнуть к воздушной бомбардировке».

Возобновившееся на следующий день заседание Исполкома проходило в отсутствие президента, который уехал на один день в штат Коннектикут для выступления перед избирателями. Чтобы не вызвать подозрения корреспондентов относительно происходящего, Кеннеди следовал ранее составленному расписанию предвыборной кампании. К этому времени были получены новые снимки кубинской территории. Они свидетельствовали о быстром продвижении работ по сооружению ракетных установок. Это давало козырь в руки сторонников военного нападения на Кубу. Большинство Исполкома высказывалось за массированную воздушную бомбардировку как самое надежное «хирургическое средство». Макнамара выразил сомнение: в результате бомбежки могут быть убиты находящиеся на Кубе советские специалисты, тогда неизбежна война с СССР.

«Вы сидите в хорошей калоше»,— заявил президенту приглашенный назавтра для участия в заседании Исполкома генерал Шауп. «Вы тоже там вместе со мной»,— парировал Кеннеди. Начальник штаба ВВС генерал К. Лимей требовал воздушного налета на Кубу. Кеннеди спросил его, как, по мнению генерала, будет реагировать Советский Союз. «Никак»,— ответил он. Кеннеди выразил сомнение. В ходе последующих дебатов военная партия усилила нажим с целью добиться постановления Исполкома о нанесении воздушного удара по Кубе. «Сейчас или никогда»,— заявил генерал Тейлор. Эта точка зрения, однако, вызвала возражение со стороны министра обороны Макнамары. Он был также сторонником военного решения вопроса. Но вместо налета на Кубу предлагал объявить морскую блокаду. По крайней мере, на первой стадии она не повлечет за собой вооруженного столкновения и человеческих жертв. Этот план был решительно поддержан Робертом Кеннеди, к нему присоединилось и большинство Исполкома, когда стало ясно, что этой позиции обеспечена поддержка президента.

Возражая против воздушной бомбардировки, Роберт говорил, что в результате нее погибнут многие тысячи людей. Это напоминало бы вероломное нападение на Пирл-Харбор и противоречило бы «нашим традициям». Министра юстиции беспокоила возможная реакция мирового общественного мнения. Макнамара говорил о соотношении сил между СССР и США.

Анализ полученных фотографий показывал, что ракеты строились с прицелом на крупнейшие американские города, и это впоследствии подтверждено было на симпозиуме 1989 г. в Москве. Если они будут запущены, 80 миллионов американцев погибнут в считанные минуты. Макнамара не видел достаточных аргументов, оправдывающих воздушную атаку Кубы. «Ракета есть ракета,— говорил он.— Не имеет значения, убьют вас ракетой, запущенной из Советского Союза или с Кубы». Он повторял, что бомбардировка кубинской территории приведет к гибели находящихся там советских специалистов. Нет сомнения в том, что Москва «не замедлит дать решительный отпор». «В этом случае,— заявлял министр обороны,— США могут потерять контроль за положением вещей, и тогда эскалация конфликта может привести к мировой войне». Тем более что никакая, даже самая тщательная бомбардировка кубинской территории не могла гарантировать, что несколько советских ракет может уцелеть, и они будут немедленно выпущены по городам США.

Президент это тоже хорошо понимал. После выступления генерала Лимея Кеннеди поделился впечатлением с заместителем Макнамары Гилпатриком: «Это просто желчный человек. Он совершенно потерял контроль над собой». Одному из своих ближайших советников Кеннету О'Доннелу президент заметил: «Эти штабисты имеют одно большое преимущество. Если мы поступим, как они того хотят, никто из нас не останется в живых, чтобы разъяснить им, что они были неправы».

В тот же день, 18 октября, Кеннеди принимал в Белом доме министра иностранных дел СССР А. А. Громыко, прибывшего в США для участия в сессии ООН. Видимо, он готовился к разговору о советских ракетах, положив в ящик стола снимки, сделанные самолетом У-2. Но разговора этого не состоялось. Громыко выразил беспокойство по поводу угрозы военного нападения на Кубу, сославшись на антикубинскую кампанию в конгрессе и печати, а также на враждебные акции против Кубы. Кеннеди ответил, что не принадлежит к сторонникам интервенции. «Я не знаю, куда все это может нас привести»,— сказал он. На этом, однако, разговор и остановился. На симпозиуме в Москве 1989 г. Громыко спросили, почему он не сообщил президенту, что СССР доставил на Кубу ракеты. «А Кеннеди меня не спрашивал об этом»,— заявил он. Вместе с тем Громыко утверждал, что его беседа с президентом США имела большое значение, наметив «вехи будущего соглашения». Однако документально это утверждение никак не подтверждается. Скорее наоборот, встреча Громыко и Кеннеди оказалась бесплодной. Хотя в ходе их беседы советский министр передал предложение президенту США о проведении советско-американской встречи на высшем уровне для урегулирования спорных международных проблем и президент в принципе отнесся к этому положительно, позднее в тот же день вечером во время обеда у государственного секретаря Раска послу СССР Добрынину сказали, что в Белом доме хотели бы отложить такую встречу, ибо Кеннеди считал ее пока «бесполезной».

В то время как Раск угощал в здании госдепартамента советского министра иностранных дел, этажом ниже шло заседание Исполкома, на котором происходила острая дискуссия. Она была продолжена и на следующий день, 19 октября, когда Кеннеди вылетал в Чикаго для предвыборного выступления. Даже военные готовы были согласиться с планом Макнамары при условии, что блокада будет первым шагом, за которым последуют бомбардировка и вторжение на Кубу. Утром 20 октября Роберт позвонил Джону в Чикаго и сообщил, что в принципе решение выработано.

Кеннеди решил прервать предвыборное турне и вернуться в столицу. Он вызвал своего пресс-секретаря Пьера Сэлинджера и вручил ему листок бумаги: «Небольшое воспаление верхних дыхательных путей. Температура 37,1°. Сырая погода, дождь. Врач советует вернуться в Вашингтон». Сэлинджер зачитал это сообщение корреспондентам. На борту самолета он спросил: «Я надеюсь, ничего плохого с вашим здоровьем, господин президент?» Кеннеди взглянул на него: «Если вы ничего не знаете, вы счастливый человек».

На базе ВВС Сент Эндрюз президента, прилетевшего из Чикаго, встречал Роберт, информация и советы которого имели большое влияние на Кеннеди. Именно Роберт, по мнению Макнамары, «много сделал, чтобы переубедить президента», отказаться от плана воздушной бомбардировки, который тот первоначально поддерживал. Перелом в позиции президента наступил после заседания 18 октября, когда он подвергся резкому нажиму военных. Видимо, это имело обратные последствия: Кеннеди стал склоняться к более осторожной линии. Окончательное решение он, по свидетельству Роберта, принял 20 октября, предложив к исходу заседания Исполкома утвердить план морской блокады, который был поставлен на голосование. Из 17 присутствующих 11 высказались «за», 6 — «против». Сторонники воздушного налета не хотели сдаваться. Президент попросил справку: гарантирует ли массированная бомбардировка уничтожение всех находящихся на Кубе ракет и ядерного оружия. Командование ВВС ответило, что гарантий быть не может. Это окончательно склонило чашу весов в пользу решения о морской блокаде. Чтобы смягчить эту акцию, решено было именовать ее «карантином», заимствовав этот термин из заявления президента Ф. Д. Рузвельта периода второй мировой войны.

Решение было принято, и президент готовился к публичному выступлению. Несмотря на строжайшие меры предосторожности и стремление помешать утечке информации, в журналистских кругах появились слухи, что в правительственных верхах происходит нечто необыкновенное, имеющее чрезвычайную важность. Редак-

ции «Нью-Йорк таймс» и «Вашингтон пост» сумели добыть довольно точную информацию. Джеймс Рестон знал почти все. Кеннеди обратился с личной просьбой к Рестону подождать. Попросили и обозревателей других газет. Все они обещали воздержаться от публикаций до 23 октября. Накануне этого дня вечером президент решил выступить по радио и телевидению.

Два дня, которые оставались со времени принятия решения о морской блокаде до того момента, когда о нем было объявлено в радиотелевизионном выступлении Кеннеди, прошли в несуетной горячке. Были приняты экстренные военные меры. Вооруженные силы США получили приказ о боевой готовности. В районе Карибского моря курсировало 183 военных корабля. С грузом атомных бомб на борту круглые сутки висели в воздухе бомбардировщики Б-52. Если один самолет садился для заправки или смены экипажа, другой тут же взлетал и занимал его позицию. Половина стратегической авиации США находилась в состоянии готовности № 1. К высадке на Кубу было подготовлено 90 тысяч морских пехотинцев и парашютистов. Во втором эшелоне находился резерв из 250 тысяч человек.

22 октября вечером в радиотелевизионном выступлении президент объявил о введении морской блокады, подвергнув резким нападкам Советский Союз и Кубу. В Вашингтоне с напряженным вниманием ожидали реакции СССР. На следующий день после выступления Кеннеди Советское правительство опубликовало ответное заявление. Оно обвиняло США в «беспрецедентных, агрессивных действиях», чреватых опасностью «мировой термоядерной войны», предупреждало, что «если агрессоры развяжут войну, то Советский Союз нанесет самый мощный ответный удар». По дипломатическим каналам было послано сообщение, что находящееся на Кубе оружие, к какому бы классу оно ни принадлежало, предназначено исключительно для целей обороны. Объявленный Кеннеди «карантин» отвергался как незаконная «пиратская» мера. Выражалась надежда, что Соединенные Штаты проявят благоразумие, чтобы предотвратить возможную катастрофу. Однако в ответе американской стороны на советское послание, переданном 24 октября, сообщалось, что блокада вступила в силу, и вся вина за возникновение Карибского кризиса возлагалась на Советский Союз, доставивший на Кубу ракеты.

Американский историк Л. Фицсаймонс критиковала Кеннеди за то, что в своем радиотелевизионном выступлении он взял неоправданно резкий тон, создав впечатление у американцев, что «советские ракеты на Кубе представляют собой смертельную угрозу Соединенным Штатам», что, с ее точки зрения, «привело к искажению фактов». Это положение следовало бы дополнить тем, что выступление Кеннеди вполне согласовывалось с планомерно организованной в США на протяжении длительного периода враждебной кампанией против Кубы. Оно было построено и в духе выработанного при Кеннеди курса на ракетное вооружение, чтобы утвердить военное превосходство над СССР. Вместе с тем было бы неверным игнорировать тот факт, что поведение президента США испытало на себе влияние действий советского руководства. Во-первых, Кеннеди не мог забыть о манере переговоров с ним Хрущева в Вене, которую он воспринимал как унизительную. Во-вторых, все попытки американской стороны навести мосты и установить доверительные отношения с советским руководством не дали результата. Оказалось, что каналы частной связи использовались советским руководством для обмана, чтобы ввести в заблуждение и выиграть время.

Через день после радиотелевизионного выступления президента Роберт Кеннеди просил пригласить сотрудника посольства СССР Г. Н. Большакова, осуществлявшего связь между Кремлем и Белым домом, чтобы показать ему снимки строящихся советских ракет на Кубе. Каково же было удивление американцев, когда оказалось, что доверенный представитель Хрущева ничего о ракетах не знал. Ему показывали планшеты с грифом высочайшей секретности «Только для глаз президента», и чтобы убедить советского дипломата, что речь идет не о сооружении бейсбольных площадок, как предположил Большаков, ему продемонстрировали аналогичные планшеты со снимками стартовых площадок советских ракет в Египте.

Очевидцы этой сцены отмечают, что Большаков не скрывал своего удивления. По свидетельству Чарлза Бартлетта, которого Роберт Кеннеди просил показать ему планшеты со снимками строящихся ракетных установок на Кубе, советский дипломат сказал, что его «обманули». Большаков сразу заявил, что ничего не знал о ракетах, что подтверждается его последующим рассказом об этом эпизоде, опубликованным в 1989 г. «В очень неприятном положении очутились советские дипломаты — сотрудники посольства СССР в Вашингтоне,— отмечает он.— Правду таили не только от «чужих», но и от «своих». Мы не знали, как обстоит дело на самом деле, и «нет», которым мы отвечали на все «ракетные» вопросы, расценивалось как неискренность, заведомая ложь... Мне горько думать о том, что в этом вопросе меня считали лжецом и Роберт Кеннеди и другие люди, которые, как и я, прилагали много усилий, чтобы добиться сближения». Не менее удивительно, что абсолютно ни о чем не был информирован посол СССР А. Ф. Добрынин. Когда на симпозиуме в Москве в январе 1989 г. американские представители засыпали его вопросами, почему в ходе повседневных, весьма детальных переговоров он ни разу не обмолвился о советских ракетах даже после телевизионного выступления Кеннеди, Добрынин ответил, что никакой информации по этому поводу не получил. «А разве я вам не говорил об этом?» — спросил Громыко. «Нет, вы мне об этом ничего не говорили»,— ответил Добрынин.

Правительство США обратилось в ООН с просьбой рассмотреть этот вопрос в Совете Безопасности. Одновременно с жалобой на действия США к Совету Безопасности обратились СССР и Куба. Кеннеди придавал большое значение тому, как пройдет обсуждение в ООН. Представитель США Э. Стивенсон успел записаться первым еще накануне, когда Кеннеди выступал по радио и телевидению. В составлении текста речи для ООН президент просил принять участие Шлезингера. Затем просмотрел подготовленный им проект и внес некоторые коррективы. Перед отъездом в Нью-Йорк на заседание Совета Безопасности к Шлезингеру подошел Роберт: «Мы рассчитываем, что вы будете наблюдать за ходом дел в Нью-Йорке. Этот парень (Стивенсон.— *А. Ф.*) готов во всем уступить. Мы должны заключить сделку в конце, а пока держаться твердо. Мы уступим в конце переговоров, а не в начале». Поводом для этой тирады было выступление Стивенсона на заседании Исполкома 20 октября. Он предлагал дополнить провозглашение морской блокады немедленным заявлением о том, что США готовы вести переговоры с СССР, а затем сделать Советскому Союзу уступку, отказавшись от ракетных баз в Турции и от военной базы Гуантанамо на Кубе.

Ничего неожиданного в предложении Стивенсона не было. Еще за два дня до этого по указанию Кеннеди Соренсен составил проект обращения к главе Советского правительства, в котором говорилось, что как только с Кубы будут вывезены ракеты, президент США «был бы рад встретиться с вами... и обсудить другие стоящие в повестке дня проблемы, включая, если вы хотите, базы НАТО в Турции и Италии». Тогда же аналогичная идея была выдвинута Макнамарой. Он считал возможным и нужным уступить в вопросе о стратегических ракетах в Турции и Италии, а также в ограничении прав США на базу Гуантанамо. Согласно протокольной записи заседания Исполкома Макнамара заявил: «Можно договориться о вывозе ракет... только в том случае, если мы готовы предложить что-то в обмен». Стивенсон практически повторил то же самое. Но его выступление вызвало резкое недовольство. Отправляя на заседание Совета Безопасности Стивенсона с написанным Шлезингером по указанию президента текстом речи, его решили «подкрепить» закаленным в баталиях «холодной войны» Джоном Макклоем, который должен был во время заседания Совета Безопасности на всякий случай сидеть справа от Стивенсона.

Однако все эти опасения оказались напрасны. Стивенсон строго следовал заранее отработанному сценарию. Представитель США обрушился с нападками на действия СССР, оправдывая введение морской блокады. Позируя перед телекамерами, переполненным дипломатами и корреспондентами залом, Стивенсон в драматической форме обратился к представителю СССР В. Зорину, который председательствовал в тот месяц на заседаниях Совета Безопасности. Он задал ему вопрос, есть ли на Кубе советские ракеты и бомбардировщики: «„Да“ или „нет“? Не ждите перевода (с английского), скажите „да“ или „нет“». Представитель СССР ответил, что здесь не зал заседания американского суда. «Вы получите ответ в положенное время»,— заявил он. Тогда Стивенсон дал знак внести в зал заседания подготовленные ЦРУ фотографии кубинской территории, сделанные самолетом У-2, на которых видны были строящиеся ракетные установки и бомбардировщики. «Каково было представителю СССР в ООН перед лицом всего мира в окружении фотографий наших стартовых площадок,— восклицает в своих воспоминаниях Большаков,— вынужденному юлить и выкручиваться, уходя от прямого ответа на вопрос о присутствии наших ракет на Кубе!» Подобно Добрынину и Большакову, Зорин ничего не знал о том, что на Кубу доставлены советские ракеты.

Последовавшая 24 октября острая дискуссия показала, что Венесуэла и Чили, связанные принятым накануне решением Совета Организации американских государства, солидаризировались с американской позицией. Союзники США по НАТО Англия и Франция тоже поддержали их, хотя и высказывались за переговоры между заинтересованными сторонами. Представители Румынии, Ганы и Объединенной Арабской Республики осудили введение морской блокады. Как и выступивший в ходе прений представитель Ирландии, они призвали к мирному урегулированию. Присутствовавший на заседании Совета Безопасности исполняющий обязанности генерального секретаря ООН У Тан зачитал текст послания правительствам США и СССР с призывом сесть за стол переговоров. Это предложение поддержали 45 стран «третьего мира», заявление которых было опубликовано сразу после заседания. Стивенсон не ответил, сославшись на отсутствие инструкций от президента Кеннеди. Советское правительство согласилось с призывом У Тана «воздержаться от любых действий, которые могут обострить положение и принести с собой риск войны».

Тем не менее советские суда продолжали двигаться в направлении Кубы, и любое столкновение с силами американского «карантина» могло послужить поводом для

военного конфликта. Кеннеди распорядился отодвинуть установленную им первоначально линию блокады с 1300 до 500 км от берегов Кубы. Но два десятка судов продолжали движение, и момент их соприкосновения с американским морским кордоном приближался. Воздушная разведка регулярно докладывала о местонахождении советских судов, и президент знал, что они шли в сопровождении шести подводных лодок. 25 октября советский нефтеналивной танкер подошел к линии кордона и пересек ее. Вопреки мнению некоторых советников и военных, президент распорядился не трогать его. В воспоминаниях Роберта Кеннеди говорится, что его брат хотел дать Хрущеву время для принятия решения. «Мы не хотим подталкивать его к опрометчивым решениям,— сказал он,— дадим ему время подумать. Я не хочу загонять его в угол, из которого не будет выхода». В тот же день к линии кордона подошел пассажирский лайнер, на борту которого, по оценке воздушной разведки, находилось около полутора тысяч человек. Кеннеди и в данном случае распорядился пропустить судно, не подвергая опасности жизнь людей, чтобы избежать инцидента. Ранним утром 26 октября пропустили шведское судно с грузом картофеля из Ленинграда. Но следующее судно, принадлежавшее панамской компании, было остановлено военными кораблями США. Только после досмотра, убедившись, что среди грузов нет военного снаряжения, судно получило разрешение следовать дальше.

Накануне, 25 октября, У Тан вторично обратился к правительствам СССР и США с призывом урегулировать отношения мирным путем в соответствии с Уставом ООН. Он просил дать указание советским судам, уже находящимся на пути в Кубу, держаться в стороне от района перехвата, чтобы избежать столкновения с военно-морскими силами США. Советское руководство последовало этому призыву. Днем 26 октября всем советским судам был отдан приказ остановиться и повернуть обратно домой.

Обратился У Тан и к Кеннеди с просьбой принять меры, чтобы предотвратить столкновение американского флота с советскими судами. Кеннеди также ответил положительно и отдал соответствующий приказ военно-морским силам. Со стороны американского военного руководства этот приказ вызвал недовольство. Оно хотело совсем другого — распространить действия американского флота за пределы блокады, в открытом море. Приказ президента, вспоминал впоследствии Соренсен, «вызвал резкое столкновение с представителями военно-морского командования». У Тану Кеннеди ответил: «Я понимаю и разделяю ваши опасения относительно того, что необходимо проявить большую осторожность, пока не будут начаты переговоры».

25 октября в Кремле Хрущев принял американского бизнесмена Уильяма Нокса, в беседе с которым признал, что на Кубе находятся советские ракеты среднего радиуса действия класса «земля-земля». Сообщение об этом было телеграфировано в Вашингтон, и американские официальные лица расценили самый факт впервые прозвучавшего признания как некий сдвиг. Прежнее умолчание расценивалось однозначно как сознательный обман и ложь. А это, отмечает Большаков, «очень легко вползало в умы простых американцев», заставив их почувствовать зловещее дыхание войны и породив панические настроения, что советские ракеты возводятся, чтобы разрушить американские города. Люди начали скупать пакеты с питанием для бомбоубежищ — сухари, консервы, шоколад. 25 октября в полдень по радио был подан условный сигнал атомной тревоги, и хотя американцев предупредили, что тревога была учебной, она лишь подстегнула панику. Тревога охватила и правительственные верхи. На симпозиуме в Москве бывший министр обороны Макнамара и пресс-секретарь Белого дома П. Сэлинджер рассказывали, что, уезжая из дома на очередное заседание Исполкома, они не знали, увидят ли снова своих родных и что вообще станет со всеми. Военная опасность ощущалась как вполне реальная угроза.

26 октября вечером Кеннеди получил личное послание Хрущева. В нем впервые официально подтверждалось, что на Кубу посланы советские ракеты. Но Хрущев заверял, что они никогда не будут использованы для нападения на США. «Вы можете быть спокойны в этом отношении,— писал он,— мы в твердом уме и понимаем, что, если мы нападем на вас, вы ответите таким же образом... Только лунатики и самоубийцы, которые вознамерились бы погубить и разрушить весь мир, перед тем как они сами умрут, могли пойти на это». Хрущев заявлял, что единственным желанием Советского правительства было защитить Кубу, напомнив Кеннеди, что во время их встречи в Вене президент сказал ему, что операция в заливе Кочинос была ошибкой. Советский руководитель писал, что ценит эту откровенность, и напоминал, что со своей стороны также признавал «те ошибки, которые были допущены в истории нашего государства». «Я не только признавал их, но и резко осуждал». Комментируя эту цитату из личного послания Хрущева, Роберт Кеннеди отмечал, что во время переговоров в Вене его брат сказал Хрущеву, что тот «легко признавал и осуждал ошибки Сталина и других, но никогда не признавал никаких своих ошибок».

В послании Хрущева содержалось предложение, чтобы США гарантировали ненападение на Кубу и снятие блокады и что в этом случае можно договориться о вывозе советского ракетного оружия.

Это послание было подвергнуто тщательному анализу. Оно намечало какой-то выход из создавшегося тупика, в чем американское правительство убедилось в тот же день в результате переданных ему ранее полуофициальным образом условий урегулирования Карибского кризиса. Сделано это было в ходе встречи советника посольства СССР в Вашингтоне А. С. Фомина с обозревателем телекомпании Эй-би-си Джоном Скали в расположенном в центре Вашингтона ресторане «Оксидентал». Советский дипломат заявил, что в случае, если США готовы дать твердые гарантии, что Куба не подвергнется нападению, ракеты будут вывезены с острова под наблюдением ООН и дальше там размещаться не будут. Это сообщение было немедленно передано государственному секретарю Раску, президенту, а затем и членам Исполкома. В своих воспоминаниях Роберт Кеннеди писал: «Почему они избрали такой способ связи, было неясно, но необычная процедура подобного рода не была такой уж необычной для Советского Союза». Слова эти, однако, не вполне понятны, ибо госдепартамент США до этого и потом, как это подтвердил Скали на симпозиуме 1989 г. в Москве, использовал его встречи с Фоминым как один из каналов связи с Москвой для обсуждения наиболее сложных вопросов советско-американских отношений. У Роберта Кеннеди был свой, аналогичного рода канал, осуществлявшийся им через Большакова. Вероятно, контакт с Фоминым существовал параллельно. Трудно предположить, чтобы брат президента об этом не знал, хотя исключать такую возможность нельзя.

До сих пор в ресторане «Оксидентал», хотя в последние годы он был радикально реконструирован, выставлена в специальной витрине медная мемориальная дощечка, на которой выбиты следующие слова: «За этим столом во время напряженного периода Карибского кризиса (октябрь 1962 г.) было внесено предложение вывести ракеты с Кубы, сделанное загадочным русским мистером «Икс» телекорреспонденту Эй-би-си Джону Скали. В результате этой встречи была предотвращена угроза возможной ядерной войны». Встреча Фомина со Скали, ставшая легендарной и многократно описанная в американской литературе, лишь недавно приобрела право гражданства у нас. В январе 1989 г., много лет спустя, Фомин и Скали встретились снова на симпозиуме в Москве, поделившись воспоминаниями о событиях, запечатленных на мемориальной табличке ресторана «Оксидентал».

Послание Хрущева 26 октября и сообщение Фомина того же дня стали шагом на пути урегулирования Карибского кризиса, хотя это было лишь самое начало и оставалось еще много трудностей. Мир все еще находился перед реальной угрозой войны.

По приказу Кеннеди самолеты У-2 участили съемку кубинской территории, контролируя ход сооружения стартовых комплексов для советских ракет. Эти облеты показали, что строительство ведется ускоренными темпами круглосуточно и через несколько дней ракеты будут готовы к запуску. Во время симпозиума 1989 г. в Москве американские представители задали вопрос, были ли эти ракеты снабжены ядерными боеголовками. Ответив утвердительно, генерал Д. А. Волкогонов пояснил, что для присоединения ядерной головки к ракете требовалось 3 часа, а в условиях уже установленной боеголовки для приведения ее в боеготовность — 15 минут. На Кубу было доставлено 42 ракеты, и там находилось 40 тысяч советских военнослужащих.

Как уже отмечалось, американская разведка не знала тогда ни точного количества ракет, ни того, оснащены ли они ядерными боеголовками, ни какова численность находившегося на Кубе советского воинского контингента (он оценивался ЦРУ в 10 тысяч человек). Но самый факт форсированного строительства ракет нагнетал беспокойство, усиливавшееся для Кеннеди ходом предвыборной кампании и резкими выпадами против него со стороны представителей республиканской партии.

Вообще промежуточные выборы в США непосредственно не влияют на судьбу президента. Но исход их не безразличен для него, ибо промежуточные выборы — это своеобразная прикидка на следующую кампанию, когда избирается президент. Они — индикатор, позволяющий судить о развитии политических настроений в стране, важных для будущей президентской кампании. Значение промежуточных выборов определяется также составом избранных на них членов палаты представителей и сенаторов, от ориентации которых зависит, насколько дееспособным окажется президент, проводя мероприятия, требующие санкции законодательного органа власти.

Избирательная кампания 1962 г. имела непосредственное влияние на ход Карибского кризиса. Кеннеди постоянно оглядывался на своих политических соперников-республиканцев, поносивших его за нерешительность. Сенаторы Кейпхарт и Китинг с яростью нападали на президента. Кеннеди видел за этим угрозу своему престижу и шансам на будущее. Рассматривая вместе с К. О. Доннелом фотографии кубинской территории, сделанные самолетом У-2, он заметил: «Считайте, что мы переизбрали Кейпхарта сенатором от штата Индиана, а Китинг, вероятно, будет следующим президентом США». В напряженные дни Карибского кризиса эта мысль постоянно сверлила ему голову, не давала покоя. Она была его тревогой и заботой, влиявшей на методы «кризисной» дипломатии в самые острые дни заключительной стадии Карибского кризиса.

По поручению Кеннеди представитель госдепартамента заявил на пресс-конференции, что если сооружение ракетных установок на Кубе не прекратится, президент США «будет вправе» рассматривать вопрос о том, чтобы предпринять «дальнейшие» действия. Этому заявлению была придана широкая огласка, сопровождаемая угрозами в адрес Кубы и СССР. Средства массовой информации нагнетали атмосферу военного страха. Президент поддерживал жесткий курс, хотя многое делалось и помимо его воли. Во время встреч его брата с послом СССР А. Ф. Добрыниным, а они начиная с 23 октября проходили ежедневно поочередно в здании министерства юстиции США и на квартире посла, Роберт Кеннеди заявил, что президент не сможет долго «продержаться». В изданной позднее книге воспоминаний о Карибском кризисе «Тринадцать дней» Роберт признавал, что президент «наметил курс, привел события в движение, но контролировать их уже был не в состоянии».

Для участия в обсуждении вопроса о положении вокруг Кубы Советом Безопасности ООН из Москвы в Нью-Йорк были посланы А. И. Микоян и заместитель министра иностранных дел В. В. Кузнецов. Но ситуация в Совете Безопасности приобрела тупиковый характер. Ни одна из предложенных резолюций не могла быть принята, не получив необходимой в этом случае поддержки большинства, включая голоса великих держав. Отрицательная или даже нейтральная позиция любого из постоянных членов Совета Безопасности означала «вето», чем обе стороны и воспользовались. Поэтому урегулирование кризиса могло быть произведено только путем двухсторонних переговоров, и, как мы видели, в результате послания Хрущева 26 октября, а также встречи Фомина — Скали наметился какой-то просвет. Был сделан шаг, который содержал, по словам Роберта Кеннеди, «начало какого-то компромисса, какого-то соглашения».

Однако 27 октября обстановка вновь резко обострилась. Совершавший очередной разведывательный полет над Кубой американский самолет У-2 был сбит ракетой «земля-воздух». В течение многих лет распространена была версия о том, что американский самолет был сбит кубинскими противовоздушными силами, говорили даже о том, что сам Фидель Кастро нажал кнопку запуска зенитного снаряда. Действительно, кубинским ПВО был отдан приказ сбивать американские самолеты, нарушающие воздушное пространство Кубы. Но кубинская зенитная артиллерия не стреляла выше 10—12 тысяч метров. На симпозиуме 1989 г. наконец с полной определенностью было сказано, что американский самолет сбит был советской ракетной частью по команде советского генерала. После того как У-2 появился на экране радиолокаторов, для принятия решения оставалось не более 2 минут. Естественно, что для связи с Москвой времени не было, и командующий советскими силами ПВО отдал приказ стрелять. Было выпущено две ракеты. Первая же из них поразила цель. По словам Сергея Никитича Хрущева, его отец был огорчен этим известием, так как уже наметилась возможность урегулирования кризиса. Советскому командованию на Кубе была послана шифровка, в которой говорилось, что оно «поспешило» сбивать американский самолет.

На заседании Исполкома в Вашингтоне 27 октября известие о гибели У-2 вызвало бурную дискуссию. За несколько дней до этого Исполком уже вынес постановление: если собьют американский самолет, Куба будет подвергнута «немедленному возмездию». Воинственно настроенные члены Исполкома требовали выполнения этого решения — воздушный налет в течение 24 часов. У большинства членов Исполкома, по словам Р. Кеннеди, было «почти единодушное мнение». Генералы не скрывали злорадства: ведь они с самого начала говорили, что блокада — это «слишком слабая мера» и нужно применять «военные средства». «Ощущение было таково,— вспоминал Р. Кеннеди,— что мы попали в петлю, которая все туже и туже затягивается вокруг шеи». Окончательное слово оставалось за президентом. Он молча выслушал всех ораторов, а потом сообщил, что отменяет принятое ранее решение Исполкома о возмездии. «Я думаю не о первом шаге, а о том, что обе стороны стремительно приближаются к четвертому и пятому. Мы не сделаем шестого шага, потому что никого из присутствующих уже не будет в живых»,— пояснил Кеннеди. Он сообщил командованию ВВС, что запрещает бомбардировку Кубы. Объединенный комитет начальников штабов был этим недоволен. Генералы по-прежнему рвались в бой, предложив наметить нападение на Кубу через 48 часов, в понедельник 29 октября. Авиация, военно-морские силы, десантные части — все находилось в состоянии полной боевой готовности. Ждали только приказа.

27 октября в Вашингтоне было получено новое послание Советского правительства. Оно выдвигало дополнительное требование о выводе американских ракет из граничащей с СССР Турции. Первоначально вопрос об этом был поднят американской стороной по ее инициативе. Но выдвижение данного требования как условия урегулирования Карибского кризиса теперь было признано неприемлемым. С этим не желали согласиться ни военные, ни дипломаты. Госдепартамент представил Исполкому проект ответа, в котором возможность соглашения о ракетах в Турции решительно отвергалась. Содержание и тон этого документа вызвали резкое несогласие Роберта Кеннеди. Он предложил ответить позитивно на послание 26 октября, не касаясь вопроса об американских ракетах в Турции, как будто послания 27 октября вообще не существовало. Сторонников твердой линии это не устраивало. Но президент поручил подготовить новый проект Роберту и Соренсену. Через 45 минут документ был готов и представлен Исполкому. Соединенные Штаты давали гарантию, что Куба не подвергнется вторжению при условии, если с острова будут вывезены «все наступательные виды вооружения» под наблюдением ООН. Президент одобрил проект и отправил его в Москву.

Вечером того же дня он поручил Роберту при встрече с советским послом А. Ф. Добрыниным обратить его внимание на опасную эскалацию конфликта. Этот разговор был настоятельно необходим, ибо помимо событий, о которых уже шла речь, в тот же день произошел новый инцидент с американским самолетом У-2, который на этот раз нарушил воздушное пространство СССР в районе Чукотки и едва не был сбит советскими средствами ПВО. Кеннеди с тревогой встретил это сообщение, опасаясь, как бы в Москве не сочли появление американского самолета над советской территорией признаком подготовки к нападению на СССР.

Беседа Роберта Кеннеди с советским послом приобретала в этих условиях характер чрезвычайной важности. Она происходила поздно вечером в здании министерства юстиции. В воспоминаниях Кеннеди отмечается, что он заявил Добрынину: «Если вы не уберете ракеты с Кубы, мы уберем их сами». Но в советских источниках, включая рассказ Добрынина об этой беседе и «Воспоминания» Хрущева, делался упор на другое. Констатировав, что события приобретают крайне опасный оборот, Роберт Кеннеди просил передать Хрущеву, что президент подвергается сильному нажиму со стороны военных. Генералитет требует возмездия за сбитый над Кубой разведывательный самолет. Президент делает все возможное, чтобы избежать войны, но с каждым часом риск военного столкновения возрастает. Необходимо договориться как можно скорее, по возможности в ближайшие часы. Он даже назвал точный срок: в течение 24 часов, подчеркнув, что это «не ультиматум», а констатация создавшегося положения. По поводу ракетных баз в Турции Р. Кеннеди ответил, что решение может быть принято позже, дав понять, что вопрос можно считать согласованным, хотя и отказался оформить эту договоренность письменно. «Вы имеете мое слово, и этого достаточно»,— так ответил Роберт Кеннеди, согласно сохранившемуся в его бумагах конспекту этого разговора. Провожая советского посла, он дал ему номер телефона в Белом доме, по которому просил звонить в любое время дня и ночи. Он сообщил, что почти постоянно находится вместе с президентом. «Время не ждет,— повторил он,— мы не должны его упустить».

Вслед за тем Роберт позвонил Большакову и договорился с ним о встрече в автомашине возле дома советского дипломата. Он повторил ему то, что уже сказал Добрынину, с просьбой срочно передать содержание разговора Хрущеву. Роберт Кеннеди подчеркнул, вспоминает Большаков, что «президент, начавший блокаду, стал сейчас пленником своих же собственных действий» и ему почти невозможно будет «сдержать военных» в ближайшие сутки, если не поступит позитивного ответа из Москвы».

У читателя может возникнуть вопрос, почему автор этих строк столь часто обращается к свидетельствам Большакова, опубликованным лишь на нескольких страницах журнала «Новое время», а не цитирует, например, двухтомные воспоминания А. А. Громыко, который около полувека провел на дипломатической работе и посвятил в этих томах специальный раздел Карибскому кризису. Объясняется это просто — в воспоминаниях Громыко, как и в его выступлениях на симпозиуме 1989 г. в Москве, в частности, в ответах на вопросы автора данных строк, бывший министр иностранных дел не столько рассказал, сколько умолчал. Его рассказ о беседе с президентом состоит из общих фраз, и в нем ничего не сказано о том, как Громыко докладывал об этой встрече Хрущеву и как отнесся последний к его сообщению. Встреча эта достаточно подробно описана американской стороной, и читателю было бы интересно сопоставить одну и другую версии. К сожалению, воспоминания Громыко такой возможности не дают.

За время Карибского кризиса президент Кеннеди пришел к пониманию возможных последствий страшной катастрофы в случае, если начнется война. В эти дни он многое передумал. Кеннеди держался ровно, но находился в крайнем напряжении. Бледное, осунувшееся лицо, воспаленные, усталые глаза — результат тревожных размышлений и бессонных ночей. Короткие промежутки между неотложными делами и заседаниями он проводил с семьей — женой и детьми. Кеннеди понял, что необходим компромисс, соглашение. Другой альтернативы нет.

Напряженные дискуссии о выходе из создавшегося положения происходили в эти дни и в Москве в Политбюро. В своих воспоминаниях Хрущев писал, что в стране царило спокойствие. «Наш народ,— писал он,— был полностью информирован об опасном положении, которое сложилось, хотя мы позаботились о том, чтобы не вызвать паники, информируя о событиях надлежащим образом». По меньшей мере странно говорить о том, что народ был

полностью информирован о происходящем, если даже многие участники событий с советской стороны, как мы видели, не знали, что происходит в действительности. Конечно, Хрущев и члены советского руководства понимали, сколь опасным было положение и чем грозила конфронтация с США. Хрущев отмечает, что в течение 6—7 дней «опасность была особенно острой». «Мы пытались,— пишет он,— скрыть нашу тревогу, которая была очень сильной». Были у советского руководства и опасения, что паника распространится на население. С этой целью в разгар кризиса Хрущев и другие члены Политбюро в порядке демонстрации посетили театр, желая показать, что ничего серьезного не происходит. «...Я предложил,— вспоминал Хрущев,— другим членам правительства: «Товарищи, давайте пойдем в Большой театр. Наш народ так же, как иностранцы, заметит это, и их это успокоит. Они скажут друг другу: „Если Хрущев и другие наши руководители могут в такое время слушать оперу, значит, по крайней мере сегодня ночью, мы можем спать спокойно"». Переводчик и комментатор американского издания «Воспоминаний» Хрущева Э. Крэнкшоу резонно заметил, что когда «высшее руководство в Кремле с улыбкой на устах отправляется все вместе в Большой театр, это часто (хотя и не обязательно) означает, что происходит некий кризис». Так было, в частности, в день ареста Берии.

Несомненно, что в дни Карибского кризиса Хрущев был охвачен тревогой. Он рассказывает, что одну из ночей в то время провел не раздеваясь на диване в своем кабинете в Кремле. «Я был готов к тому, что тревожные сообщения могут поступить в любой момент, и хотел быть готовым к действию». На симпозиуме 1989 г. в Москве А. А. Громыко утверждал, что советское руководство просчитало все возможные варианты развития событий и было абсолютно уверено в том, что войны не будет, хотя, как он добавил, определенный риск и существовал. Заявление это, однако, по меньшей мере бездоказательно, ибо угроза военной опасности была вполне реальной, о чем свидетельствуют и воспоминания Хрущева.

Надо отдать должное Хрущеву, в этот ответственный момент он осознал остроту нависшей опасности и решительно выступил за переговоры и компромисс. «Я несу полную ответственность,— вспоминал позднее Хрущев,— за то, что президент и я вступили в прямой контакт на самом решающем и опасном этапе кризиса». В эти дни регулярно подолгу заседало Политбюро. Приглашено было высшее военное руководство. Но переписку с президентом, всю инициативу переговоров Хрущев взял в свои руки. В Вашингтоне по этому поводу были высказаны даже некоторые опасения. При анализе послания 26 октября в госдепартаменте там пришли к выводу, что по стилю текст напоминает манеру выступлений Хрущева, и усомнились в связи с этим, последуют ли остальные советские руководители, включая военных, намеченной линии. Действительно, впоследствии в воспоминаниях Хрущева и других участников событий подтвердилось, что свои послания Кеннеди он диктовал сам, не привлекая других членов Политбюро или военных. И на этот раз Хрущев действовал как единоличный правитель, добиваясь неуклонного проведения в жизнь своей линии. Но в данном случае его линия вела к выходу из конфронтации, к ликвидации Карибского кризиса.

Хрущев, как это следует из его воспоминаний, с пониманием отнесся к посланию, которое президент передал через своего брата, о том, что он не в состоянии сдерживать давление военных. В Москве было принято решение немедленно дать положительный ответ при условии гарантии ненападения на Кубу. Чтобы не опоздать, решили не ждать отправки послания по дипломатическим каналам, на что требовалось несколько часов. Например, послание Хрущева Кеннеди 26 октября пришло в Вашингтон через 7 часов, что связано было с затратами времени на зашифровку и последующую передачу по телеграфу, хотя в госдепартаменте заподозрили, что это могло случиться из-за саботажа противников урегулирования кризиса в советском руководстве. В действительности это было не так. На симпозиуме 1989 г. А. Ф. Добрынин рассказал, что у его шифровальщиков в Вашингтоне для подготовки донесения в Москву иногда уходило до 12 часов, затем посольство звонило в отделение «Юнион телеграф», откуда приезжал на велосипеде негр-посыльный и отвозил полученный текст для передачи по телеграфу. Конечно, такие скорости не подходили для урегулирования ситуации в условиях кризисной дипломатии ракетно-ядерного века.

28 октября в Москве времени для подобного рода процедур совсем не оставалось. Любая минута была дорога. Поэтому решили передавать новое Заявление Советского правительства прямо по радио. В роли «курьера» оказался секретарь ЦК КПСС Л. Ф. Ильичев, которому ввиду важности создавшегося положения Политбюро поручило лично доставить текст послания к пульту передачи. Как только это было сделано, диктор прервал текущую передачу и Заявление пошло в эфир. Таким образом, практически подводилась черта под Карибским кризисом, хотя для окончательного его урегулирования предстояло решить еще целый ряд вопросов. «Чтобы скорейшим образом избежать конфликта, который угрожает делу мира...— говорилось в Заявлении,— Советское правительство... отдало новый приказ демонтировать оружие, которое вы называете наступательным, погрузить его на суда и вернуть обратно в Советский Союз». В Заявлении подчеркивалось, что СССР это делает, принимая во внимание данную США гарантию о ненападении на Кубу, и будет оказывать ей помощь против любой агрессии.

Большаков рассказывает, что утром 28 октября его разбудил звонок Чарлза Бартлетта, который «взволнованным, радостным голосом сообщил, что, как сообщил ему Бобби (Роберт Кеннеди.— *А. Ф.*), Московское радио начало передавать открытым текстом Послание Советского правительства президенту Кеннеди о решении Карибского кризиса».

Кеннеди немедленно сделал короткое заявление по телевидению. Он выразил удовлетворение позицией СССР, высказался в пользу дальнейшего развития советско-американского диалога в конструктивном духе. США обещали приложить усилия для решения «проблемы предотвращения гонки вооружений и ослабления международной напряженности». Переговоры об окончательном урегулировании Карибского кризиса заняли еще около трех недель. Лишь 20 ноября Кеннеди заявил о снятии карантина, а на следующий день Советское правительство отменило состояние полной боевой готовности в ракетных войсках и стратегической авиации. Одновременно такой же приказ получили американские вооруженные силы.

Джона Кеннеди и в особенности его брата Роберта Карибский кризис многому научил. Президенту, в частности, пришлось убедиться, что, несмотря на конституционный статус верховного главнокомандующего, его возможности управлять военной машиной не так уж велики. Он подвергался давлению генералитета, которое временами просто не знал, как преодолеть. Его загоняли в угол, и далеко не всегда удавалось найти выход, несмотря на прерогативы окончательного решения, которым располагал президент. Когда 28 октября было получено послание Советского правительства и стало ясно, что сложнейший международный кризис практически преодолен, среди генералов воцарилось уныние. Адмирал Дж. Андерсон злобно процедил: «Нас сделали». А генерал Лимей, продолжая гнуть линию, которую отстаивал на заседаниях Исполкома, призывал, «несмотря ни на что», «ударить» по Кубе. «Военные — это безумные люди»,— поделился Кеннеди со Шлезингером следующим утром. «Первое, что я собираюсь посоветовать моему преемнику, это — следить за генералами,— заявил он двумя неделями позже,— не следует думать, что только потому, что они генералы, их мнение по военным вопросам заслуживает доверия».

Кеннеди запретил трактовать исход конфронтации с Советским Союзом как победу США и поражение СССР, к чему явно склонялись некоторые представители его администрации. Президент разъяснял: «Каждое поражение несет в себе семена возмездия, если идет речь о достаточно сильной стране». Об этом он говорил во время пресс-конференции во Флориде, накануне Нового, 1963 года: «Если мы либо они потерпим серьезное поражение, это может привести к нарушению равновесия сил... что, вероятно, увеличит возможность возникновения войны». Кеннеди понял, что в советско-американских отношениях не может быть иной альтернативы, чем переговоры и разрядка.

За полгода до того в интервью обозревателю «Ньюсуик» Стюарту Олсопу президент говорил, что не поколеблется первым использовать против СССР ядерное оружие. Ровно за месяц до начала Карибского кризиса Джеймс Рестон напечатал в «Нью-Йорк таймс» статью, в которой призывал к осторожности тех, кто уже тогда выступал за морскую блокаду Кубы: установление блокады — военная мера, и, провозгласив ее, США окажутся в состоянии войны с Кубой. Рестон поднял также вопрос об американских ракетных базах в Турции. А что если Советский Союз блокирует в качестве ответной меры морские перевозки США в Турцию? Кеннеди никак не реагировал на эти предостережения, хотя обычно к мнению Рестона прислушивался.

Теперь, после Карибского кризиса, позиция президента стала иной. Кеннеди выполнил свое обещание относительно Турции. Он сразу же отдал приказ демонтировать и вывезти с турецкой территории американские стратегические ракеты, уведомив об этом Советское правительство.

После Карибского кризиса в политический лексикон США прочно вошли выражения «ястребы» — сторонники жесткой, конфронтационной политики — и «голуби» — сторонники мирных решений, компромиссов. Так вот, «ястребы» не унимались, продолжая кричать о советских военных поставках Кубе, представляющих якобы угрозу национальной безопасности США. На пресс-конференции в начале 1963 г. Кеннеди сообщил, что регулярно получает «сотни сообщений» о том, что на Кубе остается советское «наступательное оружие». «Мы не можем основывать решение вопросов войны и мира, исходя из слухов и сообщений, которые не касаются сути дела»,— заявил президент. Он добавил, что не верит в то, что Советский Союз стремится развязать «большую войну».

Карибский кризис оказал большое влияние на позицию Кеннеди в советско-американских отношениях. Свидетельством тому была его речь, произнесенная 10 июня 1963 г. в Американском университете в Вашингтоне, где президент США прямо заявил о необходимости радикального пересмотра отношения к Советскому Союзу, отказа от политики «холодной войны».

Слишком много людей в Америке считают сохранение мира невозможным, а войну неизбежной. «Но это опасное пораженческое настроение»,— говорил Кеннеди. Не нужно считать, что мир покончит со всеми ссорами и конфликтами. Его сохранение вовсе не предполагает, что «соседи будут любить друг друга, но им следует проявлять терпимость». Опыт истории учит, что вражда между государствами не вечна. «Течение времени и событий зачастую приносит удивительные перемены в отношениях между нациями». Президент призывал «сохранить мир не только в наше время, но и навсегда». Кеннеди объяснял, что у войны «новое лицо», что «тотальная война бессмысленна», ибо грозит уничтожением человечества. Одна ядерная бомба обладает в 10 раз большей взрывной силой, чем груз взрывчатки, сброшенной авиацией союзников за всю вторую мировую войну. Если разразится новая война, самые тяжелые жертвы понесут США и СССР. Именно они подвергаются самой большой опасности. «Все, что мы создали, все, над чем трудились, будет уничтожено в первые 24 часа». Кеннеди призывал добиться «расширения взаимопонимания», изменив отношение к Советскому Союзу, «не представлять себе другую сторону в извращенном и безнадежном виде, не считать конфликт неотвратимым, а каналы связи только средством обмена угрозами». 28 июня 1963 г., выступая в ирландском парламенте, Кеннеди повторил свой призыв к лучшему взаимопониманию: «Несмотря на пропасти и барьеры, которые разделяют нас, мы должны помнить, что нет вечных врагов. Хотя враждебность сегодня еще факт, она — не абсолютный закон».

Большаков рассказывает, что непосредственно после напряженных дней Карибского кризиса в результате достигнутой договоренности Кеннеди предложил не сваливать «вину за кризис с одного на другого», а начать все «с чистого листа». В ноябре 1962 г. в США состоялись гастроли балета Большого театра с Майей Плисецкой. Джон Кеннеди с супругой, Роберт и их ближайшее окружение приехали на премьеру. В антракте президент зашел за кулисы, поздравил артистов и пожелал им успехов. На следующий день труппа во главе с М. Плисецкой и А. Мессерером приглашена была посетить Белый дом. Особое восхищение вызывала М. Плисецкая, и Роберт Кеннеди не пропустил ни одного ее выступления. Случайно узнав, что Плисецкая родилась в один день с ним, 20 ноября, Роберт Кеннеди прислал ей корзину цветов с поздравлениями. Как раз в этот день труппа Большого театра переехала в Бостон. Однако министр юстиции не только распорядился доставить Плисецкой цветы, но и поздравил ее телефонным звонком, пропев по телефону ритуальную американскую песенку «С днем рождения».

На всех представлениях балета был и Большаков. 19 ноября во время спектакля Роберт сказал ему, что президент просил передать Хрущеву, что в рамках достигнутой договоренности СССР должен вывезти с Кубы не только ракеты, но и бомбардировщики ИЛ-28, поскольку они рассматриваются как стратегическое вооружение, и если бомбардировщики не будут вывезены, объявленная морская блокада останется в силе. Он просил ответить до пресс-конференции президента, которая была намечена на следующий день, 20 ноября. Ответ из Москвы последовал немедленно. Утром следующего дня А. Ф. Добрынин посетил Роберта Кеннеди и сообщил, что привез ему подарок ко дню рождения, вручив послание Хрущева, в котором говорилось, что ИЛ-28 будут вывезены в течение 30 дней. В советско-американских переговорах об урегулировании кризиса это были заключительные аккорды. Об этом президент Кеннеди сообщил во время пресс-конференции 20 ноября.

Через несколько дней обозреватель Джозеф Олсоп опубликовал статью, в которой рассказал о роли, которую выполнял Большаков, осуществляя секретную связь между Кремлем и Белым домом. «Русские,— отметил Роберт Кеннеди в своих воспоминаниях,— решили, что положение Большакова получило огласку и его лучше всего отозвать». В Вашингтоне с ним расставались с сожалением. Чарлз Бартлетт устроил прощальный прием, на котором Большаков произнес краткую речь, признанную в журналистских кругах лучшей шуткой года. «Мы пошли навстречу Соединенным Штатам и сделали довольно много уступок,— сказал он.— Вы потребовали от нас вывести ракеты — мы их вывели. Вы потребовали от нас вывести бомбардировщики — мы это сделали. Вы, наконец, потребовали отозвать Большакова — меня отзывают. Но учтите — больше вам уступок не будет!» Роберт Кеннеди тепло описал свои встречи с Большаковым и с симпатией вспоминал о нем. В марте 1963 г. он послал ему короткое письмо: «Между нами (США и СССР.— *А. Ф.*) все еще сохраняется мир, хотя вот уже более двух месяцев, как вы уехали из США. Я не думал, что это будет возможно. Как бы то ни было, мы все скучаем без вас. Я надеюсь, вы рассказали вашим друзьям-коммунистам, какие мы здесь славные люди, и, я надеюсь, они вам поверили... Передайте наилучшие пожелания моему другу Майе. Почему бы вам обоим не прыгнуть в один из современных роскошных авиалайнеров и не прилететь сюда, чтобы повидать нас? Она смогла бы станцевать, я спеть, а вы произнесли бы речь».

История Карибского кризиса, однако, не заканчивается этой шутливой нотой. Не только потому, что уроки кризиса простирались далеко за пределы «тринадцати дней» и последующих недель его урегулирования. Серьезной проблемой был вопрос о позиции кубинского руководства, которое в критических условиях советско-американского диалога оказалось исключено из переговоров, задевавших жизненные интересы Кубы. На симпозиуме 1989 г. в Москве Х. Рискет подчеркнул, что кубинское руководство выступало за урегулирование кризиса, но при условии равноправного участия Кубы как партнера в переговорах. Если бы Куба участвовала в переговорах, мирное урегулирование кризиса могло быть достигнуто с большими уступками со стороны США, в частности, с ликвидацией американской военно-морской базы в Гуантанамо. Советско-кубинское соглашение о поставке оружия было достигнуто между двумя суверенными государствами, носило законный характер, и поэтому кубинские представители не раз ставили вопрос об опубликовании коммюнике 2 сентября 1962 года, в котором говорилось об установке ракет на Кубе.

На симпозиуме 1989 года бывший советник президента Кеннеди Т. Соренсен выразил сомнение в том, чтобы администрация США согласилась с подобного рода акцией, иными словами, она бы стала препятствовать доставке ракет на Кубу. Соренсен, Макнамара и Банди заявили также, что договоренность о возвращении базы Гуантанамо в тех условиях была абсолютно не реальной. Она не была бы санкционирована конгрессом и не получила бы поддержки общественного мнения США. По-видимому, так это и было. Однако Куба, союзник и партнер СССР, согласилась предоставить свою территорию для размещения советских ракет «в интересах мирового социализма», «с риском для себя», как подчеркивали ее руководители, и то, что она исключена была из переговоров о выводе ракет, воспринято было как удар по ее престижу и как национальное унижение.

Советские представители пытались объяснить кубинскому руководству, что кульминация кризиса была такой стремительной, что физически не было возможности вести обычные дипломатические переговоры, подключив к ним кубинскую сторону. Однако это объяснение не было признано удовлетворительным ни тогда, ни сейчас.

Фидель Кастро перестал принимать посла СССР Алексеева, с которым ранее беседовал часами, а в один из дней кризиса провел с ним почти целый день в советском посольстве. Отношения с Кубой настолько обострились, что Политбюро решило направить для переговоров с Ф. Кастро А. И. Микояна, прилетевшего в Нью-Йорк на заседание Совета Безопасности. В своих воспоминаниях Хрущев рассказывает, что он обратился к членам Политбюро со следующими словами: «У нас нет лучшего дипломата, чем Микоян, для такого рода миссии. Он сумеет спокойно обсудить с кубинцами положение дел». Далее в «Воспоминаниях» Хрущев писал: «Никто не понимает, что Микоян говорит, когда он ведет разговор, но он разумный человек. В течение многих лет он играл важную роль в развитии нашей внешней торговли и показал себя умелым партнером».

Фидель Кастро был «зол», по словам Хрущева, на то, что мы согласились вывести ракеты. Недоволен он был и уступкой в отношении ИЛ-28, которые были устарелым типом бомбардировщиков и не могли рассматриваться, с его точки зрения, как угроза США, что, впрочем, вполне разделял и Хрущев. Поэтому, когда 2 ноября Микоян прилетел в Гавану, Фидель Кастро с неохотой поехал встречать его в аэропорт. Затем начались трудные переговоры. В первый же день пребывания на Кубе из Москвы поступила телеграмма о кончине жены Микояна. Выражая соболезнование, Хрущев оставлял на его усмотрение, лететь в Москву на похороны или продолжать переговоры. Прервать их оказалось просто невозможно. Микоян вынужден был остаться на Кубе, отправив на похороны находившегося вместе с ним сына Сергея. В течение целого месяца продолжались переговоры. В результате них отношения с Кубой были нормализованы.

Еще до отъезда Микояна из Нью-Йорка началось обсуждение вопроса об инспекции ООН при выводе советских ракет с Кубы. Кастро наотрез отказался допускать любых инспекторов. Вопрос удалось решить, договорившись о том, что инспекция будет проводиться с воздуха — самолетами У-2. Вероятно, это был единственно приемлемый выход из казавшегося тупиковым положения. Он был предложен представителем США Дж. Макклоем, после того как А. И. Микоян отверг требование о допуске инспекторов на борт советских судов, вывозящих оружие, для осмотра.

В конце ноября, после завершения переговоров с Фиделем Кастро, А. И. Микоян встретился в Вашингтоне с президентом, и между ними состоялась беседа. По свидетельству Сергея Анастасовича Микояна, у которого сохранилась запись беседы, это был «довольно острый разговор (несмотря на личное доброжелательное отношение), завершившийся, впрочем, констатацией достигнутого соглашения». Кеннеди повторил, что обязательство не нападать на Кубу сохранит свою силу и при его преемнике, что подтверждалось затем всеми последующими хозяевами Белого дома. Таким образом, в результате Карибского кризиса были созданы дополнительные гарантии независимого существования социалистической Кубы.

На симпозиуме в Москве было высказано предположение, что Карибский кризис можно сравнить со своего рода прививкой против ядерной войны, предотвратившей в последующие годы возникновение подоб-

ного рода опасных конфронтаций. Сторонники этой точки зрения склонны считать, что в этом смысле кризис сыграл положительную роль.

Нет спора, Карибский кризис послужил серьезным уроком и предотвратил повторение подобного рода конфронтаций, которые подводили мир вплотную к ядерной пропасти. Но вряд ли обоснованно ограничиваться такой однозначной оценкой. Во-первых, следует со всей определенностью сказать, что кризис поставил мир перед реальной угрозой ядерной войны. Во-вторых, что ответственность за это несут обе стороны, как американская, нагнетавшая алармистскую атмосферу вокруг Кубы, так и советская, спровоцированная антикубинской кампанией на посылку ракет за океан. Это была опасная игра, проходившая по сценарию «холодной войны». Вопреки первоначальным замыслам сторон, она едва не привела к войне «горячей».

Т. Соренсен рассказывает, что под бременем забот последнего года пребывания в Белом доме — это был год после Карибского кризиса — президент Кеннеди часто цитировал разговор между руководителями германского рейха вскоре после начала первой мировой войны: «Как же это случилось?» — спрашивал один из них. «Ах, если бы знать!» — отвечал другой. Кеннеди проецировал этот разговор на период обострения международной обстановки в октябре 1962 г., когда мир оказался на грани третьей мировой войны. Соренсен вспоминает, что в своем лексиконе президент часто пользовался словом «просчет» применительно к возможному исходу подобного кризиса. Исторический пример возникновения первой мировой войны, когда даже страны, не имевшие прямого отношения к конфликту, по независящим причинам оказались в считанные дни втянутыми в военную пучину, постоянно возвращал его к мысли о страшных последствиях просчета в ядерный век. «Если нашей планете,— говорил Кеннеди,— суждено когда-либо подвергнуться опустошению ядерной войны, если те, кто пережил разрушения, смогут вынести огонь, отравление, хаос и катастрофу, я не хочу, чтобы один спросил другого: „Как же это случилось?“ и получил невозможный ответ: „Ах, если бы знать!“»

Как уже отмечалось, А. А. Громыко на симпозиуме 1989 г. в Москве решительно отклонил возможность просчета со стороны СССР и был в этом поддержан некоторыми, хотя и не всеми, советскими участниками. Еще более категорическую точку зрения в этом отношении высказал ранее Анат. А. Громыко в статье о Карибском кризисе, опубликованной в 1971 г. в № 7 и 8 «Вопросов истории». В назидательном тоне осуждая политику администрации Кеннеди, он полностью оправдывал линию Хрущева, Громыко и других советских руководителей. Иногда ссылаются на заявление де Голля в разгар Карибского кризиса о том, что он был уверен, что советское руководство будет действовать разумно и предотвратит военный конфликт. Но суть заключалась в том, что и советское, и американское руководство могли оказаться не в состоянии контролировать дальнейшее развитие событий. Именно такого рода опасения высказывал Роберт Кеннеди, и эти опасения оказались понятны Хрущеву. Малейшее неосторожное действие со стороны высших политических руководителей или военных, новый сбитый самолет или инцидент в море могли привести к цепной реакции, остановить которую уже было бы невозможно. На симпозиуме в Москве говорили о так называемом «законе Макнамары», который был сформулирован им, исходя из уроков Карибского кризиса. Суть этого «закона» С. А. Микоян резюмировал как «эффект снежной лавины в горах». Макнамара пришел к выводу, что «невозможно предсказать с высокой степенью уверенности, каков будет эффект использования военной силы из-за риска случайности, неправильного расчета, неправильного понимания и небрежности». Да, поистине лавинообразным мог оказаться результат малейшего просчета, когда ни один из лидеров, даже при искреннем желании остановить развитие конфликта, практически ничего уже сделать не мог бы. Поэтому автор этих строк считает резонным вывод С. А. Микояна о том, что Карибский кризис начался как «несколько авантюрная реакция одной супердержавы на авантюрное и агрессивное поведение другой супердержавы». Установка советских ракет на Кубе привела к «противостоянию», в условиях которого «любой дальнейший авантюризм неизбежно... привел бы к неконтролируемой ситуации, а, следовательно, скорей всего — к катастрофе». Тем не менее С. А. Микоян полагает, что если бы Карибского кризиса не было, его следовало бы выдумать, ибо, «только подойдя к краю пропасти», руководители двух супердержав поняли смысл того, какая страшная катастрофа могла разразиться.

Вывод этот представляется все же спорным, и он противоречит аргументам, приведенным самим С. А. Микояном. Слишком велика была опасность просчета в условиях столь грозного кризиса. Если же говорить о гарантиях против повторения подобного рода кризисов, то самой надежной прививкой против них должен быть нормально функционирующий демократический механизм.

Это особенно важно в ракетно-ядерный век, когда начало конфликта может оказаться концом цивилизации. Карибский кризис со всей очевидностью показал несовершенство системы принятия политических решений как с американской, так и с советской стороны. В США за годы «холодной войны» резко возросло влияние военно-промышленного и разведывательного комплексов в высшем эшелоне власти, выносящем решения по внешнеполитическим и оборонным проблемам. Поэтому, несмотря на уроки Карибского кризиса, США в ближайшие после него годы влезли в беспрецедентную за всю американскую историю войну во Вьетнаме, унесшую десятки тысяч жизней американцев. В Советском Союзе отсутствие конституционного регламента обсуждения и принятия важнейших политических решений привело к тому, что в 1979 г. небольшая группа людей, насчитывавшая менее десятка человек, постановила послать войска в Афганистан, в результате чего наша страна оказалась втянутой в девятилетнюю войну, повлекшую за собой большие жертвы.

Перестройка и новое политическое мышление, провозглашенные в качестве новой советской доктрины, призваны сорвать покров секретности с обсуждения самых важных вопросов, поставив их решение на демократические рельсы. В условиях демократии внешнеполитические и оборонные вопросы должны будут решаться иным образом. Гласность и демократическое обсуждение призваны гарантировать использование правовых структур и парламентских методов для решения вопросов безопасности страны и соблюдения интересов народа. Перестройка политической системы и отказ от прежних силовых методов управления призваны создать гарантию того, чтобы в будущем не были допущены просчеты, которые в результате Карибского кризиса, а затем и посылки советских войск в Афганистан поставили под прямой удар национальные интересы СССР.

Публикации

Илья Эренбург

БУРНАЯ ЖИЗНЬ ЛАЗИКА РОЙТШВАНЕЦА

Роман

Настал час объявленных скачек. Папа перекрестился, опрокинул еще одну четверть вина и влез на свою табуретку, а вокруг него расселись священники, и красавицы с витринами, и просто раскрашенные нахалы. Это были богомольные люди, и сам папа с ними — значит, они повсюду расставили портреты вашего милосердного бога. Он был сделан из золота, из серебра, из бриллиантов на круглый миллион рублей, чтобы все знали, какие они щедрые и какой у них роскошный бог. Сидит папа, весь в бархате, а над ним огромный крест, прямо из ювелирного магазина, и на кресте Христос, не то чтобы позолоченный или дутый, нет, из массивного золота совсем невиданной пробы. Очень хорошо! Но где же, между прочим, человеческий скакун? Папе уже не терпится, и он звонит в звоночек: «Приведите сюда эту лошадь, кажется, пора начинать».

Тогда привели Лейзера, а за ним пришли жена и все шестеро детей, и все они отчаянно кричали. Ведь даже маленькому ребенку ясно, что нельзя обежать вокруг Рима три раза без передышки, а стоит остановиться, как конюхи папы начнут тебя хлестать кнутами. Значит, это все равно что идти прямо на смерть. Лейзер стал снимать сто раз заплатанные брюки. У папы от смеха даже живот заболел, а другие бандиты теряли кто хобот, кто хвост: нельзя так сильно смеяться. Спектакль был довольно веселый, потому что такой несчастный в штанах уже анекдот, а если он без штанов, то это верное до упаду.

Папа смеялся, но не Лейзер. Лейзер обнимал свою жену и детей.

— Хорошо, я побегу и я умру, но кто вас завтра накормит? Может быть, раввин? Да, он будет кушать большого гуся, но вам он не даст даже косточек. Он вас угостит только ученым словом. Может быть, римский Ротшильд? Да, он скажет: «Я еврей, и вы евреи, и благословит вас бог, но я не могу сейчас с вами разговаривать, потому что я скушал столько гусей, кур и уток, что доктор будет мне ставить банки. Я — настоящий страдалец, а вы счастливчики, и вот вам на прощанье мой кукиш». Так скажет вам Ротшильд. И никто вас не накормит, потому что у бедных нет ничего, кроме голого сердца, а у богатых есть все, но у них нет сердца, и значит, вы тоже умрете. Я умру сегодня от этой беготни, а вы умрете через неделю или через месяц, и тоже от беготни, вы будете бегать по городу и просить крошку хлеба, и вы умрете.

Жена его, конечно, кричала. Она кричала, как зарезанная, на весь Рим:

— Ой, как же ты будешь бегать, Лейзер? Ты же не можешь бегать. Скажи им, что ты несчастный портной, а не лошадь. Ты же умрешь, честное слово, ты умрешь! И на кого ты меня оставляешь? И на кого ты оставляешь этих готовых сирот?

Папа ткнул себе в ухо вату, он даже глазом не повел. А первый конюх уже щелкал кнутом: «Начинай свое беганье».

— Прощай, моя жена! Прощайте, мои дети! Прощай, моя жизнь.

Лейзер сел на камень, обнял свои голые колени и еще раз вздохнул, так вздохнул, что ветер прошел по всему Риму: это он прощался с жизнью. А потом он, понятно, встал и побежал рысью, как старая кляча.

День был жаркий, как будто это не масленица, а полное лето, потому что в Риме ненормальный календарь и там можно всегда гулять в парусиновой толстовке, бежать, конечно, куда жарче, чем сидеть. С Лейзера сразу покатился лошадиный пот. Он спотыкался, стонал и тряс бородой, а конюхи подстегивали его кнутами. Рим не Гомель. Рим — это скорей вроде Берлина; чтоб его обежать кругом, надо, может быть, два часа. Повсюду стояли конюхи. Они глядели, чтобы человеческая лошадь не отдыхала. А кроме конюхов стояли просто люди: кому же не интересно поглядеть на такие двуногие скачки? Стояли обезьяны, и тигры, и герцоги, и дамы, и все они бесплатно хохотали:

— Беги, старая кляча!..

И всем Лейзер кротко отвечал:

— Я уже бегу.

Так обежал он один раз вокруг Рима. Он уже еле подымал ноги, и все чаще хлестали его конюхи готовыми кнутами, так что по всему его телу текла кровь. Но ведь надо было обежать еще два раза, и он знал, что он не обежит. Когда он снова увидел несчастную жену, и шестерых детей, и золотую табуретку с римским папой, он потерял надежду, он остановился. А папа римский кричал:

— Беги же, старая кляча, не то тебя всего исхлещут мои готовые конюхи!

Разозлился тогда Лейзер.

— За что я, спрашивается, страдаю? За то, чтобы Ротшильд кушал утку? За то, чтобы этот римский папа обнимал своих нахальных красавиц? За то, чтобы его бриллиантовый бог сверкал своей золотой пробой?..

Но сто конюхов подбежали к нему с кнутами, и, взглянув на своих будущих сирот, Лейзер побежал дальше. Только отбежал он сто или двести шагов, как понял, что дальше бежать не может. Он упал на землю и стал ждать смерть. Тогда-то случился с ним голый предрассудок.

Вдруг он видит, что бежит по дороге голый еврей и что это не он, Лейзер, а другой еврей. Откуда такие фокусы? Ведь все евреи откупились от беготни. Он разглядывает этого второго еврея и еще сильнее удивляется: «Он же похож на меня, тоже кожа и кости, и пот градом, и весь в крови, и так трясется бородка, что сразу видно: крышка. Но глаза у него, кажется, не мои, и нос не того покроя. Значит, это не я, а другой еврей. Но кто же это может быть...» Лейзер знал всех евреев Рима. Это не старьевщик Элиа и не сапожник Натан. Это, наверное, чужой еврей. И Лейзер его спрашивает:

— Откуда вы взялись? У вас знакомое лицо, как будто я вас уже видел, но я вас не мог видеть, я никогда не выезжал из Рима. Может быть, я уже умер, и мне снится? Как вас зовут? И потом, почему вы бегаете, если я должен бегать?

Тогда второй еврей говорит Лейзеру:

— Зовут меня Иегошуа, и вы меня не можете знать, потому что я уже давно умер, а вы еще живы. Но вам кажется, что вы меня знаете,— вы, наверное, видели мои портреты. Они меня называют самыми смешными словами, но я сейчас скажу вам, кто я: я — бедный еврей. Вы, правда, портной, а я был плотником, но мы поймем друг друга. Я хотел, чтобы на земле была полная правда. Какой бедняк не хочет этого? Я же видел, что раввин говорит умные слова, что Ротшильд кушает утку и что нет на земле ни справедливости, ни любви, ни самого простого счастья. И я был с бедными против богатых. Я видел, что у одних людей пулеметы, а у других только голая грудь, и что железной пуле ничего не стоит проткнуть сердце, и я был слабым против сильных. Я любил, Лейзер, когда солнце греет, и смеются дети, и всем хорошо, все пьют вино, все друг другу улыбаются, горят субботние свечи, а на столе румяный хлеб. Но какой нищий не любит этого? Сначала меня, конечно, убили, а теперь они не дают мне спокойно лежать в земле. Они грабят бедняков и называют мое несчастное имя, чтоб я ворочался в гробу. Они сажают какого-нибудь беззащитного человека в глубокую тюрьму, и они поют ему песни о моем столетнем горе, а потом они отрезают ему голову, чтоб я снова подпрыгнул в могиле. Они выгоняют глупых людей, чтобы одни люди убивали других, и они несут на флагах мои скорбные портреты, и я в ужасе приподнимаюсь. Как только не смеются они над моим мертвым прахом? Они делают мои портреты из золота и из бриллиантов, и они выставляют их повсюду. Они ставят их перед голодными детьми и перед самой виселицей. А я ведь так любил румяный хлеб на столе бедняка! Пожалейте меня, портной Лейзер! Вы умрете, и вас закопают, и вас оставят в покое, а я должен бегать по всему миру, как в лихорадке. Я лежу в земле, и вдруг я вижу этого римского папу. Он хохочет с раскрашенными бандитами, он придумывает вашу веселую смерть, и что же — над ним висит мой золотой портрет, и я вижу это сквозь могильную землю. Тогда я прибегаю сюда, и вот вы должны умереть, потому что я мечтал о полном счастье. Горе мне! Горе! Они говорят, что я «всемогущий». Вы видели бедного еврея, который бы мог все? Да если бы я мог даже половину всего, разве я не крикнул бы им: «Довольно!»? Разве Ротшильд кушал бы тогда всех уток, разве папа сидел бы на золотой табуретке, и разве вы скакали бы вокруг Рима? Я могу только не находить себе покоя. Я могу только день и ночь бегать кровавой тенью, как бегали сегодня вы.

Тогда Лейзер приподнялся и обнял второго еврея.

— Мне жаль вас, плотник Иегошуа, я ведь теперь знаю, что такое бегать. Но я вам скажу одно: сегодня вы можете отдохнуть, сегодня вы можете спокойно лежать в своей

Окончание. См. «Звезда», 1989. № 7, 8.

могиле. Зачем же бегать вдвоем? Сегодня я бегаю за себя и за вас.

Но мертвый еврей ответил Лейзеру:

— Нет, вы еще можете жить, у вас шестеро детей — это не шутка. Мы их, кажется, перехитрим. На нос они не будут глядеть, а издали мы похожи друг на друга. Так вы лежите себе в этой глубокой яме, а я пока что два раза обегу вокруг Рима. Вы со мной не спорьте; ведь мне все равно придется бегать, если не здесь, так в другом городе, потому что они, наверное, сейчас кого-нибудь убивают и говорят мое имя, чтоб я не мог спокойно лежать.

Сказав это, он побежал вокруг города, и его хлестали конюхи, и смеялись над ним все бесстыдные слоны. А когда он добежал до папы, то папа уже лежал на пуховых подушках от неприличного хохота, и папа кричал:

— Эй, старая кляча, шевели твоими копытами! Я тебе покажу, что значит римский папа! Это же полный представитель милосердного Христа, и получай скорее сто ударов кнутом, чтоб ты знал вперед, как это — распинать нашего бога!

Вот вам и все приключение, дорогой товарищ Коц. Вы можете, конечно, снова перекреститься, раз у вас здоровая рука, а в голове отсутствие. Подумайте только — вы лежите рядом с Ройтшванецом! Может быть, это Ройтшванец распял вашего всемогущего бога?..

Коц разозлился:

— Ваша история — вздор. И я вам не советую повторять такие глупости. Вас, чего доброго, могут привлечь за богохульство.

— Нашли чем пугать! Не все ли мне равно, привлекают меня по трем статьям или по четырем? Это пустая статистика. А вот приключения с Лейзером вы вообще не поняли. Руками это нельзя понять. Я уже сказал вам, что у вас, наверное, в голове дырка. Как будто я не видел, что, пока я рассказывал, вы все время крестились! Я теперь спрошу вас, хоть вы и дыра из десяти пудов, кому же вы кланяетесь в вашем Вюрцбурге? Если бедному еврею, так он вовсе этого не хочет, а если всемогущему богу, так почему же вы здесь из-за кусочка колбасы?.. Знаете, Коц, мы ссоримся, и мы помиримся. Мы сейчас с вами хорошие люди, потому что мы два бедняка в позорной тюрьме. Но ведь завтра вы можете стать римским папой, а я могу стать еще одним Ротшильдом. Тогда мы моментально забудем все горячие слезы и станем просто-напросто текущими свиньями. Пока бедный плотник мечтал о правде, он был таким высоким, как нарочный бог, но вот его объявили богом в золотой раме, и что же, он стал обыкновенной мебелью. Ротшильд мог в два счета распять какого-то нищего, который говорил, что он любит не богатых, а бедных. Это вполне понятно, и Ройтшванец здесь ни при чем. Кажется, каждый день распинают сто ройтшванецов, и никто против этого не возражает. А детский смех? А румяный хлеб на столе бедняка? Но это же смешные фантазии. Молчи, глупый Ройтшванец! Нечего философствовать! Самое большое, что от тебя требуется,— это скакать без штанов.

27

Отсидев положенное время в тюрьме, Лазик вновь начал странствовать. В Магдебурге он продавал газеты, в Штутгарте мыл оконные стекла, а добравшись до Майнца, попал в колбасный магазин Отто Вормса. Там мирно отпускал он товар, пока не был уличен в наглой краже. Как-то, увидев на прилавке еще теплый окорок, он схватил нож, отрезал большой кусище и проглотил его столь быстро, что хозяин не успел даже опомниться. Лазику пришлось спешно оставить Майнц, так как колбасник поклялся, что он проучит негодяя.

Во Франкфурт Лазик приехал с тремя марками. Первым делом он решил побриться, дабы застраховать себя от философических мыслей. Каково же было его изумление, когда молодой парикмахер спросил:

— Простите, господин доктор, как вас побрить — обыкновенно или согласно Моисееву закону?

Лазик только развел руками.

— Согласно Моисееву закону, кажется, вообще нельзя бриться, так что эта религия не для вашей кисточки. Но если я прихожу к вам, значит, я плюю на эти смехотворные параграфы. Может быть, вы боитесь, что я вам не заплачу? Глядите, вот самые настоящие марки.

— Вы напрасно обижаетесь, господин доктор. У нас во Франкфурте можно бриться, не нарушая закона Моисея. Ведь евреям запрещено только соскребать с себя волосы лезвием, а мы бреем почтенных клиентов без преступной бритвы. Вот, поглядите,— это патентованное средство. В пять минут я могу уничтожить все волосы, не раздражая ни кожи, ни религиозных чувств. Это изобретение доктора Клемке, и он заработал на нем...

Но Лазик больше не слушал. Пользуясь тем, что парикмахер еще не успел его побрить, он сосредоточенно думал. Наконец он сказал:

— Меня вы все-таки побрейте без фокусов; только наточите-ка бритву, потому что у меня кожа гораздо чувствительней религиозных чувств. Но вот вам марка на чай, и скажите мне адрес какого-нибудь почтенного доктора, которого вы бреете этой вонючей находкой.

— Кого же вам рекомендовать? Может быть, господина Шенкензона? Это самый уважаемый коммерсант. Только он уже давно не брился. Он, кажется, болен...

— Болен? Это мне как раз нравится. Ну, вы кончили уже меня скрести вашей тупицей? Так дайте мне скорее адрес господина Шенкензона...

Надо признаться, что сердце Лазика взволнованно забилось, когда он оглядел роскошный особняк, в котором жил господин Шенкензон. Он позвонил. Дверь открыла горничная.

— Ну что, господин Шенкензон все еще лежит? Он еще не умер? Так я пойду прямо к нему. Нельзя? Как это нельзя? Я же не нахал с улицы. Впрочем, о чем мне с вами разговаривать? Позовите сюда его жену, или мать, или дочь, или хотя бы какую-нибудь тетю.

В переднюю вышла заплаканная женщина.

— Вы, наверное, госпожа Шенкензон? Ну как, слава богу, муж? Я хочу скорее пройти к нему. Кто я такой? Я гомельский цадик, и я приехал во Франкфурт, и я узнал, что еврей болен, и я пришел, конечно, навестить еврея. Я же знаю, что ваш муж хороший еврей, который соблюдает все законы.

Госпожа Шенкензон колебалась. Но Лазик настаивал:

— Когда я был у знаменитого реб Иоше... Вы же знаете двинского цадика? Так вот, мы с ним пошли к одному больному. Он лежал, как ваш муж, и наверняка умирал. Но реб Иоше увидел, что у него внутри приросла одна кость к другой, и он приказал костям повиноваться божьему порядку, и все кости расселись по своим местам, так что больной сразу попросил себе целую курицу. Это же очень просто. У человека 248 суставов и 365 костей, а всего в нем 613 штучек, ровно столько, сколько добрых дел. Вы смотрите на меня — как я, такой молодой, уже все знаю? Но я не такой молодой, мне уже за пятьдесят, господь мне дает два года за один. Он же не только умеет наказывать, он умеет и награждать. Я вас уверяю, что ваш муж завтра или послезавтра вскочит, как попрыгунчик.

Госпожа Шенкензон залилась слезами.

— Все господа доктора говорят, что больше не на что надеяться... Я заказала в синагоге, чтобы они читали псалмы на букву «Вульф»... Его ведь зовут Вульфом. Но он все слабеет и слабеет.

Лазик важно сказал:

— Вы женщина, и вам бог простит эти глупые разговоры. Доктора видят только кожу. Внутри они не видят. Вот я сейчас погляжу на него, и я скажу вам все.

Женщина провела Лазика в комнату больного. Среди пышной мебели, золоченых люстр, картин, ковров, на огромной резной кровати лежал крохотный старичок. Он уже был без сознания. Лазик спросил:

— А сколько ему точных лет?

— Восемьдесят четыре.

— Я так и понял сразу. Ну что же, я вижу все, и я говорю вам: у больного недостает внутри одного сустава. Он, наверное, забыл сделать одно доброе дело. Он, конечно, молился, и соблюдал иом-кипур, и жертвовал на синагогу. Но я думаю, что он еще не накормил никогда ни одного бедного цадика хорошим обедом. А так как он сейчас не может сбегать на кухню, так вы займитесь этим, и поскорей, вместо напрасных слез. Тогда завтра или послезавтра он будет попрыгунчик.

В соседней комнате, куда провели Лазика, находились все родственники больного. Одни из них громко плакали, другие тихонько обсуждали котировку гамбургских пароходных акций, которые скупал господин Шенкензон. Сестра больного, узнав, что Лазик — духовный раввин не то из Галиции, не то из Литвы, обрадовалась.

— Во Франкфурте ведь так трудно найти настоящего раввина, который знает все правила! А когда человек болен, пора подумать о боге.

— Правила я знаю, как свои пальцы. Мне было тринадцать лет, когда десять самых замечательных раввинов мне уже выдали «смихе», и я стал полноправным раввином. А потом десять лет я был у знаменитого цадика в Виннице. Как меня зовут? Рэби Лезер.

— Скажите нам, рэби Лезер, как вы думаете, может быть, переменить больному имя? Здешний раввин сказал, что это может помочь. Если уже в Книге судеб написано, что Вульф должен умереть, то ведь это относится только к Вульфу?

— Здешний раввин знает кое-что. Он слышал, может быть, одним ухом. Но я сейчас все устрою на месте. Мы таки перехитрим этого летающего ангела. Он — Вульф? Конечно. Он уже — Мендель. И если там написано, что завтра должен умереть Вульф, то ваш дорогой Мендель будет завтра кушать курицу, потому что этот летун будет искать Вульфа. Вы видите, как это просто? Здешний раввин прозевал бы два часа, и он бы еще взял с вас уйму марок. Я здесь останусь, и, если ему ночью не станет лучше, я его сделаю из Менделя Хаимом, и все это по маленькому тарифу.

Выспавшись, Лазик весело спросил:

— Ну, как поживает наш дорогой Мендель?

— Он умер.

— Умер? Я так и думал, что он умрет. Я только не хотел огорчать вас за полчаса до факта. Плакать человек всегда успеет. Но я сразу увидел, что в Майнце одна еврейка не могла родить, потому что у бога нет свободной души под рукой. Я тогда понял: бог уже тянется за душой вашего, скажем, Менделя. Ну, что ж поделаешь! Будем его хоронить.

Здесь-то Лазику было где разгуляться. Ведь еврея надо похоронить по всем правилам, чтоб он мог легко встать, когда прогремит труба Мессии. Этот рэби Лезер знал порядки!

— Как быть с землей? — плакала вдо-

ва.— Ведь ему, кажется, нужно положить под голову палестинскую землю, тогда его не тронут черви.

Лазик успокоил ее:

— Через полчаса я принесу вам палестинскую землю. Это земля высший сорт. Она прямо с гроба Рахили, и ее мне подарил ровенский цадик. Я ее берег для себя. Но теперь я еду в Палестину, чтоб умереть там. Когда прогремит труба, я буду уже на месте, без новой беготни. Так что я вам уступлю эту землю. А о цене мы поговорим после восьми печальных дней. Я, кажется, цадик, а не разбойник.

Лазик вышел на улицу. Дойдя до парка, он быстро набрал в платок горсть земли и расчувствовался.

— Где умрет Ройтшванец? На какую помойку выкинут его постыдный труп?..

Родственники хотели положить вокруг усопшего венки, но набожная сестра запротестовала:

— Это запрещено. Не правда ли, рэби Лезер? Это может ему повредить.

— Конечно, венки запрещены. Но ведь нужно класть солому. Что такое солома? Увядшие цветы. А когда цветок сорван, он уже завял, так что я, строжайший цадик, разрешаю вам класть столько венков, сколько вам только захочется.

Один из сыновей покойного, человек крайне расчетливый, волновался:

— А как быть с костюмом? Они говорят, что его нужно разодрать на куски от печали.

— Совсем понятно: вы наденете мой костюм, хоть он вам будет чуточку мал, но при такой печали не до франтовства, и вы его раздерете — он ведь уже разорван, скажем, на других похоронах. А свой вы дадите мне, и это будет в счет необходимых «кадишей».

Все дети и внуки покойного возмутились, когда им предложили есть крутые яйца. Лазик и здесь нашелся.

— Достаточно с вас и так несчастий! Крутые яйца съем я, а вы будете кушать куриный бульон, потому что глуховский цадик уже разъяснил, что из яйца выходит курица, а из курицы выходит бульон.

Мудрость и находчивость рэби Лезера потрясали всех франкфуртских евреев, которые приходили к Шенкензонам, чтобы выказать свое соболезнование. Председатель еврейской общины, господин Мойзер, известный биржевик и филантроп, узнав о замене крутых яиц гигиеническим бульоном, восторженно воскликнул:

— Вот что значит человек, который день и ночь изучает Тору! В его руках суровый закон становится легким, как верблюжий пух. Скажите, рэби Лезер, если ваше присутствие всегда приносило евреям такую радость, почему же они не удержали вас на вашей родине?

— Я, кажется, сказал, что еду умирать в Палестину. Если вы будете задавать мне такие вопросы, я уеду завтра. Между прочим, я умею приносить полное наоборот. В Гомеле тоже был один еврей, который приставал ко мне с нахальными вопросами. Он вдруг начинал устраивать анкеты: «Интересно знать, откуда вы приехали, и что у вас в кармане, и где ваш диплом ат?» Так что же с ним стало? Я в синагоге вышел благословлять народ. Я ведь благородный потомок. Мы, Ройтшванецы,— «Каганиты», и я поднял руку как самый главный «Каганит». Тогда, конечно, все закрыли глаза, потому что нельзя глядеть на «Каганита», который благословляет народ. Но тот нахал решил продолжать анкету. Он поглядел на меня. Может быть, он хотел проверить, хорошо ли я держу пальцы? Смешно! Я ведь знаю мои пальцы наизусть, как Талмуд. И что же стало с этим, скажем, любопытным евреем? Он через десять секунд ослеп.

Рассказ Лазика произвел на всех сильное впечатление. Правда, господин Мойзер морали его не уловил, так как, услыхав, что гомельский цадик — «Каганит», он стал думать об одном: как бы удержать его во Франкфурте? Он начал издалека:

— Вы еще молоды, и господь вам подарит все девяносто лет, если не все сто двадцать, так что я не понимаю, зачем вам спешить в Палестину? Отдохните перед далекой дорогой. Вы найдете здесь почет и спокойствие. Вы будете молиться в нашей синагоге. У нас, право же, замечательная синагога. Я пожертвовал на нее хорошенькие деньги, и вы увидите, какие там двери, и какие семисвечники, и какой свиток. Увы, только одного недостает ей — у нас нет «Каганита». Но ведь, если вы будете с нами молиться, вы не откажетесь благословить нас. Верьте мне, почтенный рэби Лезер, здесь не будет таких безбожников, как на вашей родине. У нас никто не захочет бесплатно ослепнуть. А с другой стороны, чтобы доехать до святой земли, мало одной веры. Там египетские фунты, и я знаю котировку... Я вас прошу: примите наше предложение.

Лазик, для приличия с минуту помолчав, ответил:

— Я вас ужасно жалею, и как хороший еврей я уже не еду в Палестину. Теперь начинайте меня обеспечивать.

На следующий день в комнату Лазика, приниженно кланяясь, вошел некто Шварцберг.

— Я хочу просить вас, достоуважаемый рэби, чтобы вы взяли покровительство над моим кошерным рестораном. Тогда я смогу написать на меню «под наблюдением господина раввина», а без этого ко мне не идет ни один порядочный еврей. Я уже слыхал от господина Мойзера, что вы умеете примирить суровый закон с требованиями нашего времени. Я не предлагаю вам никакого денежного вознаграждения, нет, вы будете, между нами говоря, совладельцем, и я предоставляю вам двадцать процентов чистой прибыли.

Лазик охотно согласился. Он только добавил:

— И каждый день три полных обеда.

Осмелев после столь легкой удачи, Шварцберг сразу приступил к делу.

— Вы же знаете, рэби, что мы соблюдаем себя в чистоте, но мы немножко портим мясо. По закону его нужно держать один час в соли. Легко себе представить, какой это получается обезвкушенный ростбиф или даже антрекот. А кого клиенты ругают? Не Моисея, но ресторатора. Тот же господин Мойзер, он хочет, чтобы все было по правилам, и он хочет кушать сочный ростбиф. Вот я и осмеливаюсь спросить вас, нельзя ли солить это мясо не один час, а только полчаса? Тогда у меня будут бифштексы гораздо вкуснее, чем у Розена, и я сразу забью всех конкурентов.

— Что такое часы? Когда человек голоден, а перед ним антрекот, каждая минута является часом. Так сказал мудрый цадик из Балты. Но перед обедом ведь все голодны, и я разрешаю вам в точном согласии с законом солить мясо ровно одну минуту. Только не солите его десять минут, а то вы мне дадите на обед вместо бифштекса какой-нибудь вавилонский плач.

Шварцберг ласково подмигнул Лазику. На следующее утро он снова пришел за разъяснениями.

— Я вам скажу прямо, многопочтенный рэби, что клиенты не любят ни кокосового масла, ни сала. Я убежден, что этот безбожник Розен жарит шницель на сливочном масле. Я вас спрашиваю, что же мне делать, богобоязненному Шварцбергу?

— В законе сказано: «Не ешь теленка в молоке своей матери». Масло делается из молока. А откуда вы знаете, какая корова — мать этого теленка или даже совершеннолетнего вола? Значит, нельзя жарить мясо на масле.

Шварцберг сокрушенно вздохнул.

— Но, обождите, вздыхать еще рано! Вы же можете подавать свинину. Я, например, очень люблю свиные котлеты, а свинья не может быть дочкой коровы, и жарьте на здоровье свиные котлеты в коровьем масле с хрустящей картошкой. Это по закону, и вы увидите, что когда господин Мойзер скушает свиную котлету, он взревет от полного восторга: «Какая у вас сочная телятина!»

— Но ведь по закону свинину вообще...

Лазик прервал его:

— Если, по закону, у свиньи слишком мало пальцев на ноге, чтоб ее кушать, то вы их не считали. Зачем вам заниматься свиными пальцами? И потом, когда вы говорите с ученым раввином, вы можете не философствовать. Точка.

Тогда Шварцберг, не выдержав, всплакнул от умиления.

— Бог таки наградил меня за то, что я дал тому нищему сорок пфеннигов!.. Вы же не наблюдательный раввин, но одно сплошное благословение.

Неделю спустя Лазик вновь удостоился лестных похвал. Был канун поста «Иом-Кипура», и господин Мойзер грустно вздыхал: как же он будет целые сутки голодать? Он пошел за советом к рэби Лезеру.

— У меня ведь подагра. И потом, я не привык... Я могу умереть. Но по закону я не могу просить вас, чтобы вы меня освободили от поста. Тогда в Книгу судеб мне впишут какое-нибудь несчастие, и все мои акции сразу упадут. Так уже случилось с Вайсманом.

Лазик важно сказал:

— Сейчас мы это устроим. Нужны, конечно, три раввина, но такой цадик, как я, легко сойду за троих. Наденьте ваш благородный цилиндр и вздыхайте. Я приказываю вам завтра кушать все. Отвечайте мне: «Я не хочу нарушить „Иом-Кипур“». Вот так... И вздыхайте. И я вам еще раз приказываю именем бога и по всему строжайшему закону завтра кушать. Потому что пост грозит вашему слабому сердцу безусловным концом. Вот и все. Теперь вы можете улыбаться. Завтра вы будете кушать курицу, и в Книге судеб запишут, чтобы ваши акции поднялись на последний этаж.

Господин Мойзер, очарованный, спросил:

— А нельзя ли устроить то же самое моему брату? У него нет подагры. Но что-нибудь у него есть. У него, например, полип в носу. Он тоже может умереть от истощения.

— В два счета...

Лазик освободил от поста не только брата господина Мойзера, но еще свыше тридцати франкфуртских евреев. Он ходил из дома в дом и за скромное вознаграждение примирял еврейские желудки с еврейской совестью. После этого авторитет рэби Лезера окончательно укрепился. Лазик благословлял в синагоге молящихся. Он не помнил толком, как это делается, но евреи честно закрывали глаза, и он мог хоть танцевать фокстрот. Он давал советы о семейной жизни. Он ел в ресторане Шварцберга сочные котлеты. Словом, он жил припеваючи.

Как-то, сытно пообедав, шел он вместе с господином Мойзером по одной из узеньких улиц старого Франкфурта. Господин Мойзер расспрашивал Лазика, нет ли в законе какого-нибудь разногласия касательно зонтиков.

— Я не понимаю, как это нельзя носить в субботу зонтика? Ведь дождь бывает и в субботу. Я иду в синагогу, и я мокну. Говорили ли вы об этом, например, с данским цадиком?

— Еще бы, и мы с ним нашли замечательный выход. Когда идет дождь, начинается опасность. Дождь ничуть не лучше

пулеметной пули, потому что от дождя можно простудиться и умереть. По закону можно, если на вас нападают, защищаться, тогда можно взять в субботу даже палку, а дождь на вас нападает, и вы защищаетесь... В поучениях рэби...

Лазик не договорил: его схватил за руку какой-то огрочный человек.

— Наконец-то я на тебя напал, мерзавец! Нахапал здесь и разоделся! Я тебе покажу, как окорок красть!..

Господин Мойзер попробовал вступиться за Лазика:

— Вы ошиблись. Это уважаемое всеми лицо. Это наш раввин.

Увы, Лазик не сомневался: перед ним стоял Отто Вормус. Ну да, от Майнца до Франкфурта рукой подать!.. Но он настолько вошел в свою новую роль, что начал кричать на разъяренного колбасника:

— Вы слышите, что я — раввин? Я не только раввин, я — «Каганит». Вы знаете, что такое «Каганит»? Это самый благородный потомок. Я не имею даже права ходить на кладбище, чтобы не огорчаться, а вы ко мне лезете с вашим несчастным окороком...

Отто Вормс саркастически расхохотался:

— Ах, теперь он стал нечистым? А когда ты его жрал у меня на глазах, он, что же, был чистеньким?.. Скотина! Простите, господин, я вас не знаю, но вы порядочный человек. Как же вы с этим негодяем знаетесь? Я его из жалости подобрал, а он меня разорить хотел. Я уж давно заметил, что он налегает тихонько на ливерную колбасу. Но у меня кроткое сердце, я молчал. Вот когда он прямо передо мной отхватил кусок ветчины, здесь я не выдержал. Тогда он улизнул, но теперь я уж отлуплю его этой дубинкой.

Лазик больше не отнекивался. Он только, виновато улыбаясь, сказал:

— Вы меня плохо кормили, господин Вормс, а ветчина была теплая, и каждый поймет, что я не мог удержаться.

Так как дело происходило не в субботу, у господина Мойзера был зонтик, и он опередил колбасника. Впрочем, Отто Вормс тоже не мешкал. Они били Лазика — один зонтиком, другой палкой, один слева, другой справа, пока тот не упал на мостовую.

28

Левка-парикмахер когда-то любил петь, залезая в ухо мыльной кисточкой: «Уй Париж, уй Париж! Это вам не голый шиш», и, очутившись на площади Опера, Лазик вспомнил его песенку.

«Хорошо, я стою на этом углу. Но как мне перейти через улицу? Это же внезапное самоубийство. А рано или поздно мне придется перейти, нельзя ведь жить на постоянном углу. Один автомобиль, десять автомобилей, сто автомобилей, а где же проход для маленького Ройтшванеца?..»

Лазик попробовал было спустить ногу с тротуара на мостовую, но тотчас же отдернул ее, как будто попал в кипяток. «Это гораздо хуже, чем бешеная арабка!»

Вдруг он увидел полицейского, на рукаве которого было написано «говорит по-немецки». Лазик робко подошел к нему.

— Господин ученый секретарь! Вам не кажется, что эти коляски немного задерживают движение? Мне, например, нужно почему-нибудь перейти на ту сторону, но я еще дорожу моей предпоследней жизнью.

— Обождите. Когда я махну палочкой, вспыхнут красные диски, раздастся сигнал. Тогда вы сможете перейти.

Лазик стал ждать. Действительно, через несколько минут все обещанное совершилось. Автомобили замерли, как вкопанные. Площадь в мгновение опустела, и пешеходы перепуганным стадом понеслись с одного тротуара на другой. Лазику все это очень понравилось. Он несколько раз повторил увлекательную переправу, а потом, окончательно растроганный, подошел к полицейскому.

— Можно пощупать вашу волшебную палочку? Нельзя? А вы, кстати, не Мойсей ли парижского закона? Потому что такие штуки выкидывал Мойсей, когда евреи переходили через море. Что? Я должен идти дальше? Хорошо, я пойду, но кивните еще раз этой палочкой, чтобы волны расступились передо мной.

Лазик задумался. Что же дальше? Конечно, здесь ученые секретари, и арабки, и бананы, и такая научная башня, что можно рассеять сразу весь опиум, она ведь до самого неба, и наверху, уже доказано, не какой-нибудь бог, а только телефонная трубка без проволоки. Но что здесь делать одинокому Ройтшванецу? Начнем с того, что здесь совсем другой разговор. Из всего гомельского обращения они понимают только одно «мерси», но ведь надо еще иметь за что благодарить.

Размышляя так, Лазик вдруг услышал русскую речь. Он не стал терять времени.

— Приятно среди арабок услышать этот могучий язык. Вы, может быть, тоже из Гомеля?

Рослый мужчина подозрительно осмотрел Лазика.

— Отстаньте! Не на такого напали!

— Ага, я уже понял. Вы не из Гомеля, а наоборот. Но почему же сердиться? Я ведь московская душа-рубаха, и я еще не знаю здешних церемоний. Хотите, я вам сошью замечательные толстовки, так что вы будете в них, как два загробных графа? Хорошо, это не подходит. Точка. О кроликах я даже не заикаюсь. Я могу, между прочим, исполнить преступный фокстрот, раз здесь такая арабская жизнь. Почему вы кричите? Я не глухонемой. И напрасно вы думаете, что стоит вам побежать вприпрыжку, как я останусь здесь умирать; я вас все равно догоню. Что-что, а прыгать я умею. Вы спрашиваете меня, что я хочу? Очень просто — жить. Это, как говорили у нас на курсах политграмоты, «программа-максимум», а пока что иностранные кредиты, то есть парижские пятьдесят копеек на порцию пошлых битков. При чем тут политграмота? При всем. Вы здесь уже база, а я хочу быть вашей надстройкой...

— Идите вы к вашим большевикам!..

— Этого я как раз не могу, потому что я уже оттуда. Я служил у Бориса Соломоновича, и когда за ним пришли, мне пришлось вылететь залпом. Вы думаете, я не был кандидатом? Смешно! Я мог бы сделаться роскошным комиссаром, но в дело вмешалась нога товарища Серебрякова, и меня мигом вычистили.

Русские теперь не убегали от Лазика. Нет, они даже замедлили шаги. Они начали расспрашивать его: давно ли он из России, долго ли пробыл в партии, какие должности занимал, кого там видел? Лазик врал наугад.

— Черт их знает, куда они загибают? Они или родственники Пуке, или что-нибудь посполитое.

Когда Лазик сказал, что он с товарищем Серебряковым на «ты», что он перевозил через границу пулеметные ленты, что в Москве его выбрали в ученые секретари Коммунистической академии, но что все сорвалось от неожиданных чувств, так как он, Лазик, посидел, подумал, а потом ни с того ни с сего, ворвавшись ночью в Кремль, оскорбил там тысячу флагов, рослый мужчина шепнул своему спутнику:

— Этот болтливый жидок может пригодиться...

Почуаствоваа перемену, Лазик осмелел.

— Ну да, я и с Троцким говорил по душам об этой китайской головоломке... Но теперь я хочу вас спросить о другом: когда здесь, главным образом, обедают? Я обедал в последний раз ровно четыре дня тому назад. После этого были только прыжки через границу и новый горизонт. Кстати, из этого кафе идет откровенный запах. Знаете, чем это пахнет? Вы думаете, кофе или позорным лимонадом? Нет, я держу дерзкое пари, что это пахнет телячьей печенкой в сметане и притом с луком.

— Слушайте, если вы действительно кающийся большевик, мы вам поможем восстановить ваше доброе имя.

— Я так умею каяться, как никто. Я уже начал каяться два года тому назад из-за пфейферовских брюк, и с тех пор я только и делаю, что каюсь. Насчет доброго имени вы тоже не беспокойтесь: в крайнем случае, можно обрезать «Ройт», если здесь другая красочная мода. Я буду просто «Шванец», как таковой, без всякой партийной окраски.

— Вы сделаете публичный доклад. Это очень просто. Мы вам наметим, о чем говорить. А сбор поступит в вашу пользу. Но раньше всего мы вас ознакомим с нашим национальным движением.

Здесь Лазик стал суровым и непримиримым.

— Нет, прежде всего вы ознакомите меня с этим запахом. Мы зайдем в кафе и там устроим ваше национальное передвижение.

— Что же, можно зайти выпить аперитив. Гарсон, три «пикона»!

Лазик взволновался.

— Пожалуйста, без арабских штучек! Вы хотите, чтобы я читал громовой реферат, а даете мне какие-то мокрые анекдоты.

Игнат Александрович Благоверов, рослый мужчина и редактор национального органа «Русский Набат», снисходительно улыбнулся.

— Это здесь все пьют. Это — для аппетита.

Тогда Лазик вскочил, он начал неистово топать ногами.

— Для аппетита? Это для уголовного преступления! Если я и так готов зарезать жиаого человека, после этого я его наверное зарежу. Дайте мне моментально печенку в сметане или хотя бы большую булку, не то я выпью эту провокацию, и тогда я зарежу весь Париж!

Съев бутерброд, Лазик деликатно заметил:

— Вам придется разориться, потому что аппетит продолжается. Если бы у меня не было аппетита, разве я стал бы с вами разговаривать? Я бы лучше переходил с утра до ночи ту замечательную площадь. Сосиски? Очень хорошо. Теперь вы уже можете передвигаться.

Игнат Александрович многозначительно откашлялся.

— Прежде всего, пусть вас не смущает... Как бы это сказать?.. Ну, происхождение. В нашей организации уже состоит один еврей. Когда он увидел, что из этих «саобод» вышло, он первый пришел к нам с повинной. Он рыдал: «Я дрожу, как Иуда. Евреи продали нашу матушку-Россию. Где мощи святителя Питирима? Где звон сорока сороков?..» Мы его простили. Он в нашей газете теперь работает по сбору объявлений. Так что вы не горюйте. Мы к вам отнесемся как к счастливому исключению. Наше мощное движение возглавляет его императорское...

Здесь Лазик прерaал Игната Александровича:

— Надо обязательно подобрать живот или достаточно мысленно? Потому что после всех сосисок это мне не так-то легко...

Но Игнат Александрович не слушал его. С пафосом повторял он последнюю статью «Русского Набата».

— «Трепещите же, милюковские палачи в застенках! С нами весь цивилизованный мир и сорок веков русской истории. Романовы создали Россию, и вся наша право-

славная страна, притаив дыхание, ждет державной поступи августейшего хозяина». Так или не так?

— Конечно, так. Пфейфер, тот не может дождаться. Целый день глядит в окно. И насчет дыханья вы тоже удивительно подметили. Кто же станет там нахально дышать, когда здесь уже раздается эта августейшая поступь?

Выпив еще два «пикона», Игнат Александрович потрепал Лазика по плечу:

— Приятный жидок! Хорошо, что ты сразу попал к нам, а не в «Свободный Голос». Там ведь одни чекисты сидят. Жид жида погоняет. И платят пятачок за строку. А у нас тебе лафа будет. Завтра же пущу интервью. Василий Андреевич, набросайте. Крупным шрифтом: «Покаяние чекиста». Начните так: «Вчера в помещение редакции, обливаясь слезами, ворвался палач...» Как вас?.. «палач Шванец. Он кричал: „Я прошу прощения у невинных вдов и сирот. Вся подневольная Русь слышит удар вашего «Набата». В Каргополе выведенная из терпения толпа буквально растерзала еврейского комиссара"». Ну, а дальше вы сами... Не забудьте только про «Свободный Голос»: «В Пензе все возмущены провокацией Милюкова». Валяйте вовсю! Слушай, жидок, я тебе завтра и за интервью заплачу. Двадцать франков дам, честное слово!

Здесь молчаливый компаньон Игната Александровича вдруг заговорил:

— Мне, Игнат Александрович, второй месяц жалованьи не платят. Зима на носу, а я еще в летнем пальто щеголяю...

— Об этом, брат, после поговорим. Сейчас у нас государственные дела. Так вот что, Шванец, ты за доклад сотню-другую получишь, но это ведь нечто единовременное. Сам понимаешь, нельзя каждый день доклады устраивать. А ты можешь хорошую деньгу заработать. У тебя связи там, а нам повсюду нужны верные люди. Займись-ка организацией.

— Что же, это я могу. Я уже размножал в Туле мертвых кроликов, и я из вас сделаю самый замечательный урожай. Скажем, вас сейчас двое, не считая этой поступи. Остается взять карандашик. К осени будущего года вас может быть 612 тысяч 438 голов. Это же дважды два и месячное жалованье.

После четвертого «пикона» Игнат Александрович отяжелел. Растроганный, он бормотал:

— Молодчина ты, Шванец! Хоть жид, а любишь матушку-Россию. Я тебя выведу в люди. В «Набате» — построчные. За организацию — фикс, подъемные, суточные, разъездные. Потом я тебя с румынами познакомлю. Славные ребята! Принимают вежливо, не как англичане в передних выдерживают, нет, эти за ручку здороваются, папиросами угощают. И платят аккуратно, долларами. Ты им о Каргополе расскажи. Ну, и насчет пулеметов. А если о Бессарабии начнут спрашивать, улыбайся. Я их чем взял? Улыбкой! «На что,— говорю,— нам ваша Бессарабия? У меня было именьице в Калужской, так я день и ночь плачу — почему вы до Калуги не дошли». Понимаешь? Мы здесь дипломатами стали. Я да вот Василий Андреевич, это корпус наш, ха-ха! Деньги на бочку!..

— Парижское вам мерси. Конечно, в Румынию я не ездок. Довольно с меня польской музыки. Но здесь я с ними столкуюсь в одну минуту. Я же тоже из вашего корпуса, хотя мне ничего не кладут на бочку. Я уже подарил полякам Тулу. Почему же мне жалеть этим румынам Калугу?

Четыре «пикона» пробудили наконец в Игнате Александровиче аппетит, и он ушел обедать. Молчаливый Василий Андреевич повел Лазика в ресторан «Гарем де Бояр». Вспомнив летнее пальто, Лазик предусмотрительно спросил:

— Вы, может быть, как Архип Стойкий, то есть забываете бумажник дома? Так у меня в кармане дыра.

— Не бойтесь!

Василий Андреевич нежно похлопал себя по груди.

— Я с вами остался, чтобы предупредить вас. Этот Благоверов хитрая бестия. Он выжмет из вас все и потом — за шиворот. Он всегда так поступает. Его самого скоро выставят. Тогда я буду главным. Помилуйте, он только одним занят: нашел подставного жидка и через него продает большевикам какие-то удобрения. Хорош патриот! А насчет румын он тоже врет. Вы мне с первого взгляду понравились. Румыны эти — жулье. От них десяти франков не добьешься. Я вам другое предложение сделаю. Только давайте-ка сначала закусим.

— Я уже выбираю вас, а не этого калужского румына. Вы мне тоже понравились, если не с первого взгляда, так с первого слова. Сразу видно, что вы главный патриот, вы ведь начинаете не с чего-нибудь, а с закуски. Но что они несут сюда? Это же не снилось даже госпоже Дрекенкопф!..

— Да, кормят здесь неплохо. Вот попробуйте икорки — наша, родная, астраханская. Я сюда поставляю. Достаю через одного прохвоста у большевиков, а потом перепродаю. Надо чем-нибудь жить. Теперь поговорим о деле. Одним «Набатом» не прокормишься. Я сведу вас с хорошими людьми. Не люди — золото. Чеки из Ревеля. Знаете Ревель?

Лазик задумался.

— Ревель? Это, кажется, кильки?

— Это, друг мой, не только кильки. Это английские фунты. Это целое государство. Вы им там три слова насчет Троцкого, а чек — в кармане. Идет? Водочки? За ваше здоровье! За наше национальное движение! За его...

— Пожалейте мой живот! Я его не в силах каждую минуту подбирать. Лучше уж выпьем за кильку.

— Ура!

Вначале Лазик крепился. Он пил водку, ел бефстроганов и вел с Василием Андреевичем дружескую беседу.

— Здесь же совсем как в «Венеции». Скажите мне, кстати, в какую дверь нужно будет бежать?

— Да, здесь уголок старой России. Великое дело — традиции народа. Знаете, кто подает нам? Полковник. Ей-ей! А дамы!.. Татьяна Ларина! «Я вас люблю, чего же боле...» Просто, как скипидар. Мы этого Благоверова по шапке!.. Вот, знакомьтесь. Наш агент по сбору объявлений, господин Гринншток.

Лазик оживился.

— В Гомеле тоже есть Гринншток, он даже заведует показательными яслями. Вы не родственник ли?

Господин Гринншток негодующе отмахнулся от Лазика.

— У меня нет родственников среди кровавых палачей.

Нагнувшись к Лазику, он зашептал:

— А если это даже мой брат, то что за глупые разговоры? Я же собираю для них объявления. Сегодня я набрал целых три: два ночных бара и один венерический доктор. Я могу теперь даже поужинать.

Все труднее и труднее было Лазику думать, а Василий Андреевич приставал с вопросами:

— Продиктуйте мне хоть десять фамилий известных вам большевиков. Мы готовим списки, чтобы знать, кого истребить, когда настанет минута.

— Десять фамилий? А сколько было рюмок? Пять? Ну вот вам, пишите: Троцкий, Ройтшванец, Борис Самойлович... Еще? Хорошо. Кролик. Это партийная кличка. Гинденбург. Дрекенкопф. Килька. Я вовсе не пьян, это тоже кличка, и довольно меня истязать! Что я вам — адрес-календарь? Я же понимаю, вы хотите все это отнести эстонцам и получить чек в кармане. А что останется мне?

Охмелев, он кричал:

— Я румынский бдист: я с Троцким на «ты»! Я — весь в пулеметах!

Его били. Его качали. Он уже ничего не помнил. Как заверял потом Василий Андреевич, он схватил банку с кильками и пытался всунуть по рыбке каждому посетителю.

— Уже готовый чек!.. Подарим им Париж со всеми арабками!.. Да здравствует поступь!..

Летели стаканы, бутылки, столы. Под конец Лазика вывели на улицу. Подошел полицейский. Василий Андреевич вступился за своего собутыльника:

— Это ничего, он немного выпил. Он палач, и он кается. Он ищет облегчения. Славянская душа!

Выслушав это, полицейский вежливо взял Лазика под руку и довел его до ближайшей уборной. В мутных глазах Лазика вспыхнул огонек сознания. Восторженно рыкнул он полицейскому:

— Только вы один меня поняли. Мерси! И еще раз мерси!

29

Перед самым докладом Лазик вдруг загрустил. С трудом вскарабкался он на высокую кровать плохонького номера, где поселил его Василий Андреевич, и предался горестным размышлениям:

— Я же был честным кустарем-одиночкой. В могучий праздник Первого мая я шел со всеми портными, и над нами реял еще не оскорбленный флаг с серебряным наперстком. И вот я дошел до этих бешеных килек. Ах, мадам Пуке,— вы видите, я зову вас по-парижски, не как-нибудь, а мадам,— ах, мадам Пуке, что вы сделали с Ройтшванецом? Сейчас мне нужно идти своими ногами на этот стопроцентный погром, как будто я не знаю их шведскую гимнастику.

Меланхолично Лазик расстегнул ворот рубашки и, прищурив один глаз, стал разглядывать свое тело, сплошь покрытое синяками.

— Вот этот — еще посполитый... А эти два от рыбьего жира... Этот? Не помню... Может быть, после разговора об окороке, а может быть, из-за обезьяньего хвоста... Ну, а это — парижские... Интересно бы спросить какого-нибудь философского доктора, сколько может вынести обыкновенная еврейская жилплощадь? Мне, например, кажется, что я уже уплотнен. Но вся беда в том, что синяк ложится на синяк, и это вечное землевращение. Пора идти! В животе уже журчат мелодии, и Карл Маркс недаром зарос бородой, он кое-что понял до самой точки. Вместо всех ученых слов можно сказать одно: «Аппетит передвигает обширное человечество».

Дойдя до этого, Лазик зажмурил глаза: он увидел перед собой рубленые котлеты с картошкой. Он стал вспоминать — а как они пахнут?.. Долго он лежал так, переживая клецки госпожи Дрекенкопф, шкварки на свадьбе Дравкина и даже охотничью колбасу. Его привел в себя раздраженный голос Василия Андреевича.

— Вы с ума сошли?.. Там все собрались, а вы здесь дрыхнете!..

Действительно, в зале было человек тридцать слушателей. В первом ряду сидели глубокие старики, с виду похожие на камердинеров. Они жевали лакричные лепешки и порой подхрапывали. Сзади бодро гудели молодые люди, щеголяя модными пиджаками в талью. На эстраду взошел Игнат Александрович. Он был постоянным председателем кружка «Крест и Скипетр».

— Я предоставляю слово кающемуся большевику Лазарю Матвеевичу Шванецу. Он ознакомит нас с национальным движением на родине. Я прошу присутствующих

в зале вдов и вдовцов сохранять спокойствие. Хотя на совести Шванеца много пятен, но он честно покаялся и хочет вернуться на родину, чтобы активной борьбой против насильников смыть с себя прошлый позор.

Лазик жалобно оглядел зал, люстру, стол, покрытый зеленым сукном, с графином воды и колокольчиком, самого себя. Поздно!.. Ничего не поделаешь... Он встал, вежливо раскланялся, улыбнулся.

— Товарищи...

Молодые люди в ответ угрожающе зарычали. Лазик съежился.

— Извиняюсь, из меня иногда выскакивает гомельский оборот. Я же понимаю, что здесь нет никаких товарищей, но скажите мне, кстати, как вас называть: «господа полицейские доктора» или «паны ротмистры»?

Игнат Александрович потряс колокольчиком.

— Вы должны обращаться к аудитории «милостивые государи и милостивые государыни».

— Очень хорошо. Милостивые государи-императоры и даже государыни, хоть государынь здесь нет, а всего одна во втором ряду, я начинаю прямо с национальных меньшинств, так как этот блондин уже кричит мне, что я жид. Так я не жид, а только скромный Мойсей его императорского закона. Возьмем исторический разрез. Бывают, конечно, жиды. Они нахально шьют брюки или даже заведуют в Гомеле кровавыми яслями. Они неслыханно смеются потому, что продали Христа и матушку-Россию, все вместе за каких-нибудь тридцать серебрных рублей. Но тот же милостивый государь Гриншток вовсе не продает матушку — наоборот, он национально передвигается. Он собирает для «Русского Набата» венерические объявления, и значит, он не жид, а симпатичный Мойсей. Итак, я прошу этого блондина успокоиться, потому что я не люблю, когда кричат. Я сейчас тоже как Гриншток, и вы должны слушать меня с совершенным почтением.

Сзади кричали:

— Чекист! Палач! Что же он не кается?.. Позор!

Игнат Александрович снова прибег к помощи звонка.

— Помещение сдано до двенадцати. Кроме того, мы должны считаться с метро. Прошу уважаемую аудиторию вести себя сдержанно, а вас, Лазарь Матвеевич, ввиду позднего времени я прошу начать каяться.

— Как будто это так легко? Я же забыл, что вы мне там говорили, и я не знаю, в чем мне каяться. Я, конечно, могу покаяться в случае с кильками, но зачем было мне давать рюмку за рюмкой? И потом, если я даже кидал рыбки, то там один государь кинул в меня целый поднос. Это же тяжелее!..

Блондин не унимался:

— Скольких ты расстрелял, чекистская собака?

— Господин председатель, если этот милостивый блондин не перестанет меня прерывать, я потеряю нить. Я только хотел перейти к положению на родине, как он уже констатирует, что я собака. И потом, нельзя приставать с глупыми вопросами. При чем тут выстрелы? Я не стрелок. Я портной. Но если этот молодняк грозит разбить мне морду, я скажу, что я уже расстрелял все семь тысяч. Я стоял и стрелял из пулемета, а они, конечно, падали, и в них вонзались ужасные пули, и они кричали: «Что это за шутки, чекистская собака? Если ты не перестанешь нас расстреливать из пушек, мы сейчас же позовем милицейского». Но я был глух к этим воплям сирот. Я расстрелял Пфейфера в моих же артистических брюках. Теперь вы довольны? Я перехожу к текущему моменту. О факте с Каргополем вы уже знаете из газет, а вообще, я не учился стройной географии. Зачем настаивать на деталях, когда мы должны считаться с каким-то метро? Достаточно сказать, что вся матушка-Россия ждет вас без дыхания. Вас так ждут, что, когда звонит, например, почтальон или, хуже того, постыдная прачка, например, почта, все ошибаются и бегут с анютиными глазками навстречу, и потом они плачут, что вместо белого коня неприличные кальсоны. А поступь? Об этом же нельзя говорить без крупных слез. Идет, скажем, по лестнице Ткаченко, а Борис Самойлович уже шепчет мне: «Ты слышишь эту поступь?» Я только одного не понимаю: почему вы не приходите? Нельзя так играть с человеческим терпением! Я, например, был верен Фене Гершанович, хоть она и чирикала с Шацманом. Но сколько я мог ждать при своем телосложении? Я ждал и ждал, в потом увидел Нюсю, и все полетело прахом с табуретки. По-моему, вам уже надо двигаться, сначала на это беспощадное метро, а потом к самой матушке.

Молодые люди, покинув свои места, столпились вокруг эстрады.

— Позор!.. Что за ерунда... Как он смеет, пархатый?.. Мы его проучим!..

— Дайте оратору возможность закончить свой доклад,— взывал председатель.

— Долой! К черту!

Звонок отчаянно дребезжал. Лазик прикрыл лицо руками.

— Вы хотите, чтоб я закончил? Я уже закончил. Что? Надо еще говорить? Хорошо, я попробую. Я скажу еще о национальном передвижении. Большевики, конечно, пломбированные изменники, потому что нельзя пропускать такой хорошей оказии. Им не дают иностранных кредитов? Значит, они не умеют разговаривать. Но здесь живет ваш удивительный корпус, и я теперь знаю, как поступать. В одной партии могут быть две фракции или даже десять фракций. Это бывает и в Гомеле. Главное, чтобы все сразу подымали руки. Тогда получается железная дисциплина. В чем различие, скажем, между Игнатом Александровичем и Василием Андреевичем? Один ходит к румынам и сует им Бессарабию, а другой получает чеки от килек. Но можно же пойти и к румынам, и к килькам. Это вопрос ног. А в Париже, как я вижу, на тридцать сребреников не проживешь, раз в этом «Гареме» бешеный бефстроганов. Я молю вас, отодвиньте ваш кулак! Я уже вношу конкретное предложение: если, например, взять в узелок Москву и отнести ее... При чем тут ваши руки? И если вы должны обязательно меня бить, то бейте сзади, чтоб я хоть не видел кровавых следов. Караул! Вы опоздаете на метро!..

Вдруг счастливая мысль осенила Лазика. Быстро схватил он со стола графин и стал поливать публику. Когда же кончилась вода, он метнул в зал графин, стакан, звонок. На шум пришел сторож.

— Господа, помещение снято до двенадцати. Будьте любезны немедленно разойтись!

Лазик первый подчинился его приказанию. Быстро нырнул он в дверь.

Но сейчас же голова его вновь показалась:

— Милостивый председатель, а где ваш чистый сбор на два-три голодных бутерброда?

30

На улице к Лазику подошел тощий еврейчик и дружески сказал:

— Ах, вот и вы!.. Вам, может быть, нужен пластырь? Я всегда на себе ношу: я ведь репортер «Свободного Голоса», и я должен бывать на всех эмигрантских собраниях.

— Пластырь? Вы смеетесь! Мне нужны военные перевязки, а пока что пять франков на закуску.

— Пойдемте в «Ротонду». Там подкрепитесь. Ну, теперь вы увидели, что это за публика? Вы должны были прийти к нам. У нас даже если любят какого-нибудь патриарха, то не устраивают сразу погром. Вы же свежий человек, недавно из России, и вы знаете, кого там ждут. Великий князь категорически ни при чем. Там ждут только выборов в парламент. Вы не заметили этого? Ну да, вы еще запуганы. Вы проживете здесь годик-другой, и тогда вы заметите. Мы понимаем, что некоторые труженики и там трудятся. Нужно уметь отделить хлебец от плевел. Мы вовсе не ставим на всем крест. Возьмите писателей. Они продались, это само собой понятно. Но есть исключения. Кто же из нас не чтит Пушкина или даже Айвазовского? Словом, с нами вам будет легко сговориться. Вы прочтете небольшой доклад...

Лазик прервал его:

— Ни за какие бананы! Лучше уже прыгать с хвостом.

— Ну, не волнуйтесь! Подкрепитесь сандвичами. Сейчас мы пойдем в редакцию. Я вас познакомлю с заведующим экономическим отделом. Это умница, голова, первый социолог. Европейская знаменитость! Он вам все растолкует лучше меня. Я ведь не политик, я, собственно говоря, комиссионер. Вот если вам понадобится, например, квартира с крохотными отступными или хорошие дамские чулки по двадцать семь франков за пару, тогда вспомните Сюскинда.

Заведующий экономическим отделом Сергей Михайлович Аграмов принял Лазика чрезвычайно любезно. Он долго расспрашивал его о состоянии посевов, о росте оппозиции в Красной Армии, о ценах на мадаполам, даже о количестве абортов, причем сам же отвечал на все эти вопросы. Наконец Лазик заинтересовался.

— Вы таки европейская голова! Я гляжу и удивляюсь: как вы можете сразу и говорить, и писать? Это, наверное, фокус. А можно спросить вас, какой словарь вы там сочиняете?

— Я записываю ваши слова.

— Мои слова? Это уже два фокуса. Ведь я все время молчу, как дрессированная рыба.

— Вот послушайте: «Беседа с крупным советским спецом. На первый же наш вопрос о московских настроениях X ответил: „Русский Набат" не пользуется авторитетом. Население с нетерпением ждет...»

— Вы можете дальше не читать. Тот, с дамскими чулками, мне уже объяснил, кого ждет все обширное население.

Тогда Аграмов сострадательно взглянул на Лазика.

— Я вижу, что вы насквозь пропитались советской заразой. Это ужасно!.. Пионеры... Октябрята... Растление детских умов...

— Извиняюсь, господин социолог, но мне уже тридцать три года, и я даже был полтора раза женат, считая за половину этот случай из-за клецок.

— Вам тридцать три? Вы вдвое моложе меня. Политически вы младенец. Как ужасно, что огромной страной управляют такие дети! Вы сейчас будете ссылаться на Маркса. Но разве вы знакомы с первоисточниками? Страна с отсталым хозяйством не может претендовать на мировую гегемонию. Эти щенки думают, что они открыли Америку. Они случайно захватили власть. Они у меня отняли кафедру. Они должны уйти. Я могу сейчас же доказать вам это цифрами.

— Нет, не доказывайте. Я очень плохо считаю. Я на кроликах просидел три дня. Потом, зачем же вам в таком почтенном возрасте истреблять себя какой-то арифметикой? Вы думаете, мне вас не жаль? Даже

очень. Вы, такой европейский счетчик, пропадаете с дамскими чулками. Я понимаю вашу ученую грусть. Я, конечно, не могу с вами спорить, потому что вы, наверное, кончили четыре заграничных университета, а меня до тринадцати лет кормили одним опиумом, так что я из всего Маркса знаю только факт и бороду. Но все-таки кое-что я понимаю. Ведь не один Маркс был с бородой. Я, например, могу осветить ваше позднее положение одной историей из Талмуда. Вы же не скажете, что Талмуд — это большевистская выдумка. Нет, Талмуд они даже хотели изъять из «Харчсмака», и ему еще больше лет, чем вам. Так вот, там сказано о смерти Мойсея.

На личности, кажется мне, нечего останавливаться. Вы ведь только заведуете одним отделом, и значит, вас здесь десять или двадцать умниц. А Мойсей был всем: и, как вы, социологом, и генералом, и даже писателем, словом, он был европейской головой. Но так как евреи пробродили, шуточка, сорок лет по пустыне, он успел состариться, и, не принимайте это за справедливый намек, ему пришло время умирать. Бог ему спокойно говорит: «Мойсей, умирай»,— но тот отвечает: «Нет, не хочу». Это же понятно!.. Так они спорят день и ночь. Когда я об этом читал в хедере, у меня волосы становились дыбом. Наконец богу надоело. Он говорит: «Ты был полным вождем моего народа, но ты стар, и ты должен умереть. У меня уже готов кандидат. Это Иегошуа Навин. Он моложе тебя, и он будет полным вождем». Мойсей весь трясется от обиды. Он говорит: «Но я же не хочу умирать. Хорошо. Я не буду больше вождем. Я буду гонять простых баранов. Но только позволь мне еще немножечко жить». Что же, бог смутился: тогда еще на земле было мало людей, и он, наверное, не успел привыкнуть к человеческой смерти. Решено: старый Мойсей будет погонщиком баранов, а молодой Иегошуа будет полным вождем. Вы слышите, что за обида? Это похуже вашей кафедры! Весь день несчастный Мойсей гонял баранов, а вечером все собрались у костров, чтобы слушать умные разговоры. Все, конечно, ждут, что Мойсей начнет свою лекцию, но Мойсей молчит, Мойсей бледнеет, как эта стенка, и со слезами Мойсей говорит: «Я стар, и меня прогнали. Вот вам Иегошуа, он теперь знает все — и куда нужно идти из пустыни, и как получать манну, и как жить, и как радоваться, и как плакать». Что же, народ — это всегда народ. Они для приличия повздыхали и пошли к Иегошуа, а Иегошуа в это время уже разговаривал с богом обо всех текущих делах. Мойсей так привык к этим беседам, что он тоже подставил ухо. Он кричит Иегошуе: «Ну, что тебе сказал бог?» Иегошуа молод, и, значит, он еще петух, ему наплевать на стариковские слезы. Он и отвечает: «Что сказал, то сказал. Когда ты был полным вождем, я, кажется, тебя не спрашивал, о чем ты беседуешь с богом. Нет, я тебя просто слушался, а теперь ты должен слушаться меня». И Иегошуа начал первую лекцию. Мойсей слышит, что Иегошуа еще молод, то не знает, об этом забыл, и он хочет вмешаться. Но нет у него больше ни огня, ни разума, ни настоящих слов. Он говорит, а народ его не понимает. Еще вчера они его носили на руках, а сегодня они ему кричат: «Ты бы лучше, старик, пошел к твоим баранам». Вот тогда-то не выдержал Мойсей. Кто знает, как он любил жизнь, как не хотелось ему умирать! Но он все-таки не мог пережить свое время. Он так громко крикнул, что порвал все облака: «Хорошо, я больше не спорю. Я умираю». Конечно, господин социолог, вы не Мойсей, и я вовсе не хочу вашей преждевременной смерти. Нет, я знаю, что каждому человеку хочется жить, даже мне, хоть я самый последний пигмей. Но вы не должны сердиться на какого-нибудь нахального пионера. Он же не виноват, что ему только пятнадцать лет. Он молод, и он крикун, и он плюет на все. Он, может быть, на вашей дубовой кафедре устраивает танцы народностей. Что делать — на земле нет справедливости. Но если вы такой умница, почему вы ему кричите «вон!»? Он же не уйдет, а вы уже ушли, и вы с баранами, и точка. Пошлите-ка лучше за бутылкой вина, и мы с вами выпьем за нашу мертвую молодость.

Аграмов иронически прищурился.

— Ваше сопоставление не выдерживает критики. Параллели в истории вообще опасны. В данном случае была эволюция, смена поколений, прогресс. У нас же произошел насильственный разрыв. Революция — это преступление, коммунизм — это ребяческая затея. Только невежественные люди могут верить в утопии. Современная социология...

— Стойте! Вы снова хотите меня убить вашей дубовой кафедрой? Я же не знаменитость. Я с вами говорю по душам, а вы устраиваете дискуссию. Вы думаете, я не знаю, что такое революция? Спросите лучше, сколько раз я сидел на занозах. Не будь этих исторических сцен, я бы теперь спокойно утюжил брюки дорогого Пфейфера. Я ее вовсе не обожаю, эту революцию. Она мне не сестра и не Фенечка Гершанович. Но я не могу кричать: «Запретите тучи, потому что я, Ройтшванец, ужасно боюсь грозы и даже прячусь, когда гроза, под подушку». Конечно, гроза — большая неприятность, но говорят, что это нужно для какой-то атмосферы, уж не говоря о дожде, который ведь поливает всякие огороды. Вы напрасно меня спрашиваете об уклонах командного состава или о беспорядках в Бухаре. Этого я не знаю, и все равно вы напишете это сами. Лучше я расскажу вам еще одну историю о том же Мойсее. Она, может быть, подойдет к нашему разногласию. Мойсей тогда еще был молод. Он был не вождем, а только ясным кандидатом. Вдруг бог говорит ему: «Иди сейчас же к фараону и скажи ему, чтоб он отпустил евреев на свободу». Мойсей отправился в поныхах, разыскал египетский дворец, оттолкнул всех швейцаров и говорит фараону:

— Отпусти сейчас же евреев на свободу, не то тебе будет худо.

Фараон прищурился, вроде вас:

— Что за невежливая утопия? Кто ты такой?

— Я посол еврейского бога Иеговы.

— Иеговы?

Фараон даже наморщил лоб.

— Ие-го-вы? Я такого бога не знаю. Эй вы, ученые секретари, притащите сюда полный список всех богов!

Секретари притащили целую библиотеку, потому что богов в то время было гораздо больше, чем теперь таких умниц, как, скажем, вы. День и ночь все ученые Египта просматривали списки. Вот бог с собачьей мордой, а вот с рыбьим хвостом, но никакого Иеговы нет и в помине. Тогда фараон расхохотался:

— Ну, что я говорил тебе? Такого бога вообще нет, раз его нет в нашем замечательном списке, а ты нахальный мальчишка, и убирайся сейчас же вон!

Но вы, конечно, знаете, господин социолог, что фараону пришлось очень худо. Что вы там снова записываете? Факт с фараоном?

— У меня нет времени для исторических анекдотов. Я заканчиваю интервью с вами. «Х подтвердил также, что постановка высшего образования не выдерживает никакой критики. Вузы — образец запущенности, невежества, хулиганства. Старые кафедры занимают теперь полуграмотные юноши». Я, кажется, хорошо изложил ваши мысли? Теперь вы можете идти.

Лазик вздохнул.

— Пусть это будут мои мысли. Вы же кончили четыре университета, и все равно мне вас не переговорить. Тогда сосчитайте, пожалуйста, строчки или дайте мне просто на глаз какие-нибудь двадцать франков.

Аграмов удивленно взглянул на Лазика.

— Какие франки? Какие строчки? Вы здесь абсолютно ни при чем. Это — моя статья. Будьте добры немедленно покинуть это помещение.

31

«Куда мне идти? Переходить без конца площадь, пока меня не раздавит какая-нибудь рассеянная арабка? Или взобраться на эту научную башню и оттуда прыгнуть вниз? Все равно рано или поздно придется умереть. Да, но одно дело — умереть, хорошо покушав, выпив, поговорив. Это даже не смерть, это интересный сон на кушетке. А умереть натощак скучно. Ведь я сейчас еще не подготовлен к таким музыкальным минутам. Все, конечно, увидят, что летит с башни печальный человек, и снимут шляпы: вот он падает вниз и думает о горных вершинах. А я, как самый низкий нахал, буду думать в это самое время о вчерашних сандвичах в «Ротонде». Если приподнять верхнюю крышку — волнующий сюрприз, например, сыр или даже паштет... Нет, я еще не готов к смерти, и лучше всего пойти в «Ротонду». Может быть, там я найду этого Сюскинда с чулками? Я выпрошу у него если не весь сюрприз, то хоть верхнюю крышку».

Лазик робко вошел в «Ротонду», но, оглядевшись по сторонам, он тотчас же оживился. Правда, Сюскинда в кафе не было, зато он увидел немало посетителей подходящего вида. Они отличались от других парижан как меланхолическим взглядом, так и грязным бельем.

«Наверное, они если не из Гомеля, то возле».

Лазик подошел к ближайшему столику:

— Вы, может быть, гомельчанин?

— Ничего подобного. Я как раз из Кременчуга.

— Ну, это недалекое яблоко. Я так и подумал, что вы из окрестностей. А чем вы здесь интересуетесь? Дамскими чулками или обстановкой?

— Вы таки в Гомеле отстали! Кто теперь станет возиться с чулками на модели или с комодом? Вы, может быть, скажете, что я беру еще яблоко или бутылку? Как будто теперь — это год тому назад! Когда мне нужен натюрморт, я не задумываюсь. Я беру кусок мяса, или птицу, или даже кролика.

Лазик не выдержал, он облобызал меланхолического незнакомца.

— Я тоже! Я тоже! У нас совсем одна душа!

Незнакомец, однако, подозрительно нахмурился.

— Вы, может быть, хотите подражать мне? Так этот номер не пройдет. Достаточно меня и так обкрадывают. Я вам не покажу моих картин, а если б я их показал вам, все равно вы ничего бы не сумели сделать. Кончено время голых птичек! Теперь всякий порядочный торговец требует, чтобы была чувствительность. Вот видите, за тем столом сидит Ленчук — он меня всегда обкрадывает. А там, в рыжей шляпе,— это Монькин. Он взял мою тушу и немножко передвинул ее. Но у торговцев есть еще нос. Они видят, что мой кусок мяса весь дрожит. Они не дураки, если платят мне за пятнадцатый номер тысячу двести.

Сидевшие вокруг поддакивали:

— Его мясо звучит... В «Осеннем салоне» возле его картины была такая толкотня, что даже поставили полицейского.

— Вы же не знаете, с кем вы говорите? Это Розенпуп, и его имя на всех заборах. О

нем столько пишут, что даже нельзя прочесть. Это о нем критик Куйбон сказал вслух: «Розенпуп сын Ренуара, и он скоро проглотит отца, как Зевс проглотил Хроноса». Здорово?

— А бездарные Монькины пробуют еще рыпаться! Но они сидят в «Ротонде» и пьют несчастный кофе, а за Розенпупом охотятся американцы.

Розенпуп расчувствовался:

— Сегодня можно немножечко выпить. Я продал два мяса, и я ставлю. Но с чего мы начнем? С пива или с коньяка?

Лазика не приглашали. Грустно стоял он в сторонке. Наконец, не выдержав, он взмолился:

— Извиняюсь, но подарите мне счастье сидеть рядом с вами. Я только сяду, и я ничего не буду пить. Я хочу вам сказать, что я вас обожаю. Я читал ваше имя на заборе, и я плакал вслух. О мясе я уже не говорю. При чем тут идиот Монькин? Он крадет объедки, а у вас хороший жирный кусок. Вы думаете, в Гомеле о вас не слыхали? Там только и говорят, что Кременчуг перепрыгнул всех. Я сам читал о вас реферат. Я кричал: «Этот сын Зевса проглотит все, что ему только захочется». Кстати, у меня уже жажда. Вы, конечно, угостите меня? Я хочу кофе и штучки с сюрпризами, чтобы внутри был паштет или ветчина, только, пожалуйста, три кофе и пять штучек. Вы не удивляйтесь, я вовсе не нищий, я сегодня уже обедал, и мое имя тоже будет на заборе. Это у меня такая привычка — глотать хлеб залпом. Я ведь большой оригинал.

Закончив кофе и бутерброды, Лазик решил поговорить по душам.

— Здесь очень симпатичная жизнь! Это гораздо приятней, чем каяться перед поступью. Но скажите мне, мосье Розенпуп, у вас, может быть, мясная лавка с приложением дичи или вы просто знаменитый повар, потому что я не понял двух-трех парижских оборотов?

В бешенстве Розенпуп разбил все рюмки.

— Он смеет острить, этот негодяй! И еще после пяти сандвичей! Я же сразу почувствовал, что он снюхался с Монькиным и Ленчуком. Когда вы разговариваете с первым художником мира, вы вообще должны молчать. Я знаю, вы хотите меня обокрасть! Стащить зеленого кролика или тушу. Но это не пройдет! Я вас не пущу на порог. И убирайтесь вместе с Ленчуком подкупать критиков, чтоб они обо мне не писали! Как будто я не знаю, кто устраивает это молчание после «Салона»! Ленчук и вы. Кто у меня отбил всех торговцев, так что я теперь ничего не продаю? Монькин и вы. Убирайтесь, а то!..

Лазик предпочел не дослушать угрозы. Зачем расстраивать себя после стольких вкусных сюрпризов? Он быстро встал, сказал «мерси» и направился к Монькину.

— Мосье Монькин, будем уже знакомы. Что? Вы не знаете, с кем говорите? Это таки странно. Я, например, уже знаю о вас все подробности. Я еще в Москве повсюду кричал: «Монькин проглотил Зевса». Мы там стояли и удивлялись, как ваше мясо гудит. Смешно, когда этот дурак Розенпуп пробует вас обокрасть. У вас, наверное, есть американский замок, а он голая бездарность. Я сидел сейчас с ним, и я швырнул ему всю правду в лицо, так что он разбил четыре стакана. Но с вами я говорю как с вполне равным. Вы спрашиваете, кто я? Я — Лазик Ройтшванец, и я второй художник мира, если вы, скажем, первый. Мы можем устроить могучий союз. Правда, моего имени еще нет на заборах, но это потому, что я временно скрываюсь: ведь за мной охотятся настоящие американцы. Я тайная знаменитость. Где мои картины? Уже в торговле. Адрес я не могу вам сказать. Это ужасный секрет. Я скажу вам его через несколько дней. Я даже возьму вас в эту огромную торговлю. А теперь поговорим о текущем моменте. Пить я больше не хочу, но я пойду к вам ночевать, потому что я еще не нашел в Париже подходящего помещения. Не бойтесь, я вас не буду обкрадывать, я не ничтожество Розенпуп.

Монькин оживился.

— Это вы правильно говорите. Настоящее ничтожество! Он смеет еще кричать всем критикам, что я пачкун. Он же ничего не понимает в живописи. Он так отстал, что на него смешно глядеть. Да, теперь нужно пачкать, нужно кидать краску, чтобы чувствовалось мясо, а он не пишет, он рисует, он смехотворный выскочка. Он отбил у меня торговца: «Поглядите, Монькин не думает над картинами». Но спросите того же торговца, он первый вам скажет: «Теперь думать вовсе не нужно, нужно, чтобы в каждом сантиметре дрожал кусок».

Лазик горячо поддержал Монькина:

— О Розенпупе не стоит говорить. Это пустой сантиметр. Я же с детства разделяю ваши тезисы. Но мы с вами не будем ссориться. Можно, кажется, разделить мир между двумя безусловными знаменитостями. Я не говорю о пустых бутылках или об яблочном пюре. Это мы оставим Дрекенкопфам. Но вы возьмете себе мясо, и капусту, и тарелки, и все, что захотите, а я буду класть только кроличьи бананы, потому что в этом я совершенный спец. А теперь идемте-ка спать — я что-то устал от этой чувствительности.

На следующее утро Монькин показал Лазику свои произведения.

— Ну, поглядите на этот холст. Здесь все течет одно из другого.

Лазик прищурился и с видом знатока процедил:

— Симпатичная картинка. То есть я хотел сказать, что это гениально, как Зевс. Это так содрогается, что трудно глядеть натощак, каждый кусок прямо лезет в рот. Скажите, где вы достали такие чудные котлеты, чтобы они перед вами позировали?

Монькин удивился.

— Это же не котлеты. Это мой автопортрет. Впрочем, разве в сходстве дело! Сходство теперь не в моде. Я беру одни кусочки. Я их оживляю. Понимаете? Сейчас я начал натюрморт с уткой. Вот полюбуйтесь, какой сочный холст: утка, морковь на фоне оливкового бархата. Я только боюсь, что утка сделана чуть-чуть сухо.

Лазик, взглянув на картину, быстро спросил:

— А где же живой оригинал?

— Вон там, на столе. Ну, мне надо торопиться. У меня не осталось ни су, а натощак не идут никакие мысли. Пойду ко всем торговцам, попробую всучить комунибудь этот автопортрет хоть за пятьдесят франков. Негодяй Розенпуп, он завалил все галереи своей дрянью. Вы можете остаться. А если вы уйдете, положите ключ под дверь.

Лазик остался. Часа два или три он честно ждал возвращения Монькина.

Монькин вернулся только под вечер. Он нашел ключ, как было условлено, под дверью. На столе лежала записка:

«Дорогой мосье Монькин, честное слово, я не виноват! Вы же сами сказали, что натощак не идут мысли. Я каюсь, как я не каялся на докладе. Но я спрашиваю вас: почему вы меня оставили с ней вдвоем? Я долго боролся. Кто знает, сколько раз я подходил и отходил!.. Потом я увидел керосинку и даже кастрюлю. Вы, конечно, простите меня. Вы ведь ее уже немножко нарисовали, а кусочки вам придут в голову. Вы же не какой-нибудь жалкий Розенпуп. Морковь я тоже взял, потому что без гарнира невкусно. А оливковый фон я вам оставил целиком. Я клятвопреступник и достоин оплевания. Но с аппетитом не шутят. Когда-нибудь я отплачу вам с процентами. Я подарю вам всех торговцев мира, а пока что цветите как первая знаменитость и не вспоминайте меня каким-нибудь лихом. Я ваш компаньон Лазик Ройтшванец. P. S. Вы напрасно ее оклеветали, что она сухая. У нее на задочке был такой жирок, что я еще сейчас лижу губы».

32

Прошло две недели, и все в «Ротонде» уже знали Лазика. Он заставлял американцев, приходивших поглядеть, «как живет парижская богема», угощать его сандвичами или же сосисками. Держался он независимо.

— Вы потом расскажете в вашей Америке, как вы охотились за знаменитым Ройтшванецом. Вы не видели моих зеленых кроликов, и вы их не увидите, потому что я живу, как монах, для искусства. Что вы понимаете в сочных сантиметрах? Как будто я не вижу, что вы на меня смотрите прямотаки неживописными глазами.

Американцы робко возражали:

— Мы были в Лувре. Мы видели «Джоконду»...

— Мне неловко сидеть рядом с вами. «Джоконда»!.. Но ведь это бутылка, и это сделал мой самый последний ученик.

Лазик быстро усвоил нравы «Ротонды» Он умел теперь пугать новичков, одалживать с нахрапу франк и подкидывать пустую чашечку зазевавшемуся соседу. Правда, Розенпуп и Монькин были безвозвратно потеряны. Что же, он подружился с Ленчуком. Он сумел опередить Монькина.

— Сейчас придет этот вор, который крадет все у Ленчука, и он скажет, что я у него украл, с больной головы на здоровую, живописную утку. Но он сам в это не верит, и он крадет у первого попавшегося свой собственный портрет.

Художники недоумевали: откуда он взялся, этот Ройтшванец? Что он делает? Лазик отвечал уклончиво: адрес — секрет, все скоро выяснится, а за будущее он спокоен. Некоторые говорили: «Просто жулик». Другие возражали: «Нельзя так завидовать чужому успеху». Они уверяли, что кто-то видел картины Лазика и чуть не рехнулся от восторга: вот где настоящая живопись! Куда тут Монькину или Розенпупу!

Слава Лазика росла. Жил он впроголодь, но, выудив у одного датчанина, растроганного величием искусства, двадцать франков, немедленно заказал визитные карточки: «Лазарь Шванс. Артист-художник».

Шванс — это звучит по-парижски, это коротко и вежливо. Например: «Мерси, мосье Шванс». От этого можно заплакать.

Карточки вместе с гордой осанкой сделали свое дело. Как-то в «Ротонде» к Лазику подошел господин, весьма прилично одетый, и, приподняв котелок, сказал:

— Вы — мосье Шванс? Не так ли? Я о вас много слыхал. Я ведь часто захожу в «Ротонду» выпить аперитив. Я живу здесь рядом. Мой магазин унитазов вот там, за углом. Я хотел бы переговорить с вами. Дело в том, что в нашей отрасли теперь кризис, а я все время только и слышу, как богатеют продавцы картин. Мне говорили, что один торговец платил художнику по двадцать франков за картину. Художник умер, и теперь каждая картина стоит сто тысяч. Вот это значит — пустить капитал в оборот. Мне еще говорили, что здесь все художники быстро умирают, и это, конечно, торговцам на руку. Вот я и решил немного заняться искусством. Я ищу молодой талант, чтобы рискнуть. О вас говорят, что вы загадка. Это мне нравится. Потом, у вас, простите меня, сложение не богатырское, так что я вправе рассчитывать, что вы, упаси вас боже, очень скоро умрете.

Лазик заметил:

— Да, я тоже так думаю. Ройтшванец, или, по-здешнему, Шванс,— фейерверк, и он моментально сгорает. От меня уже мало осталось — только аппетит, философия и

даа-три постыдных анекдота. Но что же вы мне предлагаете?

— Я предлагаю вам подписать контракт на всю вашу жизнь. Вы должны изготовлять в месяц пять картин и сдавать их мне. Я вам буду платить по пятьдесят франков за штуку. Но раньше всего я хочу поглядеть на ваши работы.

— Последнего я не понимаю. Как будто вы не знаете палитры Шванса? Прочтите на заборах! Это не холст, а чувствительность, так что все парижские дамы плачут, как у иерусалимской стены, хоть перед ними зеленый кролик или даже ваш автопортрет. Сходство — это позапрошлый скандал. Я ни минуты не думаю, я только теку сам из себя, и я пачкаю, как самый гениальный пачкун. Возьмите миллиметр — его же нет, это арифметика, а у меня он живет, он трепещет, он уже кусок в золотой раме. В это время, представьте себе, раздается мой предсмертный кашель. Вы плачете, вы даете мне касторку, вы кричите: «Шванс, не умирай». Но я вежливый оригинал, и я отказываюсь от вашего совета, я умираю. А у вас на руках целый холстяной завод. Вы сразу становитесь Ротшильдом. Это же не глупые унитазы!

— Я понимаю, что вы не хотите показывать ваших работ другим художникам. Но мне вы можете их показать. Право же, я заслуживаю доверия. У меня здесь семнадцать лет магазин. Вот моя визитная карточка: «Ахилл Гонбюиссон».

— Мосье Ахилл, если вы так настаиваете, я скажу вам, что со мной случилась маленькая неприятность. У меня были деньги. Я каждый день ел уток, и я катался в автомобилях через площадь, и я заказывал себе разные карточки, вроде этой. Но потом деньги случайно закончились, я скрепил мое сердце, я сжал зубы, я понес в мешке все драгоценные картины, и я их заложил у одного торговца рыбьим жиром за жалкие пятьдесят франков. Это же может случиться со всяким, и с Монькиным, и с самой Джокондой. Вы мне даете уже за одну штуку пятьдесят франков, чтобы перепродать ее после моей безусловной смерти ровно за сто тысяч, а там лежат сто штук, и стоит мне отнести этому рыбьему иску пятьдесят франков, как вы сможете плакать перед всеми шедеврами.

Ахилл Гонбюиссон покряхтел, повздыхал и дал Лазику пятьдесят франков.

— Вот, распишитесь. Что поделаешь — кто не рискует, тот и не выигрывает...

Вечером Лазик разыскал в «Ротонде» Монькина.

— Я же написал вам в той самоубийственной записке, что вы получите сторицу. Во-первых, вот вам адрес замечательного торговца. Вы не глядите, что в окне белое неприличие. В душе у него живописный восторг. Вы сможете продать ему даже вашу автопортретную котлету, потому что я давно не видел такого стопроцентного дурака. А во-вторых, я сейчас поведу вас в роскошный ресторан, и там вы получите какую угодно утку с полным гарниром.

Выпив в ресторане стакан вина, Лазик заплакал.

— Я плачу от красоты! Если на свете существуют, скажем, эта Джоконда и сын Зевса, и вы с вашим портретом, то можно ли не плакать? Я ведь в душе настоящий художник. Сколько раз я мысленно рисовал глаза Фенечки Гершанович на фоне гомельской сирени! Уж кто-кто — чувствительный, это я. Я сегодня увидел в одном кафе девушку, и я чуть не попал под арабский автомобиль. У нее были глаза до ушей и губы, как флаг, который я храбро носил в мои счастливые дни. Вы не знаете ли, кстати, кто она? Потому что я сейчас решил: я или поцелую ее, или умру. Вы же видите, сколько у меня чувства! Я сейчас швыряю краски, и она уже дрожит в моей голове. Да, все так, только что со мной будет завтра?.. Хорошо умереть от любви, но не от шведской гимнастики, а у этого унитаза вместо рук пулеметы.

На следующее утро Лазик решил сидеть дома и к «Ротонде» не подходить за версту. Но вспомнив глаза прельстившей его особы, он не вытерпел:

— Я пойду на цыпочках, и я буду все время нырять в подъезды. Пусть я умру, но я хочу увидеть ее перед смертью.

Увы, он увидел не ее, а мосье Гонбюиссона.

— Вы меня обманули!..

— Спрячьте, пожалуйста, ваши пулеметы! Что я могу сделать, если они пропали? Я больше потерял, чем вы. Возьмите карандашик и сосчитайте. Вы потеряли пятьдесят, помножим на один — пятьдесят, а я сто, помножим на пятьдесят — пять тысяч. Вы видите? И я все-таки его не убил, так что положите пулеметы во внутренние карманы. Я плакал всю ночь, у меня распухли глаза. Может быть, я к вечеру поправлюсь и тогда моментально сделаю вам десять полных шедевров, но, конечно, у меня нет ни холста, ни красок, ни кролика, чтоб он мне безусловно позировал. Если бы вы еще раз рискнули...

— Дудки!.. Вы думаете, если вы по карточке артист, а я продаю унитазы, то вы будете водить меня за нос? Я вас могу отвести в префектуру. Я вас могу раздавить на месте. Видите эти руки? Но я сделаю последнюю пробу. Я дам вам холста, краски, модель... Работать вы будете у меня. Под замком. Поняли?

И, сказав это, Ахилл Гонбюиссон повел трепещущего Лазика к себе.

— Кого вы хотите писать? Мужчину? Женщину?

— Нет. Это позапрошлый сезон. Я пишу только мясо. Одним словом, я хочу писать кролика, но чтоб он был не в болванском меху, а уже окончательно зажаренный.

Ахилл Гонбюиссон вскоре принес холст, краски, кисти и большого кролика. Он ворчал:

— Выдумщики эти артисты!.. Вот, едва нашел в колбасной. Знаете, сколько он стоит? Восемнадцать франков!

Ахилл Гонбюиссон запер Лазика и ушел. Лазик поглядел в окно: нет, отсюда не прыгнешь, это почти что научная башня.

Вспомнив назидания Монькина, он стал пачкать красками холст, но краски пачкали, главным образом, его руки. Кисти вскоре поломались. Ничего не получалось — ни собственного портрета, ни кролика.

— Сейчас он меня убьет. Это последние минуты приговоренного Ройтшванеца. Что же, если мне предстоит такая смерть, я хоть скушаю напоследок этот зажаренный банан.

Он предался неизъяснимому блаженству. Когда пришел Ахилл Гонбюиссон, от кролика оставались только тщательно обглоданные косточки. Ахилл Гонбюиссон прорычал:

— Где картина?

— Ой: прощай, моя родина! Прощай, матушка-Гомель! Где картинка? Ее еще нет. Во-первых, она могла не выйти. У нас в Гомеле был фотограф Хейфец, он снимал за шестьдесят копеек даже двоих и в венчальном платье, но у него часто ничего не выходило. Это как на дикой охоте — бывают промахи.

— Скотина! Жулик! Бери кисти и мажь! Гляди на модель!

Очень кротко, задушевно Лазик промолвил:

— Его уже нет. Что вы меня трясете? Я же не вытряхну из себя сто картинок!.. Торгуйте вашими унитазами, но оставьте меня в покое. Ой, как мне больно!.. Я не художник, чтобы сидеть и пачкать материю, я честный портной. Только не деритесь! Я могу вам перелицевать брюки. Я сейчас умру... Вы думаете, вы из меня выжали картинку? Злодей? Это — кролик, единственный кролик за всю мою страдальческую жизнь!..

33

«Ротонда» была вытоптана, как луг стадом кочевника. Американцы перестали даже оборачиваться на Лазика. Увидев его издали, завсегдатаи кричали: «Франка, положим, не будет». Лакеи требовали деньги за кофе вперед. Напрасно Лазик уверял, что огромный синяк на его лбу носит спортивный характер:

— Я участвовал в гонках, пятьсот миллиметров в один час, и арабка таки перевернулась на спину.

История о том, как он сожрал кролика у Ахилла Гонбюиссона, обошла весь квартал. Друг Монькина Шпритц нарисовал карикатуру «Рождение Венеры». Он изобразил Лазика голым, в синяках и в кровоподтеках среди морской пены. Лазик стоял в фаянсовой раковине изделия Ахилла Гонбюиссона, стыдливо прикрываясь, а сверху на него сыпались дары земли: курицы, утки, кролики. Лазик не обиделся, он только заметил, восстанавливая истину:

— Те штуки были совсем другой формы. Впрочем, дело не в сходстве.

Карикатуру повесили в «Ротонде», и один американец купил ее у Шпритца за сто франков: на память о самом типичном посетителе «Ротонды». Лазик попробовал вмешаться и попросить сандвич, но был с позором отогнан.

Когда все возможности были потеряны и предстояла голодная смерть под одним из тех заборов, на которых должны были значиться победоносные имена Розенпупа или Монькина, пришло неожиданное избавление. Луи Кон, известный в светских кругах Парижа как сноб, гурман и ловелас, увидев Лазика у витрины жалкой колбасной, приютил его, более того, он сделал из грязного оборванца своего личного секретаря. Лазик щеголял теперь в широчайших штанах, вздыхая:

— Это изведенный материал на троих.

Он ел в лучших ресторанах и катался в сорокасильном лимузине. Его портрет был напечатан в журнале мужских мод «Адам» со следующей надписью: «М. Лазариус Шванс, наш молодой гость, полесский принц, друг М. Луи Кона». Лазик портрет вырезал и положил его бережно в карман, где хранилось изображение португальского бича.

Однако, прежде чем говорить о новой службе Лазика, я должен остановиться на неизвестной особе с яркими губами, благодаря которой ему пришлось ознакомиться с тяжелой рукой Ахилла Гонбюиссона. Каждый вечер она сидела в маленьком кафе напротив «Ротонды», и каждый вечер Лазик стоял у двери, чтобы еще раз взглянуть на ее чересчур длинные глаза. Мадемуазель Шике его, разумеется, не замечала. Один раз, выйдя из кафе, шатаясь от коктейля, она приняла его за грума:

— Позовите такси!

Взволнованный дивным голосом, Лазик не двигался с места. Она его подтолкнула зонтиком, а когда он наконец подозвал автомобиль, дала ему франк. Лазик швырнул монету в оконце автомобиля:

— Купите себе на эту сумму какую-нибудь орхидею, потому что я люблю вас сильнее, чем я любил Фенечку Гершанович!

Когда судьба Лазика резко переменилась, первым делом, отпросившись у Луи Кона, он направился в заветное кафе. Он сел за столик рядом с мадемуазель Шике и заказал бутылку шампанского. Весь вечер он не сводил с нее глаз. Девушка наконец не выдержала:

— Что вы на меня смотрите, как кот на сметану?

— Нет, ни один кот не может так смо-

треть. Даже и, когда у меня был покойный аппетит, даже я не смотрел так ни на сметану, ни на кролика. Вы меня не узнаете? Я три недели стоял у этих дверей без дыханья. Я еще подарил вам ваш франк на орхидею. Интересно, какой цветок вы тогда себе купили? Конечно, на один франк нельзя сделать настоящее цветочное подношение. Но третьего дня я неслыханно разбогател, потому что какой-то болван нашел во мне темперамент, и завтра я вам куплю анютиных глазок на целую тысячу франков, только позвольте мне еще десять минут смотреть с отчаянием на вас.

Мадемуазель Шике оживилась:

— Чудак!.. Хотите танцевать?

— Ни за что! Я знаю все эти прыжки наизусть, но у меня нет сейчас научного подхода. Я боюсь, что я зайду не туда, как товарищ Серебряков.

— Ну, как хотите. Можно, я к вам подсяду? Вы что пьете? Шампанское?

Они чокнулись. Лазик выпил бокал залпом. У него кружилась голова от вина и счастья. Мадемуазель Шике щекотала его локоном.

— Вы совсем дитя.

— Я — дитя? Вы, конечно, уничтожаете меня сарказмом. Если мне даже тридцать три года, то я еще не старик. Настоящие страсти вовсе не у молодых скакунов с горячими глазами. Нет, в двадцать лет человек все равно бесплатно горит. Он горит от любви, или от какого-нибудь классового идеала, или просто от высокой температуры. Но, спрашивается, сколько у него чувств в эти двадцать лет? Охапка или две охапки, и они моментально сгорают. Что остается? Искорка. И вот проходят годы, и эта искорка вдруг вспыхивает. От нее бывает такой мировой пожар, что не успеешь крикнуть «караул», как уже сгорает все сердце.

— Я тоже люблю мужчин постарше. Они требовательней, зато они понимают, что им дают. У тебя, наверное, тонкий вкус. Расплатись и поедем.

Лазик ничего не соображал. Он едет прямо к ней! А где орхидеи? Он должен сейчас танцевать от восторга. Один? Да, один! Почему нельзя? Ее зовут Марго. Вот это имя! Она, наверное, Венера, которая сбежала ночью из американского Луара. Зачем он пил шампанское с искрами, когда он и так сходит с ума? Арабка, не трясись! Что она делает? Она целует его в ухо! Вы понимаете: в ухо Ройтшванеца, в это жалкое гомельское ухо дышит сумасшедшая богиня! Лестница? Хорошо, он поднимается. Он будет реветь от счастья, как антилопа. Нельзя реветь? Спят? Кто может спать, когда уже землетрясение?

Войдя в комнату, Марго упала на диван и стала истерически хохотать.

— Я сейчас умру от смеха... Я еще никогда не видала такого чудака!..

А Лазик благоговейно говорил:

— В этом раю я буду ходить только на цыпочках.

Насмеявшись, Марго деловито сказала:

— Цветочное подношение ты сделаешь не завтра, а сейчас. Это вернее. Мы ведь пили шампанское. Ты не понимаешь? Но ты ведь сам мне сказал. Тысячу. Да, да! Я тебя не знаю. Не хочешь? Тогда можешь убираться. Я не знаю, к каким порядкам ты привык, но у меня полагается до. Понял?

— Что за обязательная афиша? Конечно, если выдумать сто церемоний, то вообще можно перестать жить. Я вам скажу, что набожный еврей должен перед тем, как он поспит с женой, вымыть руки и после этого снова помыть руки. Перед, потому что ему предстоит настоящее богоугодное дело, а после, потому что он, конечно, делает богоугодное дело, но ведь он трогает такую небогоугодную вещь, как, скажем, совершенно голый живот. Это очень тонко придумано. Но что же получается в итоге? Вместо самой великой любви какой-то сплошной рукомойник. Вы ведь не соблюдаете обрядов. Почему же вы меня мучаете разными «до» и «после»? Хорошо, я вам дам эти бумажные орхидеи, но не терзайте мое скачущее сердце постыдной бухгалтерией.

Спрятав деньги, Марго стала раздеваться.

— Малыш! Идем спать...

Тогда Лазик окончательно протрезвел.

— Одно из двух: или вы сбежавшая Венера, или вы стопроцентная марксистка и посещали лекции товарища Триваса. Что значит «идем спать», когда я дорожу розовыми предпосылками? Я хочу с вами порхать и щебетать, и говорить о любви, и петь вам колыбельные песенки, и носить вас на руках, как тихую былинку, и умереть от того, что это не жизнь, а рай. И вот вы предлагаете мне голые функции. Но вы же не госпожа Дрекенкопф! Ваше имя уже благоухает, не говоря о губах. Если вам хочется спать, спите. А я буду сидеть в этом кресле и заслонять вас ладонью от ветра, чтобы он не развеял мой предпоследний идеал.

Марго махнула рукой.

— Черт с тобой — сиди! Очень ты мне нужен? Блоха!

Ее мутило от вина и от усталости. Приняв горячую ванну, она легла и быстро уснула.

Лазик сидел и вздыхал. На земле нет справедливости. Нюся сказала ему, что он клоп. Марго спустила его на блоху. Разве в росте дело? Его любовь такая великая, как научная башня. Но они этого не понимают. Если в Лувре стоит какая-то Венера, американцы ведь не хватают ее пальцами. Они платят за вход, и они плачут от счастья, что они в одной комнате с этим безусловным камнем. Хорошо, пусть я блоха! Но я не буду сразу лезть в небесный пейзаж со своим кустарным производством. Я буду лучше чувствовать, что я сижу рядом с ней. Я буду глядеть на это ослепление...

И Лазик взглянул на спящую Марго. Тогда раздался писк, полный отчаяния:

— Умоляю вас, скорее проснитесь! Вас обокрали! Это какой-то мистический туман! Где ваши длинные глаза? Где ваши первомайские губы? Где ваши брови, черные, как мой страх? Или это я ослеп от новобрачного ожиданья? Ответьте мне скорее, не то я созову весь дом, чтоб они меня посадили в сумасшедшую клинику!

Марго терла глаза и перепуганно смотрела на Лазика. Сообразив наконец, в чем дело, она стала ругаться:

— Проходимец! Босяк! Ты недаром выклянчивал франки. Ты думаешь, если ты украл у кого-нибудь тысчонку, то можешь себе все позволить? Что я, манекен? Я должна с тобой петь детские песенки? Идиот! Ты думаешь, что я буду спать намазанная? А что станет с моей кожей? Скотина! Ты хочешь, чтоб я себя изуродовала за тысячу франков? Подлец!

— Тсс! Остановитесь в списке! Я уже понял. Значит, вы сочный холст, и каждый сантиметр гудит. Вас, наверное, пачкает Монькин, потому что у него самая богатая палитра. А ночью вы — как госпожа Дрекенкопф. Вся разница в том, что клецки теперь у меня. Какой ужас! Вы ведь, как моя тетя. Но она торговала в Глухове яйцами. А вы? Чтобы женщина в таком почетном возрасте стояла бы на подрамке, и чтоб ее кололи кисточкой, и чтобы потом она прыгала в кафе, как угорелая девчонка, ради одного подлога, но ведь это же не гомельская пенсия инвалиду труда, а только бездушный хохот из Мефистофеля.

Едва Лазик успел закончить свою трогательную речь, как в него полетели различные предметы. Взбешенная Марго не колебалась в выборе снарядов. Осколок горшка расшиб нос Лазика.

Спускаясь по лестнице, Лазик старался не вздыхать: они ведь спят среди землетрясения. Но было уже утро, привратница остановила его:

— Откуда вы идете? Почему у вас на лице кровь?

Лазик попытался резонно объяснить ей, в чем дело:

— Последнее время меня преследуют изделия этого Ахилла Гонбюиссона. Что делать — от своей судьбы не ускачешь. Теперь господин Луи Кон будет меня ругать — я ведь испортил его трехспальные штаны, не говоря уже о носе. Но, если вы не спите, я громко вздохну. Я вздохну не из-за носа. Нос привык. Я вздохну как философ, потому что произошло полное раздвоение, и я не знаю, с каким воспоминанием мне жить? С одной стороны — Венера, а с другой — инвалид труда, и все вместе — это моя любовь на пятом этаже слева, которая еще живет и трепещет. Вы, мадам, похожи на мою проклятую судьбу, у вас даже метла наготове. Скажите мне просто, что такое жизнь, и любовь, и погасшие звезды?

Увы, привратница вместо высокой философии прибегла к не к добру помянутой метле.

34

Господину Луи Кону было двадцать восемь лет, но он отличался мудростью и широтой взглядов. От отца, фабриканта овощных консервов, унаследовал он круглую сумму. Он стремился истратить ее весело и непринужденно. Он любил, чтоб об его странностях писали в хронике светских газет. Лазик сменил злополучного лангуста, которого Кон таскал за собой на цепочке по Елисейским полям.

— Ах, вы русский? Вы, наверное, большевик? Это хорошо. Мы задыхаемся среди академизма. Я знал Расина уже в колыбели. Третья республика — это царство мелких лавочников. Вы будете для меня зовом с востока. Ведь в ваших глазах горит революционный мистицизм. О, как бы я хотел увидеть вашу Красную площадь, когда китайцы присягают Шарлю Марксу, а женщины в шароварах исполняют половецкий танец! Я обожаю неожиданность, джазбанд, революцию, синкоп! Недавно я ужинал у виконтессы Писстро, и там я неожиданно, после фазана, вытащил из кармана красный флаг. Я выкинул его перед всеми изумленными академиками. Об этом даже писали в «Фигаро» как о злой шутке. Но это далеко не шутка. Парламент меня боится, потому что я, Луи Кон,— коммунист.

Лазик совсем растерялся.

— Ужасно трудно путешествовать, когда не знаешь готовых оборотов. Дождь, конечно, повсюду дождь. Но вот с политикой будет похуже. Я бы сказал по виду, что вы — наоборот. Но если у вас здесь такая дисциплина, тем лучше. Я был в Киеве кандидатом, и там я сорвался, но здесь я, наверное, пролезу. Как будто я не сумею выкинуть флаг после фазана! Скажите, значит, у вас нет контрольной комиссии? И вы можете танцевать, заходя куда угодно ногой? И вас не заставляют целый день заполнять анкету? Но тогда запишите меня скорей в эту замечательную ячейку!

— Фи! Как же можно входить в какую-то партию! Ведь это значит соприкасаться с чернью. Это — все равно что ездить в трамвае. Я — духовный большевик. Я люблю все, что идет с востока. Скажите, кстати, вы не буддист? Жаль! У меня в столовой Будда пятого века. Вы могли бы перед ним молиться. Я ведь никогда еще не видел, как молится живой буддист. Это должно быть очень пикантно. Ах, вы еврей? Это неинтересно. Это религия мелких лавочников. Тогда знаете что — примите католицизм. Я обожаю культ Святой Розы. Конечно, идея

бога это для тех, кто ездит в трамвае. Но ведь остается образ непорочного зачатья, мистические пророчества, туман. Наконец, что делать — это модно. Не стану же я ходить в узких брюках или в длинном пиджаке! Словом, в ближайшее воскресенье я буду вашим крестным отцом, а виконтесса Писстро вашей крестной матерью.

— Если в этом — вся моя служба, пожалуйста. Я — настоящий двадцатый век, и после фазана я могу даже молиться перед вашим пикантным Буддой, если вы только напишете мне заранее все слова. Вы обязательно хотите, чтоб я влез в этот непорочный туман? Я влезу. У вас, кажется, это проходит без особых операций, и я понимаю, легче, чтобы меня выкупала в мистической воде эта моя виконтессная мама, чем, чтобы, скажем, вас обрезали мелкие лавочники. Точка. Я уже большевистский католик. Теперь скажите, что я должен в точности делать как ваш ученый секретарь?

— Не говорите так громко и так быстро. У меня сделается мигрень. Вы должны говорить так, чтобы все чувствовали, что вы между двумя словами готовы умереть от безразличья. Это гораздо вежливей. Только изредка, когда я буду кивать головой, вы можете проявлять ваш восточный темперамент. Среди ваших обязанностей одна из первых — обедать со мной.

Лазик просиял, но так как Луи Кон не кивал головой, он превозмог свои чувства. Они поехали в ресторан. Метрдотель, который, видимо, хорошо знал Луи Кона, сразу записал: «Лапша на воде и яблочное пюре». Потом он спросил:

— Что будет есть господин?

— Вот этим мы сейчас займемся.

Луи Кон изучал карточку не менее часа. Лазик изо всех сил пытался удержать обильные слюнки. Наконец обед был заказан.

— Мой друг, вы приобщаетесь к великому искусству. Я не буду развивать вам философские системы Саварена. Но что такое вся эстетика, поэзия, мораль, чарльстон, синкоп, вторая реальность, граф Лотремон, наконец, моя усмешка? Это только достижения поваров. Четыре года тому назад мне подали в ресторане «Пе-де-Нон» пулярку метра Эмиля. Она была фарширована дичьей печенкой с трюфелями и апельсинами, под соусом из хереса шестьдесят третьего года, и в ее окружение входили донышки артишоков по-тулузски, то есть в белом вине, со взбитыми яйцами. Я помню этот день как поэму революции, как первый аккорд Стравинского, как облатку святой евхаристии. Я изучил все блюда Франции, и я мог стать первым знатоком хотя бы перигорских паштетов. Но, увы, мы все, из рода Конов, отличаемся деликатным телосложением. Я заболел гастритом, энтеритом, нефритом, артритом, подагрой. Я могу есть только лапшу на воде и яблочное пюре; вместо вина — минеральная водица. Я страдаю, как ослепший живописец, ведь я хорошо помню вкус любого соуса и я никогда не ошибусь в годе «Лафита». Что же, я решил углубить эти муки. Я буду кормить вас самыми изысканными яствами, я буду наслаждаться вашим восторгом неофита, нюхать омара или камамбер и объяснять вам всю торжественность каждой минуты. Я превращу ваши обеды в богослужение. Что вам подали? Маренские устрицы? Не глотайте! Медленно жуйте! Это говорит с вашим нёбом Атлантика. Глоток «Шабли». Оно полно осенней сухости и свежести. Утренний холодок тронул гроздь. Вы слышите легкий привкус дроби? Сейчас вам подадут пятнистую форель, а к ней сухое «Вувре» 21 года. Оно молодое, но в нем цветы Лауры, в нем смех Рабле, в нем...

Лазик больше не слушал Кона. Честно поглощал он все, что ему приносили лакеи. Но после шестого блюда он не выдержал. Отодвинув тарелку с фазаном, он вежливо поблагодарил как метрдотеля, так и Кона.

— Мерси. Это странно, но аппетит тоже кончается. Теперь мы можем поговорить с вами о чем-нибудь очень высоком, например, об этом половецком синкопе, я тут что-то не понял. Почему у вас сначала идет Красная площадь, а потом вдруг оказывается непорочное зачатие? У нас в Гомеле вас бы за это не погладили по головке.

— Мода, друг мой, мода. Истинная свобода состоит в подчинении. Те, что ездят в трамваях, подчиняются пошлой морали, а мы, избранные, подчиняемся моде. Теперь надо быть слегка большевиком, слегка католиком. Это неуловимые нюансы, как перец, мед, пикули и мараскин в соусе «Клериджк». Не стану же я танцевать уанстеп или играть в крокет, когда теперь модны блекботом и гольф. Но напрасно вы отодвигаете тарелку: я ведь только вхожу во вкус, вам предстоят еще девять блюд. Этот фазан пахнет, как пророчества Нострадамуса. Он пахнет сладостным разложением всей латинской культуры. Я ручаюсь, что они его выдерживали не менее недели в тепле. Он постепенно приобретал этот «букет». Понюхайте! Вы слышите дыхание смерти, мифологических грибов, рокфора, тысячелетнего сна?

Лазик осторожно понюхал птицу и взвыл:

— Я теперь понимаю, почему вы начали после фазана выкидывать разные флаги! От такого аромата вообще легко умереть. По крайней мере, со мной уже начинается этот половецкий синкоп. Вы знаете, чем это пахнет? У нас в Гомеле выезжает одна нахальная бочка и...

— Замолчите! Возьмите лапку! Вы обязаны. Не забывайте: вы мой личный секретарь. Глоток «Шамбертена». Это 91 год. Он обволакивает — вы слышите? Он слегка вяжет душу. Он горячит. Это земля Бургундии, не юг и не север, сердце культуры, двадцать веков, потом разрыв, затмение, бездна, синкоп, и вот в последнюю минуту две-три замшелые бутылки...

Лазик едва дышал. Его лицо стало сперва багровым, потом фиолетовым. А лакеи все меняли тарелки и бокалы, готовя новые пытки. Лазик покорно ел и пил: что делать, если это его служба! Он уже ничего не видел. Ему казалось, что на блюдах лежат Будды, синкопы и двадцать латинских веков. Вдруг что-то ударило его в нос, как нашатырный спирт. Кон вдохновенно шептал:

— Это — сыр «Ливаро». Его держат несколько лет в золотом навозе... Там он бродит, как отчаянье. Он становится ароматным и щемящим сердце. Нюхайте его! Нюхайте скорее!

Все плыло перед Лазиком. Ему почудилось, что сыр вертится. Он поглядел на бутылки — они кланялись. А Кон? Кон кивал головой. Вот что!.. Значит, теперь он свободен!.. Лазик вскочил и в восторге закричал:

— Заберите сейчас же отсюда эту бочку!

Напрасно Луи Кон пытался его успокоить:

— На нас все смотрят... Это неприлично.

— Пусть смотрят. Зачем вы меня поили? И что это за выходки? Вместо порядочных битков дать человеку тридцать раз синкоп с запахами! Если он не заберет эту гомельскую мадам подальше от моего носа, я ее брошу в какую-нибудь виконтессу. Ну да, я пьян. А что вы думаете? Можно не быть пьяным после таких обволакиваний? Я сидел спокойно, но вы кивнули головой, и тогда начался мой темперамент. Вы не кивали? Тогда это Шамбертен кивал. Одним словом, ведите меня скорей, и прямо к цели!..

Первый опыт не удался, но Луи Кон не отчаивался: у этого лилипута чудовищный темперамент. Два дня кресло с винтами, ланцеты, банки, флаконы, электрические аппараты; Лазик упал на колени перед массажисткой.

— Ради, скажем, Будды, пощадите Ройтшванеца! Что вы хотите со мной делать? Вырезать кусок здоровой кишки или сразу убить меня лампочкой, как в замечательной Америке?

— Не бойтесь. Сначала мы разгладим некоторые морщинки. Это совершенно безболезненно. У нас четыре тысячи свидетельств. Сядьте сюда. Откиньте лицо. Забудьтесь!

Лазик сел. Он попробовал забыться. Но куда тут! Ведь его переделывали, как безответственный сюртук! Хорошо, пусть они разглаживают морщины каким-нибудь утюгом. Посмотрим, что из этого выйдет. Как будто можно стереть все его несчастье — от мадам Пуке до уборной ресторана «Пе-де-Нон»! Трите, трите, все равно горе останется горем и Ройтшванец — Ройтшванецом! Вы его не сделаете ни Буддой, ни Шамбертеном...

Вдруг Лазик вздрогнул от неприятной и достаточно знакомой ему боли. Массажистка теперь приплющивала его нос.

— Что вы хотите от моего придатка? Вы же не Ахилл Гонбюиссон. На нем вовсе нет морщин. Морщины — на лбу. Перестаньте! Он у меня не из гуттаперчи!

— Не волнуйтесь. Это очень легкая операция. Я приступаю теперь к укорачиванию вашего носа.

Лазик скатился с кресла. Кувыркаясь по полу в больничном халате, он вопил:

— Это вам не пройдет! Мой нос не брюки, и я объявляю полную забастовку. Он вовсе никому не мешает, чтоб его стричь. Я, кажется, не пихал вас моим носом, и я никого не пихал. Меня пихали. А может быть, я хочу, чтоб он был длинным. Фамилию я обрезал, но это же надстройка. Откуда вы знаете, может быть, я когда-нибудь вернусь к себе на родину? Меня же никто не узнает с коротким носом, ни Пфейфер, ни Фенечка Гершанович. Меня не узнает даже эта Пуке. Я не отдаю вам мой личности!.. Стригите ваши синкопы!.. Вот вам постыдный капот, и до без всякого свидания!

Вечером Луи Кон строго сказал ему:

— Мой друг, вы у меня уже пять дней, и я вами недоволен. Вы не сделали никаких успехов в области гастрономии. В «Селекте», после одного коктейля, вы начали целовать бармена, хоть я просил вас ухаживать за мной, потому что это теперь модно. В «Институте красоты» вы просто показали себя дикарем...

— Но ведь вы сами хотите от меня половецких штучек.

— Не перебивайте!.. Вы манкируете обязанностями личного секретаря. Сейчас я подвергну вас последнему испытанию. Глядите.

Луи Кон подвел Лазика к приоткрытой двери. В соседней комнате сидела молодая женщина, совершенно голая. Лениво зевая, она курила папироску. Лазик деликатно закрыл глаза.

— Очень симпатичная особа. Я только советую вам следить за ней, чтобы она не украла у себя глаза или губы. Третьего дня я узнал, что такие штучки бывают. Но вы, конечно, опытный спец, и у вас все будет, как в романе Кюроза. Я желаю вам вполне неспокойной ночи.

— Вы начинаете выводить меня из себя. У меня мигрень. Дайте мне порошки. Может быть, вы думаете, что я показываю вам ее для вашего удовольствия? Сейчас вы должны приступить к самой ответственной обязанности личного секретаря. Вы знаете, что мы — Коны — деликатного сложения. Я славился моими победами. Увы, теперь я обречен на бессрочную диету... Словом, вы будете играть с моей новой подругой, а я буду глядеть на вас и переживать каждое движение. Я жажду чувственной боли. Поняли?..

— Кажется, понял.
Лазик вежливо поздоровался с дамой.
— Я — Шванс. Личный секретарь. Пожалуйста, не стесняйтесь. Архип Стойкий, тот, например, совсем не стеснялся. Скажем, что вы сейчас загораете. И вообще, я смотрю не на вас, в на потолок. Скажите, вы тоже вроде личного секретаря? А вы не должны каждый день нюхать этот нахальный сыр? Я вам скажу что-то шепотом, он ведь сидит у двери: главное, не давайте укорачивать нос. Это полная пытка. Но что мы болтаем, когда мы должны работать. Я вот только не знаю, какие здесь игры, потому что у нас в Гомеле играют, скажем, в стуколку или в шестьдесят шесть. Впрочем, я не вижу даже карт...
Выбежав, Лазик деловито спросил Луи Кона:
— Почему же там нет колоды?
Впервые Кон вышел из себя:
— Вы меня убьете!.. Мигрень... Не помогают даже порошки. Я, кажется, в вас ошибся... Где же ваш темперамент? Выпейте этот коктейль для храбрости. Теперь идите скорее к ней!.. Я больше не могу ждать! Как вы можете спокойно сидеть, когда рядом с вами голая девушка? Вы должны с ней резвиться!
Лазик задумался.
— Нечего сказать — проблема! Оказывается — не карты, потому что вы без шубы. Ну да, вам, наверное, холодно сидеть на одном месте. Что же, будем резвиться. Я только не помню, как это делается. Кажется, «в кошки и мышки». Вы прыгайте, и я буду прыгать, но вы еще мяукайте, а я, например, залезу под этот диван и буду перепуганной мышкой.
Лазик исправно забрался под кушетку и стал там тихо пищать. Тогда Луи Кон не выдержал. Он сам вбежал в комнату:
— Идиот!.. Это — темперамент?.. О, если бы я мог!.. Сейчас же вылезайте! Выпейте еще коктейль. Выпили? Ну, а теперь за работу! Когда не нужно, вы показываете свои варварские повадки... Я вам приказываю: покажите себя свободным дикарем! Делайте все, что хотите!.. Я умираю... Я жажду боли!..
— Что же, если вы киваете головой, после таких двух обволакиааний я могу стать и нахалом. Во-первых, дорогая мадам, я вас умоляю, сейчас же наденьте на себя хоть купальные брюки, потому что вы не Венера, а здесь не американский Лувр. Я, между прочим, влюблен в Марго Шике, хоть она инвалид труда, и сердце у мени уже занято. Но вы ведь, наверное, любите цветочные подношения, так вот вам полный бумажник этого синкопа, и поезжайте себе домой. Это — раз. А вы, главный синкоп, ложитесь-ка на диван вашим половецким лицом вниз, и вы можете даже быть не как дома, то есть снять брюки, у меня есть хорошие подтяжки, и я вам в два счета устрою такую чувственную боль, что вы начнете молиться перед каждым Буддой. Что? Вы не хотите? Но я должен быть дикарем? Хорошо. Вот вам в лицо — начнем с пепельницы. Теперь получайте эти орхидеи с горшком. Теперь я уже могу перейти к Будде, если он весит пять веков.
На звонок пришел лакей, седой и важный.
— Жак, вы будете временно исполнять обязанности моего личного секретаря. Сейчас вы останетесь с дамой. Но прежде всего выкиньте этого негодяя и поучите его хорошенько на прощанье...

35

Снова настали для Лазика черные дни. Он был и судомойкой в ресторане, и грумом в ярмарочном балагане, он вертел шарманку, он продавал китайские орешки; время от времени его арестовывали, били, потом выпускали.
Один раз его выслали. Доехав до бельгийской границы, он грустно вздохнул: «Начнется игра в мячик...» Сел во встречный поезд и поехал без билета назад. По дороге его выкинули. Он продал костюм Луи Кона и вернулся в Париж.
Не раз, ночуя под мостом, он ругал себя:
— Идиот, почему ты тогда не доел этого вонючего фазапа?..
Часто ходил он в еврейский квартал, на улицу Розье. Когда бывали деньги, он пил там чай, ел рубленую селедку и вел философские беседы: о Талмуде, о госпоже Дренкенкопф, о большевиках. Там как-то встретился он с гомельчанином. Выслушав рассказ о франкфуртских приключениях Лазика, Янкелевич воскликнул:
— Охота вам пропадать под мокрым мостом, когда вы можете жить, как Чемберлен! Я был в Лондоне, и я это знаю. У вас, кажется, на плечах голова, а не что-нибудь. Так поезжайте сейчас же в Лондон к мистеру Ботомголау. Вы выйдете от него благородным миссионером, потому что он первый великобританский болван. Как будто Монька Жмеркин не жил этими проповедями ровно четыре года!..
Что же, мысль была не плоха. Но как добраться до Лондона? Денег нужно не так уж много. Допустим, что он снова станет грумом, или обезьяной, или самим чертом. Он может наконец объявить на неделю «Иом-Кипур». Словом, деньги он наскребет. А паспорт?..
— Паспорт вы можете получить в Лиге Наций.
Вспомнив незабвенного пана ротмистра, Лазик смутился:
— Это же, кажется, «Лига» с небольшими побоями?
— Ничего подобного, вы положите на бочку сто франков, и вы пойдете в эту Лигу как самая благоприятная нация. Но, может быть, вам выгоднее стать румыном, потому что эти Чемберлены обожают румын, а за те же сто франков вы сможете стать восторженным бессарабцем и получить румынский паспорт с самой королевой на заду.
Не прошло и двух месяцев, как Лазик стоял перед мистером Ботомголау.
— Что вы хотите, брат во Христе?
— Я хочу подкрепиться. Я снова говорю совсем не то. Это от мистического смущения. Я хочу, наоборот, взять на себя торжественную миссию. Я еще не знаю толком, как это делается, потому что с Янкелевичем мы говорили больше о паспортах, но вы сейчас мне все объясните, и я выйду от вас с миссией в шляпе. Чем я хуже какого-то Жмеркина?
Мистер Ботомголау сладко улыбнулся, и улыбка эта успокоила Лазика: нет, Янкелевич не подвел его! Так не улыбался даже одноглазый Натик, на что уж тот был глуп.
— Скажите вашим братьям, что Израиль заблудился. Он дал миру «Ветхий завет», но потом он побивал апостолов каменьями. Наша церковь — дочь синагоги. Пора блудному сыну вернуться в лоно! Мы встречаем прозревших иудеев с раскрытыми объятиями. Мы прижимаем их к сердцу. Наш дом — их дом. Святое Писание уже переведено на шестьсот семьдесят восемь языков, и мы его распространяем повсюду. Пусть иудеи придут, как желанные гости на пир. Вы знаете их нравы и обряды. Вы осторожно войдете в их доверие, и вы их поведете на Христово празднество. Наш завет прост: святое крещение, любовь, воздержание от крепких напитков, целомудрие, воскресная тишина. Скажите им, пусть они торопятся...
С готовностью Лазик ответил:
— Скажу! Обязательно скажу! А теперь перейдем к делу. Я вот только не знаю, как вас называть, потому что «брат» — это уже чересчур. Мы, знаете, и лицом не похожи друг на друга. Может быть, я обойдусь одним «кузеном»?
— Называйте меня просто мистер Ботомголау.
— Ну, чтоб это было очень просто для еврея из Гомеля, я не скажу, но я перескочу через любые звуки. А вы меня, кстати, называйте мистер Ройтшвенч. Так вот что, мистер Ботомголау, я буду все это говорить по знакомству, и меня будут слушать прямо-таки, как Мойсея, я ведь главный франкфуртский раввин. Но вопрос не в том. Я, например, в Лондоне уже четыре дня, и я еще ни разу не обедал. Так я хочу сразу на ваш пир. Если у вас без вина, то это еще полбеды; во-первых, можно зайти по дороге в бар, а во-вторых, я признаю даже самый слабый напиток, например, чай с молоком. У меня при одном этом слове текут слюнки. Скорее жмите меня к сердцу и ведите в этот дом!
— Дитя, вы путаете небесные богатства с земными. У меня четыре дома и две фабрики, у меня небольшой капитал, но я душой, может быть, беднее вас. А сказано: «Блаженны нищие духом». Не забывайте, брат мой, духом! Поэтому за себя я спокоен. Идите же скорее к заблудшим братьям и скажите им, что Мессия уже пришел. Они его не заметили. Это ужас!..
Мистер Ботомголау заплакал, Лазик стал утешать его:
— Не выливайте столько слез! Это — бывает. Они не заметили, потому что они страшно рассеянны. Они в это время, наверное, кушали костлявую рыбу или даже спали последним сном. Но я им скажу, что он уже пришел. Только ответьте мне без целомудренных намеков: вы мне дадите аванс или нет? Я же богатый духом, но без всякой фабрики. Интересно, как вы вообще платите: помесячно или поштучно, то есть за каждого блудного внука?
— Вы будете получать шестнадцать шиллингов в неделю. Вот вам один фунт, чтобы вы корректно оделись. Теперь можете идти.
Лазик вежливо раскланялся. Уходя, он, однако, вспомнил о главном:
— А где лоно?
— Какое лоно?
— Да вы ведь сами сказали, что их нужно тащить в какое-то лоно. Так дайте мне точный адрес.
Мистер Ботомголау только печально махнул рукой.
Лазик немедленно принялся за выполнение своих обязанностей. Он пошел а Уайт-Чепль. Нищета? Но разве он не ендел на своем веку нищеты? И все же он ахнул, увидев темные трущобы, лохмотья и голодные лица обитателей этого квартала. Он даже, забыв об осторожности, вздохнул вслух:
— Нечего сказать, хорошенькая Великобритания. Все-таки теперь я вижу, что наш Гомель — это настоящий шик.
Впрочем, никто не слышал столь подозрительных суждений. Женщины, толпившиеся вокруг, сушили пеленки, подбирали картофельную кожуру и переругиаались. Без труда Лазик разыскал десяток голодных евреев.
— Начнем сначала, то есть пойдем в этот пахучий ресторан. Что здесь люди едят? Хорошо? Десять порций мяса с картофельным пудингом и десять бутылок пива! Теперь можно поговорить о планах. Я же не нахал, чтобы пировать в одиночку. Мне сказал Янкелевич, а я уже предлагаю вам стройную организацию. У этого болвана четыре фабрики и шестьсот семьдесят восемь изданий. Что он хочет, этого нельзя понять, и потом это даже неинтересно, потому что, я же говорю вам, он роскошный болван. Но у него фантазии, и он все больше загибает насчет родства, я ему и брат, и блудный сын, и еще какое-то место, а синагога — мать церкви, а кто в синагоге — сразу его церковные дети, одним словом, он даже не умеет разобрать, где отец и где сын. Но я вас поведу к нему в лоно, и вы

кричите, что вы были блудные, а теперь хотите сплошного целомудрия. Потом он, наверное, начнет вас жать к сердцу, так вы не пихайте его, потому что это такой нахальный меланхолик, и если его отпихнуть, он весь обольется слезами. Поняли? А потом он даст вам что-нибудь, и, кроме того, я сейчас плачу за всю музыку. Идет?

Надо ли говорить, что предложение Лазика было принято единогласно? Горделиво улыбаясь, привел Лазик всю компанию к мистеру Ботомголау.

— Я уже сказал им. Видите, как быстро? У меня не голос, а Иерихонская труба с Синая. Это вполне понятно, потому что они ничего не ели. Это же богатые духом и без всякого блаженства. Пожалуйста, жмите их уже скорее к сердцу, и пусть они тоже что-нибудь получат, потому что я ухлопал на десять порций весь ваш корректный фунт.

Надежды Лазика не опраадались. Мистер Ботомголау вздохнул:

— Вы им не сказали главного: вы им не сказали, что не единым хлебом жив человек. Я вижу, брат мой, что вы еще мало подготовлены к вашей высокой миссии. Вот вам несколько душеспасительных книг. Я вам советую прежде всего внимательно прочесть их. После этого вы сможете проповедовать, толкуя набранные крупным шрифтом тексты. В субботу мы аам предоставим небольшой зал. Вы соберете этих прозревших овец, и вы осените их божьим словом. А теперь ступайте, мои дети! Меня ждут китайцы, которые тоже жаждут прозреть.

Лазик попробовал было заикнуться:

— А как же с покойным фунтом? Он ведь ушел нв этих полуслепых овец.

Но мистер Ботомголау одарил его только новым поучением:

— Не забывайте, кстати, мой брат, что пиво — это тоже крепкий напиток.

Выйдя на улицу, Лазик обвел свое стадо торжествующим взглядом.

— Ну, что я вам говорил? Вы, может быть, скажете, что вы видели где-нибудь подобного болвана? Я только не понимаю, почему у него такой нервный нос? Он догадался о пиве. На это его хватило. Но с родством он снова напутал. Я — его брат, а вы — его дети, значит, вы — мои дорогие племянники. Он сам не знает, что ему нужно. То он хочет, чтоб я вас слепил, как последний злодей, то он хочет, чтобы вы сразу прозрели. Но мы его все-таки перехитрим. В субботу зовите туда всех, у кого только хорошенький оркестр в желудке. Я скажу такую грохочущую проповедь, что даже стены будут блеять, как овцы. Тогда-то мы с него получим все сто фунтов. А пока что купим хлеба на духовный ужин, потому что от фунта еще остался крохотный осколок.

Помещение общества «Спасенный Израиль» было в субботу переполнено. Память о картофельном пудинге и разговоры о четырех домах мистера Ботомголау всколыхнули Уайт-Чепль. Лазик весело вскарабкался на кафедру:

— Тсс! Третий звонок! Я вижу, что труппа пользуется неслыханным успехом. В Гомеле даже московская оперетка не собирает столько голов. Ну, я начинаю. Ненаглядные овцы, и ты, спасенный Израиль Мовшед, знаменитый сват нашего золотого Гомеля, здравствуйте! Сейчас я буду толковать крупный шрифт. Только я попрошу вас об одном. Пожалуйста, ради моего и ради вашего аппетита не сидите, как бревна. Когда я вам скажу «ослепните», закрывайте сразу глаза, потому что вам ударило в нос спасительное слово, а когда я крикну «прозревайте», то глядите в оба, пусть у вас глаза даже лезут на лоб, потому что от второго слова происходит хирургическая операция. Поняли? Кто не понял, пусть поднимет руки, и подавляющим большинством слушайте. Крупный шрифт номер один: «Израиль, гляди — Мессия, о котором говорили пророки и которого ты ждешь, давно пришел». Крупная точка, и можете ослепнуть, а я буду толковать. Пророки, конечно, издавали возгласы. Живи они теперь, их, наверное, посадили бы в тюрьму. О чем они кричали, эти сумасшедшие агитаторы? Мы же учились в хедере, и мы знаем их номера. Они, например, шумели, что все на земле не так, и что сильный обижает слабого, что правду можно спрятать в глубокий карман, как будто это газета, что у одних много, а у других мало, и что это просто вавилонское свинство. Они, конечно, тонко намекали, что может произойти полное наоборот. Вдруг придет Мессия, и тогда начнется замечательная справедливость. Ротшильд выйдет себе пастись на лужайку вместе с вами, и ему пудинг и вам пудинг, пан ротмистр или, скажем, миссис Пуке перестанут хватать Ройтшванеца за больные места, а вместо пограничной стражи расцветут безусловные орхидеи. Конечно, Мессия — это тонкий псевдоним. Что же получилось: оказывается, он уже пришел. Странно подумать, что мы его не заметили! Скорее прозрейте, включая три руки меньшинства! Разве вы не видите, что на земле стопроцентная справедливость? У мистера Ботомголау, например, четыре дома, но они ему не нужны, он живет в духовных облаках, он же нищий духом. Вы спросите, почему он не отдает вам этих домов? Потому что он вас жалеет. Если у вас будет кровать с периной, вы станете тоже нищими духом, а пока вы просто нищие. Но я вас умоляю, погуляйте по роскошному Лондону, и вы увидите, что Мессия уже пришел. Вы скажете, что Ротшильд еще не пасется? Но он не овца. Он кушает курицу. А если у вас есть завалявшиеся фунты, вы тоже можете кушать курицу, совсем как он. Но если даже у вас нет фунтов, то у вас есть вексель на загробный рай, это сказано в девятом шрифте, и вы мо-

жете учесть этот вексель в любом банке. Потом, у вас свобода слова. Вы можете, например, сказать: «Мне таки хочется кушать», — и никто на это слова не возразит. Что касается заноз, то не надо лезть на занозы, надо уважать чужую личность. У нас в Гомеле был один маклер Гурчик. Так вот, он однажды сидел и кушал гуся с гречневой кашей, а к окну подошел нищий и стал просить хлеба. Тогда Гурчик произнес целый крупный шрифт: «Эти нахалы сами не едят и другим не дают». Я, например, сам виноват, я схватил в Киеве не ту ногу. Словом, на всей земле стоит неслыханная свобода, и мистер Ботомголау всех жмет к сердцу, и я считаю единогласно принятым, что Мессия уже пришел. А для колеблющихся элементов я читаю в седьмом тексте, что он снова придет, и это называется «второе пришествие». Если у него такие блестящие результаты, я думаю, он может ходить без конца. Так пусть он ходит, а мы пойдем на пир. Я предупреждаю, что если идти не вприпрыжку, так этот болван отдаст все жаждущим китайцам, потому что они тоже знают дорогу в его лоно. Составим резолюцию с подписью. Скажем, что мы его братья, и дети, и ануки, и даже отцы, только чтоб он отколупнул нам от своей фабрики несколько золотых кирпичиков, потому что в крупном шрифте номер четыре прямо сказано, что голодных надо кормить и даже одевать в свою последнюю рубашку, а у него, наверное, есть предпоследняя, так пусть одевает и пусть кормит, если мы единогласно такие голодные, что мою проповедь заглушает сплошная опера в ста животах. Значит...

Закончить Лазику не удалось. Протиснувшись среди толпы, к нему подошел некто, бедно одетый и ничем с виду не отличавшийся от других слушателей. Строго сказал он:

— Следуйте за мной.

— Куда? Если в лоно, так туда я сам знаю дорогу, и вообще, там жалование выдают только по понедельникам.

Тогда настойчивый незнакомец показал Лазику какую-то карточку. Лазик посмотрел и негодующе воскликнул:

— Я еще не Чемберлен, чтобы уметь сразу читать эти великобританские любезности! Но я уже кое-что понимаю. Скажите мне просто, куда я должен следовать — туда или не туда?

Но сыщик, не зная о богатом опыте Лазика, ответил официально:

— Я — представитель Скотланд-Ярда. Вы арестованы как большевистский агитатор.

36

Мистер Роттентон сразу ошарашил Лазика:

— Вы — большевистский курьер. Вы направлялись из Архангельска в Ливерпуль. Вы везли секретные фонды коминтерна, а также письмо Троцкого к двум непорядочным англичанам. При аресте вы успели передать деньги членам преступной шайки и проглотить документ.

Последнее показалось Лазику чрезвычайно смешным. Хоть стриженые усы мистера Роттентона сурово топорщились, Лазик не выдержал: он расхохотался.

— Я же понимаю, куда вы гнете!.. Вы хотите меня обвинить в том, что я кушаю важную бумагу. До этого не дошли даже паны ротмистры. Это так смешно, что я давлюсь, хоть, может быть, это мои фатальные звуки. Неужели вам приходят такие штучки в голову? Но вы же тогда настоящий комик с обеспеченными гастролями. Лазик Ройтшванец, мужеский портной из самого обыкновенного Гомеля, где все кушают котлеты или зразы, или хотя бы голубцы, питается исписанными листочками! Нет, мистер... как вас, хоть я и дублировал два дня заболевшую обезьяну, на это я еще не способен.

— Вы напрасно отпираетесь. Я предлагаю вам указать местонахождение секретных фондов, а также восстановить содержание проглоченного документа.

— Послушайте, может быть, «документы» — это тоже псевдоним, вроде, скажем, роскошного пира для блудящих овечек? Кто вас знает, какие вы здесь придумываете скотландские фокусы! В четверг я действительно проглотил большой кусок мяса и картофельный пудинг. Что правда, то правда. Но ведь с тех пор сколько слюнок утекло! Так что восстановить это с подливкой я уж никак не могу. Вы думаете, мне самому не жалко? Да умей я восстанавливать проглоченное, я бы стал таким же мистером, как вы. Я отпустил бы себе усы для страха, и точка. Пусть они там трепыхаются, а я сажусь за готовый стол и кричу: «Алло! Алло! Печенка на свадьбе Дравкина, пожалуйста, восстановись!» Это была бы не жизнь, а рай.

— Попытка заговорить меня ни к чему не приведет. Если вы сознаетесь, мы вас отпустим на свободу. Если вы будете упорствовать, мы тоже проявим упорство. Вам придется тогда задержаться в Англии.

— Когда я был еще желторотый филин, я боялся таких задержек. Я хотел тогда скорее на свободу. А теперь я привык. Потом, у вас в тюрьме довольно сухо, не как в Гродно, стол, правда, неважный, но все-таки это помои, а не глотательная бумага. Спешить мне тоже некуда. Так и уже на месяц-другой удержусь.

Усы мистера Роттентона раздраженно запрыгали.

— Вы — партийный фанатик.

Он решил потрясти этого бесстрашного сектанта строгой логикой. Долго рассказывал он Лазику о мощи Великобританской Империи, о расцвете промышленности, о преданности индусов, о миролюбии ир-

ландцев, даже об открытии четырех кондитерских и высшей школы вышивания бисером на каких-то Соломоновых островах, где живут особые людоеды, которые обожают короля Георга, мистера Чемберлена и английские пикули. Лазик слушал с интересом. Он кивал головой.

— Замечательный реферат! У нас на политграмоте тоже говорили, что разруха упала на двести процентов и что теперь сморкаются не двумя пальцами, а больше. Я вас поздравляю, мистер, как вас... Скажите, а с чем эти людоеды кушают пикули? Может быть, с бисерным документом, тогда вы, наверное, спутали: Гомель не на острове, он не плавает, он спокойно стоит, и только внизу бурлят волны великого Сожа.

Не оценив географических познаний Лазика, мистер Роттентон продолжал патриотический спич. Теперь он высмеивал бессилие России: неурядица, развал промышленности, пустая казна, жалкая армия, бунты на окраинах.

— Сравните их флот с нашим флотом: дредноут и лодочка. Наши законы с их законами: сто томов и проглоченная вами цидулька. Наши финансы с их финансами: банк Великобритании и несколько краденых пенсов, которые вы успели спрятать. Наконец, наш ум с их умом: вы и я. Стоит нам дунуть, и они полетят как пушинки. Как же они смеют не подчиняться нам? Подумать, что среди англичан находятся низменные натуры, которые верят в эту дурацкую доктрину! Не будь ста томов, я бы просто повесил их, а теперь мне приходится ждать, пока мистер Чемберлен составит сто первый том с отменой первых ста. Тогда-то мы им покажем!

Усы мистера Роттентона неистовствовали, и Лазик решил развеселить собеседника какой-нибудь гомельской историей.

— Это совсем как с выдуманным богом. Ему вдруг не понравилось, что евреи расшаркиваются перед каким-то Ваалом. Он стал кричать: «Что за посторонние расходы? Этот Ваал ничего не умеет делать. Это просто кусок плохого дерева, а не полномочный бог. Я могу сейчас же послать вам кровавый дождь, саранчу, холеру, словом, все, что мне только вздумается. А что он может? Ровно ничего». И бог так ворчал с утра до ночи, что всем евреям это надоело. Тогда один умник решил закончить эту затянувшуюся сцену. Он говорит богу:

— Сейчас я попрошу у Ваала себе двести тысяч, а Ципировичу одну египетскую казнь.

Бог хохочет — он притворяется, что ему смешно.

— Посмотрим, какие он тебе придумает египетские казни!..

— Значит, этот Ваал ничего не умеет.

— Конечно, ничего, если он просто телеграфный столб.

— Тогда почему же ты к нему ревнуешь? Какой еврей станет ревновать свою жену к полену?

Здесь выдуманный бог смутился, и он ушел на цыпочках домой. Эту историю я слышал еще в Гомеле, и это, конечно, половина истории, потому что, наверное, Ваал тоже волновался. А мне один ученый доктор говорил, что от волнения вскакивают прыщики. Так я умоляю вас, не волнуйтесь! Если у них ничего нет, кроме сплошной глупости, зачем волноваться? Дуньте, и они уже улетят, а у вас останутся ваши преданные кондитерские.

Лазик ошибся — рассказанная им история не успокоила мистера Роттентона.

— Преступник! Шпион! Наглец! Как вы смеете насмехаться над конституцией империи? Я не хочу с вами разговаривать. Извольте отвечать на вопросы. И без отнекиваний. Не то вам будет худо. Вы — большевистский курьер. Вы ехали из Архангельска... Подпишитесь.

— Хорошо... Я беру перо. Это все-таки лучше, чем когда ваши усы прыгают. Кто вас знает, какие у вас здесь порядки!.. Ну, вы довольны, что я записался? Теперь скажите мне, где он плавает, этот Архангельск, потому что я там еще не был. Нельзя ли там выступить раввином или обезьяной?

— Не прикидывайтесь! Письмо вы проглотили. Отнекиваться поздно — вот ваша подпись. Содержание документа вам хорошо известно. Троцкий сообщал о разгуле большевистской клики и настаивал на выступлении в Ливерпуле. Вот вам бумага и перо. Восстановите текст. Если...

Лазик перебил:

— Не если, а уже...

На лице Лазика появилась смутная улыбка, свидетельствовавшая о творческом напряжении. Через несколько минут он подал мистеру Роттентону исписанный лист.

«Уважаемый товарищ по всем великобританским номерам! Наша клика веселится, как последние нахалы. На краденые деньги из пустой казны мы едим картофельный пудинг с подливкой под грохочущий провал всех окраин. Кругом одни китайские генералы и кулебяка с капустой. Это не жизнь, а смехотворный разгул. Но что же вы там ловите мух и теряете ваше драгоценное время? Я кричу вам: уже выступайте! Вот вам двадцать пенсов, чтобы вы обвязали себя пулеметными лентами с головы до ног. Наш план очень простой: взорвать Соломоновы кондитерские, тогда людоедам останутся только пикули, и вы пошлете к ним этого мистера с усами, который сейчас кричал на меня. Я не знаю еще его полного имени. Потом надо позвать всех преданных индусов на пир в лоно, и от Ливерпуля останется только четыре-пять голых камней. Но прошу вас на коленях — не валандайтесь! Когда я скажу «раз-два-три», начинайте, и если вы их всех ухлопаете, я угощу вас здесь таким жирным поросенком с кашей, что вы оближете все ваши красные пальчики шпиона и палача. Ну, будьте здоровы, я устал, и кланяйтесь вашей жене. Как, кстати, детки? Ваш до гроба Троцкий».

— Браво! Вот это документ! Как естественно!.. И насчет известного англичанина с усами тоже хорошо: око Москвы. Я вас поздравляю. А теперь отправляйтесь в тюрьму.

— Если «браво», почему же в тюрьму? Я согласен был задержаться, только чтобы не обидеть хозяев, но, конечно, я предпочитаю скакать по открытым улицам.

Но мистер Роттентон больше не слушал Лазика.

В тюрьме у Лазика было немало времени, и, пытаясь смягчить сердце мистера Роттентона, Лазик составил еще несколько писем: Троцкого — Зиновьеву, Зиновьева — мистеру Ботомголау, даже миссис Пуке — мистеру Роттентону. (Последнее изобиловало товарищескими советами.) Однако Лазика не выпускали. Он так увлекся новым занятием, что решил написать кому-нибудь настоящее письмо. Но кому? Фене Гершанович? Нельзя — перехватит Шацман. Минчику? Зачем волновать и себя, и его? Тогда, может быть, Пфейферу? Как-никак Пфейфер был ответственным съемщиком.

Лазик и это письмо передал надзирателю.

— Вот, отошлите, раз у вас не государство, а почтовая контора. Только, пожалуйста, не перепутайте. Оно не Зиновьеву и не Чемберлену. Оно всего-навсего одному анониму.

«Дорогой Пфейфер! Я пишу вам из восемнадцатой решетки, так что трудно только начало. Я, кажется, не падаю духом, хоть моя жизнь теперь один анекдот из репертуара Левки. Как вы говорили: «Человек слабее мухи, и он сильнее железа». Чем я только не был? Если мне придется теперь заполнить анкету, я изведу пуд казенной бумаги. Я посылаю вам мой портрет одного короткого момента, когда я по обязанности купил вонючие букеты, но вы не обращайте на него внимания. Если я похож там на стрекозу из театра, на самом деле — я обыкновенный еврей, у которого в жизни маленькие неудачи. Не показывайте этого портрета дорогой Фене, урожденной Гершанович,— не знаю, за каким она теперь Шацманом. Пусть она не глядит на роскошный галстук. Она еще скажет: «Этот пигмей теперь задается». Дайте ей только один сплошной приветик от справедливо поруганного Ройтшванеца. Здесь капнула на листок произвольная слеза, так что простите мне позорную кляксу. Напишите, как живете вы, и дорогая ваша жена, и бриллиант Розочка, и умничек Лейбчик, и золото Монюша? Чьи на вас теперь брюки, мой кровный Пфейфер? Вспоминаете ли вы, когда отлетает пуговка или лопается сразу сзади, смешного Ройтшванеца, который тут как тут с иголкой? Мое сердце рвется, и я мечусь, как тигр. Увижу ли я снова Гомель, и деревья на берегу Сожа, и всех друзей, и даже постыдную бочку или я умру среди этих ста томов? Но я замолкаю ввиду полной цензуры. Я даже кричу «ура» их королевскому дредноуту. Прощайте, дорогой Пфейфер! Я, наверное, скоро умру. Во-первых, мне теперь часто снится, что я уже лежу под землей, но пусть это сон, и главное, во-вторых, то есть они хотят оглашать разные письма, а автору пора на тот свет, если он великий поэт, скажем, как Пушкин. Не сердитесь, что вместо письма выходит намек, вы же знаете, что значит, когда все кругом вами интересуются, как будто они мать иля брат... Тысяча точек. Если я умру, пусть в вашем союзе кустарей-одиночек не спускают могучего флага. Это слишком рискованные шутки. Нет, пусть лучше они сыграют похоронный марш, потому что я был честным тружеником, и за мной идет свежий строй ратников. Растите, Розочка, Лейбчик, Моничка! Цветите! Чего вам желает из-за могилы полуживой Ройтшванец».

Лазик напрасно старался — Пфейфер никогда не получил этого письма, но не прошло и трех дней, как Лазика снова вызвали к мистеру Роттентону. Войдя в кабинет, Лазик поспешно спросил:

— Еще писать? У меня уже иссякают рифмы.

— Я прочел ваше письмо какому-то восточному агитатору. Неужели вы хотите вернуться в Гомель?

— Ага, теперь вы поняли, что я из Гомеля, а не из Архангельска?.. Хочу ли я вернуться? Это вопрос. Кажется, хочу. Хоть меня там, наверное, посадят сразу на занозы. Я ведь в Париже голосовал за августейшую поступь, так что меня могут вообще расстрелять. Но здесь мне тоже крышка, и тогда остается голое любопытство: там я хоть перед смертью увижу, чем кончилась эта нежность с Шацманом.

— Нет, я вас не пущу, бедный Ройтшванец, в эту западню! Они должны вскоре пасть. Я раскрою перед вами все карты: мы дунули. Теперь остановка только за ними, правда, они еще не летят, но, наверное, завтра или послезавтра они полетят как пушинки.

— Конечно! Оттого вы сегодня веселый. Даже усы ваши не прыгают. Вот я люблю поговорить, когда такое небесное настроение. Но зачем вы все время думаете о них? Не стоит. Глядите, и прыщик у вас вскочил на носу. Знаете, на кого вы похожи — на старую стряпуху. Это была вполне православная на мельнице возле Гомеля, и там жил старик Сыркин, который ел только «кошерную» кухню. Он был такой отсталый, что при одном виде свиньи у него делался насморк. Он варил себе каждый день похлебку в отдельном горшке. И вот, что же видит Шурка из ячейки? Горшочек кипит, Сыркин считает мешки, а стряпуха

тихонько кидает в суп кусочек свиного сала, и так повторяется каждый божий день. Она даже не жалела своих продуктов. Шурка, конечно, не выдержал, и он спрашивает: «Почему такие придатки?» Но она ему спокойно говорит: «Нехай жидюга не войдет в царство небесное». Так и вы со мной. Кстати, я сижу уже два месяца, значит, вы успели напечатать все, что я проглотил, и теперь меня можно выставить наружу.

— Нет, мы вас не можем просто отпустить. Вы ведь теперь связаны с нами. Я предлагаю вам выгодные условия. Вы будете собирать для нас сведения среди лондонских евреев и вылавливать большевистских агитаторов. Одиннадцать фунтов в месяц.

Лазик вздохнул:

— Вы таки не желаете свиного сала!.. Ну что же, придется взять небольшой аванс...

Выйдя на свободу, Лазик отправился в Уайт-Чепль. Там он закусил, приобрел по дешевке перелицованный костюм и литовский паспорт и после этого, не задумываясь над будущим, пошел на ближайший вокзал. Увидев у кассы знакомое имя, он взял билет до Ливерпуля. Приехав туда, он стал бродить по набережным, разглядывая пароходы. Куда ему ехать? Да все равно... Только бы не в Румынию и не на эти Соломоновы острова! Вдруг он увидел на палубе толпу евреев. Совсем Гомель...

— Куда вы едете таким хором?

— Куда? Конечно, к себе на родину, то есть прямо в Палестину.

Лазик задумался: почему бы и ему не поехать с ними? Может быть, евреи будут повежливей, чем эти великие британцы. Хорошо! Он тоже — пылающий сионист, и он едет по удешевленному тарифу на свою дорогую родину.

Перед самым отходом парохода Лазик почувствовал беспокойство. Вот что значит привычка!.. Спешно купил он открытку с изображением дредноута и написал на ней:

«Дорогой мистер Роттентон! Я привык писать, и я пишу вам. Вы таки скотландский дурак. Может быть, вы родственник мистера Ботомголау? Но дело не в этом. Я забыл вам сказать, что я действительно курьер, что я проглотил бумажку, а на ней был настоящий секрет. Теперь я доехал в Ливерпуль и все здесь восстановил единым духом. Так что берегитесь с вашими пикулями! Отсюда я уезжаю обратно, и не в Гомель, а в Архангельск, потому что вы случайно попали пальцем туда. На ваши деньги мы выпили несколько бутылок вина, и я теперь хохочу, как преданный индус. Вы можете мне писать до вашего востребования или не писать, но сбрейте ваши усы, не то над вами будут смеяться все встречные кошки. Ваш до гроба мистер Лазик Ройтшванец».

37

Денег не хватило. Однако на пароход Лазик попал. Он чистил обувь пассажиров первого класса. В свободное время он проходил на нос, где помещался третий класс. Кого только там не было? Безработные из Уайт-Чепля, литовские эмигранты, старые цадики, ехавшие в Палестину, чтобы умереть, и задорные сионисты, с утра до ночи горланившие национальные гимны, пейсатые привидения иных времен, надевавшие для молитв талесы и ремешки, а рядом с ними коммунисты. Счастливчики из Нью-Йорка меняли доллары, галицийские хасиды, вздыхая, вытаскивали из лапсердаков злоты, а какой-то перепуганный резник прятал от всех, как тайную прокламацию, один сиротливый червонец.

В первом классе было чинно и скучно. Богатая еврейка из Чикаго ехала посмотреть на Святую Землю. В ожидании щедрот господа бога пока что, над фаянсовой чашкой, она отдавала ему день и ночь, видимо, никому не нужную душу. Английские чиновники показывали друг другу фокусы, пили портвейн и шагали по палубе, методично перебирая длинными ногами в клетчатых брюках. Здесь не было ни анафем, ни молитв, ни рассказов о погромах, ни споров между коммунистами и поалейционистами, ни замечательных биографий. Здесь Лазик ваксил ботинки. На носу — он слушал, говорил, вздыхал.

Иногда он садился на бочку и, одинокий, мечтал. Он не соврал в письме к Пфейферу, за годы блужданий он действительно осунулся и постарел. Ему теперь давали за сорок. Он хворал, кряхтел, кашлял, жаловался — грудь, бок. При малейшем напряжении его лоб покрывался холодной испариной. Может быть, он простудился, или это перестарался майнцский колбасник — не знаю, но стоило поглядеть на его лихорадочные глаза, чтобы воскликнуть: эй, дорогие гомельчане, вы живете припеваючи, среди фининспектора, оперетки и гусиных шкварок, а вот наш Лазик Ройтшванец погибает! Он много видал, он узнал и любовь, и горе, он все узнал, теперь он сидит в сторонке, кашляет, горбится, нет у него даже сил, чтобы рассказать вот тому богобоязненному цадику, как молодец Левка в «Иом-Кипур» слопал перед самой синагогой целую колбасу за здоровье всех постников, так что у Когана потекла на мостовую неприличная слюна. Нет, он сидит, закутавшись в старый мешок, и смотрит на море.

— Что же вы ничего не скажете? — спросил Лазика один из нью-йоркских евреев.

— Я должен чистить сапоги, говорить я не обязан. Я, кажется, достаточно в моей жизни разговаривал. Если б вы меня увидали без рубашки, вы бы, наверное, ахнули, потому что там нет местечка без печати,

как будто мое скорбное тело — это паспорт. Я говорил два коротких слова, а они переходили, скажем, на полный бокс. Почему я еду в эту Палестину, а не в Америку и не на голый полюс? Я думаю, что евреи не умеют организованно драться, и это для меня еще маленький шанс на жизнь. Можно себе представить, какие электрические палки в Америке! На том же голом полюсе сидит, наверное, полицейский доктор ровно с двумя кулаками. А евреи меня мало били. Правда, во Франкфурте господин Мойзер поломал на мне зонтик, но куда же дождевому зонтику до колбасной дубины? Я думаю, что в еврейской Палестине меня перестанут печатать. Тогда вы уже правы, и это вполне Святая Земля. Почему я не читаю рефераты? Я устал. Это бывает со всяким. И потом — откуда вы знаете, может быть, я сейчас разговариваю с этой сумасшедшей водой?

Старик Берка в Гомеле, тот говорил, что всякая вещь поет. Вы думаете, что этот мешок молчит. Нет, он выводит свои мотивы. Дураки, конечно, слышат только готовые слова, а умные, они слышат мелодию. Вот почему, когда два дурака сидят вместе, они не могут молчать, им скучно, и они начинают обязательно ворочать языками. Я вовсе не первая голова, но кое-что я слышу. Я слышу, например, как поет это море, и не только плеск воды, но разные предрассудки: о большой жизни без всяких берегов, когда сходятся море и небо, и они — настоящий мир, а эти три класса со всеми свистками только фальшивая нота. Я уже слышал в жизни, как поют самые разные штуки. Когда я хорошо кроил брюки, они радовались, и они пели. Каждой вещи хочется быть лучше, как вам и как мне, только люди стыдятся красивых мотивов, а брюки раскрывают себя до конца.

Берка говорил, что чем умней человек, тем больше мелодий он слышит, но сам Берка был отсталым хасидом, и он слышал только, как поют души набожных евреев у него в синагоге. Если верить ему, то Моисей слышал, как поют души всех евреев на свете. Я, конечно, не знаю, сколько в этом простого опиума. Я вот только редко-редко слышу какой-нибудь короткий звук, и тогда я смеюсь от счастья, а потом снова начинается глухонемая жизнь. Интересно, есть ли человек, который слышит сразу все мелодии: и евреев, и этих великих британцев, и кошек, и сюртуков, и даже черствых камней? У такого умника, наверное, сердце переезжает из груди в голову — поближе к ушам, чтобы ему было удобнее слушать, потому что мозгами можно выдумать башню без проволоки, как в Париже, и там ловить различные слова, но настоящую мелодию нельзя словить в трубку. Ее ведь слышат только сердцем.

Теперь вы видите, что я могу иногда говорить? Хорошо, что я еще не еду в вашу Америку! Там они умеют взять еврейский язык и сделать из него один нумерованный доллар с головой женатого президента.

Стояла тихая погода, и Лазик любовался цветущими берегами Португалии.

— Что за предпоследняя красота! Вот я и увидел своими глазами выдуманный рай. Здесь, наверное, столько орхидей, что из них делают смешное сено, а на бананы здесь вообще никто не смотрит, как у нас на подсолнухи. Их грызут только самые несознательные португальцы. А дворцы! Вы видите эти дворцы? Но если подумать хорошенько, то это все-таки не рай. У меня в кармане портрет португальского бича. Я провез его через все испытания. Ну, дорогой бич, посмотри-ка на свою родину! Скорей всего, этот бич сидит теперь на португальских занозах. Конечно, такое солнце — уже половина счастья, и оно для всех. Но кушать португальцы тоже хотят. Нельзя ведь весь день нюхать орхидеи. Вот и получается: вместо Португалии просто-напросто Гомель. Вы что думаете, если глядеть на Гомель издали, это не красота? Можно выпустить тоже восторженные вздохи. Потому что издали виден крутой берег, и могучие деревья, и парк Паскевича со всеми драгоценными беседками. Счастье видно за сто верст, а горе нужно уметь разнюхать. Вот и все. Мы можем ехать дальше, и даже неизвестно, о чем мечтать: если этого бича выпустит наружу хорошенький гнев масс, на занозы посадят другого, потому что земля повсюду земля, она царапается, а человек сделан из одного теста, он или полномочный нахал с шведской гимнастикой или зарезанный кролик. Нет, лучше уже глядеть на море, там, конечно, тоже рыбье несчастье, но там, по крайней мере, нет грохочущих слов.

Я слышал в Гомеле очень тонкую историю о царе Давиде. Это был, мало сказать, царь, он был еще замечательным поэтом, и у него все лежало под рукой: и вино, и музыкальные барабаны, и обед по звонку, как в первом классе, и сколько угодно бумаги, так что он каждый день сочинял какой-нибудь красивый стишок. Вот однажды ему повезло. Он сидел, корпел, он не мог выдумать, как бы еще прославить этого выдуманного бога. У него не хватало слов. Раз уже выдумаешь такую вещь, как бог, надо уметь с ней обращаться, а он берет готовые слова, и ни одно не годится, все они маленькие, так что бог вылезает из них, как из детского костюмчика. И вот ему приходят в голову два или даже три неслыханных слова. Он сочиняет стихи высший сорт. Он, конечно, счастлив и берет тетрадку под мышку, и всем читает, и слушает комплименты: «Вы, царь Давид,— новый Пушкин, вы признанный гений». Ведь все поэты любят хвастаться. Шурка Бездомный хотел, чтоб по нему называли папиросы вместо «Червонец». Так легко себе представить, до чего доходил этот певучий царь. Он чуть было не лопнул от славы. Вот он

уже прочел свои стихи всем: и жене, и детям, и придворным, и критикам, и просто знакомым евреям. Больше уже некому читать. Он гуляет по саду, и он весь блестит от счастья, как начищенный самовар. Вдруг он видит жабу, и жаба спрашивает его с нахальной улыбкой:

— Что ты так сияешь, Давид, как будто тебя натерли мелом?

Царь Давид мог бы вообще не ответить. Он же царь, он же гений, он то и се, зачем ему разговаривать с незнакомой жабой? С жабами вообще не разговаривают. Их отшвыривают, чтобы они не лезли под ноги. Но все-таки царь Давид — это не Шурка Бездомный. Он что-то понимал, кроме комплиментов. Он ответил жабе:

— Ну да, я сияю. Я написал замечательные стихи. Ты только послушай!

И он стал читать ей свои восторженные слова. Но жабу трудно было смутить. Она спрашивает:

— Это все?

— Это один стих. Но у меня есть тысяча стихов, потому что каждое утро я просыпаюсь, и я радуюсь, что я живу, и я сочиняю мои красивые прославления.

Здесь жаба расхохоталась. Конечно, жаба смеется, не как человек, но когда ей смешно, она смеется.

— Я не понимаю, чего ты так задаешься, Давид? Я, например, самая злосчастная жаба, но я делаю то же самое. Разве ты не слыхал, как я квакаю, хоть мне и не говорят комплиментов. А чем, спрашивается, эти громкие слова лучше моего анонимного кваканья?

Царь Давид даже покраснел от стыда. Он больше уж не сиял. Нет, он скромно ходил по саду и слушал, как поет каждая маленькая травка. От такой последней жабы он и стал мудрецом.

Но вы поглядите на это море! А облака!.. Разве это не лучше всех наших разговоров?

Увы, недолго Лазику довелось любоваться красою природы. Подул западный ветер. Началась качка. Еле-еле дополз Лазик до борта.

— Что это за смертельный фокстрот? Море, я еще так тебя расхваливал, а ты, оказывается, тоже против несчастного Ройтшванеца! Довольно уже!.. Я увидел, что ты умеешь все фокусы, но я ведь могу умереть. Ой, Фенечка Гершанович, хорошо, что ты меня сейчас не видишь!..

Раздался звонок. Горничная сердито крикнула:

— Туфли в каюту сорок три! Живее! Почему вы их не чистите?

— Я могу только сделать с ними полное наоборот. И вообще не говорите мне о каких-то туфлях, когда я торжественно умираю. Что ж это за «святая земля», куда так трудно попасть маленькому еврею? Лучше уж сорок лет ходить по твердой пустыне. Уберите эти туфли, не то будет плохо!..

Сияло солнце, синело, успокоившись, море, мерно шел своей дорогой пароход «Виктория». Пассажиры первого класса переодевались к обеду. Непрестанно дребезжал звонок. Но не было ни сапогов английского майора, ни полуботинок двух веселых туристов, ни туфель богатой еврейки. На носу копошилась крохотная тень. Лазик по-прежнему стоял, согнувшись над бортом. Наконец-то его нашел лакей.

— Тебя все ищут, а ты что — рыбу ловишь? Где ботинки?

— Я... я не могу...

— Не валяй дурака. Качка кончилась.

— А вдруг она снова начнется? Это же не по звонку; так я сразу встал в удобную позу.

Это было мудро, но лакей, видимо, не любил философии. Он отлупил Лазика сапогами английского майора. Сапоги были солидные и со шпорами.

38

Приехав в Тель-Авив, Лазик сразу увидел десяток евреев, которые стояли возле вокзала, размахивая руками. Подойдя к ним поближе, Лазик услышал древнееврейские слова. Он не на шутку удивился.

— Почему вы устраиваете «минимум» на улице или здесь нет синагоги для ваших отсталых молитв?

— Дурень, кто тебе говорит, что мы молимся? Мы обсуждаем курс египетского фунта, и здесь все говорят на певучем языке Библии, потому что это наша страна, и забудьте скорее ваш идиотский жаргон!

Лазик только почесался. Он-то знал эти певучие языки! Они хотят устроить биржу по-библейски? Хорошо. У кого не бывает фантазий. Главное, где бы здесь перекусить?..

Печально бродил он мимо новых домов, садов, магазинов. На вывесках булочных настоящие еврейские буквы. Факт! Но булки остаются булками, и чтобы их купить, нужно выложить самые обыкновенные деньги...

Лазик присел на скамейку в сквере. От голода его начинало мутить.

— Земля как земля. Я, например, не чувствую, что она моя, потому что она, наверное, не моя, а или Ротшильда, или сразу Чемберлена, и я даже не чувствую, что она святая. Она царапается, как повсюду. Но кого я вижу?.. Абрамчик, как же вы сюда попали? Сколько лет, как вы из дорогого Гомеля? Уже три года? Пустячки! Ну как, вас тоже тошнило на этой мокрой качалке?..

Абрамчик печально вздохнул.

— Я уже не помню, потому что с того времени я столько качался, что пароход кажется просто колыбелькой. Я пробовал копать землю, но со мной сделался маленький солнечный удар, так что я провалялся полгода в больнице. А потом меня избили ночью арабы, и я снова вернулся в больницу. А потом я продавал газеты на жаргоне, и меня избили не арабы — евреи. Но тогда меня даже не пустили в больницу. Хорошо. Я решил стать нищим в Иерусалиме. Это довольно выгодное дело. Вы же помните, что в Гомеле набожные еврейки кидали у себя в жестяную кружку то пять копеек, то десять, а потом приезжал один из Палестины и забирал все. Так, оказывается, эти кружки висят повсюду, и что же, получаются крупные нули, так что стоит кричать у «стены плача», раз за это получаешь месячный оклад. Я так кричал, как будто меня резали. Но все сорвалось из-за одного окурка. Я себе забыл, что я не в Гомеле, а в Иерусалиме, я закурил хорошенький окурок, который я подобрал после англичанина. Что же вы думаете? Оказалось, это — суббота — гомельское счастье! — и меня так избили, что я едва уполз. Я кричал им: «Если суббота, то нельзя работать, а вы же работаете, когда вы меня бьете!» Но они даже не хотели слушать. Теперь я снова попал в этот замечательный Тель-Авив, и я, наверное, здесь умру. Старые цадики, когда они приезжали в Палестину умирать, вовсе не были такими идиотами. Это здесь самое подходящее занятие. Зачем я только поверил в их красивые разговоры и примчался сюда? Я был просто дураком, и когда вы мне говорили на курсах политграмоты: «Абрамчик, вы что-то недодумываете», — вы были совсем правы. Но вы, Ройтшванец, вы же почти марксист, как вы попали сюда?

— Это я вам расскажу в другой раз, после закуски, а не до. Вы ведь ничего не знаете. Когда вы уехали в Одессу, и еще шил галифе; тогда по улицам Гомеля гуляли, кроме настоящих людей, только грязные бумажки, а не эта гражданка Пуке. Я попал под исторический вихрь. Сюда, например, я приехал из какого-то нарочного Ливерпуля. Мне казалось, что здесь меня перестанут колотить. Но после вашей кровавой исповеди я начинаю уже дрожать. Я ведь стал таким подержанным телом, что из меня может сразу выйти весь дух. Все равно: будь что будет! Прежде всего я хочу закусить. Может быть, мне отправиться в Иерусалим и там покричать у этой стенки?

— Кричите. Там вовсе не дают каждый день деньги, их дают один раз в месяц, и вам придется ждать ровно три недели. Я же знаю все их дикие выходки!

— Что же мне тогда остается?.. Я хочу кушать. Может быть, здесь есть кто-нибудь из гомельчан?..

— Как же! Здесь не кто-нибудь, а сам Давид Гольдбрух. Помните, у него была контора на углу Владимирской? Он еще уехал при первых большевиках в костюме напрокат, скажем, дворника. Так он здесь. Он, оказывается, в их палестинском комитете, и он кричит повсюду, что здесь апельсиновый рай. Я попробовал было к нему сунуться, но он просто закрыл дверь. А у него, между прочим, три роскошных дома и такой шик внутри, что англичане платят полфунта за один только взгляд.

— Решено — я иду к Гольдбруху. Вы просто не сумели с ним поговорить. Как? Он в комитете, и он выгонит Ройтшванеца, когда этот Ройтшванец специально приехал из общего Гомеля в его апельсиновый рай? Нет, этого не может быть! Вы увидите, Абрамчик, что я вас вечером угощу телячьими ножками с картошкой или, например, студнем — я не знаю, что вы больше любите, а я и то, и другое.

Гольдбрух вправду жил припеваючи. Он ведал строительными работами, строил иногда для других, чаще для себя, на каникулы ездил в Европу; там он собирал деньги, рассказывал об экспорте апельсинов, кутил с девушками, оставшимися «в рассеянии», а потом возвращался в Тель-Авив — «Дело себе идет, к осени я построю еще одну хорошенькую дачку».

Лазика Гольдбрух принял в беседке. Он лежал и пил ледяной лимонад. Его раскрытую грудь обдувал электрический вентилятор. Хоть Лазик и не помнил толком, что это за птица, Гольдбрух, он восторженно крикнул:

— Додя! Ты видишь, что свет уж не так велик, — мы с тобой увиделись! Ну, как вы себя чувствуете?..

Лазик даже прищурил один глаз, как это делал Монькин, когда глядел на картину.

— Немножко загорели, а так совсем как живой. Я бы вас узнал даже на парижской площади. Что? Вы не знаете, кто я? Я прежде всего ваш сосед. Вы жили на Владимирской. Теперь она, простите меня, стала улицей Красного Знамени. А я жил на улице Клары Цеткиной. Это в двух прыжках. Интересно, кто вам шил брюки? Наверное, Цимах. Теперь вы меня узнаете? Я же портной Ройтшванец. То есть как это вам ничего не говорит? Я — говорю. И хватит! Как ваши детки поживают? Что? У вас нет деток? Для кого же вы строите ваши дома? Ну, не огорчайтесь, детки еще будут. Что вы там, кстати, пьете? Постыдный лимонад? А когда же у вас попросту обедают?

Гольдбрух в ответ так яростно гаркнул, что Лазик отлетел на десять шагов.

— Почему вы кричите, как в пустыне?

— Потому что вы нахал. Говорите просто, что вам от меня нужно, и убирайтесь!

— Что мне нужно? Например, кусочек родной колбасы на древнееврейском хлебе.

— Работайте!

— Ах, у вас есть что-нибудь перелицевать? Дайте же мне наперсток, и я в одну секунду выверну или даже укорочу...

— У меня нет работы. Вы портной? Так

напрасно вы сюда приехали. Здесь больше портных, чем штанов.

— Что же я буду делать, скажем, завтра, если я до завтра не умру?

— Ничего. Вы будете как все — самый обыкновенный безработный.

— А им дают что-нибудь кушать? Тогда я уже согласен.

— Что им дают? Шиш. У нас настоящее государство, а разве есть государство, чтобы не было безработных? Вы будете тихо сидеть и ждать, пока кончится этот кризис.

— Сколько же я просижу натощак? Вы говорите, годик-другой? Вы, вероятно, выступаете в каком-нибудь цирке? Но я вас прямо спрошу: что, если я сейчас возьму из вашего драгоценного буфета одну библейскую булочку?

— Очень просто — вас моментально посадят в тюрьму. У нас настоящее государство, а разве есть государство без тюрьмы? И я уже нажимаю эту кнопку, чтобы вас выкинули на улицу, потому что мне слишком жарко для таких дурацких разговоров.

— Я сам ухожу. До свидания, Додя, и в будущем году, скажем, в Гомеле. Это вам не нравится? Постройте себе в утешение еще один домик. Ой, как вы хрипите! Знаете что? Я здесь не видел ни одной свиньи. Откуда же здесь будут свиньи, когда эта наша еврейская родина? Вот вам один минус. Разве бывает государство без свиней? Но не волнуйтесь, успокойтесь. У вас таки настоящее государство, и у вас есть даже свиньи, потому что вы, например, в полный профиль...

Лазику не удалось закончить сравнения. Увидев широкоплечего лакея, он только воскликнул: «Начинается! И прямо с Голиафов!» — после чего быстро шмыгнул в ворота. Так Абрамчик и не получил ни телячьих ножек, ни студня.

Началась для Лазика обычная неразбериха чередования профессий, раздирающие душу запахи в обеденные часы, пинки, философские беседы и сон на жесткой земле. Но все труднее и труднее было сносить ему эту жизнь: подкашивались ноги, кашель раздирал грудь и по ночам снились: Сож, международные мелодии, смерть.

Недели две прослужил он у Могилевского, который торговал сукном в Яффе. В Тель-Авиве было слишком много лавок, а в Яффе дела шли хорошо; одна беда — арабы избивали евреев. Каждое утро, отправляясь из Тель-Авива в Яффу, Могилевский надевал на себя феску, чтобы сойти за араба. Пришлось и Лазику украсить свою голову красной шапчонкой. Это ему понравилось: феска ведь не хвост, феска, как в опере. Но как-то вечером Могилевский, почуяв непогоду, удрал с кассой в Тель-Авив. Лазик остался охранять товар. Подошли арабы. Они что-то кричали, но Лазик не понимал их. Он только на хорошем гомельском языке пробовал заговорить толпу.

— Ну да! Я стопроцентный араб. У меня дома настоящий гарем и бюст вашего Магомета.

На арабов это, впрочем, никак не подействовало.

Могилевский прогнал Лазика: «Вы не умеете с ними жить в полной дружбе». Лазик чесал спину и печально приговаривал:

— У них таки бешенство, как у настоящих арабов! В общем, евреям чудно живется на этой еврейской земле. Вот только где я умру: под этим забором или под тем?

Он нищенствовал, помогал резнику резать кур, набивал подушки и тихо умирал. Как-то при содействии монтера Хишина из Глухова удалось ему прошмыгнуть в ночное кабаре. Девушки, накрашенные ничуть не хуже Марго Шике, танцевали, задирая к потолку голые ноги. Они пели непристойные куплеты. Впрочем, содержание последних Лазик понимал с трудом: по-древнееврейски он умел только молиться. Зато бедра актрис произвели на него чрезмерно сильное впечатление. Расталкивая почтенных зрителей, которые пили шампанское, он вскочил на эстраду.

— Здесь-таки цветут святые апельсины! Я падаю на колени. Я влюблен в вас всех оптом. Сколько вас? Восемь? Хорошо, я влюблен в восемь апельсинов, и я предпочитаю умереть здесь от богатырской любви, чем где-нибудь на улице от постыдного аппетита.

Девушкам это, видимо, понравилось. Они начали смеяться. Одна из них даже сказала Лазику по-русски:

— Вы последний комплиментщик. Сразу видно, что вы из Одессы.

— Положим, нет. Я из Гомеля. Но это не важно. Перейдем к вопросу об апельсинах...

Здесь к Лазику подбежал один из зрителей. Он начал кричать:

— Нахал! Как вы смеете вносить в эту высокую атмосферу ваш рабский жаргон? Когда они говорят на священном языке Суламифи, выскакиваете вы, и вы пачкаете наши благородные уши вашей гомельской грязью. Вы, наверное, отъявленный большевик!

Взглянув на крикуна, Лазик обомлел: это был Давид Гольдбрух. Быстро Лазик спросил его:

— Додя, Голяаф с вами?

— Негодяй. Он еще смеет острить, когда за этим столом все члены комитета! Эй, швейцар, освободите нашу долину молодых пальм от подобного пискуна!

Швейцар сначала отколотил Лазика, а потом передал его двум полицейским.

— Господин Гольдбрух сказал, что это, наверное, большевик.

Тогда полицейские в свою очередь стали тузить Лазика.

— Остановитесь? Кто вы такие? Вы евреи или вы полицейские доктора?

— Мы, конечно, евреи. Но ты сегодня потеряешь несколько ребер. Эти англичане еще кричат, что мы не можем справиться с большевизмом. Хорошо! Они увидят, как мы с тобой справились.

Полуживого Лазика отвели в тюрьму. Там он нежно поцеловал портрет португальского бича, сказал «девятнадцатая» и заплакал.

— Они дерутся не хуже певучих панов. Что и говорить, это настоящее государство! Я не знаю, сколько у меня было ребер и сколько осталось, я им вовсе не веду счет. Но одно я знаю, что Ройтшванецу — крышка.

Утром его повели на допрос. Увидев английский мундир, Лазик обомлел:

— При чем тут великие британцы? Может быть, вы тоже недовольны, что я говорил с этими апельсинами не на языке покойной Суламифи?

Англичанин строго спросил:

— Вы большевик?

— Какая же тут высокая политика, когда меня свели с ума их ноги? Вы что-то пронзаете меня вашим умным взглядом. Уж не получили ли вы открытку с видом от мистера Роттентона? Тогда начинайте прямо с копания могилы.

— Мы не потерпим у себя большевизма! Мы его искореним. Мы очистим нашу страну от московских шпионов.

Тогда Лазик задумался.

— Интересно — сплю я или не сплю? Может быть, я сошел с ума от этих Голиафов? Правда, они вытряхивали бедра, но они могли нечаянно вытряхнуть и мозги. Я, например, не понимаю, зачем вы вспоминаете вашу великую страну с письмами Троцкого и даже с картофельным пудингом, когда я не в Ливерпуле, а в еврейской Палестине?

— Вы показываете черную неблагодарность. Мы вам возвратили вашу родину. Мы вас опекаем. Это называется «мандат». Теперь вы поняли? Мы построили военный порт для великобританского флота и авиационную станцию для перелетов из Англии в Индию. Мы ничего не жалеем для вас. Но большевистской заразы мы не потерпим.

Лазик стал кланяться.

— Мерси! Мерси прямо до гроба! Но скажите, может быть, вы снимете с меня этот мандат, раз я такой неблагодарный Ройтшванец? Все равно я скоро умру, так дайте мне умереть на свободе, чтоб я видел эти апельсиновые сказки, и солнце, и колючую землю, которая меня зачем-то родила! А потом, через месяц или через два, вы сможете вовсю опекать мою заразительную могилу. Я дам вам на это безусловный мандат. Вы уже вернули мне мою родину с этим роскошным портом и даже со станцией, вы великий британец, и вы золотая душа. Верните же мне немного свежего воздуха и скачущих по небу облаков, чтоб я улыбнулся на самом краю могилы!

39

Два месяца просидел Лазик в иерусалимской тюрьме. Когда он вышел, цвели апельсиновые деревья, но он не мог им улыбнуться. Еле-еле дошел он до «стены плача».

— Что же мне еще делать? Я буду здесь стоять и плакать. Может быть, мне повезет, и завтра как раз число, когда раздают деньги из жестяных кружек. Тогда я съем целого быка. А если нет, тоже ничего. По крайней мере, интересно умереть возле подходящей вещи. Кто бы надо мной плакал? А так я услышу столько надрывающих воплей, сколько не слышал ни один богач. Ведь здесь же, может быть, триста проходимцев, и они воют с утра до ночи. Им, конечно, все равно над чем плакать, они поплачут над мертвым Ройтшванецом: «Ой, зачем же ты развалился, наш ненаглядный храм!..»

Вспомнив о своих новых обязанностях, Лазик начал бить себя в грудь и кричать. Рядом с ним рыжий еврей так усердствовал, что Лазику пришлось закрыть уши:

— Не можете ли вы оплакивать на два тона ниже, а то у меня лопнут все перепонки?..

Рыжий еврей оглянулся. Лазик закричал:

— Что за миражи? Неужели это вы, Абрамчик? Но почему же вы стали рыжим, если вы были вечным брюнетом?

— Тсс! Я просто покрасил бороду, чтоб они меня не узнали после того факта с окурком. Ну, давайте уже выть!

Оба завыли. Лазик прилежно оплакивал разрушенный храм, но голова его была занята другим. Когда плакальщики разошлись по домам, он сказал Абрамчику:

— Слушайте, Абрамчик, я хочу поднести вам конкретное предложение. Как вы думаете, не пора ли нам уже возвращаться на родину?

Абрамчик остолбенел.

— Мало я слушал эти слова? Ведь мы уже, кажется, вернулись на родину. О чем же вы еще хлопочете?

— Очень просто. Я предлагаю вам вернуться на родину. Здесь, конечно, певучая речь, и святая земля, и еврейская полиция, и даже мандат в британском мундире, слов нет, здесь апельсиновый рай, но я хочу вернуться на родину. Я не знаю, где вы родились — может быть, под арабскими апельсинами. Что касается меня, то я родился, между прочим, в Гомеле, и мне уже пора домой. Я поездил по свету, поглядел, как живут люди и какой у них в каждой

стране свой особый бокс. Теперь я только и мечтаю, что о моем незабвенном Гомеле. Вдруг у меня хватит сил, и я доплыву туда живой!.. Я снова увижу красивую картину, когда Сож сверкает под берегом, наверху деревья, и публика возле театра, и базар с отсталыми подсолнухами. Я увижу снова Пфейфера. Я скажу ему: «Дорогой Пфейфер, как же вы здесь жили без меня? Кто вам шил, например, брюки? Наверное, Цимах. Ведь здесь же складочка совсем не на месте». И Пфейфер обольется слезами. А маленький Монюша будет прыгать вокруг меня: «Дядя Лазя, дай мне пять копеек на ириски!» И я, конечно, отдам ему всю мою душу. Я увижу Фенечку Гершанович. Она будет гулять с молодым сыном по роскошному саду Паскевича. Я вовсе не подыму низкий шум. Нет, я скажу ей: «Доброе утро! Гуляйте себе хорошо. Пусть цветет ваш маленький богатырь. Я был в двенадцати странах и на двадцати занозах. Я переплывал все моря вплавь. Я видел, квк цветут орхидеи. Но я думал все время только о вас. Теперь я, конечно, умираю, и не обращайте на меня никакого внимания, но только принесите на мою могилу один гомельский цветок. Пусть это будет не нахальная орхидея, а самая злостная ромашка, которая растет на каждом шагу». Да, я скажу это Фенечке Гершанович, и потом я умру в неслыханном счастье.

— Вы совсем напрасно говорите о смерти. Вы еще юноша, и вы можете даже жениться. Я не понимаю только одного, как вы поедете отсюда в Гомель? Это же не в двух шагах.

— Ну что ж, я снова сяду на эту качалку, и я закрою глаза. Хорошо, выматывайте из меня все кишки! Одно из двух: или я умру, или я доеду.

— Но вы с ума сошли! Кто вас повезет?

— Это очень просто. Янкелевич в Париже рассказал мне все по пунктам. Я беру лист, и я немедленно открываю полномочный «Союз возвращения на родину». Причем это будет великая федерация: они вовсе не обязаны ехать в Гомель. Нет, они могут возвращаться в Фастов и даже в Одессу. Я соберу сто подписей, и я отошлю в Москву заказным письмом всем самым роскошным комиссарам, а тогда за нами приедет настоящий пароход. Вы думаете, здесь мало охотников? Юзька не закричит «ура»? Старик Шенкель не прыгнет мне на шею? Какие тут могут быть разговоры! Все поедут. И я не хочу откладывать это в долгий ящик. Я сейчас же пойду с анкетным листом.

Действительно, Юзька, услыхав о «Союзе возвращения на родину», от радости подпрыгнул, он даже угостил Лазика овечьим сыром. Но вот с Шенкелем вышла заминка. Шенкель вовсе не начал обнимать Лазика. Он стал спорить:

— Зачем тебе туда ехать? Что ты, комиссар? Очень там хорошо живется, нечего сказать! Сплошной мед! Ты, может быть, думаешь, что они тебя озолотят за то, что ты к ним вернулся?

— Нет, этого я как раз не думаю. И я вам скажу правду, я думаю полное наоборот. Я ведь не могу им доказать, что Борис Самойлович — это одно, а я — другое. Я же состоял его кровным племянником, и они, конечно, спросят, где тот драгоценный сверточек. Хорошо еще, если при этом не будет гражданки Пуке. А вдруг она навсегда осталась в Гомеле? Ей же мог понравиться такой красивый город. Тогда меня расстреляют в два счета. Но разве в этом вопрос? Я же хочу умереть у себя дома.

— Ты, Ройтшванец, молод и глуп. Куда ты лезешь? Там ячейки, и фининспектор, и этого нельзя, и туда запрещено, и чуть что, тебя хватают. Это самый безусловный ад. Какой же болван пойдет в своем уме на такие истязания?

— Вы, конечно, старше меня, но насчет ума — это большой вопрос. Хорошо. Там ад, а здесь рай. Правда, я не заметил, чтобы здесь был особенный рай. Вы тоже живете не как ангел, а одной сухой коркой. Но, может быть, я близорукий. В Гомеле Левка пел куплеты о Париже, так что слюнки текли, что же, я там был, в Париже, и я тоже не заметил, что это замечательный рай. Меня там попросту колотили. Но, скажем, что рай в Америке, потому что в Америке я, слава богу, не был, и я не стану с вами спорить. Пусть там стопроцентный рай, а у нас фактический ад. Я принимаю эту предпосылку и все-таки хочу ехать.

Я вам расскажу одну гомельскую историю, и посмотрим, что вы тогда запоете. Вы, наверное, слыхали про ровенского цадика. Он же не был ни молодым, ни глупым, как я. Он для вас, кажется, безусловный авторитет, раз вы держитесь за все предписанные бормотания. Так вот, к этому цадику однажды приходит суровый талмудист с самыми горькими упреками:

— Послушайте, рэби, я вас совсем не понимаю. Все говорит, что вы благочестивый еврей, а я живу рядом, и мне кажется, что у вас не дом, но кабаре. Я сижу и читаю Талмуд, а наши хасиды делают черт знает что — они поют и танцуют, они громко смеются, как будто это московская оперетка.

Цадик ему преспокойно отвечает:

— Ну да, они смеются, как дети, они поют, как птицы, и они прыгают, как козлита. Ведь у них в сердце не черная злоба, но радость и полная любовь.

Талмудист так рассердился, что чуть было не проглотил кончик бородки: он всегда жевал кончик бородки, когда ему хотелось придумать умное слово. Он таки ничего не придумал. Он только сказал:

— Это довольно неприличные для еврея разговоры. Вы ведь знаете, рэби, что, когда мы изучаем один час Талмуд, мы делаем ровно один шаг поближе к раю. Значит, когда мы не изучаем Талмуда, мы пятимся прямо в ад. Ваши хасиды поют, как идиотские птицы, вместо того чтобы сидеть над священной книгой. Куда же вы их толкаете? В вд. Но в аду — признанный ужас. Там одних кипятят, а других жарят, а третьих вешают за языки. Конечно, если это вам нравится, вы можете за час до кипятка танцевать. Но я буду изучать Талмуд, чтобы попасть прямо в рай. Там всегда тепло, не холодно, не жарко, ровная температура, хорошее общество, то есть повсюду одни ангелы: все сидят в золотых коронах и читают Тору. Там розы без шипов, и деревья без гусениц, и на дороге ни одной цеповой собаки. Так неужели же вы не хотите попасть в этот рай?

Цадик только усмехается.

— Нет. Я, конечно, тебе благодарен за умные советы, но я не хочу этого готового рая. По-моему, там могут жить только ангелы, потому что они не люди, у них нет ни сердца, ни печени, ни страсти. А человек вовсе не должен бояться, если он даже падает вниз. Как же можно подняться наверх, если никогда не падать? Ты мне рассказал о каком-то чужом рае. Это не мой рай, и моего рая вообще нет, я его еще не сделал, а глядеть на красивые картинки я совсем не хочу. Если я буду много смеяться, и много плакать, и много любить, что же, может быть, тогда я увижу на краю могилы мой окровавленный рай.

Вот что ответил ровенский цадик этому ученому талмудисту. Я вас зову ехать. Конечно, там плохо и там трудно. Там нет никакой ровной температуры, а только смертельный сквозняк. Но там люди что-то ищут. Они, наверное, ошибаются. Может быть, они летят даже не вверх, а вниз, но они куда-то летят, а не только зевают на готовых подушках. Вы, Шенкель, конечно, в почетных годах и оставайтесь здесь, но вы, Бройдек, и ты, Зельман, вы же молодые скакуны, так давайте скорее ваши огненные подписи!..

— Какие подписи? Что это за собрание на святой улице? Это, может быть, ты — главный агитатор? Ну-ка, подойди сюда за хорошей подписью!

Лазик теперь знал, что евреи умеют драться. Он бросился бежать. Вначале за ним гнались. Он бежал по загородному шоссе, боясь перевести дыхание. Но он не мог бежать. С грустью подумал он: «Как тот голый еврей вокруг Рима...» Он чувствовал, что силы оставляют его. Нет, он не вернется на родину!..

Он остановился. Больше за ним никто не бежал. Кругом были только черные поля, редкие огоньки ферм, звезды, тишина.

— Где же мой рай? Или я его еще не выкроил?..

И он побежал через силу дальше.

40

Лазик шел по дороге — куда и зачем, он сам не знал. Он не мог идти, и он все же шел. Ему казалось, что он уже прошел тысячи верст. Не Гомель ли за тем поворотом? Но на знойном белесом небе по-прежнему темнели купола и минареты Иерусалима. Лазик все шел. Наконец он свалился. Он лежал теперь в дорожной пыли.

— Кажется, здесь можно поставить хорошую точку.

Но нет, Лазика не хотели оставить в покое. Загудел рожок автомобиля, и шофер, затормозив машину, стал ругаться:

— Нахал! Как ты смеешь валяться на дороге?

Лазик виновато улыбнулся: хорошо, он не будет валяться. Он же ученый, он знает, что такое раздавленное насекомое не смеет задерживать движения.

Что это за старая беседка? Наверное, в ней никто не живет. Там он никого не будет раздражать своим неприличным видом.

Лазик дополз до каменного шатра. Внутри было темно и прохладно. Он увидел бородатого еврея в картузе и пышную даму. На даме было столько бриллиантов, что Лазик зажмурил глаза: как звезды сияли они вокруг тусклой свечи. А этот скрипучий шелк! А это перышко на шляпе! Задыхаясь от гордости и от астмы — не мудрено, жиры так и валились на пол,— дама говорила бородатому еврею:

— Вы прочтете самые шикарные молитвы, потому что у меня, слава богу, есть еще чем заплатить. Я приехала сюда из Нью-Йорка, и у моего мужа там самый шикарный ресторан. Я приехала поглядеть на землю предков, пусть эти патриархи видят, что вовсе не все евреи стали несчастными попрошайками, нет, некоторые таки вышли в люди. Я хочу порадовать моих предков. Это что-нибудь да значит — увидеть самую шикарную еврейку.

Бородатый сторож лебезил:

— Я прочту десять таких молитв, что все патриархи в раю ахнут. Но скажите мне ваше драгоценное имя и, может быть, имя вашей незабвенной мвмочки. Я их напишу на бумажке, и я кину бумажку за этот камень, прямо к самой Рахили.

Дама раскрыла ридикюль.

— Я могу даже пожертвовать мою визитную карточку. Пощупайте зад — это не буквы, это гравюра, это же самые шикарные карточки. Меня зовут по последней моде Виктория, но моя мамочка еще торговала селедками, и я вам скажу по секрету, что ее таки звали Хаей.

Сторож кинул бумажку за камень и, раскачиваясь, принялся бормотать молитвы. Но дама прервала его:

— Уже хватит с предков! Потому что пора к обеду, и меня ждет автомобиль.

Только что она ушла, сторож обратил

внимание на лежавшего возле двери Лазика. С презрением оглядел он его лохмотья. Да, этот не сверкает бриллиантами!..

— Спрашивается что ты здесь делаешь?

— Я? Я — уже.

— Что значит «уже»?

— Уже — умираю.

Тогда сторож начал кричать:

— Вы видели такого второго нахала? Ты знаешь, где ты? Это вовсе не место для подобных попрошаек, это могила самой Рахили. Ты понимаешь, что это за замечательная святыня, или ты вообще оглох? Здесь вовсе не умирают, здесь дают мне немножко денег, и я кидаю записку, и я читаю несколько молитв. А потом отсюда уходят. Ты понял? Что же ты не двигаешься? Как зовут тебя и твою, скажем, мать? Отвечай скорей, пока никого нет, и я тебе устрою это по самому дешевому тарифу.

Лазик печально улыбнулся.

— Вы напрасно волнуетесь. Скажем, что меня зовут «Горе», а мою мать «Печаль». Что же дальше? Вам незачем шевелить губами. У вас и так, наверное, на губах мозоли. Я вовсе не глухонемой, чтобы вы за меня разговаривали с природой, и я не эта американская свинья, у меня нет ни одного пенса, так что перестаньте волноваться. Я через час, наверное, умру.

— Нахал! Богохульник! Последняя собака! Сейчас же убирайся отсюда, не то я тебя истерзаю! Если каждый нищий вздумает умирать на таком святом месте, то что же это будет? Уходи умирать на помойку! Этот гроб Рахили вовсе не для тебя устроен. Он устроен для порядочных людей.

Лазик не двигался с места.

— Вы можете кричать, сколько вам вздумается, но я отсюда не уйду, раз я сказал вам, что я умираю. Когда я еще мог жить, все кричали: «Нахал Ройтшванец, как ты смеешь здесь жить?» И меня терзали. И я уходил, потому что я еще хотел жить. А теперь мне совсем все равно. Хотите терзать меня — терзайте. Действительно, какой скандал: Лазик Ройтшванец смеет умирать на таком шикарном месте! Но примиритесь с фактом. Я и при жизни вовсе не выбирал себе подходящие места. Нет, просто дул ветер, и я садился в жесткий вагон. Так и теперь. Я полз, пока я мог, и я приполз. Вы думаете, я знал, что здесь живет этот «гроб Рахили»? Нет, я думал, что здесь никто не живет. Я хотел вежливо умереть, чтобы никого не обидеть последним вздохом. Я ведь знаю, что громко вздыхать нельзя. Но вот я дополз, и вы здесь. Так не кричите на меня за пять минут до последней точки. Будьте оригиналом, скажите мне: «Пожалуйста, милости просим...» Я же никогда не слышал таких неожиданных звуков!

Сторож, однако, упорствовал:

— Здесь вовсе не принято умирать, и кто же будет платить за твои дурацкие похороны?

Тогда Лазик сказал ему с необычайной строгостью:

— Знаете что, еврей, вы мне надоели. Вы мне мешаете умереть. Я должен сейчас подумать о чем-нибудь высоком, а вы ко мне пристаете с пошлыми деньгами. У меня нет денег, и вы можете выкинуть мое мертвое тело хоть в яму, мне все равно. Но сейчас, когда все во мне гудит, я хочу думать только о самом высоком.

Сторож расхохотался:

— Подумаешь, что за важная птица!.. Я еще понимаю, когда умирают какие-нибудь ученые цадики, или министры, или щедрые господа с большим капиталом, так им есть на что оглянуться, у них позади пышная жизнь. А над чем ты можешь философствовать, если ты жалкий попрошайка, неуч, нахал с улицы?

— Да, я не ученый секретарь, и я не Ротшильд. Я только гомельский портной. Но все-таки перед смертью мне нужно подумать. Вот я вижу всю мою бурную жизнь. Она кипит внизу, как наш Сож. Мне самому смешно, когда я вспоминаю печальные факты. Это даже не похоже на жизнь. Это просто постыдный анекдот нашего Левки. Я вспоминаю, и я улыбаюсь, может быть, за пять минут до последнего вздоха. Наверное, солидные люди умирают совсем иначе. Они считают, сколько они книг написали, когда устраивали шумные перевороты или почем продавали разный товар. Вы правы, господин гробовой сторож, я умираю, как откровенный дурак. Можете поднести сюда вашу драгоценную свечку, и вы увидите, что мои ноги уже не двигаются, я начинаю кончаться с ног, но на моем лице самая отъявленная улыбка. Я улыбаюсь, потому что я все-таки думаю о самом высоком, и хоть вы грубый крикун, я сейчас расскажу вам мою последнюю историю. Это будет история о дудочке.

Вы, конечно, знаете, кто такой Бешт. Он ведь выдумал всех хасидов. Для вас такие вещи это дважды два, раз вы кормитесь с мертвого места, а для меня они только красивый предрассудок. Я вижу насквозь ваш дурман, но умные люди всегда остаются умными людьми, даже когда они играют в прятки. Нечего говорить — Бешт был большой головой, и все евреи его почитали. От одного разговора с ним они сразу вырастали на целый вершок. Я уже не говорю о том, какое у него было сердце. По-моему, он был куда справедливей, чем его выдуманный бог, потому что от Бешта никто не видел зла, ну а от бога... Впрочем, я не хочу вас на прощанье чересчур огорчать.

Значит, город, где жил этот Бешт, был прямо-таки избранный, хоть в нем не было, наверное, никаких бронзовых фигур. Это был смехотворный городишко между Гомелем и Бердичевом, не Париж и не Берлин. Зато в нем жили самые умные и самые набожные евреи, а среди них этот Бешт. Хорошо. Настает «Иом-Кипур». Евреи собираются в синагогу. Они должны каяться в грехах. Они каются. Конечно, они вовсе не грешили. Разве могут грешить такие порядочные люди? Они, скорей всего, каются для приличия. Посмотрите на эту публику! Вот где ваши цадики и щедрые господа. Этот знает наизусть весь Талмуд, этот пожертвовал триста рублей на новый свиток, этот всегда постится, этот день и ночь молится, словом, они даже не евреи, а готовые ангелы.

Но что же происходит? Бог наверху раскрывает Книгу судеб, и он вешает разные грехи. Набожные евреи хотят у него выпросить пощаду. Они бьют себя в грудь, они плачут, они кричат, но нет им никакого облегчения. Каждый чувствует, что у него в сердце камень, и напрасно лить слезы, ничего не поможет, слишком много в этом праведном городе грехов.

Вы себе представить не можете, какая тоска охватила всех! В синагоге стоял такой вопль, что даже птицы, которые летали над крышей, падали вниз от печали. День был для осени на редкость жаркий, набрались тучи и хотел уже грянуть гром, и не мог. В ужасе думали евреи: «Мы погибли, бог не отпустит наших грехов, вот-вот уже скрипит его перо, вот-вот он выписывает нам самую черную смерть. Может быть, придет на всех холера или случится новый погром и будут пороть животы, насиловать наших жен и топтать наших деток. Ой, горе нам! Нет нам пощады! Чем ужасным провинились мы?..»

И все умники каялись в разных напечатанных грехах, но своих грехов они не помнили, и как они могли помнить разную человеческую мелочь? Тот, кто знал наизусть весь Талмуд, не знал ни одного простого слова. Он не мог утешить какого-нибудь горемыку, не мог приласкать ребенка, не мог посмеяться в праздник с бедняками. А тот, кто выложил тысячу рублей на пышный свиток, не знал, что значит обыкновенная нужда. Он подавал две копейки на улице признанным нищим, но он не поднес бедному портному, у которого к субботе не было ни свечи, ни булки, чудесного подарка. Он думал, что все люди обходятся красивым свитком. И тот, кто молился, не умел прощать. И тот, кто постился, не умел накормить голодного. И вся их справедливость была на два часа. Они ее напяливали на себя, как шелковый талес. А теперь выдуманному богу надоел этот маскарад. И вот кричат евреи, но нет дороги их крикам. Тогда они поворачиваются к Бешту: «Раз Бешт с нами, мы не можем пропасть. Он же свой человек у бога, он выпросит нам полное прощение!»

Бешт стоит и молится. Но ужасная скорбь на его лице, так что больно глядеть. Он же не просто умник, он видит сердца евреев. Он берет на руки их грехи, и у него опускаются руки: таких грехов никто не выдержит. Он хочет заплакать, но у него нет слез. Он — как это небо перед грозой: столпились тучи, нечем дышать, должен пролиться дождь, должен ударить гром, но нет, не может. Тихо и жутко в такой день на земле. Страшно старому Бешту. Он просит выдуманного бога: «Дай мне слезы, и я вымолю у тебя прощение всем евреям». Но бог оглох. Он хочет быть справедливым. Он заткнул себе уши, чтобы не растрогаться. И напрасно хлопочет Бешт.

Все страшней и страшней евреям. Они видят, что Бешт терзается. Они видят, что сам Бешт им не поможет. Они уже не кричат больше. Они уже прокричали все голоса. Тихо в синагоге, так тихо, как перед самой смертью, так тихо, сторож, как сейчас у меня на душе. Кажется, слышат евреи шелест страниц; это там, наверху, бог переворачивает новую страницу Книги судеб. Сейчас грянет гром. Сейчас захлопнет он тяжелую книгу, и конец, конец всем!

Вдруг среди этой скорбной тишины происходит полное неприличие. Куда только не пролезают разные нищие нахалы? Я вот попал прямо на гроб Рахили, а в ту синагогу, где столько было богачей и знаменитостей, тоже прошмыгнул бедный портной. Его звали Шулимом. Он пришел со своим маленьким сыном, которому было года три или, самое большее, четыре. Шулим пришел молиться, а у ребенка в голове, конечно, не философия, там скорей всего детские проказы. Ему в синагоге скучно. Все стоят и молятся. Ну, час, ну, два, и ребенку надоело. Он дергает отца: «Я хочу к маме», но Шулиму не до него: бедный Шулим тоже вздумал разговаривать с богом. Ребенок не знает, что бы придумать, и тогда он вспоминает, что у него в кармане жестяная дудочка. Мама ему купила вчера на базаре за пять копеек этот богатый подарок. Он вынимает себе дудочку и хочет подуть, как отец, слава богу, замечает:

— Иоська, сейчас же спрячь эту глупость! Сегодня «Иом-Кипур», и надо плакать, а не играть на трубе.

Но этот Иоська упрямый. Он не хочет плакать. Он хочет обязательно дуть в дудочку. Уже все видят, какой полный скандал. Мало и так они согрешили, а здесь еще это безобразие в синагоге! Понятно, что бог обижается... Они даже обрадовались. Может быть, все дело не в их грехах, а в этом нахальном портном? Как он сюда затесался? И они гонят Шулима. Но тут вмешивается Бешт. Конечно, во время молитвы нельзя разговаривать, но все-таки Бешт говорит:

— Оставьте этого ребенка! Если он хочет дуть в дудочку, пусть дует.

Иоська, конечно, задул. Он дул в полное свое удовольствие. И грянул гром, и брызнули из глаз Бешта живые слезы, и сразу стало легко всем евреям. Не успели они опомниться, как настал вечер, вспыхнули звезды, кончился пост. Со слезами радости

обнимали они друг друга: «Вот бог и простил нам все наши грехи. Мы недаром молились и недаром постились. Когда с нами Бешт, как же может бог на нас сердиться...» Почтительно обступают они Бешта:

— Рэби, вашей молитвой мы все спаслись.

Но Бешт качает головой.

— Нет. Было темно на небе, и там шла смертельная борьба. Ваши грехи весили столько, что их не могли перевесить никакие покаянные слезы. Бог закрыл себе уши. Бог запретил мне плакать. Бог не слышал больше моих молитв. Но вот раздался крик этого ребенка. Он дунул в дудочку, и бог услышал. Бог не выдержал. Бог улыбнулся. Это же была такая глупая забава, ровно за пять копеек, и это было такое неприличие в великий пост!.. Но я скажу вам одно, умные евреи, вовсе не ваши доводы и не мои молитвы спасли наш город, нет, его спасла жестяная дудочка, один смешной звук от всего детского сердца... Поглядите скорее, как этот Иоська улыбается!..

Лазик замолк. Он слишком много говорил. Он еле дышал. Непонятно, как досказал он до конца историю о дудочке. Пот покрыл его тело. Сторож ворчал:

— Это все-таки не порядок, в «Иом-Кипур» позволить себе такие выходки! Ты это нарочно выдумал, чтоб заговорить мне зубы. Но теперь ты поговорил, и ты можешь убираться. Слышишь?..

Лазик ничего не отвечал. Он даже не вздыхал. Тихо и легко умирал он.

Сторож понюхал табак, почесал бороду, потом, не понимая, что же приключилось с этим нахальным нищим, взял свечу и поднес ее к лицу Лазика.

— Ну, что это за поведение?..

Лазик лежал неподвижно. Он больше не дышал. На его мертвом лице была детская улыбка. Вот так улыбался маленький Иоська, когда ему позволили дунуть в дудочку. И увидев улыбку Лазика, сторож обомлел. Он забыл о деньгах за похороны. Он не повторял привычных молитв. Нет, выронив на пол свечу, он заплакал живыми слезами.

Спи спокойно, бедный Ройтшванец! Больше ты не будешь мечтать ни о великой справедливости, ни о маленьком ломтике колбасы.

Париж
Апрель — октябрь, 1927

Редакция благодарит дочь писателя Ирину Ильиничну Эренбург за содействие в подготовке данной публикации.

ШВЕЙК ИЗ ГОМЕЛЯ

О романе «Бурная жизнь Лазика Ройтшванеца»

Вот и прочитан неизвестный ранее читателю роман Эренбурга. К жанру сатирического обозрения, позволяющего открывать разные страны, быт и национальные черты народов, политическую подоплеку событий, писатель обращался в двадцатые годы неоднократно. После «Хулио Хуренито» (1922 г.) он словно взял на себя обязанность вновь и вновь отправляться вместе с героями в те страны, где бывал или жил в течение последних полутора десятков лет. Правда, в первом романе рассказано и о Сенегале, которого автор не видел, но в основном герои «Хуренито», «Треста Д. Е.» (1923 г.), «Условных страданий завсегдатая кафе» (1926 г.) попадают в места, хорошо знакомые Эренбургу. Россия, Франция, Германия, Италия... Реже Англия и Бельгия.

Роман «Бурная жизнь Лазика Ройтшванеца» написан в Париже в 1927 году я там же, спустя год, вышел в свет. В центре этой вещи — фигура еврейского Швейка, маленького, тщедушного философа из Гомеля, попадающего в самые нелепые ситуации. Он беззащитен в жизни, ему достается и в Гомеле, и в Киеве, и в Москве, и в польских застенках, и в среде немецких бюргеров. Смешной, трогательный, веселый в грустный Лазик несет на себе печать всех несчастий, известных еврейской бедноте. Он зовет нищету, одиночество, он наивен, нахален и беззащитен одновременно. Эренбург показывает гомельчан в переходное время, еще далеко не стерше бывшую черту оседлости.

Это смешная книга. Но смеется автор не столько над героем, сколько над окружающей его действительностью. Лазик всюду говорит от себя и о себе, авторский комментарий, доминировавший в романе «Рвач» (1925 г.), почти исчез или слился с размышлениями Лазика, часто связанными с библейскими сюжетами. В устах Ройтшванеца они звучат как вполне бытовые истории. Его притчи — несколько трансформированные легенды, пронизанные иронией. В таком обозрении возникала возможность смешать серьезное с шутовским, одинаково подробно говорить о канализационной бочке на гомельских улицах и литературной жизни Москвы двадцатых годов, антисоветской политике Британии и непривлекательных чертах местечкового быта.

Над чем иронизирует автор, что неприемлемо для Эренбурга в новой советской действительности, какие реалии вэпа отражены в романе? Вместе с героем писатель подтрунивает вроде бы над ерундой — над всевозможными переименованиями, над тем, что клуб называется «Красный прорыв» и даже «Семейные бани» стали «Красными». Конечно, это смешно. Но когда переименования становятся обязательными, когда вся жизнь регламентируется — уже не до шуток.

Злоключения портняжки начинаются с доноса на него некой гражданки Пуке. Ей показалось, что, прочитав объявление о смерти «вождя гомельского пролетариата товарища Шмурыгина», Лазик произнес что-то неподобающее. Он говорит, что просто вздохнул. Это же утверждает и на суде, где его обвиняют в оскорблении герба и флага. Гражданка Пуке — едва ли не первая «стукачка» в нашей литературе. В данном случае Эренбург не только «затронул тему», он показал ростки недалекого будущего. Очень скоро — в обстановке подозрительности и беззаконий — такие Пуке обретут вес и силу.

В относительно спокойные двадцатые годы тюрьмой трудно было удивить. Герой рассказа Эренбурга «Невероятное происшествие» (1922 г.), ответственный работник города Кобеляки, заглянул в местную тюрьму, где сиживал до революции, задержался там вынужденно на двое суток при комических обстоятельствах и трагически понял, что тюрьма есть тюрьма при всех режимах. Так что тюремная эпопея Лазика вполне закономерна. Но интересно другое — именно в тюрьме раскрывается его поэтическая душа. «Он, может быть, был гнилым продуктом, и он, наверное, утаил пфейферовские брюки (от фининспектора.— *А. Р.*), но он любил неприкрашенную свободу, разгул деревьев на берегу Сожа, звезды, которые вертятся в тусклых горизонтах, и он любил одну гомельскую девушку, имя которой да будет покрыто последней тайной».

Пока Лазик сидит в тюрьме, слушает жалобы соседей и мечтает увидеть Фенечку Гершанович, которая воет в «Красном прорыве» международные мелодии, пока, наконец, рассказывает прокурору свои притчи (а тот слушает), на воле происходят некоторые события. Оказывается, Лазик остался без жилья, и теперь у его мастерской другая вывеска и другой хозяин. Больше Лазику нет места в Гомеле. Впереди — Киев.

Рамки плутовского романа раздвигаются в зависимости от числа всевозможных переделок, в которые попадает герой. В нем все явственней проглядывает время. Что делать герою в Киеве без портновских принадлежностей? Приходится приспосабливаться к новой жизни, идти в учреждение под симпатичным названием «Харчсмак». И почти сразу же выявляются некоторые из тогдашних воззрений, когда чуждые взгляды виделись прежде всего в увлечении фокстротом и в старых «буржуазных» чувствах. Лазик дежурит в клубе, потом числится библиотекарем. И каждый раз не угадывает, как себя вести. Лазик слушает доклад о половых отношениях, еще неизведанных им, несмотря на тридцатилетний возраст, и сам появляется на трибуне, чтобы сказать о своем чувстве к Фенечке. И тут же получает отпор в духе времени: «Что же касается слез выступавшего товарища, то они характерны как пережиток собственности, когда фабрикант рассматривал товарища-женщину как свои акции».

Лазик решает покинуть Киев, уехать в маленький город, «где нет ни бурных рек, ни грохочущих фокстротов». Но и в дороге у него появляются поводы для притч, звучащих весьма современно. Эренбурга беспокоит то же, что и В. Короленко в его «Письмах к Луначарскому»,— жестокость, совершаемая во имя свободы, судьба отдельного человека в бурном историческом разливе. И подслушанные в поезде слова о том, как мог человек погибнуть «по ошибке», тяжелым бременем ложатся на душу героя. Лазик говорит, что не в силах сделать из своих чувств «грохочущий реферат». «Когда гуляет по улице стопроцентная история, обыкновенному человеку не остается ничего другого, как только умереть с полным восторгом в глазах». Но Лазик, а с ним и автор не согласны с гибелью хотя бы одного невинного человека. Рассказ о бердичевском цаднке, о старике Герше и споре цадика с Богом — по существу вариант притчи Достоевского о слезинке замученного ребенка. Не случайно произнесена ставшая потом сакраментальной фраза: «Лес рубят — щепки летят». Не случайно цадик не хочет делать «щепкой» доверившегося ему старика...

Надо ли удивляться, что подобные рассуждения были некстати накануне первых процессов — над промпартией и шахтинскими «вредителями». Затеи бердичевского цадика могли счесть в лучшем случае «фальшивым гуманизмом».

После Киева Лазик в Туле. Новый сотрудник губернского отдела животноводства занимается разведением породистых кроликов. Эта история как бы предугадывает приписки и бюрократический способ хозяйствования, который проявился в последующие годы. Лазик жалуется, что присланные производители погибли, просит совета и получает его: «Работать, товарищ, работать! Размножать! Производить! Интенсировать!» И вот начинается «бумажное размножение». Что было бы, если было бы.

И вот уже едет комиссия из Москвы, уже летят поздравления передовикам. Вот чего добился Лазик, который «изумчил свою хилую грудь таблицей умножения». Афера выходит наружу, кролиководу приходится бежать в Москву, но сама эта история, казавшаяся веселой выдумкой, заставляет теперь вспомнить и выращенный в канцеляриях 1960-х — 1970-х годов хлопок, и масло, которое закупали в магазинах колхозы для последующей сдачи государству.

Мы напоминаем лишь о тех эпизодах романа, которые больше других созвучны нашему времени. Это ведь не только «литературное наследство». Это живая книга. Она о том, что не должны «лететь щепки», что ничего нельзя выращивать на бумаге, что в свободном обществе не должно быть места ни профессиональным стукачам, ни стукачам-доброхотам.

Пребывание героя в Москве позволяет автору высказаться по некоторым литературным вопросам. Увы, и эти страницы представляют не только исторический интерес. Напостовская критика достаточно досаждала Эренбургу, да и видел он немало литературного сырья, выдаваемого за шедевры «пролетарской литературы». Даже лучшие романы А. Толстого, Леонова, самого Эренбурга оценивались как вечно несовременные, чуждые нашему читателю. Знакомство Лазика с новейшим классиком Архивом Стойким, автором отрывков из романа «Мыловаренный гуд», позволяет Эренбургу пародировать «производственные сочинения». Несть им числа в последующие годы.

Уже название диспута — «Нужно ли печатать и кого», в котором участвует Лазик, в пародийной форме определяет суть нашей литературной политики на многие годы. Ненужными оказались книги, которые теперь мы считаем современной классикой.

Герой романа хорошо улавливает литературную ситуацию. Чтобы не потерпеть крах с бес-

дарными сочинителями, он предлагает издавать вместе с их книгами большим тиражом «яд какого-нибудь попутчика», да еще с «оглушительным предисловием». Эренбург не забыл, что именно таким предисловием была снабжена его повесть «В Проточном переулке» (1927). Спустя тридцать пять лет издательство, выпускавшее мемуары писателя «Люди, годы, жизнь» (1963), повторило ту же методу: читателей предуведомляли о вредоносности произведения.

На критическом и писательском поприще Лазик не делает карьеры, ему не все удается «разрезать с марксистской точки зрения», не смог он и «влезть на готовый пьедестал». После литературного клуба наш герой попадает к нэпману, спекулянту сукном, который уговаривает его бежать за границу.

На этом фактически завершается первая часть повествования, которая заставляет вспомнить слова из предисловия Н. Бухарина к роману «Хулио Хуренито»: «Своеобразный нигилизм... позволяет автору показать ряд смешных и отвратительных сторон жизни при всех режимах». Думаю, об этом можно сказать и определеннее. Эренбург писал о том, что в двадцатые годы уже волновало многих проницательных русских интеллигентов. И дело тут не в одном «нигилизме». Тревога о возможной несвободе в новом социальном мире породила утопию Замятина «Мы» (1921 г.). Предчувствие обесчеловечивания человека подсказало Булгакову «Собачье сердце» (1925 г.), тревожные тенденции уловил в новом обществе и Эренбург. Поэтому все три книги (замечу в скобках: «тот список длинен») были отлучены от читателя. В творчестве Эренбурга это оставило болезненный след. Он не мог покинуть страну навсегда, как Замятин, не мог писать в стол, как Булгаков. Эренбург не выдержал давления, о котором говорил еще в «Рваче»: «...Смеяться очень трудно среди людей, привыкших сызмальства считать насмешливую улыбку за примету неблагонадежности, даже преступности».

По существу, на «Лазике» сатирический писатель Эренбург кончился (речь идет о сатире на внутренние темы). Сатира становилась не ко двору. И об этом следует сказать прежде всего.

Зарубежная одиссея Лазика вновь напоминает о бухаринском предисловии к «Хуренито», да и об этом романе в целом: «...Особенно удались автору те страницы, где бичуется капитализм, война, капиталистическая культура, ее добродетели, высоты ее философии и религии». Главы о Германии и Польше перекликаются с очерками об этих странах, вошедшими в публицистическую книгу «Виза времени» (1929 г.). Картина Польши Пилсудского и в очерках, и в романе далека от идиллических представлений о ней, которые нет-нет, да возникают у современных польских историков. «Русский шпион» Лазик узнает все застенки панской Польши. Его избивают в Гродно, Вильно, Львове [1], Ломже, Варшаве, Познани. Он умудряется не увидеть ни одного города. Только тюрьмы. И в каждой его бьют.

История Лазика становится все грустнее. Он приходит к выводу: «Еще два-три пана ротмистра, и от Ройтшванеца вообще ничего не останется — только один синяк верхом на занозах». Затем Лазик попадает в Германию. В Польше Ройтшванец был «поляком моисеева закона». У немецкого доктора Дреккенкопфа все проще: «Вы — еврей. Следовательно, вас надо прогнать. Сообщить в полицей-президиум. Настаивать на высылке». Но доктор проявляет гуманность, прощает Лазику «проклятое происхождение», снижает ему возраст на 20 лет и берет к себе в качестве подопытного кролика.

Лазику не удалась «служба» у доктора Дреккенкопфа, который уже в 1927 году «исправлял на школьной карте границы Германии». Не сумел наш герой сняться в мировом (антисоветском) боевике. Не смог заменить в цирке заболевшую обезьянку. И в немецкую тюрьму попал по статьям, карающим нвищенство, шантаж и оскорбление нравов.

Продолжая начатые в «Хуренито» «суждения о религии», Эренбург в равной мере воздает должное и еврейским цадикам, и католическим священникам, включая главного из них. Одна из важнейших притч Лазика снова связана с Богом, непохожим на того, с которым спорил бердичевский цадик. Читатель переносится в Рим неизвестно какого времени. Лазик рассказывает о своем тезке, бедном еврее Лейзере (тот же Лазик), которому выпало по воле жестокого папы и еврейской общины голым трижды обежать святой город. Несчастный «скакун», понукаемый папскими конюхами, бежит и встречает голого незнакомца, который говорит, что он тоже еврей. Зовут его Иегошуа, и был он плотником... Прежде, чем побежать вместо Лейзера, Христос в длинном монологе выражает свою (и авторскую) враждебность религиозным догмам.

Эренбурговский Христос — демократичен, прост, ему отвратительно, что он стал символом чуждых идей. «Я хотел,— говорит он,— чтобы на земле была полная правда. Какой бедняк не хочет этого? Я же видел, что раввин говорит умные слова, и что Ротшильд кушает утку, и что нет на земле ни справедливости, ни любви, ни самого простого счастья. И я был с бедными против богатых. Я аидел, что у одних людей пулеметы, а у других только голая грудь...» Откуда в речах Иегошуа — Ротшильд и пулеметы? — спросит читатель. Это ведь двадцатый век, а притча из далекого прошлого. Но для рассказчика слились прошлое и настоящее: века минули, а справедливости не прибавилось. И давным-давно распятый Иегошуа говорит о самой своей большой боли — о том, какие преступления совершаются с его именем: «Они,— говорит Иегошуа о сильных мира сего,— делают мои портреты из золота. Они ставят их перед голодными детьми и перед самой виселицей... Да если б я мог... разве я не крикнул бы им: «Довольно!»?»

Счастья и справедливости не нашел гомельский портной ни в Германии, ни в Польше. Оставалась надежда на свободную и прекрасную Францию. Во Франции Лазик оказался в объятиях «бывших русских». Пришлось ради булки и печенки в сметане отказаться от первой части фамилии. Ревностные монархисты пренебрегли происхождением Шванеца. Редактор национального органа «Русский набат» отечески поощрял: «Молодец, Шванец! Хоть жид, а любишь матушку Россию». Тут все пародийно — от выступления Лазика с докладом до попыток получить от него какие-то фамилии «известных большевиков».

Если в Москве Лазик мог какое-то время ходить в литераторах, то естественна его попытка прослыть в Париже художником. Веселые приключения Лазика в «Ротонде», знакомство с ее обитателями, позволившее герою кормиться возле искусства, написаны с блеском. Автор просто не в силах забыть собственную молодость, когда, сидя в этом кафе, он ждал, что кто-нибудь выручит его, заплатит за выпитую чашечку кофе...

Франция отторгла Лазика. «Обозрев» при помощи своего героя Париж, автор бросил его через пролив, на Британские острова, вернее, на очередные тюремные нары. Английская тюрьма оказывается не лучше прочих, а в довершение выпускают Ройтшванеца при условии, что он будет помогать вылавливать большевистских агитаторов. Это, пожалуй, и толкнуло Лазика на пароход, которым группа евреев уезжала в Палестину. Но и там после долгого путешествия его ждала тюрьма, оскорбления за то, что он не знает певучего древнего языка, говорит на жаргоне; и там процветает богатый Гольдбрух и нищенствует Абрамчик.

Лазика снова бьют, называют большевиком, он два месяца проводит в своей девятнадцатой по счету — иерусалимской — тюрьме и размышляет о возвращении на родину. Он вспоминает Гомель, Фенечку, Пфейфера, которому сшил злополучные брюки. И не хочет слышать другие речи. Скажем, такие: «Там ячейки я фининспектор, и это нельзя, и туда запрещено, и чуть что, тебя хватают». Лазик даже говорит о «Союзе возвращения на родину». Его уже готовы снова схватить как «главного агитатора», но он убегает столь же стремительно, как бегун, который кружил вокруг Рима. Убегает, чтобы вскоре умереть за тысячи километров от родного дома...

Об этой книге, о Лазике и его судьбе я разговаривал с Ильей Григорьевичем в конце пятидесятых, еще не прочитав роман, но зная его содержание. Мне было интересно, что думает о нем автор. Эренбург сказал тогда, что работать над романом было весело, но он не решается его перечитывать после того, как земляки Ройтшванеца почти все полегли безоружные и беззащитные в украинских, и белорусских, и других «бабьих ярах». Нечто похожее о «Бурной жизни Лазика Ройтшванеца» сказано и на страницах эренбурговских мемуаров.

* * *

Завершая публикацию, следует заметить, что Эренбург писал свой роман для читателей России и послал рукопись в советское издательство. 28 апреля 1928 года он, в частности, писал М. Слонимскому: «Послать Вам Лазика сейчас не могу, т. к. нет оказии. Но «Круг» должен Вам переслать рукопись. Если Тихонов (А. Н.) не сделал этого, напишите ему, и он вышлет. Боюсь, что с изданием его (после статьи в «Правде») ничего не выйдет». Эренбург имел в виду статью В. Фриче «Люди Проточных переулков», появившуюся в «Правде» еще в 1927 году. Действительно, ни в издательстве «Круг», ни в журналах роман так и не появился. Поэтому мы являемся свидетелями не возвращения книги, а первой ее публикации в нашей стране. Роман выйдет и в новом собрании сочинений И. Г. Эренбурга в издательстве «Художественная литература».

Александр Рубашкин

---

[1] Гродно, Вильно (Вильнюс), Львов еще входили тогда в состав Польши.

Татьяна Галушко
(1937—1988)

«КОНЬ ДАРЁНЫЙ»

Так назвала свою Отчизну Татьяна Галушко в одном из стихотворений. Тема Родины — такой противоречивой, щедрой и нищей, прекрасной и изувеченной, доброй и кровопролитной — не оставляла поэта Галушко всю жизнь. Она неотторжимо вслаивалась в другие вечные темы Татьяны: Военное детство, Любовь, Материнство, Природа, Искусство, Предчувствие безвременной и мучительной кончины. «Конь дарёный», которому, как известно, в зубы не смотрят, которого не выбирают, нес ее на себе, восхищал своею статью, тепло дышал в ладонь—и лягался, кусался, сбрасывал всадницу. Любовь была трудной, вся на предвкушении разрыва, Материнство — всегда опасающимся за будущее детей в этом мире, чудесная Природа — зачастую грозной и прорицающей недоброе, Искусство—переполненным жестокими аналогиями, Военное детство и судьба матери поэта — столь тяжкими, что неслучайно свой предсмертный цикл стихов о детстве Галушко назвала «За все заплачено — не забуды!».

Поэт ослепительно одаренный, мятежный, яростный и лирически, и гражданственно, Татьяна Галушко осталась недооцененной при жизни. Известность ее оказалась замкнутой в пределах Ленинграда, да и здесь она существовала в основном благодаря пушкинистской деятельности Татьяны, которая была великолепным литературоведом, устроителем уникальных выставок, пламенным лектором, несравненным эрудитом, посвятившим всю свою жизнь служению памяти Пушкина, но и на этой ниве не стяжавшим начальственных поощрений и наград, ибо колоссальные ее труды в этой области ничем не были отмечены. А что касается стихов, то начиная с одного очень давнего и очень не одобренного начальством литературного вечера, на котором она выступала, Татьяна до последних своих дней носила неявное, но жгучее клеймо подозреваемой и неблагонадежной, публиковалась редко (четыре тоненьких книжечки за всю жизнь), не вписывалась в «обоймы» широкошумных имен, не раскланивалась налево и направо со всесоюзных эстрад, хотя ее начало (а она была ученицей известного ленинградского поэтического «воспитателя» Г. С. Семенова) предвещало ей громкую славу и признание не менее широкое, чем у поэтических «звезд» сегодняшнего дня.

Мне трудно жить и работать без Тани. Кто еще так неистово похвалит, так неопровержимо разбранит, так искренне, исповеднически посочувствует? Помимо громадного поэтического дара у Галушко был и редкостный дар читателя, слушателя, сомыслителя и соучастника каждого, кто читал ей стихи или поверял свои житейские невзгоды. Она сама была для меня — да и для многих — «конем дарёным», ярым, своевольным, черногривым, по-доброму свирепым и по-умному непредсказуемым,— так ярок и необычен был личностно-творческий сплав, именовавшийся Татьяной Галушко.

Сейчас, разбирая ее черновики, исчерканные совсем как у ее «патрона» А. С. Пушкина, и выуживая из них никем еще не читанные строфы и целые стихотворения, я порой не могу удержать внезапного воя любви к ней и горя за нее, непризнанную и недожившую. И я с горечью понимаю, что, составляя ныне ее большую, итоговую посмертную книгу, я служу все той же закоренелой и бесхозяйственной традиции другого, огромного «Коня Дарёного» — ценить только мертвых.

Нонна Слепакова

БЛОК И ПУШКИН

Рифмуя время на вершинах века,
Сквозь листопады всех календарей,
Что светит нам вдали? Два человека
Сверканьем аполлоновых кудрей.

Россия, над равнинами твоими
И впрямь звучит серебряней трубы
Их общее, единственное имя,
Отлюбленное нами у судьбы.

В нем искупленье наше и отрада.
Как в яблоке, в том имени родном —
Не только племя или пламя сада,
Но мета рая и мечта о нем.

Подобно Богоматери, Россия,
Ты смотришь мимо праздных наших лиц,
Ты бережешь Свою мечту о Сыне,
Чей голос воскресает со страниц.

И, недостойные доверья дети,
Мы копим, чтобы правнукам прочесть,
Поспешные черновики столетья,
Об истине наследственную весть.

Двадцатый век не признавал заветов
И сжег немало певчих гнезд своих...
Но есть язык — отечество поэтов,
Есть стоившая песен — гибель их.

ОТЪЕЗД

В две слезы поверх стекла
Молча на тебя глядела.
Что за тьма во мне кипела,
Черным губы запекла!

Поднял раму мой сосед:
«Дайте ей цветок на счастье».
Астру автогенной масти
Протянул ты мне вослед.

Дрогнув, двинулся вагон
И тебя от боли отнял.
Показалось мне: Харон
Над водою весла поднял.

В громыхающей ночи,
В том вагоне окаянном,
Утешителем незваным
Был сосед; занудой пьяным —
Проводник. Я — истуканом.
Только астра над стаканом
Ровно слала в тьму лучи.

* * *

Поедем к Тюриным, Каро!
Но не в медлительном метро,
А на такси гони!
Люблю их дом, их добрый свет.
У нас ведь не было и нет
Помимо них — родни!

Люблю, когда они — втроем
За нераздвинутым столом —
И мы — вдвоем — сидим.
Не можжевельник спрятан в джин,
А, вправду, всемогущий джинн,
Не знающий седин.

Он никогда не устает
Спасать, дарить, ночь напролет
Больной беде служить.
Поедем к Тюриным, чей хлеб
И соль — и впрямь из рук судеб!
Вкуси — и дальше жить!

Я впечатленьями сыта.
Но тюринская красота
Волнует до сих пор.
Пречистое его лицо,
Ее крутых кудрей кольцо
И черноморский взор.

Поедем к Тюриным, Каро.
Жар-птицы вечное перо
Дочертит этот стих,
Чтоб для меня в посмертной мгле
Сияли, будто на земле,
Сердца святые их...

2 мая 1988 г.

* * *

От нашей кровавой эпохи
Останутся нищие крохи
На белых запретных листах,
Как зерна от дикого поля,
Чью рожь и пшеницу пололи,
А плевелы ели в хлебах.

ОТВЕТ [1]

Откуда и? — кончается на «рад»
мой город. Двуединое творенье
поэтов и строителей, впопад
рифмуется через поколенье
итогами. Ни разу супостат
не поднимался на его ступени...
Ковчег потопа, он вплывает в ряд
земных вершин, уча младенцев «кролю».
Не обнаружено руды полезней
в болотной почве. Тем магнитней поле
и тем оно, родимое, железней.
Неважно, что полжизни в нем — потемки.
Зато еще полжизни — вьюги вволю,
и стоиками вырастут потомки.

Ну как, доволен? Ясен адресок
гнезда, откуда вылетела птица?
А ты все рвешься к морю, на песок,
к нагретой тверди грудью прилепиться
и ждать, закрыв глаза, пока волна
не пожелает к сердцу возвратиться
и в небеса не унесет со дна.

Свой век земной пройдя... нет, не дерзну
сказать: до середины. Столь же долго
и гроз, и слез всеобщую казну
кто разрешит мне расточать без толку!
Теперь, когда я знаю радость долга
и куковать о счастье не дерзну,
когда люблю осину, а не елку...
Так предположим, до конца дойдя,
что я могу зачесть себе в заслугу?

Пристрастье к странным старикам,— хотя
(и потому что) не примкну к их кругу,—
к навязчивому, храброму уму,
который в них острее их недуга,
а может быть, и дерзок потому.

Кому из нас дано себе представить
всю стаю дней, отпущенных судьбою?
Не стаю уток, стольких суток стаю,
пространства колыхание рябое;
как будто море свешивает сверху
то черное крыло, то голубое
и вдруг сорвется. И накроет смертно.

Еще скажу тебе, как на духу
(есть прелесть в устаревших выраженьях:
ведь «на духу» звучит как «наверху»,
как выдох счастья и изнеможенья
от исповеди стыдного труда),
что никогда стихов ночное жженье,
да и любови черная звезда
жар чадолюбья не могли осилить
во мне. Лишь гладя теплую курчу
над детским лбом, шептала я: спасибо,
что спас, что есть, и что еще хочу.
Реши теперь, была ли я слаба,
ты, троица моя, и всей России
несметная глазастая гурьба.

Я знаю: мною обещала стать
жар-птаха черноглазого сииньа,
которую ни пули заклевать,
ни вьюга занести в блокадной яме
не в силах были. Стоило спасать
ту дивчинку, ту дивную, чтоб ныне
она могла и греть, и укрывать,
стожильная, как саксаул в пустыне.

Публикация Нонны Слепаковой

[1] Стихотворение опубликовано в последней книге Т. Галушко «Древо времени», Л., «Советский писатель», 1988,— по неизвестным причинам в сильном сокращении. Предлагается полный вариант.

Владимир Бахтин

СУДЬБА ПИСАТЕЛЯ Л. ДОБЫЧИНА

«...одно высокопоставленное лицо учило меня приобретению перспектив. Под перспективами оно подразумевало «не одно же плохое, есть хорошее»...» В этих едких словах — весь Добычин, талантливый и своеобразный прозаик с трудной литературной судьбой, в чем-то предваряющей судьбу Михаила Зощенко. Оба были сатириками, обличителями, в многоликом мещанстве видели силу, враждебную человеку, культуре. И, как нередко в тогдашние времена, авторов стали отождествлять с их героями, самих писателей обвинили в тех нравственных изъянах, которые они высмеивали и осуждали.

Литература о Добычине более чем скудна: несколько убийственно грубых и несправедливых рецензий, краткие доброжелательные упоминания в мемуарах В. Каверина, Л. Рахманова, Г. Гора и недавняя, очень содержательная заметка в «Огоньке» Марины Чуковской. О рецензиях нечего и говорить, достаточно прочитать названия — «Позорная книга», «Об эпигонстве»: «...книга Добычина — хилое, ненужное детище, весьма далекое от советской почвы» («Октябрь», 1936, № 5)...

Сказано это о лучшем произведении писателя — «Город Эн» (1935). А после выхода первого сборника рассказов «Встречи с Лиз» — всего у него три книги — Добычин так объясняет свое состояние М. Л. Слонимскому: «...романа не написал, но теперь (недавно начал) пишу. Но если будет хорошая погода — брошу. Ничего нет, что побуждало бы писать, а время (давно уже Средний Возраст) уходит. Деньги это дает совершенно ничтожные, а шуму — больше бывает, когда лягушка в воду прыгнет».

Все видел и понимал этот человек. И на много лет вперед видел свою судьбу: «Если Начальники не пропустят Ерыгина [1], мне, увы, по-видимому, больше ничего не придется печатать: то, что я буду писать впредь, будет тоже недостойно одобрения». Это еще 1925 год. «...мои акции стоят отменно низко, и улучшения оным не предвижу». Это 1926-й. Первый сборник его рассказов издан в 1927-м. Второй («Портрет»), в основном повторяющий первый — в 1931-м.

В конце марта 1936 года после собрания, на котором его безжалостно и несправедливо проработали, Добычин исчез, никто его уже больше не видел. Судя по всему, он покончил с собой. Сведения, собранные по крупицам, рисуют такую картину: из Дома писателя он вернулся к себе (ночью по телефону с ним говорили Чуковские); на столе разложил книги, не принадлежавшие ему, с записочкой в каждой — кому возвратить (рассказала вдова поэта Бенедикта Лифшица Екатерина Константиновна); еще раньше, как вспомнил Л. Н. Рахманов, он отдал мелкие долги; затем отправил матери в Брянск свои часы и кой-какие вещи... С ее обеспокоенного письма в Ленинград и открылось исчезновение Леонида Ивановича Добычина.

Настоящие заметки сложились на основании писем Добычина, переданных автору этих строк вдовой М. Л. Слонимского Идой Исааковной и Леонидом Николаевичем Рахмановым, за что выражаю им глубокую признательность, а также материалов ЦГАЛИ и Брянского областного архива [1].

Л. Добычин (он хотел, чтобы его произведения были подписаны именно так) родился в Двинске (ныне Даугавпилс) 18 июня 1894 года — это впервые точно устанавливается из письма к И. И. Слонимской. Отец его, рано умерший, был врачом — все, как у героя «Города Эн». По словам знавших его, Добычин окончил Петербургский политехнический институт. Но в Брянске, куда семья переехала, по-видимому, во время первой мировой войны, во всяком случае, не позднее 1918 года, он был мелким служащим: с 1922 по 1925 год статистик (иногда это называлось заведующий статистическим отделением)

[1] Рассказ «Ерыгин» (1924).

[1] К искреннему горю всех знавших его, Л. Н. Рахманов скончался в 1988 году. Эту статью он прочитал в день отправки в больницу, откуда ему уже не суждено было вернуться.

орготдела губернского Совета профсоюзов, год был без работы, затем устроился в губстатбюро («Этот адрес навсегда»,— говорит он в одном из писем). В общем, даже на фоне тогдашних трудностей жизнь его протекала по худшему, так сказать, варианту.

«Сочинение глав (задуманного романа.— *Вл. Б.*),— сообщает Добычин в 1933 году,— задерживается отсутствием

а) в течение всей зимы электричества,

б) в течение более чем месяца — керосина,

в результате чего испытывается недостаток освещения, выходные же дни посвящаются стоянию в очередях».

Ему негде было работать. Только через несколько лет семья (мать, сестра и брат Дмитрий, тоже мелкий служащий губпрофсовета) переехала в квартиру, где у него появился свой угол.

Это был человек не совсем обычного душевного склада (М. Слонимский сравнивает его с Хлебниковым, с Гогеном). Широко образованный, весьма сведущий в литературе, он знал языки — по меньшей мере, французский, немецкий и латынь,— много размышлял, словом, жил напряженной духовной жизнью. И вместе с тем задыхался от одиночества («А мне очень наскучило ни с кем не разговаривать»; «Я славлюсь только у Цукерманши, библиотекарши из „Карла Маркса"»). Семья решительно не одобряла его стремления к творчеству. Именно поэтому Добычин вел оживленную переписку с семьей Слонимских, Н. К. и К. И. Чуковскими, Е. Л. Шварцем, Л. Н. Рахмановым, Н. С. Тихоновым, Е. М. Тагер (чья жизнь и стихи тоже еще ждут своего внимания), с некоторыми другими писателями. Видно, что он дорожил этими связями, старался развлечь своих корреспондентов, рассказывая о каких-то смешных случаях, анекдотах. «При входе в сквер написано, чего там нельзя делать. Заканчивается так: «За неисполнение штраф или принудительных работ». Я вспомнил Двинск, где на вывесках было: „Табак, сигар и папирос" и „Сыр, сметана и яиц"»; «Кажется, я не писал Вам, что парикмахер у меня спросил „Сами броетесь наиболее?"»

Потом многие эти фразы обнаруживаются в добычинских вещах. Из письма: «Цукерманша получила из Смоленска вызов на соревнование — три пункта приняла, три отклонила, в один внесла поправки». Подобной фразой и начинается публикуемый рассказ «Матерьял». А похожая вывеска упомянута в «Городе Эн»: «Мел, гвоздей, кистей, лак и клей».

Смешное и грустное у него всегда рядом, так же как и личные переживания накрепко связаны с общественным бытием.

«Моя сестра вчера была на чистке,— пишет он в 1930 году И. И. Слонимской.— Было так:

Председатель: Расскажите вашу биографию.

Она: Мой отец был врач. Он умер, когда мне было полтора месяца.

Председатель: Как вы справляетесь с своей работой?

Она: Через несколько месяцев мне прибавили прибавку. Если бы не справлялась, то бы не прибавили.

Посторонняя женщина (врываясь запыхавшаяся): Пусть скажет, как она относится к хозяйственным затруднениям.

Все (в негодовании): Это политический вопрос, это не имеет отношения.

Председатель: Но раз вопрос задан, придется отвечать. Как вы относитесь к хозяйственным затруднениям?

Чистимая (при общем шуме бормочет): Это временные затруднения.

Председатель (перекрикивая шум): Она сказала, что это временные затруднения.

На этом кончилось.

Пятнадцатого (послезавтра) мы ликвидируемся, и я опять пущусь на поиски приюта на время «Хоз. Затр.» ⟨...⟩.

«Если можно узнать, на каком градусе (по Цельсию, то есть при ста градусах) дело с моей книжкой, то очень прошу. При мысли, что она не успеет выйти, у меня ЛЕДЕНЕЕТ КРОВЬ И ВОЛОСЫ СТАНОВЯТСЯ ДЫБОМ».

И в этом письме — прямая связь с рассказом «Матерьял», написанным в том же, 1930 году: «Председатель был шутник, и зрители покатывались. Коммунальщики сидели серые». Всего две фразы! Но поистине у них взрывная сила: безнравственно унижать человека. То, что в письме, рассказавшем о конкретном факте, смазано, скрыто, в художественном произведении вскрывается как явление само по себе, в принципе антигуманное.

Добычина постоянно критиковали за объективизм — автор, мол, не дает никакой оценки тому, что изображает. Но неужели этот эпизод ничего не скажет читателю?!

Однако ни литературные невзгоды, ни нужда не сломили Добычина, не лишили его чувства собственного достоинства (что и сыграло роковую роль в 1936 году). Даже обращаясь с просьбами — то о напечатании своих вещей, то о высылке гонорара, то об устройстве в Ленинграде,— он подчеркнуто независим. Ни разу, хотя бы из простой вежливости, не похвалил книги, если она не была в его вкусе. «Я прочел книжку, которая называется „Машина Эмери"»,— сообщает он автору, М. Л. Слонимскому, опекавшему его, всячески помогавшему на протяжении многих лет. И больше ничего. Однажды, правда, он одобрил Л. Н. Рахманова, да и то в такой форме: «Я прочел «Базиля». Очень хорошо. Я не ожидал даже, что так будет. После этого я попробовал «Племенного»[1], но оставил. Это — действительно плохо (простите)».

Он всегда остер, ироничен. Говорит о Л. Сейфуллиной: «Я ее очень люблю. В особенности — за перспективы» (вспомним начало этих заметок). А чуть позднее сообщает, что именно в ее честь назван рассказ, где одним из персонажей является коза по имени Лидия.

И. И. Слонимская упрекнула его в том, что он никого не любит. Он ответил: «Из известных Вам лиц хорошо отношусь к нижеследующим:

1. Коле[2], 3. Тагерин[3],
2. Шварцу, 4. Эрлиху».

Вообще письма Добычина важны не только для уяснения его внутреннего мира, но и в чисто литературном отношении. Он был прекрасным стилистом. Посылая свою первую рукопись «Вечера и старухи» поэту М. Кузмину, он подчеркнуто переходит на старую манеру, сохраняя даже яти и твердые знаки:

«Милостивый Государь
Михаил Алексеевич!

Я позволилъ сѣбе переслать на Ваше разсмотрѣнiе нѣсколько беллетристическихъ издѣлiй и

[1] Имеется в виду роман Л. Рахманова «Племенной бог» (1931).

[2] Н. К. Чуковский.

[3] Е. М. Тагер.

очень прошу Васъ, если Вы не найдете этого ненужнымъ, дать мнѣ о нихъ Вашъ отзывъ.

Л. Добычинъ.

Брянск,
Губпрофсоветъ.
30 мая 1924»[1].

Как и его произведения, письма Добычина и внешне своеобразны: чаще, чем мы привыкли, он ставит ударения — порой чтобы избежать двусмысленности, порой в малоизвестном для читателя слове, порой как бы исправляя неверное произношение, порой — явно иронически; он часто подчеркивает слова и фразы или выделяет их печатными буквами, многие слова начинаются с заглавных букв — тут тоже целая гамма возможных смысловых оттенков, от сатирического до возвышенного.

...В 1934 году Добычину удалось наконец перебраться в Ленинград. Союз писателей дал ему комнату (Мойка, 62). Здесь он очень сблизился с соседом, молодым рабочим Александром Павловичем Дроздовым (в письмах именуется Шуркой). Дроздову посвящен «Город Эн».

Рассказ «Дикие», который мы публикуем, даже подписан двумя фамилиями: Добычина и Дроздова. Впрочем, и И. И. Слонимская, и М. Н. Чуковская, и Л. Н. Рахманов, у которых я справлялся, весьма скептически отзывались о литературных возможностях добычинского приятеля. А В. А. Каверин на мое письмо ответил так: «Дроздов был сосед Добычина по квартире и ничего написать он не мог. Добычин был привязан к нему и вследствие этой привязанности поместил эту фамилию рядом со своей».

Не исключено, что «Дикие» в какой-то степени основываются на рассказах А. Дроздова (незадолго до смерти Л. Добычин закончил повесть «Шуркина родня», которую безрезультатно предлагал в несколько мест; рукопись эта, к сожалению, пока остается недоступной). Что же касается собственных деревенских впечатлений Добычина, то о них, например, говорится в одном из печатаемых писем, да и по рассказам видно, что писатель знал деревню не понаслышке.

Но тучи уже сгущались над Добычиным. Вот его письмо к писательнице М. Шкапской — крик о помощи, смертельная тоска...

«Дорогая Марья Михайловна.

Если у вас найдется время, напишите мне немножко.

Следовало бы извиниться, что я обращаюсь с этим к Вам, и прочее, но я думаю, Вы это примете без извинений.

Мне как-то очень неспокойно, хочется немножко жаловаться, а *народу* мало.

Кланяюсь Вам. *Л. Добычин*».

За несколько дней до известной статьи «Сумбур вместо музыки» («Правда» от 28 января 1936 года) в Доме писателя состоялось первое заседание дискуссионного клуба прозаиков, посвященное «Городу Эн». Добычина уже ругали, но топором еще никто не размахивал.

Что сказал о своей книге сам автор, «Литературный Ленинград» не пишет, но оценивает: «Сообщение его было весьма дискуссионным». Пытался как-то прикрыть писателя М. Слонимский: «Добычин взял материал, уже отработанный в литературе, и показывает его новыми приемами. Но я не отношусь к этому как к формальному новаторству». К. Федин отметил, что книга «сделана еще более виртуозно», что «автор нашел гармонию между своей манерой и материалом», однако, впадая в противоречие с самим собой, подвел такой итог: «Добычину надо бежать от своей страшной удачи... Книга Добычина действует как художественное произведение. Но когда прочитаешь эту книгу, остается чувство неудовлетворенности. В каждом отдельном эпизоде книги — разительная реалистическая сила. Но сложенные вместе, они перестают действовать». (Кстати, за несколько лет до этого Федин отметил талант Добычина в одном из своих зарубежных интервью.)

Вскоре после дискуссии, 9 февраля 1936 года, Добычин отправляет заказное письмо М. Л. Слонимскому в Минск, куда тот поехал на пленум правления Союза писателей СССР.

«Дорогой Михаил Леонидович. Вчера вечером Коля Степанов сообщил мне по телефону, что ему только что позвонил Лозинский и объявил, что вычеркивает из сделанной Колей Степановым рецензии (для «Литерат. Соврем.») на «Город Эн» все похвальные места, так как имеется постановление бюро секции критиков эту книжку только ругать. Рецензия, по словам Коли Степанова, была составлена очень осторожно, и похвалы были очень умеренные и косвенные, так как К. С. приблизительно предвидел, где будут зимовать раки.

Я бы относился ко всему этому с коленопреклонением и прочим, если бы знал, что это делается с какой-то точки зрения или какой-то высоты, но вся тут высота-то — высота какого-нибудь ⟨...⟩ и точка зрения — его левая нога.

Очень прошу Вас поговорить с московскими людьми, которых Вы увидите, и выяснить, действительно ли следует в этом отношении осенить себя крестным знамением, как выразился в 1861 году митрополит Филарет, и призвать благословение божие на свой свободный труд, залог своего личного благосостояния и блага общественного,— или возможны какие-нибудь вариации.

Кланяюсь.

Ваш Л. Добычин».

Рецензия Н. Степанова опубликована в февральском номере «Литературного современника» — рецензия в общем справедливая и объективная, но — и это тоже понятно — концы с концами в ней сходятся плохо. «Своеобразие Добычина в „авторском невмешательстве"». А в последнем абзаце, явно приписанном и выделяющемся своей резкостью, говорится, что в экспериментальной книжке Добычина «слишком много от формалистических ухищрений и объективизма».

А теперь об общем собрании ленинградских писателей, до окончания которого Добычин не дожил. Оно началось 25 марта (отчет в «Литературном Ленинграде» за 27 марта) и было продолжено (очевидно, утрясались имена формалистов и список их обличителей) 28, 31 марта, 3, 5 и, наконец, 13 апреля.

Вступительное слово Е. Добина, являвшегося тогда редактором «Литературного Ленинграда», опубликовано в виде передовой статьи. Читать его в нынешние времена тяжко. Добычин почему-то оказался главным противником, да что там — врагом советской литературы и советской власти. «Любование прошлым и горечь от того, что оно потеряно,— квинтэссенция этого про-

[1] Ответное письмо Кузмина мне неизвестно. Он либо вообще ничего не ответил, либо высказал о рукописи отрицательное суждение. В одном из писем Добычин, скорее всего имея в виду этот эпизод, назвал Кузмина гордецом.

изведении, которое можно смело назвать произведением глубоко враждебным нам».

«Конечно,— отмечал докладчик,— этот монстр — одиночное явление в нашем искусстве». Однако в дальнейшем были оглашены имена и других грешников: того же К. Федина («Похищение Европы»), Н. Никитина («Двойная ошибка»), Ю. Германа (рассказ «Валюша»), И. Ильфа, Е. Петрова и В. Катаева (авторов «низкопробного» произведения «Богатая невеста»), Дм. Лаврухина, Б. Корнилова и других. И все-таки то, что выслушал Леонид Иванович Добычин, не сравнимо ни с чем.

«„Город Эн", — повторяет и усиливает тон докладчик,— любование прошлым, причем каким прошлым? Это — прошлое выходца самых реакционных кругов русской буржуазии — верноподданных, черносотенных, религиозных».

Н. Я. Берковский, как и Е. С. Добин, впоследствии глубоко переживавший свои тогдашние заносы, выступил не менее хлестко и также не обременяя себя поисками аргументов: «Дурные качества Добычина начинаются прежде всего с его темы... Добычин — это такой писатель, который либо прозевал все, что произошло за последние девятнадцать лет в истории нашей страны, либо делает вид, что прозевал...»

Что и как было отвечать униженному писателю? Читаем: «...недоумение собрания вызвало выступление Л. Добычина. Он сказал несколько малоразумительных слов о прискорбии, с которым он слышит утверждение, что его книгу считают идейно враждебной. Вот и все, что мог сказать Добычин в ответ на политическую оценку его книги, в ответ на суровую критику «Города Эн», формалистическая сущность которой была на собрании доказана». Как это похоже на известный эпизод с М. М. Зощенко!

Алексея Толстого тоже покритиковали — за пьесу «Акила». Тогда он вышел на сцену и весело заявил: «О чем спор? Пьеса плохая, я абсолютно согласен с этим. Но она написана бог весть когда, еще до революции — и вольно же было ставить ее сейчас...» и т. д. Но обозреватели «Литературного Ленинграда» наверняка не были удовлетворены: «Думается нам, за этой краткой репликой на ближайшем собрании последует и более широкое выступление А. Толстого по вопросам, волнующим советскую литературу». Толстому ничего не оставалось, очевидно, как выступить еще раз. 5 апреля на пятом заседании он вновь поднялся на трибуну.

По рассказам старших по возрасту писателей, слышанным в разные годы, я, как и многие другие, считал, что Толстой принял участие в травле Добычина. Но сейчас, внимательно перечитав стенограмму его речи, думаю, что это далеко не так. Толстой не предъявил Добычину никаких политических обвинений, отверг упрек в формализме и свел дело к тому, что просто, мол, книга — неважнецкая...

«Океан разгневался, суденышко трещит, гибель грозит всем, и, чтобы умилостивить Нептуна, бросают за борт в пучину жертву, ну, разумеется, того, кто поплоше из команды: юнгу какого-нибудь ⟨...⟩.

(Любопытные образы, между прочим! — *Вл. Б.*)

Таким юнгой-за борт был у нас, например, писатель Добычин. Случай с ним характерен не для Добычина, а для литературной среды, в которой мог возникнуть случай с Добычиным,— начиная от написания им скучной книжки до его демонстративного бегства от литературных товарищей».

Об этом бегстве Добычина из зала и тоже слышал много раз. Недавно — от 90-летнего Арсения Георгиевича Островского. И все в один голос говорили: когда Добычин встал и пошел по проходу, он был белее мела и его шатало... Но Толстой, тоже запомнив эту картину, не знал 5 апреля, что Добычина уже нет, что он ушел не только из Дома писателя.

Кто же этот Нептун? — не без нарочитой риторики вопрошал далее Толстой. «Нептун — это советский читатель 1935—1936 года. А статья в «Правде» всего лишь рупор, в который собираются миллионы голосов читателей...»

Он с пафосом произносит общие слова о возросших требованиях читателя, о новых человеческих типах, о реализме, о кабинетной жизни многих писателей. Ну, а Добычин — «пока еще в литературной работе не обнаружил таланта. ⟨...⟩ Книга его — схема, даже еще более: конспект воспоминаний. ⟨...⟩ Вы читаете и сквозь утомление отмечаете пунктир предметов: ни одного живого лица, ни одного вырастающего характера, включая сюда и самого героя, гимназиста, упрощенного почти до кретинизма. ⟨...⟩ Что же это такое? Чистейший формализм? Так и припечатали на книжке «Город Эн»: «формализм», «снять». Нет, это не совсем все-таки формализм».

И такое же, как у Федина, противоречие самому себе. И тоже, полагаю, совершенно сознательное. «В книжке, несмотря на все ее качества, звенит пронзительная нота тоски. По книге веет пылью постылой, преступно-равнодушной мещанской жизни. Автор хотел сказать: „Вы, цветущие девушки, прыгающие с синего неба на зеленые луга аэродрома от избытка сил и радости, оглянитесь на пройденный путь революции! Оглянитесь и еще раз крепче оцените то, что дает вам сегодняшний день. Не привыкайте к тому, что создано вашими руками, это великое счастье!..“»

Толстой, таким образом, начисто отверг все сказанное до него! Услышь эти слова Добычин, может быть, и остановился бы он на краю пропасти, приободрился бы. Но он их уже не слышал.

И еще. Толстой говорит далее о писателях, которые называли Добычина «советским Прустом, а так как это имя не слишком современно, его также называли Бальзаком, Франсом, Джойсом. Мало того, ему говорили, что его книги создадут эпоху, что он опрокинет с дюжину литературных столпов.

И он верил, и старался писать, как Пруст, Франс и т. д.

И вот, когда роковой палец критика указал на него: «Формалист!» ⟨...⟩ товарищи-писатели, те, что толкали его на путь (слово отсутствует в стенограмме.— *Вл. Б.*), все до одного отступились без звука протеста. Товарищи его предали. Вот почему Добычин произнес рыдающим голосом несколько невнятных слов и пошел, шатаясь, из зала. Сама земля перестала быть опорой под ногами...»

Толстой, конечно, не прав. Никто не учил Добычина писать так или иначе, друзья от него не отреклись. В дневниковых записях М. Л. Слонимского читаем: «А. Н. Толстой в своей речи 1937 года (правильно 1936-го.— *Вл. Б.*) ударил (уже после самоубийства Добычина) по тем, кто хвалил Добычина (и по нему, конечно, тоже),— главным образом по Федину, но без фамилий. Федин подскочил ко мне:

— Я задохнулся. Выступай ты. Назови меня. ⟨...⟩

Толстой не назвал ни одной фамилии, но достаточно прозрачно обозначил, Федина в особенности.

Ко мне подскочил Коля Чуковский, еще и другие, все просили назвать их как «виновников», чтобы не оставаться в кустах...

Напряжение у меня было страшное. ⟨...⟩ Я раскрыл толстовские анонимы, первым и, конечно, назвал себя. А после моего выступления меня нашел Гор:

— Почему вы меня не назвали? — спросил он обиженно.— Ведь я тоже хвалил и люблю Добычина!»

Как видим, в этой истории у Толстого были свои тактические, что ли, задачи. Что же касается Добычина, то все-таки Толстой не добавил ни одного серьезного (то есть политического) обвинения, а наоборот, как сказано, скорее снял их.

Что же все-таки за писатель был Добычин? О чем, о ком писал, что хотел сказать своими крохотными рассказами (их всего около 25) и одной частью романа (а пять авторских листов «Города Эн» — это и есть лишь начало его большого произведения)?

Добычин писал очень тщательно, медленно, обдумывая каждое слово — это надо понимать буквально. Роман, говорит он в одном из писем, уже начал, уже написано 700 слов. Он посылает рассказ Слонимскому для опубликования, а потом вслед за ним письмо: «Многоуважаемый Михаил Леонидович. Я должен был послать Вам Савкину двенадцатого числа, а послал одиннадцатого — и уже наказан: оказалось, что в первой главе перепутал. Там есть про Гоголя («Чуден Днепр»), дальше написано «Когда стемнело, Савкина», а нужно не «когда стемнело», а «Появилась маленькая белая звезда. Савкина» и т. д.».

Три месяца спустя: «Многоуважаемый Михаил Леонидович. Если не поздно, то вот исправления к Козе (Вы когда-то не отказали сделать в Савкиной исправления о звезде):

1. Вместо «перед запертой калиткой стоял Петька» — «у запертой калитки дожидался Петька».

2. Вместо «Водили к козлику? — спросила Дудкина» — «Водили к козлику? — интересовалась Дудкина».

3. В конце, где вожатый выпроваживает козла, вместо «Ихний? — спросила Зайцева» — «Ихний? — уставилась Зайцева» [1].

Как сказано, Добычин отличался независимостью суждений. Он и писал по-своему. Проза его так сжата, мельчайшие детали так связаны между собой, так важны для понимания общего замысла, что Добычина почти невозможно пересказывать, хочется выписывать все подряд.

Рассказ «Встречи с Лиз» (1924) если не программный, то, во всяком случае, один из известных, давший название первой книге.

« — Не слышно, скоро переменится режим? — томно спросила Золотухина, протягивая руку.

— Перемены не предвидится,— строго ответил Кукин.— И знаете, многие были против, а теперь, наоборот, сочувствуют.

Покончив с учтивостями, старухи продолжали свой разговор.

— Где хороша весна,— вздохнула Золотухина,— так это в Петербурге: снег еще не стаял, а на тротуарах уже продают цветы. Я одевалась у де-Ноткиной. «Моды де-Ноткиной»... Ну, а вы, молодой человек: вспоминаете столицу? Студенческие годы? Самое ведь это хорошее время, веселое...

Она зажмурилась и покрутила головой.

— Еще бы,— сказал Кукин.— Культурная жизнь...— И ему приятно взгрустнулось, они замечтали над супом: — Играет музыкальный шкаф, студенты задумались и заедают пиво моченым горохом с солью... О, Петербург!»

Этот Кукин из породы ничтожных женихов, мечтающих сделать блестящую партию; теперь он фантазирует о возможности развития отношений с некоей начальницей Фишкиной. Он уже перестроился, он бежит в библиотеку и просит: «Что-нибудь революционное»... «Он уже видел себя с теми книжками — встречается Фишкина: — Что это у вас? Да? — значит, вы сочувствуете!»

А вообще-то Кукин читает книгу под названием «Бланманже» и тоже вздыхает: «Ах, не вернется прежнее...»

Кажется, никому в голову не пришло отождествлять Ильфа или Петрова с Кисой Воробьяниновым. А вот Добычину доводилось слышать подобное — это ведь о нем сказали, что он тоскует по монархии и религии.

Рассказ «Козлова». Сценка в канцелярии.

« — Завтра Иоанна-воина,— сказала новая, франтоватая старушка с красными щеками.— Когда вы с кем-нибудь поссоритесь, молитесь Иоанну-воину.

Я всегда так делаю, и знаете, ее забрали и присудили на три года.

— Хорошая женщина,— подумала Козлова,— религиозная... Сутыркина, кажется».

«Нагнала́ Сутыркина:

— Недурная погода. С удовольствием бы съездила на выставку. Очень хорош, говорит, Ленин из цветов.

Козлова поджала губы.

— Знаете,— с достоинством сказала ей Сутыркина,— и всегда соображаюсь с веяниями времени. Теперь такие веяния, чтобы ездить на выставку, пополнять свои сельскохозяйственные знания».

Это рассказ 1923 года. Шестой год советской власти...

«Стенная газета «Красный луч» продергивала тов. Самохвалову: оказывается, у ее дяди была лавка...»

У Добычина очень много подобных живых штрихов — прямо музей быта и нравов 1920-х годов. Чем больше ходишь по этому музею, тем сильнее ощущаешь зоркость, точность, остроту писателя. Он сразу подметил, выставил на всеобщее обозрение то дурное, что начинало складываться уже тогда и, к сожалению, дошло до наших дней. Если не все, то очень многое, о чем говорим мы нынче, присутствует, хотя бы в зародыше, на страницах его произведений. Некая поэтесса появляется в рассказе всего с одной своей строкой:

гудками встречен день. Трудящиеся...

Не правда ли, достаточно этой строки?

Чаепитие в детском саду, бойцы из содружественной части, футбольщики... Напишите: родительский день, шефы, болельщики — и все будет, как сегодня. А остальное и менять не надо: кампании о кооперации и антивоенные, местечки с дефицитными предметами; фразерство, бюрократия, подхалимство, догматическое мышление, некомпетентное руководство, слова вместо дела. Чуть ли не все герои Добычина мечтают, фантазируют, сочиняют — стихи, рассказы, проекты. А жизнь не движется. В рассказах Добычина ничего серьезного не

[1] В печатном варианте — «просняла».

происходит. События — мельчайшие, пустяковые — оказываются в центре повествования, обсуждаются персонажами; часто это похороны, домашний ужин или чай, прогулка по городу, разговор в канцелярии. ⟨...⟩ прошли два кавалера, разговаривали о крем-соде; рассказ «Сиделка» кончается так: «„Сегодня и чуть не познакомился с сиделкой“,— сказал Мухин».

Мещане, обыватели, изображаемые Добычиным, любопытны, но поразительно равнодушны, черствы, невежественны и, конечно, бездуховны. Добычин все это ненавидел и смеялся зло. Он отнюдь не юморист. И если уж ставить его в какой-то литературный ряд, то силой своего неприятия всего античеловеческого, негуманного он приближается к Щедрину.

Большинство рассказов Добычина написаны между 1923 и 1926 годами. Они рисуют провинцию первых послереволюционных лет, жизнь мелких служащих, канцелярские будни, дворовый, уличный быт. Выросший в местах, где издавна соседствовали русские, латыши, поляки, евреи, немцы, Добычин, смеясь над человеческими недостатками, уродствами, без тени иронии или насмешки говорит о национальных укладах жизни, характерах, о разных верах. Его оценки основываются только на критериях морали.

«Город Эн», создававшийся позднее,— еще один вариант «Детства и Отрочества» и одновременно уничтожающая сатира на последние, самые ничтожные годы самодержавия. Чиновничья тупость, сословные предрассудки, духовная пустота, мракобесие — все это выставлено писателем в отталкивающем, жалком виде. На память приходит «Мелкий бес» Ф. Сологуба: то же человеческое разложение, запустение. Только у Сологуба все впрямую, а Добычин выражает свое отношение обиняком, с помощью иронии.

Добычинский роман написан от лица мальчика из приличной семьи, разделяющего все мнения и взгляды окружающих. Он даже свое «и» часто заменяет на «мы». Уволилась очередная кухарка (этот мотив проходит через всю книгу): «„Муштруете уж очень“,— заявила она нам. Мы рассердились на нее за это и при расчете удержали с нее за подаренные ей на пасху башмаки».

И всюду так: наивный мальчик что-то одобряет, что-то порицает, а читателю, как в данном случае, не должно бы составить труда понять правильно, наоборот. Но Добычину попало и за мальчика, и за прием, многократно усиливающий критическую силу пера.

Многие писательские имена назывались применительно к Добычину. Само название — «Город Эн» — от Гоголя. Чичиков приехал в город N. Чичиков подружились с Маниловым. Чичиков — приятный человек, Манилов — тоже. И вот сквозная мысль или даже мечта героя: как они хорошо дружили, как он хотел бы, чтобы и в его жизни была такая красивая дружба! Гоголь, Чичиков, Манилов упоминаются в романе множество раз. Страшная ирония скрыта в этом: какая деградация, глупость, тупость, если образец — Чичиков и Манилов... Общий смысл книги, конечно, сложнее, богаче.

«Прошло, оказалось, сто лет от рождения Гоголя,— читаем мы.— В школе устроен был акт. За обедней отец Николай прочел проповедь. В ней он советовал нам подражать „Гоголю как сыну церкви“».

Идеал сатирика обычно выражается как бы от противного: автору дорого то, чего нет в его героях, в действительности, описываемой им. Порой, как у Гоголя, этот идеал видится в мелькнувшем пейзаже, в изображении, пусть самом беглом, чего-то прекрасного, настоящего. Перечитайте заключительные строки «Матерьяла» — они весомы, значительны. За ними большая русская художественная традиция, глубокое народное чувство.

Произведения Добычина рассчитаны на думающего, серьезного читателя. В годы, когда литература, лишенная больших общечеловеческих проблем, литература угодническая, заслонила, оттесняла, вытесняла честную литературу, смелую, умную сатиру, Добычин, конечно, не мог прийтись ко двору.

В 1987 году я ездил в Брянск, пытаясь получить хоть какие-то новые сведения о Добычине и его семье. В архиве отыскались лишь листы штатного расписания за несколько лет, в которых Добычин занимал последние строки, ведомости на зарплату с его четкой росписью под грошовыми суммами, списки пожертвований в пользу голодающих — и деньгами, и частью продовольственного пайка. Ни один из домов, где он жил, не сохранился. Последний снесли несколько лет назад... И только недавно, из письма М. Н. Чуковской узнал я страшные и окончательные подробности: в 1962 году ей позвонил родственник Добычина и сказал, что мать и сестру Леонида Ивановича «немцы во время оккупации сожгли в брянских лесах, а остальные — репрессированы»...

Почти наверняка можно утверждать: Добычина ожидала бы подобная же участь.

Мы печатаем пять рассказов Добычина.

Рассказ «Нинон» входил в его первый рукописный сборник «Вечера и старухи»[1]. Для современного читателя, практически лишенного возможности познакомиться с весьма небольшим наследием писателя, рассказ представляет несомненный интерес.

Рассказ «Сиделка» входил в обе добычинские книги рассказов. Но, готовя в 1933 году новый сборник «Матерьял», автор довольно сильно переделал его, смягчил то, что ему казалось особенно неприемлемым для «Начальников», внес некоторую стилистическую правку.

Рассказы «Матерьял» и «Чай» взяты из сборника. Посылая 48-страничную рукопись М. Л. Слонимскому, автор писал: «Вот два рассказа, сочиненные еще в тридцатом году. Но так как они нигде не были помещены, то, может быть, их можно будет куда-нибудь упрятать. Кроме того, здесь книжка, называемая «Матерьял». Хотя она, как Вы мне написали, и неосуществима, но пусть, если позволите, лежит у Вас».

Рассказ «Дикие» несомненно написан уже в Ленинграде, в последние годы жизни писателя.

Самую сердечную признательность выражаю Иде Исааковне Слонимской, позволившей осуществить эту публикацию; несколько писем к Михаилу Леонидовичу мы приводим. Благодарную память сохраняю я и о Леониде Николаевиче Рахманове, подвигнувшем меня на занятия Добычиным и передавшем добычинские письма к нему.

---

[1] Печатается по рукописи, сохранившейся в архиве Михаила Кузмина: ЦГАЛИ, ф. 232, оп. 1, ед. хр. 477. Рассказ «Сиделка» печатается по машинописи, выправленной автором; остальные рассказы и письма — по автографам.

ПИСЬМА К М. Л. СЛОНИМСКОМУ

27 января ⟨1925 или 1926⟩.

Михаил Леонидович. Я получил от К. И. Чуковского письмо о его отъезде. Два рассказа, которые я раньше послал в «Современник», он рекомендует мне передать Е. Л. Шварцу. Они называются «Козлова» и «Нинон». Я пишу секретарше «Современника» Вере Владимировне Богдановой, чтобы она эти рукописи Шварцу передала (между прочим, они вполне цензурны). Не устроите ли Вы, чтобы Шварц их получил?

К. И. пишет, что рассказы следует поместить в журн. «Ленинград». Я предоставляю их на Ваше усмотрение.

Не можете ли Вы сообщить мне личный адрес Чуковского (петербургский) — он мне нужен потому, что Чуковский предлагает остановиться в его комнате на случай моего приезда в Петерб., а адреса я не знаю.

Ваш Л. Добычин.

На отдельном листе:

Чуковский пишет, что он начал бы Ерыгина со второго абзаца. Первый абзац необходим. Там следы от волос на песке, в четвертой главе — следы от сена на снеге, оттого и написано «что-то припомнилось». Не выкидывайте, пожалуйста, первого абзаца.

Л. Доб.

10 апреля.

Дорогой Михаил Леонидович. Не рассердитесь на меня за просьбу написать, получили ли Вы мои Рукописи.

Сегодня я понаслаждался замечательною песней «Любо парижанке», исполнявшейся на речке тремя пьяницами:

Любо парижанке
Мужское сердце покорить.

«Лавровых» я на днях вручаю Цукерманше для библиотеки, чтобы Вы славились и здесь.

Я тоже (простите) придумал один Роман, только некогда писать. Если можно, то кланяюсь Вашей жене. Что она шьет к лету?

Л. Добычин.

Открытка. Штампы: Брянск — 11.4.27
Ленинград — 12.4.27.

16 апреля[1] ⟨1929⟩.

Дорогой Михаил Леонидович.

Сочинение это я до октября вышлю. От Каверина я действительно получил письмо — чтобы послать «цикл рассказов вроде „Встреч с Лиз“» для сборника, в котором будут следующие новаторы: Тихонов, Заболоцкий и Олеша. А я — тоже новатор. Это очень мило, и я на всякий случай даже сохранил — показать кому-нибудь. Только — не́кому.

У нас внезапно наступило лето, и я уже пять раз купался и один раз Внимал Соловью — случайно, проходя мимо. Сады с оркестрами и эстрадами открылись (состоялось открытие), одного гуляющего зарезали впотьмах, а в Бежице (десять верст от нас) двоих повесили: интеллигентские течения среди молодежи.

Какая-то мадам прислала мне письмо, что Бабель — это кружевной гипюр (не то кремовый гипюр, я забыл), а я — лес в инее при луне и должен обязательно познакомиться с Бабелем, а кроме того — и вроде Петера Альтенберга (а я не знаю, что это еще за Петер).

Вам (простите, я с сохранением дистанций) присылают письма мадамы?

Кланяюсь. Простите, что так длинно.

Л. Добычин.

---

[1] Видимо, «16 апреля» — описка. На конверте штампы: Брянск — 17.5.29, Ленинград — 21.5.29.

11 июня (1930).

Дорогой Михаил Леонидович (ибо Вы, по предположениям, должны уже прибыть). В ваше отсутствие у меня происходило крайнее оживление на фронте переписки с Идой Исаковной. В частности, я совещался с И. И. по вопросу о названии книжки. В конце концов я думаю, что не назвать ли ее скромно «Хиромантией». Если Вы одобрите, то я (если нужно) пошлю об этом письмо Алянскому.

Я прибыл сюда в разгар весеннего сезона и кипения страстей. У нас в саду (при доме) несколько дней жил соловей. Гремело происшествие с летчиком. ⟨...⟩ Много и других историй произошло с участием Любви.

Я писал уже Иде Исаковне, что мне удалось побывать в колхозах. Против станции было гороховое поле. Посреди гороха были расставлены — на ножках — корытца с патокой для привлечения бабочек и отвлечения их от горохв. В горохе же стояли крест и шест с красной звездой — под крестом закопали 500 деникинцев, а под шестом 2000 красноармейцев. В райисполкоме я получал лошадей. Приходили раскулаченные и просили, чтобы им выдали корову.— Подавайте заявление,— говорила секретарша и подмигивала мне на них.— Какие у хозяйства должны быть признаки, чтобы получить обратно часть скота? — спрашивали они канцелярским слогом.— Этого вам не нужно знать,— говорила секретарша,— достаточно, что председатель сельсовета знает.— И опять подмигивала мне: — Захотели, чтобы им сказали признаки! — Явилась председательница сельсовета в армяке и туфлях: — Можно взять у Батюшки дом, который он отдает даром под ясли? — Нельзя,— не разрешила секретарша,— что это за подачки от попов? — А председательнице все-таки хотелось получить поповский дом.— Заведующая яслями мне говорила, это можно,— мялась она.— Заведующая яслями не знает Линии,— сказала секретарша,— что она прошла? — двухнедельные курсы, только и всего.

Председателя колхоза не оказалось дома. У него в избе ползали по земляному полу дети с выпачканными чем-то черными физиономиями. На нарах, черными подошвами вперед, валялись две босые бабы.— Опять нагадила,— вскочила председательша и, подскочив к девчонке, привела в порядок пол, насыпав на него земли.— Идите в сельсовет,— сказала она.— Председатель там на пленуме.

На сельсоветском пленуме, когда я пришел, обсуждались четыре акта ревизионной комиссии при каком-то, я не разобрал, уполномоченном. Все акты — одной и той же ревизии. По одному недоставало 126 рублей, по другому — 104, по третьему — 93, по четвертому — 52 рубля.— Это колыбель для воспитания растратчиков,— воскликнул председатель сельсовета и ударил себя в грудь.— Да он еле говорил: постойте, я найду какие-нибудь документики,— оправдывалась председательница ревизионной комиссии, учительница.

О Населении я узнал, что с начала уборки до зимы оно не моется (не моет лица, рук и ног; остальные принадлежности вообще никогда не моются, ибо бань нет), потому что нет расчета — все равно опять запачкаешься. Вечером я видел поэтическую сцену на завалинке: молодые люди собрались над книжкой — Лермонтов с картинками.— Калашников,— рассказывал хозяин книги,— вызвал его на кулачную дуэль, и царь велел его повесить. Вот стоит палач с ножом, а он прощается с своими братьями: здоровые они какие, здоровей его.— Охота тебе,— проходя, остановилась учительница, неудачная председательница ревизионной комиссии,— читать! — Кому же и читать, если не мне? — ответил он. В избе трещали два сверчка и хрюкали подсвинки.

Один колхоз мне подвернулся кулацкий. Дома были с деревянными полами, крыши — не соломенные, председатель с страшно тонким обхождением.— Вот наша культура,— сказал он, вводя меня в дом. Все было очень чисто вымыто — под вознесенье.— И хотят нас поровнять с этими дикарями. Как, скажите,— с интересом спросил он,— дальнейшая политика будет — к развитию колхозов или к прекращению? — К развитию,— степенно ответил я, и он взмахнул рукой: — Довольно! Больше ничего не надо! — Отвозил меня молоденький колхозник.— Мы одни по всему сельсовету не разбежались из колхоза,— сообщил он,— нам спокойнее в колхозе: восьмерых у нас хотели раскулачивать, едва отстали.

Много и другого поучительного было, так что если бы все описать (как кончается евангелие Иоанна), то весь мир не мог бы вместить этих книг.

Вниманию Иды Исаковны позвольте предложить случай (это уже́ — в городе), с одной девицей, которая потеряла, где зад ее платья и где перед, и никак не может найти.

Кланяюсь.

Ваш *Л. Добычин.*

27 августа.

Дорогие граждане. «Ленинграда» я не видел и ничего про это дело не слыхал. Ругательное примечание? Между прочим, чумандринская записка на Путиловский завод хранится у меня в качестве кюрьозитэ агреабль [1].

[1] Милая странность (*фр.*).

Если вы собираетесь уехать на октябрь, то Фома, по-видимому, приближается к концу. Когда он будет напечатан книгой, я дорвусь наконец до прочтения оного (будучи ненавистником «Звезды»).

Сметаничу [1] я хотел бы сообщить, что по наведенным мною справкам Мангаттан по-американски называется «Манха́ттэн», а не «Манхэ́ттэн», но не знаю его адреса.

Какая рукопись Вени Каверина подвернулась Кошке: не «Брат» ли «и его шпага»? Если она, то как она Вам нравится? Не напишу ему, так как не помню его адреса (этот абзац кончается одинаково с предыдущим).

Последний вопрос (задаю чертовски заинтересованный): кто этот прекрасный юморист и вообще хороший человек, человек со вкусом, который признает мою квалификацию?

Мерзавка Элисо все еще не показывается. Вместо этого был Марк Иванович Сагайдачный — научно-показательные сеансы гипнотизма — и комедия в 6 частях «Крупная неприятность», зрелище действительно лишенное всякой приличности и почему-то вызвавшее у меня большое подозрение, что сценарий сочинен Колей Никитиным.

Я нанялся с начала сентября на постройку электрической станции — третья остановка по железной дороге. Поезд отправляется из Брянска без двадцати в шесть утра, сидеть там с семи до четырех и возвращение в Брянск в половине шестого. Теперь же у меня свободный промежуток, поливаемый дождем.

Примерно уже месяц, как жизнь стала в высшей степени отрадной благодаря отменному обилию груш и яблок. Тень же на нее наводит исчезновение мелких денег, без которых ни к мороженщику, ни к кинематографу, ни к продавцу сапожной мази нет подступа.

«В наборе», «верстка» — так как я не Профессионал, то ничего в этом не понимаю. Через сколько приблизительно месяцев будет готово — это я, конечно, понял бы.

Чтобы закончить поэтически: началась осень, черт возьми, летает паутина и *мелькает желтый лист на зелени дерев.*

Ваш *Л. Добычин.*

Только что узнал, что появилось *затруднение с уксусной эссенцией.*

На конверте: Ленинград. Ул. Марата, д. 3, кв. 4. Михаилу Леонидовичу Слонимскому.
Штамп: Брянск — 27.8.30.

9 марта.

Дорогой Михаил Леонидович. Не сочтите нескромностью, что я собираюсь переезжать в Ленинград. Мне отвели комнату Косова на углу проспекта 25 октября и Володарского. Но будет еще одно заседание комиссии из Казакова, Маргулиса и Чумандрина, на которой все это может полететь прахом.

Если позволите, очень прошу Вас сделать внушение этой комиссии, чтобы в отношении меня она оставила все без перемен. Ее члены, конечно, не знают, что я их большой литературный поклонник.

Ваш *Л. Добычин.*

На конверте: Заказное. Ленинград. Ул. Марата, д. 3, кв. 4. Михаилу Леонидовичу Слонимскому. Добычин, Брянск, Октябрьская, 47.
Штампы: Брянск — 9.3.
Ленинград — 11.3.34.

ЗАПИСКИ И ПИСЬМА, НЕ ИМЕЮЩИЕ ТОЧНЫХ ДАТ

5 апреля.

Дорогой М. Л. Попробуем сделать в Ерыгине некоторые перемены.

1. В конце первой главы последнее слово вместо «РКП(б)» — просто «РКП».

Если и этого мало, то можно: «Нечдив уехал, увозя воспоминание о честной беспартийной, спасшей его жизнь».

2. Во второй главе речи иностранцев изобразить так: «Обманутые буржуазной прессой, они никак не ожидали того, что им пришлось увидеть».

3. Конец четвертой главы переделать, начиная с «слушает трели и пьет чай» и пустить так: «...чай.— Товарищ Ленинградов,— оборачивается Гадова,— я больше не могу молчать.— И открывает о епископе.— Вы знали и не доносили,— говорит товарищ Генералов, и его любви — как не было. Снова он тверд как скала, и впредь его уж не завлекут в буржуазные сети».

[1] В. О. Сметанич — критик, переводчик, впоследствии печатавшийся под псевдонимом Стенич.

Если нужно, можно выпустить в третьей главе фразы «шагает рота...» и «расскандалился безработный...», но лучше оставить, без них будет куце.

Пожалуйста, попробуйте это устроить: может быть, тогда пройдет. Мне кажется, главное дело — в этих местах. Можно еще пропустить, что мать, возвращаясь из клуба, плевалась: но лучше бы оставить (это в четвертой главе).

Ваш *Л. Добычин.*

5 июня.

Дорогой Михаил Леонидович. Благодарю Вас за письмо. Я страшно ждал его, и оно пришло в тот самый день, когда, по моим расчетам, должно было прийти.

Благодарю Иду Исаковну за ее приписку. Кланяюсь.

Ваш *Д.*

Дорогой Михаил Леонидович. Может быть, Вы разрешите мне вместо «надоев уже нам», написать «перестав уже нас занимать».

Л. Добычин.

По поводу того, что «надоев» встретило с Вашей стороны отпор, я вспомнил заголовок: Леди Астор дает отпор антисоветским выпадам герцогини Этолл.

9/VIII

Брянск,
Губстатбюро
29 августа (карандашная пометка М. Л.: 26?)
Дорогой Михаил Леонидович.

Есть ли в этом году какие-нибудь виды на журнал и т. п.?

Я ушиб ногу и т. д. С ногами — эпидемия: мать и сестра тоже поушибали ноги — до того, что их отправили залечивать на Кавказ. А я ушиб только позавчера, так что не знаю, отправят куда-нибудь или сойдет так.

Кланяюсь Иде Исаковне.

Л. Добычин.

20 июля.

Дорогой Михаил Леонидович. Я очень рад, что Вам понравилось, а то Вы всё ругались. Чтобы печатать, нужно ли переписать, или можно на тех бумажках?

Можно ли под заглавием написать «Зайцеву»? — потому что это и на самом деле — Зайцеву.

Посылаю Вам портрет Федора Гладкова из «На посту»: больше похоже на тов. Крупскую в детстве.

Чем Вам понравилось? Тем, что не похоже, что это я писал?

Лето кончается, а я ничего не сделал. К «Похоронам» с тех пор не прибавил ни строчки. А Вы, должно быть, написали восемь романов.

На сколько аршин Вы потолстели?

Кланяюсь.

Ваш *Л. Добычин.*

1 июля.

Дорогой Михаил Леонидович. У Вас сделался совершенно новый почерк, и из Вашего письма я разобрал только три места:

1. Ужас «Брянского рабочего»
2. Попреки страстью к
а) Коле и } которые действительно
б) Эрлиху, } очень милы.

Вчера я получил письмо от Шварца — он просил Вам кланяться.

Ваш Л. Добычин.

В конце у Вас я разобрал еще, что «если будете писать, то буду отвечать», и это место показалось мне исполненным
а) гордости и
б) кокетерии.

Цукерманша получила из Смоленска вызов на соревнование — три пункта приняла, три отклонила и в один внесла поправки.

Кланяюсь Иде Исаковне.

Брянск,
Губстатбюро

Дорогой Михаил Леонидович.

Позвольте попросить Вас написать мне, можно ли что-нибудь сделать с этими двумя рассказами.

Л. Добычин.

17 января.

23 мая.

Дорогой Михаил Леонидович. Не откажите прочесть эту Первую Часть и написать мне 1) как Вы находите ее, 2) можно ли ее где-нибудь напечатать — это мне было бы чрезвычайно желательно на предмет получения Платы.

Что происходит с теми двумя рассказами, которые я Вам отправил? По-видимому, с ними ничего не выйдет.

Извините почерк. Переписывать я ненавижу, и очень некрасиво получается.

Л. Д.

20 апреля.

Дорогой Михаил Леонидович. Простите, что я еще раз прошу написать, получили ли Вы мои рукописи. Мне очень не хотелось бы, чтобы они потерялись, потому что переписывать еще раз навряд ли я когда-нибудь соберусь.

Взять же их у Вас — найдется случай, отсюда иногда ездят в Петербург, и я смогу кого-нибудь попросить зайти за ними.

Я потому пишу про «взять», что с печатаньем — не думаю, чтобы что-нибудь могло выйти. Мне суждены всего два читателя: 1) Вы, 2) Корней Иванович с семейством (две с половиной строки тщательно зачеркнуты. — *Вл. Б.*).

Я послал Вам эти вещи 10 марта (зачеркнуты четыре строки. — *Вл. Б.*). Не откажите написать мне об их получении. Пожалуйста.

Л. Добычин.

31 марта.

Дорогой Михаил Леонидович. Благодарю Вас за согласие заботиться о тех предметах, которые Вы перечислили в Вашем письме.

Естественное освещение, как Вы предсказывали, в самом деле наступило.

Ваш *Л. Д.*

НИНОН

Матушка Олимпиада истово читала басом. Зеркала были завешены. Вокруг Нинон были расставлены притащенные из ее комнаты растения: мирт, лавр, эвкалипт, кипарис... Вчера она была нехороша, а сегодня распухла, морщины растянулись, и все находили, что она стала очень интересной.

Мари сидела неподвижно в уголке дивана, маленькая, седенькая, с трясущимися розовыми щечками, держа у носика надушенный платок.

Стуча палкой, вошла Барб Собакина, костлявая, с седыми усами и бородой, и перекрестилась на иконы.

— Здравствуйте, матушка Марья Петровна,— сказала она неестественным, ханжеским голосом.— Какое горе!.. Узнаёте меня?

Мари сконфузилась, заморгала и пролепетала:

— Как же, как же...

— Хорошие люди, видно, и там нужны,— пропела Барб, покрестилась около Нинон, прошептала на всю комнату: — Какая интересная! — и притворным голосом затараторила, идя к дивану: — Кружевцо у ней на чепчике!.. Научите, матушка. Простите, понимаю, что теперь не время, но мы так...— она нагнулась и заглянула Мари в глаза,— не часто видимся... Как это вяжут?

Мари, смущенная, смотрела. Барб стояла перед ней, навалившись на палку, и выжидательно глядела.

— Тогда не здесь,— пробормотала Мари.— Может быть, пройдемте в мою комнату?

— Семь петель делается на воздух,— суетливо объясняла она на ходу, отодвигая драпировки и толкая двери.— На воздух... Столбиком... да вот, здесь, в сундуке, образчик...

Синяя лампочка горела у икон. На столике под ними две маленькие розы без ножек плавали в блюдечке. Почти не слышно было через несколько стен, как матушка Олимпиада бубнит по-славянски над ухом Нинон. Старухи сидели на скамеечках перед раскрытым сундуком, перебирали куски кружев, вышивки, рассматривали их на свет, прикидывали их на черное, на красное и бормотали: «С накидкой... шашечкой... французский шов...» Мари взглянула на гостью, порылась, достала темную полированную шкатулочку, сняла через голову маленький ключик на черном шнурке и открыла.

— Барб,— сказала она и подала ей маленькую коричневую фотографию.

— Мари...

— Барб... сорок лет...

— Мари, вы знаете...

— Барб, это она... Утром, не успеешь причесаться, уже шипит: «Берегись ее, Мари! У нее на уме какие-то пакости. Она тебе натянет нос...» Трубила, трубила... а я...

— Я так и знала,— сказала Барб и засмеялась.— Как услышала сегодня, сейчас же взяла палку и явилась.

Мари захихикала.

— Лежит кверху носом! Раздулась, как утопленник, а всё — такая интересная, такая интересная!..— И ты, Барб, тоже.

— Мари... глупенькая...

Они тихонько смеялись беззубыми ртами, и своими страшными коричнево-лиловыми руками Барб нежно гладила страшные руки Мари и мутными белесыми глазами глядела в ее мутные белесые глаза.

— Ты всё такая же хорошенькая, Барб...

— И ты, Мари...

— У тебя и тогда были маленькие усики и на щеках — пушочек... А помнишь, нас вели прикладываться, ты поправляла сзади пуговку, и я взяла тебя за пальцы...

— Да... Ах, Мари...

— Барб, помнишь...

Темнело. Горела лампадка. Розы в блюдечке пахли сильнее. Перед раскрытым сундуком валялось на полу белье. Старухи, улыбающиеся, умиленные, сидели на кровати. Матушка Олимпиада отворила дверь и позвала на панихиду.

— Сейчас,— сказала ей Мари.— Идите... Варенька, пойдем, бог с ними...

— Да, пойдем, бог с ними,— ответила Барб с счастливой улыбкой и подняла свою палку.

Они, обнявшись, медленно пошли по коридору.

— Варенька,— мечтательно произнесла Мари,— а сколько счастья было бы у нас с тобой за сорок лет... Зажми нос, Варенька,— прибавила она злорадно, открывая дверь в гостиную.

Нинон лежала между тремя церковными подсвечниками, окруженная собственноручно взращенными в кадках эвкалиптами и лаврами и еще более распухшая.

Гости, делая постные лица, говорили о ее твердом характере и о том, что она стала еще интересней: еще пополнела, помолодела и стала еще интересней. Мари с достоинством кивала головой, и ей хотелось подмигнуть, хихикнуть, высунуть язык. Она тихонько тронула Барб за руку, и Барб, счастливая, удерживая смех, пожала ее пальцы.

СИДЕЛКА

Мороз ударил. Листья облетели и лежали под деревьями. Луна, сквозящая и невещественная, таяла.

К Дворцу Труда спускались маленькие толпы с флагами.

— Здоро́во,— сбега́л вниз и трогал шапку Мухин. Он смеялся и кивал, блестя глазами. У него выше колен болело от футбола.

У дворца толклись. Товарищ Окунь, культработница, стояла на балконе со своим секретарем Володькой Гра́ковым.

— Вольдемар — мое неравнодушие,— говорила Катя Башмакова и заглядывала Мухину в глаза.

Наконец отправились. Играла музыка. На красных флагах блестело золото. Над белыми домами небо было синее.

На площади Жертв выстроились. Здесь были похоронены капустинская бабушка и, отдельно, товарищ Гусев.

Закрытое холстом, стояло что-то узкое.

— Вдруг там скелет,— кокетничала товарищ Окунь.

Заиграл оркестр. Сдернули холстину, и открылся памятник: на обелиске — гусевская голова. Ораторы всходили на трибуну и произносили речи. Слушатели егозили. Под знаменами Союза Медсантруд сиделка, высунув язык, лизала губы и прищуривалась.

Мухин присмотрелся, вышел из рядов и караулил.

На него заглядывались: тоненький, штанишки с отворотами, над туфлями зеленые носки.

Начинали разбредаться. Гусевский отец, в пальто бочонком — с поясом и меховым воротником, взял Мухина за пуговицу:

— Каково произведение! — протянул он руку к памятнику. А сиделка уходила.

— Мне необходимо,— устремился Мухин. Черт возьми: дорогу перере́зали. Старуху Железнову хоронили по-церковному. Покачивались на ходу хоругви, и негромко пели отдуваемые ветром голоса.

— Религиозный предрассудок,— подошел и тронул Мухина за ло́коть Мишка Доброхим.— Я никогда не верил в эти глупости.

Сиделка скрылась...

За лугами бежал дым и делил полоску леса на́ две — ближнюю и дальнюю.

Запихнув руки в карманы, Мишка, сытенький, посвистывал.

Спустились вниз. Здоровались с встречавшимися. Останавливались у афиш.

— Иду домой,— простился Мишка.— Обедать.

На крае зеркальца в окне «Тэжэ» блестела радуга. Кругом была разложена «Москвичка» — мыло, пудра и одеколон: пробирается к кому-то, кутается в горностай, ночь синяя, снежинки...

Захотелось небывалого — куда-нибудь уехать, быть кинематографическим актером или летчиком.

В столовой Мухин засиделся за газетой. «Открывающийся памятник,— читал он,— образец монументального искусства...»

Спускалось солнце. Церкви розовели.

Шаги стучали по замерзшей глине.

В комнатке темнело. Над столом белелось расписание: физкультура, политграмота...

В гостиной у хозяйки томно пела Катя Башмакова и позванивала на гитаре.

Пришел Мишка. Прислушался. Состроил хитрое лицо.

— Нет,— покачал Мухин головой печально,— кому я нравлюсь, мне не нравится. А чего хотел бы, того нет.

— Это верно,— согласился Мишка.

Светились звезды. У ворот шептался кто-то. Шелестели листья под ногами.

Шли по́д руку. Задумчивые, напевали:

ЧИСТИМ, ЧИСТИМ,
ЧИСТИМ, ЧИСТИМ,
ЧИСТИМ, ГРАЖДАНИН.

Спустились к речке: тихо, белая полоска от звезды. Зашли в купальню и жалели, что не захватили семечек, а то бы здесь можно посидеть.

Потолкались у кинематографа: граф разговаривает с дамой. Поспешили взять билеты...

Возвращались насладившиеся. Поздняя луна всходила. Завернули в «Моссельпром». Таинственно горела маленькая лампа.— Где вода дорога́? — говорили за столиком.— Рога у коровы, вода в реке.

За прилавком дремала хохлушка в коричневом галстуке. Подбодрили ее: «Веселей!»

Стаканы, чтобы чего-нибудь не подцепить, ополоснули пивом. Чокнулись.

— Сегодня я чуть не познакомился с сиделкой,— сказал Мухин.

МАТЕРЬЯЛ

Годулевич получила вызов на соревнованье и обдумала его. Два пункта приняла, два отклонила и в один внесла поправку.

По соревнованию она должна была вести работу среди масс на воздухе. Закрыв библиотеку, она каждый вечер с несколькими книжками переходила в сад и привлекательно раскладывала их на столике в конце аллеи. Под залог какого-нибудь документа можно было брать их и читать под фонарем.

Она сидела. Киноаппарат трещал. Оркестр играл от времени до времени. Мальчишки подбегали иногда и делали ей эротические знаки пальцами или смотрели на нее в картонные очки, похожие на маски, с красным и зеленым стеклышками, выдававшиеся к «Чудесам теней». Один раз мимо столика прошли два кавалера, разговаривая о кремсоде.

Когда било десять, Годулевич уходила. Краковяки и мазурки раздавались вслед. Светила иногда луна, а иногда висели тучи и мигали молнии вдали. Из окон венстационара, освещенные из комнаты, высовывались люди в незастегнутых рубахах.

— Дайте покурить,— просили они.

Годулевич убегала в страхе. Башмаки стучали.

— Всё работаете,— говорила ей хозяйка, отпирая, и она ложилась.

В выходные дни она ходила на картину, если была драма. Когда шла комедия, она сидела во дворе на леднике. Она читала, а внизу расхаживали люди, петухи кричали. Приходили гости к инженеру Сидорову — инженер Смирнов из коммунального отдела и старушка Паскудня́к из цеэрка́[1]. Малинников со скрипкой появлялся у окна, насупясь, и играл «Кол-Нидрэй».

Вечер наступал. Гремели иногда телеги. Музыка летела из садов. Дверь открывалась. Сидоровы, стоя на пороге, оба длинные, махали вслед своим гостям. Белеясь в темноте, они отмахивались.

Раз Смирнов вернулся.

— Да,— сказал он,— вы слыхали новые куплеты «Ленин любит деток»? — оглянулся и запел вполголоса.

Приблизясь, Годулевич кашлянула. Стало тихо, дверь захлопнулась, и гости разошлись.

Дни были до́лги, а недели ко́ротки. Прошли кампании о кооперации и антивоенная. «Работая на воздухе,— писала Годулевич в заявлении о предоставлении ей места в доме отдыха,— я не ослабила работу и в зимнем помещении. В результате мои нервы несколько расстроились». И правда, она стала раздражительной и чуть не поругалась с абоненткой Рекс, которая спросила песенник.

В газете появилось объявление о чистке в коммунальном. Годулевич села и взяла перо. Она решила выступить там с матерьялом о Смирнове. Чтобы не забыть чего-нибудь, она составила записку.

В синем платье с желтыми полосками она отправилась. Венерики смотрели на нее из окон. На углах были расклеены портреты корифейки Степанянц и прима-балерины Праведниковой. Встречались абоненты и притрагивались к козырькам.

На чистке было людно. Председатель был шутник, и зрители покатывались. Коммунальщики сидели серые. Смирнов держал перед собой газету. Он дул на руки, подсовывал их под себя, вставал и выходил, позеленевший. Годулевич пожалела его. «Ну его»,— подумала она.

Она раскаивалась в этом малодушии, когда приехала из дома отдыха, потяжелевшая на восемь фунтов, черная и шумная. Но ничего уже нельзя было исправить. Инженер Смирнов в ее отсутствие выбыл вместе с Сидоровыми в Таджикистан, откуда инженер Хозяинов по телеграфу известил их о местечках с дефицитными предметами и ставкой тысяча семьсот.

Уже прислали циркуляр о зимней культработе, и заведующий клубом обещал дать Годулевич почитать его. Старушка Паскудняк, несмело улыбаясь, приходила на закате и сидела во дворе.

— Когда они грузились,— просияв, смеялась она,— помните? — сбежались люди и смотрели.

— Я была в отъезде,— говорила Годулевич и рассказывала ей о доме отдыха. Старушка Паскудняк заслушивалась, тихая. Малинников в подтяжках подходил.

Она рассказывала, сколько там давали масла и какой приятный собеседник был товарищ Шацкий из Клинцов. Она рассказывала, как придумала заметку для живой газеты и как с Эльгой Нохимовной Рог пошла смотреть деревню: хлеб уже был убран, и кругом просторно было; ящерица побежала из-под ног; покрытые соломой, показались избы — сани и ходы́ валялись возле них.

ЧАЙ

Произносили речи: и родитель Пе́хтерев, член горсовета («Я скажу вам кратенько»,— предупредил он), и заведующая,— поглядывая кверху, как колоратурное сопрано, исполняющее номер после кинодрамы,— и руководительницы, называемые тетями, и красноармеец Миша от содружественной части,— покраснев,— и Коля-пионер,— бася́,— и Гаврик с детплощадки. Уговаривали выступить Агафьюшку, колхозницу. Она не соглашалась.

— Детки,— встала тогда докторша и кашлянула.— Мы передаем вас в школу. Но не надо беспокоиться. Там тоже будет врач, и он вам будет подавать медпомощь.

Поднялáсь кухарка Дарьюшка, поправила на голове платок и помолчала.

— Детки,— жалостно сказала она,— вы довольны мной?

— Довольны,— отвечали они.

— Я вас обижала? — продолжала она спрашивать.— Ругала вас? Бесчестила вас?

— Нет,— разжалобясь, пищали они хором,— нет! — Все были тронуты.

Торжественная часть закончилась. Президиум сошел с подмостков.

— Миша,— закричали дети, обступив красноармейца, и повисли на нем.

[1] ЦРК — центральный рабочий кооператив.

Коля-пионер нахмурился и, отойдя в сторонку, ревновал. Родители толпились возле стен, рассматривая развешенные на них детские работы и «строительные матерьялы» в ящике в углу.

— Тетя,— подзывали они иногда и спрашивали разъяснений.

— Детки,— появляясь в растворившихся дверях столовой, позвалá заведующая. За нею самовар и крýжки на столе видны́ были.— А для родителей,— блаженно улыбнулась она,— будет позже, когда отведут детей.

Все посмотрели друг на друга. Для родителей! Вот это был сюрприз.

— А я, пожалуй, не смогу прийти второй раз,— заявила мама Гаврика.

— Так кáк же быть? — спросила у нее заведующая в раздумье, просияла и, обняв ее за талью, посадила ее пить с детьми.

Счастливые, напившись, они спели.

— Мы вернемся,— говорили, уходя, родители.

— Прощайте, дети,— восклицали тети.

Пионеру Коле и красноармейцу Мише дали по конфете и, пока идет уборка, попросили подождать в саду.

Закат был красный, и антенны над домами напоминали колья для насаживании черепов из книжки с путешествиями. Белый исправдом казался синим. Арестанты, привалясь к решеткам, длинно пели:

— А!

Красноармеец Миша пóднял яблоко и пóдал Коле.

— Кáк, брат? — взяв его за плечи, спросил он, и Коля полюбил его.

Они разговорились.

Незаметно летело время. Из открытых окон радиодоклады раздавались. Расходясь со стадиона, распаленные футбольщики, невидимые за забором, переругивались.

Чай был параден. Чинно пили.

— Пироги,— сияя, поясняли тети,— испекли мы сами, а жáмочки нам отпустили в цеэркá.— Приятно было.

Шайкина и Порохонникова перечислили предметы, выдаваемые из закрытого распределителя. Все оживились. Стало шумно. Дарьюшка, облокотясь, расспрашивала Мишу, чтó бывает у красноармейцев на обед. Агафьюшка развеселилась и рассказывала, как выходит на работу, а сама боится, чтобы не спалили двор.

Родитель Давидюк принес с собой гармонию. Поблескивая бляхами, она лежала. Перешли в большую комнату, и Давидюк уселся и закинул ногу нá ногу. Вальс начался. Поправив галстук, Коля побежал к красноармейцу Мише, чтобы пригласить его. А Миша, обхватив техничку Настеньку, уже вертелся и нашептывал ей что-то. Дарьюшка смеялась и кивала на них. Тети, уронив головки нáбок, скромно танцевали, взяв друг друга зá руки.

— Поищем яблочка,— шепнула Порохонниковой Шайкина.

Танцуя, они выскользнули. На крыльце был Коля. Не оглядываясь, он стоял лицом в потемки. Докторша сидела, съежась. Подтолкнув друг друга, Порохонникова с Шайкиной остановились. Сорвалáсь звезда и покатилась, словно сбросилась на парашюте. Было тихо впереди, оттопывали сзади.

Пе́хтерев, член горсовета, появился на крыльце. Он почесал затылок.

— Целое собрание,— сказал он.

— А для воздухý,— хихикнув, пояснила Шайкина.

Поговорили о водоразборных будках: горсовет постановил сломать их и поставить автоматы с дыркой для грошéй. Пенсне блеснуло. Докторша заволновалась на скамье.

— В Америке,— засуетилась она,— всюду автоматы: опускаете монету, и выскакивает шоколад.

— Скажите,— отвечали ей.

Никто не расходился. Все хотели переждать друг друга. Докторша тянула канитель, рассказывая об Америке. Там, говоря по телефону, можно видеть собеседника. Там тротуары движутся, там ступени лестниц подымаются с идущими по ним. Она рассказывала и рассказывала, под гармонику и топот, и не знала, как ей замолчать, хотя и чувствовала, что никто не верит ей.

ДИКИЕ

Еще недавно люди были очень дикие. Я расскажу немного про своих родных. Когда история, которую я здесь описываю, началась, мне было лет четырнадцать. Все это было уже после революции, но тогда, когда идиотизм деревенской жизни еще не был уничтожен коллективизацией, которая тогда еще имела малое распространение.

Отец мой служил сторожем на станции. Он подметал ее и выполнял другие подобные работы. Кроме того, он пахал — у нас в поселке все тогда пахали, чем бы кто ни занимался кроме этого.

Он был мужчина дюжий, с черной бородой, пузатый — вроде кулаков, которые бывают на картинках. Лоб у него был морщинистый, взгляд грозный, голос рявкающий.

Мать была, наоборот, коротенькая, кругленькая, с тонким голосом. Лицо у нее было налито́е, желтоватое, точно моченая антоновка. Недавно мне показывали одну бывшую монахиню — мамаша на нее была похожа.

Нас при отце с матерью в то время было пятеро. Шестая наша сестра, Фроська, была замужем за Трошкой. Он был середняк, лет сорока, силач, ходил всегда нечесаный. Его изба была от нас через дорогу.

Сама Фроська была толстая, разиня. Юбка у нее была всегда подоткнута, а рукава засучены. Она любила песни. Когда ей рассказывали что-нибудь смешное, она долго молча слушала и вдруг валилась со скамьи и захохатывала басом.

С ними жила Сашка, Фроськина девчонка, девка лет под двадцать. Родила́сь она до Трошки, неизвестно от кого, и Трошка получил ее в прида́ное. Он с нею обращался хорошо и часто покупал ей пряники.

Она была не в нашу масть. Все наши были черные, а Сашка была белая. Она училась в сельской школе и окончила ее. Ей дали там в награду книгу про купца Калашникова, и она давала мне читать ее.

Мы жили на углу. Через одну дорогу против нас был Трошкин двор, через другую — Ваньки Чернякова, ламповщика.

С Ванькой жила мать, старушка из раскольниц. У нее были бородка и усы. Ходила она горбясь. Родом она была нездешняя, казачка из станицы Ольгинской, и называла всех наших людей иногородними.

Бок о бок с Ванькиным двором стоял двор Лизунихи, Марьи Дмитриевны.

Марья была баба лет под пятьдесят, вдова, широкоплечая. Она чуть-чуть прихрамывала на ходу. Когда она беседовала с кем-нибудь, она смотрела в глаза прямо и при этом улыбалась и облизывала губы языком. Она была шинкарка.

Раз, когда папаша мой пришел со станции и сел пить чай, является мать Ваньки Чернякова, Разумеевна, и с нею — Лизуниха. Закрывают за собою двери, крестятся на образа и кланяются.

Разумеевна выкрикивает по-казачьему:

— Здоровы ночевали?

Поправляет, чтобы закрыть бо́роду, концы платка, оглядывается, чтобы увидеть табуретку, и садится при дверях.

А Лизуниха улыбается, облизывается, прихрамывая направляется к столу и там усаживается под средней балкой потолка и говорит отцу:

— Никит Андреич, здравствуй. Чай да сахар. А мы к вам.

Это они явились нашу Варьку сватать.

Варька была дылда, губы поджимала, глаза щурила, подкрашивала щеки красными бумажками и за столом хулила пищу.

Ей не очень-то хотелось выходить за Ваньку, потому что он был низок ростом и черноволос, а ей по вкусу были люди рослые и посветлей. Но раз подвертывался случай, не хотелось упускать его. Поэтому она сказала:

— Можно будет.

Дали мы за ней корову, валенки и обещали справить кое-что из ме́лочей, а Ванька должен был соорудить ей шубу.

Вскоре отец с матерью принарядились и отправились за ме́лочами в город. Наш Андрюшка ехал в этом поезде проводником и до Самары довез их бесплатно.

Всю дорогу они пили чай в служебном отделении и разговаривали с железнодорожниками. Время провели очень приятно и в Самаре вылезли из поезда очень довольные.

Мамаша в городе бывала редко, и ей было все в диковинку. Она зазевывалась на гробы, которые стояли в окнах некоторых лавок. Здоровенные карманные часы, которые висели кое-где над тротуаром, ее тоже очень интересовали, и она все время останавливалась, а отец все шел вперед, вдруг замечал, что ее нет с ним, возвращался и ругал ее. Она оправдывалась, и они стояли, перебранивались и мешали людям проходить.

В обратном поезде Андрюшки уже не было, и нужно было брать билеты. Отец взял один билетик, посадил мамашу у окошечка, а сам ушел с покупками в другой вагон.

Отъехали немного. Дверки отворяются, и появляется контроль. Рассматривает номера́ билетов, пробивает щипчиками. Добирается до той скамейки, где сидит мамаша.

— Ваш билетик,— говорит.

Мамаша отвечает:

— У Никиты он.

— А где же ваш Никита? — спрашивают.

— А не знаю,— говорит мамаша.— Он пошел куда-то.

— Так отправьтесь с нами,— приглашает ее вежливо контроль,— и поищите его.

— Ладно,— говорит она, встает и начинает с ними продвигаться от скамьи к скамье, все время с остановками.

— Никита,— зубоскалят кругом люди,— где ты? Жив ли?

Наконец она находит его.

— Вот он,— говорит она.— Ну, слава тебе, господи. Я думала, уж ты совсем пропал. Никита, дай билет.

— Никита-то я — это да, Никита,— отвечает он.— А ты-то кто?

И он отказывается от матери и заявляет, будто видит ее в первый раз.

— Как? — удивляется она.— Никита, да ведь я же тридцать восемь лет живу с тобой.

А он опять не хочет признавать ее.

— Не знаю,— говорит,— какая это сумасшедшая старуха привязалась ко мне.

Тут она упала на колени, стала плакать и упрашивать его, чтобы он не отказывался от нее, но он не смилостивился над ней и дал забрать ее и запереть в служебное.

На станции ее ссадили и свели в контору. Там сидел заведующий Дашкин и еще какие-то. Мамаша сразу же, как только ее ввели в двери, встала на колени. Она вся была растрепана. Платок ее сполз с головы, а кофта выбилась из юбки и чулки спустились. Она стала плакать и просить, чтобы ее освободили.

Все стали смеяться над ней. Дашкин ей велел вставать скорей и догонять Никиту.

Она опрометью бросилась и скоро догнала́ отца. Он шел, засунув в карман руку, и она его обеими руками ухватила за нее.

— Никитушка,— сказала она,— что же это? Чем я так не угодила тебе, что уж ты не хочешь больше признавать меня?

Он дал ей подзатыльник и растолковал ей, что вреда ей никакого не было, а денежки, которые бы были выброшены на билет, остались це́лы, и, поняв это, она порадовалась.

Свадьбу я не стану здесь описывать. Все это можно видеть в звуковом кино. Сплошное безобразие и дикость. Я дивлюсь теперь, как я мог принимать участие во всем этом.

Покамест Ванька жил в одной избе с старухой, но решил поставить для себя отдельную избу́.

Смотритель зданий Щукин отпустил ему казенных бревен. Рыжий плотник Осип начал делать сруб, и к осени изба была готова. Молодые перешли в нее, а Разумеевна осталась в старой, тут же во дворе.

К посту у Варьки родился́ мальчишка, и его назвали Колькой, но соседи называли его Оськой, потому что он был рыжий — вроде Осипа.

К Трофиму пришли свахи от Максим-татарина. Просили выдать Сашку. А Максим этот был нэпман — всюду скупал кожи и возил куда-то. Он был очень видный и ходил всегда в костюмчике и при часах. Он жил при Кашкинских заводах. К нам на станцию он ездил в шарабане. Он сулил за Сашку чалого.

— Ну, что же,— сказал Трошка.— Он, конечно, чуждый элемент, но мы на это можем и не посмотреть. Теперь все дело в Сашке — как она намерена.

А Сашка говорит:

— А мне что? Ладно, пусть себе. Посмотрим, что ли, что это за нэпманская жизнь.

Сам Максим-татарин был магометанской веры, а она христианской, и поэтому они женились без попов. Гуляли очень шумно. Очень веселилась дочь Максима, Райка, девка восемнадцати лет от роду. Она была толстуха, ноги у нее были короткие, а туловище несуразное. Она толклась как ступа.

После этой свадьбы Трошку начали дразнить, что Сашку он сменял на чалого. Когда он на нем ездил, то соседи потешались и показывали пальцами и говорили:

— Вон, Трофим на Сашке едет.

Сашке нэпманская жизнь сначала очень нравилась, и она часто приезжала к нам в поселок разукрашенная, чтобы показаться дома и пройтись по станции. Максим давал ей денег столько, сколько она требовала, и она раскатывала в шарабане и трясла мошной — подписывалась на заем и покупала лотерейные билеты.

Ванька Черняков был должен что-то плотнику за новую избу́, и на страстной неделе плотник пришел спрашивать. Но Ваньке не хотелось отдавать ему. Он зол был на него за Кольку.

— Денег нету,— сказал он.— Приди опять на пасхе.

А на пасхе он опять не захотел платить. Тут плотник не поцеремонился с ним и исколотил его, а Ванька крикнул людям:

— Видели?

И побежал в чем был на станцию, чтобы пожаловаться в гепеу.

Оттуда с ним пришел товарищ в форме. Плотник в это время перед нашим домом с Варькой, Фроськой и другими катал яйца.

— Ванька,— крикнул он,— тебе меня, что ль, нужно? Вот он я.

Товарищ рассудил их, велел Ваньке уплатить, а плотнику не драться.

— Коли так,— сказал на это Ванька,— то пожалуйста.— И здесь же отдал денежки.

Но плотнику хотелось покуражиться над ним.

— Варвара,— сказал он,— я что-то утомился дравшись, да и деньги тяжело нести. Ты отвези меня вон в той тележке. Я тебе отсыплю пуд пшеницы.

А он жил в другой деревне, в двух верстах. Тележка была двухколесная. Она стояла во дворе у Трошки и была видна через плетень.

— Одной тебя не сдвинуть будет, борова,— сказала Варька.— Помоги, Трофимиха.— И Фроська согласилась.

Она выкатила Трошкину тележку на дорогу и захохотала.

— Варька,— закричал Иван,— не смей! — А Варька сделала ему нахальное движение рукой и поясницей, ухватилась с Фроськой за оглобли и пустилась с нею.

— И-го-го,— орали они.

Плотник пробежал за ними несколько шагов, держась руками за тележку, потом брюхом вспрыгнул на нее и подтянулся.

— Но, кобылки,— стал вопить он и замахиваться.

Все они, конечно, были пьяные.

Через час с четвертью Варвара с Фроськой возвращаются, везут тележку, на тележке — пуд, гогочут и горланят, на ногах чуть держатся: в обеих деревнях им выносили из домов стаканчики и угощали их.

Они развесили свой пуд на два полпудовика и унесли их в избы. Ванька начал упрекать Варвару, плакаться, что она делает его гороховым шутом. Старуха Разумеевна ему подтягивала. Варька обругала их обоих и легла храпеть.

Отца с Трофимом в это время не было. Они ходили позвонить на колокольне. Вышли они за́ руку, нарядные, с примасленными волосами, в розовых рубахах, выпущенных на штаны, в жилетах и без пиджаков. Они христосовались по дороге с встречными и заходили то в один двор, то в другой — поздравить с праздником и выпить.

Наконец они вернулись. Они знали уже, как Варвара с Ефросинией возили плотника, и были недовольны. Трошка отругал жену и высыпал ее пшеницу на дорогу.

— Это зря,— сказал отец и велел матери собрать зерно с дороги и кормить им кур.

Пока она возилась на дороге, ползая на корточках и собирая на лопату гусиным крылышком пыль с зернышками, прикатила в таратайке Сашка, соскочила и кричит:

— Христос воскресе. Вот она и я. Махмутка, помоги-ка сундуки втащить.

Махмутка тоже спрыгнул и помог ей втащить к Трошке сундуки — большой и маленький. Тогда она дала́ ему полтинник и отправила его:

— Катись теперь.

Увидя это, мы заинтересовались и скорей туда. А Сашке нужно поломаться, и она расспрашивает, кто был в церкви, в чем ходили, были ли уже попы на нашей улице.

Отец тогда не выдержал, ударил кулаком с размаху по столу́ и рявкнул на нее:

— В чем дело? Говори, мерзавка.

Сашка для приличия жеманится немного и потом выпаливает, что приехала совсем.

Дескать, не нравится быть чуждой элементкой и вообще все очень надоело. Райка страшно много жрет и каждую неделю ходит в фотографию сниматься — прямо нет терпенья.

— Ах они татары,— говорит отец,— свиные уши чертовы.— И все мы ей сочувствуем и проклинаем Райку и Максимку.

Вдруг опять грохочет таратайка, останавливается, и входит сам Максим. Расшаркивается и поздравляет:

— С праздником вас.

Сашка кричит:

— Бейте его! — и визжит, вскочив на лавку.

Трошка орет:

— Бей его!

Мы все́ набрасываемся и лупим. Варька прибегает с мужем. Разумеевна является — толкаются, не могут протолкаться, чтобы тоже хоть разок его ударить.

Изгвоздали его, вываляли, весь костюмчик изодрали. Наконец устали, бросили его на таратайку и хлестнули его лошадь, чтобы его духу у нас не было.

А Лизуниха у своей калитки улыбается, поглядывает издали, полизывает губы, головой покачивает. Скоро он опять явился. Сашка очень нравилась ему, и он не мог отвыкнуть от нее. Опять мы поучили его.

— Ты забудь сюда дорогу, сукин сын,— сказал ему папаша,— а не то покаешься, да поздно будет. Сашка нашей крови девка. Мы ее в обиду не дадим.

А он все ездил, и мы каждый раз одно и то же. Как он от нас ноги уносил, не наше было дело.

— Ну, теперь не сунется, скотина,— говорили мы.

А он опять являлся.

В вознесенье все́ мы были пьяные. Трах — он уж тут как тут. Сейчас же мы накидываемся на него — все́ три семейства.

Сашка кричит:

— В воду его!

Мы его суем в колодец. Он хватается руками за края. Пропихивается, расталкивая мужиков, Трофимиха, молотит его кулаком по пальцам, он срывается, бултыхается в воду. Разумеевна кричит:

— Багром его, а то не захлебнется, сволочь. Там воды по пояс только.

А у нас у всех багры были — ловить весной дрова на речке.

Тут мамаша принялась за нас цепляться.

— Ироды,— кричит,— да что же это будет? Отвечать придется.

Если бы не Лизуниха, мы убили бы его. Спасибо, догадалась она, сбегала, пока не поздно было, в гепеу. Максим-татарин видел, как мы дружно действуем против него, и захотел разъединить нас. Он стакнулся с Трошкой, угостил его, и Трошка перешел на его сторону. Когда Максим опять приехал, Трошка заступился за него. Он выхватил из своего плетня кол, заревел, как зверь какой-нибудь, и разогнал нас. Нас в тот вечер было мало. Ламповщик ушел на станцию, а наш Андрюшка был в поездке. Нам пришлось поджать хвосты. Мы были в большой ярости. Мы подожгли бы Трошкину избу, но в ней были две наших бабы — Ефросиния и Сашка. Мы сидели до рассвета, не смыкали глаз и всячески ругали Трошку. Поутру папаша собрался́ на станцию. Он опасался Трошки, как бы тот доро́гой не напал на него, и достал с полатей костыли.

— Больного человека не посмеет тронуть,— сказал он, потрогал свою бо́роду и, наваливаясь подмышками на ручки костылей, толкнул перед собою дверь и выбросил через порог зараз обе ноги.

А Трошка уже ждал его.

— Не проведешь, подлюга,— закричал он и схватил свой кол.

Папаша бросил костыли и со всех ног пустился улепетывать, а он сломал один костыль, потом другой и расшвырял обломки. После этого он запряг чалого, которого Максим-татарин дал ему за Сашку, и поехал в Красное Самсо́новище за своими братьями.

Пока он ездил, Фроська с Сашкой захватили с собой кое-какой скарб, корову и перебежали к нам. Вернулся Трошка. Он был сам-четвертый. Братья его были здоровенные, бородачи, косматые. Произошло сраженье. Трошка с братьями разбили нас. Мы выдали им Фроську с Сашкой и корову, и они их продержали до утра в сарае.

Утром Трошка выпустил жену и Сашку из сарая и сказал им, что разводится. Двор и корову отдал Фроське, лошадь взял себе, весь скарб разделил поровну, а вещи, которых было по одной, перерубил на половинки. Погрузил доставшуюся ему долю на телегу, обвязал веревкой и уехал к братьям в Красное Самсо́новище.

Сашка, чтобы не остаться беззащитной, решила снова выйти замуж. Лизуниха помогла ей и просватала ее за милиционера Про́ничева. С ним она и записалась.

Фроська же устроилась курьершей в сельсовете. Там освободилось место, потому что прежняя курьерша Лебеденкова проворовалась на почтовых марках.

Варькин муж тем временем поехал на курорт, а Варька стала выходить на станцию, прогуливаться по платформе и любезничать с гуляющими кавалерами. С ней познакомился Сазонов, слесарь из депо, и начал к ней похаживать. Он был по ее вкусу, рыжий.

Разумеевна, как только он являлся, вылезала из своей избы, шла к Варькиной и принималась колотить в дверь палкой. Слесарь открывал окно, выскакивал и улепетывал задами, а она кричала ему вслед:

— Держите его.

Варькину калитку она вымазала дегтем. Утром Варька мыла ее, подоткнув подол, и говорила людям:

— Не могу понять. Казалось бы, не шлюха, а воро́та вымазали.

Ванька отгулял свой срок на во́дах и вернулся. Он узнал, как Варька поступала без него, и стал срамить ее.

— Ах, значит, так? — сказала она, вышла, походила в огороде между грядами и объявила Ваньке, что разводится с ним.

Суд оставил детей Ваньке и ему же присудил посуду, чтобы было из чего кормить их. Но Варвара увела детей с собой и, когда ламповщик был на работе, не спускала глаз с его двора. Как только бабка отлучалась, она опрометью мчалась туда, открывала одно слабое окошко, лезла внутрь и тащила что-нибудь из утвари.

Иван не вынес этого и впал в отчаянье. Он взял у Лизунихи водки, выпил, не закусывая, и повесился в чулане. Когда он толкнул ногами табуретку и она упала, он схватился за веревку, растянул чуть-чуть петлю́ и крикнул:

— Караул, спасите.

Разумеевна вбежала в чулан, вскрикнула, зажгла огонь, подставила под Ваньку табуретку, сбегала за Лизунихой, и одна из них косой обре́зала веревку, а другая подхватила повалившегося Ваньку на́ руки.

Они позвали к нему Варьку и сказали ей:

— Любуйся. Что ты натворила, стерва?

И тогда она разжалобилась и вернулась к нему и вернула ему все́ ухваты и горшки, которые успела утащить у него. Ванька очень радовался. Он решил еще раз сыграть свадьбу и созвал гостей. Красносамсо́новищенским, которых он увидел на базаре, он велел звать Трошку с братьями. Они приехали, и Трошка сговорился с Фроськой, что вернется к ней и тоже еще раз сыграет свадьбу.

Так они и сделали, а Сашка, чтобы все было по-прежнему, ушла от Про́ничева и опять, как раньше, стала жить у них.

Петр Вайль, Александр Генис

КВАНТЫ ИСТИНЫ. ПРОЗА ВАЛЕРИЯ ПОПОВА

Каждый раз, поднимаясь на самолете в воздух, мы вспоминаем эпизод из рассказа Валерия Попова. Персонажи беседуют в полете. Один говорит: «Страшно, если вдуматься. Пятнадцать километров до земли!» Второй отвечает: «Чего страшного-то? На такси — трешка!»

В этом коротком обмене репликами отражается жизненная философия Валерия Попова. Тут внятно обозначены его симпатии и антипатии, фактически названы и неприемлемое для писателя отношение к жизни, и его собственная позитивная программа.

Какова позиция первого персонажа? В его словах «Пятнадцать километров до земли!» содержится информация, основанная на житейски трезвом анализе ситуации, на знании. Оторванный от твердой почвы самолет подвержен трагическим случайностям: испортится двигатель, отвалятся крылья, ударит молния, нападут враги. И тогда решающим станет тот фактор, что «до земли пятнадцать километров». Поэтому первый персонаж резюмирует: «Страшно, если вдуматься».

Второй персонаж — он же автор — отнюдь не отрицает знание. Ему тоже все известно про высоту полета и про возможные опасности. Но он категорически отвергает традиционный путь анализа, привычную последовательность причинно-следственных связей. Он абсурдирует ситуацию, превращая вертикаль в горизонталь,— и вот уже пятнадцать километров становятся не стремительным падением навстречу смерти, а комфортабельным путешествием: «На такси — трешка!»

Разумеется, самолет не превращается в такси. Но ведь самолет и не падает! «Пятнадцать километров до земли» в обоих случаях остаются абстракцией.

Как в просветительском диалоге, мы имеем здесь не просто собеседников, а воплощенные идеи. Первая — это здравый смысл. Вторая — творческий поиск.

Обратим внимание, первый персонаж говорит: «Страшно, если вдуматься». Вот тут и кроется конфликт. Валерий Попов предлагает не вдумываться, а думать. «Вдумываться» для него означает идти проторенным путем стандартных представлений и истин. Их набор изучен, результаты предсказаны, незатейливая их мудрость изложена в простых, знакомых всем словах. «Жизнь прожить — не поле перейти». «Без труда не выловишь и рыбку из пруда». «Тише едешь — дальше будешь».

И дело даже не в том, что эти сентенции банальны и скучны. Попов утверждает, что они абсолютно неверны — эти схемы не работают. Модели, созданные по этим схемам, непродуктивны, функционируют с ошибками и перебоями, а главное — на износ. Если самолет взлетает для того, чтобы упасть, то люди, твердо знающие, что «жизнь прожить — не поле перейти», живут только для того, чтобы дойти до края поля.

«— Другие не знаю что, а я так со своей Марьей Ивановной двадцать лет отбухал.— Отбухал? — засмеялся Слава.— Как это — отбухал? По-моему, надо жить, а не отбухивать.— А я вот отбухал. Двадцать лет. И горжусь.— Но зачем? Если плохо было? — Ну и что, что плохо? Зато двадцать лет».

Здесь что-то не так — настаивает Попов. Срок износа нам пытаются выдать за достоинство. Количественный фактор — за качественный. Но жизнь не измеряется в рациональных величинах, не прослеживается по верстовым столбам, расставленным здравым смыслом. Более того, на этом пути неверны общественные и нравственные ориентиры, по которым мы привыкли сверять направление.

«Ни разу еще не заметил, чтобы честность или даже нечестность кому-нибудь что-нибудь принесли»,— пишет Попов, и, конечно, сразу бросается в глаза, как бесцеремонно он смешивает два противоположных понятия — честность и нечестность. Дело в том, что оба эти качества равно важны, если «вдумываться», то есть придерживаться привычной иерархии ценностей. Но если «думать», то есть творчески переосмысливать жизнь,— то значение приобретают совсем иные события и явления.

Наблюдения за такими моментами истины и составляют прозу Валерия Попова.

Попов родился в 1939 году, в Ленинграде — с 1946 года. В данном случае это факт не столько биографический, сколько литературный. Потому что Попов принадлежит к «ленинградской школе», давшей современной русской словесности целую плеяду ярких талантов: Иосифа Бродского, Владимира Уфлянда, Глеба Горбовского, Льва Лосева, Владимира Марамзина, Бориса Вахтина, Сергея Довлатова и других поэтов и прозаиков.

Нет нужды говорить о том, что все эти дарования самостоятельны, а значит — резко различны. Важно вычленить общие черты, характерные для ленинградцев.

Большинство из них активно начали писать в начале шестидесятых, когда в русской литературе господствовала гражданственность. Тем заметнее на этом фоне социальная пассивность ленинградцев, подчеркнутое отсутствие интереса к общественной проблематике, сосредоточенность на внутреннем мире — на себе. Причем это внимание не лежит в русле психологического направления. Идя на риск обобщения, можно сказать, что ленинградцев (за исключением, пожалуй, Андрея Битова, не случайно переселившегося в Москву) занимают не столько процессы, происходящие в человеческой душе, сколько некие моменты, выбор которых определен только авторским произволом. Не линия, а — точка.

Такое нарушение психологических причинно-следственных связей неизбежно ведет к появлению абсурда, которым так богата «ленинградская школа».

В то же время в жизни, оказывающейся не непрерывным потоком, а набором дискретных авторских наблюдений, каждая деталь вырастает до размеров грандиозного события. А значит — каждое слово берет на себя повышенную нагрузку и требует абсолютной точности.

Крохоборская точность детали и вселенский размах абсурда. Вот это довольно противоестественное сочетание и есть, вероятно, самое характерное качество и самое важное завоевание «ленинградской школы».

Приведем несколько примеров «ленинградского» взгляда на жизнь.

В стихотворении Горбовского «Визит» читаем:

Нехорошие вы люди,
что вы роетесь в посуде?
Как не стыдно вам, ребята?
Разве собственность не свята?

Речь идет, между прочим, о страшных событиях — обыске и аресте. Но взгляду ребенка-наблюдателя предстают грубые дядьки, громыхающие тарелками. И тут же — неизвестно откуда появляется автор, рассуждающий о юридических правах личности, что в конкретных обстоятельствах — чистейший абсурд. Суть конфликта — полицейский террор — вроде бы игнорируется. Но на самом деле событие предстает самой яркой и зловещей своей стороной, потому что трактуется не политика, а самые основы человеческого существования.

Герои повести Довлатова «Компромисс» едут на похороны и беседуют:

«— Жил, жил человек и умер.

— А чего бы ты хотел?»

Банальная цепь мышления прерывается единственно возможным, абсолютно точным вопросом. Абсурдистский бред, который кроется за ним, остается вне текста, но придает философичность диалогу.

В стихотворении Бродского «Зимним вечером в Ялте» прямо говорится об авторском праве на выбор ощущений:

Остановись, мгновенье! Ты не столь
прекрасно, сколько ты неповторимо.

Как видим, произвол тут полный: миг только тем и хорош, что замечен. Лосев уже воздвигает монумент эфемерности, имеющей значение лишь для него самого:

Как же, твержу, мне поставлен в аллейке
памятник в виде стола и скамейки,
с кружкой, поллитрой, вкрутую яйцом,
следом за дедом моим и отцом.

Такое надгробие не покажется экзотическим многим российским людям, но все же тут речь не о пьянстве, а о неповторимом ощущении свободы и счастья, которое связано с застольем. Увековечен не процесс, не явление, а снова—мгновение.

Из «ленинградской школы» вышел и Валерий Попов. Все ее характерные черты прослеживаются в его прозе. Но сейчас нас интересует уже не сходство, а отличие.

Валерий Попов — просветитель. В его рассказах разрабатывается конкретная позитивная программа жизни. Попов не просто знает, как надо жить, но и охотно делится своими оптимистическими рецептами. Разумеется, это не сентенции и формулы — все-таки в первую очередь мы имеем дело с литературным явлением. Но в принципе, по-Попову можно жить. Оптимистическая установка Попова легко вычитывается из его книг и делает его творчество обособленным явлением в «ленинградской школе», с ее скепсисом, рефлексией, пессимизмом.

В 1969 году вышла первая книга Валерия Попова — «Южнее, чем прежде». Затем — «Все мы не красавцы» (1970), «Нормальный ход» (1976), «Жизнь удалась» (1981). В 1985-м появился сборник «Две поездки в Москву», в 1988-м — «Новая Шехерезада».

За двадцать лет Попов практически не изменился. Тогда, в 1969-м, как принято говорить, в литературу вошел зрелый мастер — и это правда. С первых же публикаций Валерий Попов принес самостоятельную философию и оригинальный

стиль. С тех пор он углубляет и изощряет свои достижения, кардинально не меняясь. Повторами это не грозит, потому что у Попова нет — то есть они несущественны — тематики и системы образов в их традиционном понимании. А философия и стиль — если они самобытны — неисчерпаемы.

Если Попов и повторяется, то в своем настойчивом стремлении разрушить привычную иерархию ценностей. То и дело он связывает сильнейший всплеск эмоций с совершенно ничтожными обстоятельствами, не останавливаясь ни перед превосходной, ни перед уничижительной степенями. У него вызывает «острый прилив счастья» картина берега, уходящего дугой вдоль моря. Он испытывает «счастье, какого не испытывал еще никогда» — при виде стайки утят.

И в то же время автору и его героям абсолютно неинтересно обсуждать то, чему принято придавать значение. «„Когда думаешь в люди-то выбиться?“ — недовольно говорит жена. „Да, думаю, на той неделе“».

Все это — не случайный разброс акцентов, рассчитанный на комический эффект. Это последовательная и непростая работа по защите себя от общества и от себя самого. В редчайшем случае прибегая к развернутому пояснению, Попов прокламирует правило: «Как наша земля имеет атмосферу, в которой изменяются, разрушаются, сгорают летящие в нее метеориты, так и человек должен иметь атмосферу духовную, где изменяются, разрушаются, сгорают летящие в него несчастья».

Герои Попова верят в сократическую идею внутренней свободы, которая достигается самосознанием личности.

Но общество активно вторгается в личность, и практически избежать этого — невозможно. Во всяком случае, для тех студентов, инженеров, писателей и музыкантов из больших городов, которые населяют прозу Валерия Попова. Избежать вмешательства общества нельзя, но трансформировать его — можно.

В этом и заключается открытие Попова — в интимизации бытия.

Жизнь творческой личности начинается с того, что она ломает контакт со средой. Личность уходит в себя, чтобы сосредоточиться на творчестве. Это привычный путь конфликта поэта и толпы. Попов же идет толпе навстречу — но не включаясь в нее, а наоборот — ее включая в себя. Сфера личного расширяется бесконечно. Социальная жизнь становится филиалом интима. И тогда понятно, что встретившийся в жизни плохой человек не плох сам по себе, и даже не в нашем восприятии дело, а просто он занимает тот «сектор горя», который не пустует никогда.

Сектор горя так же необходимо принадлежит личности, как сектор печали, сектор несчастной любви, сектор неудач. Надо понять, призывает Попов, что ты ведешь диалог не с обществом, а с самим собой. Тогда уровень переживаний неизбежно снижается — потому что с собой договориться проще.

Так появляется та самая атмосфера, в которой сгорают летящие в человека несчастья. Они, эти беды, разумеется, реально существуют, но в том далеком внешнем мире, где бесчинствуют стандартные причинно-следственные связи. А в своей, интимной атмосфере действуют совсем другие законы, где стая утят вызывает прилив счастья, а рубля должно хватить до конца жизни.

В разросшейся интимной сфере запросто решаются сложнейшие семейные конфликты: «—Ты разве уходил? — Да.— Ой, а я и не заметила!» Тут нет проблем с основами существования: «Открыл я как-то ящик стола, оттуда вылетела вдруг бабочка. Поймали, убили, сделали суп, второе. Три дня ели».

Так жить не просто интереснее: Попов утверждает, что так жить легче и выгоднее. Вот именно: выгоднее. Потому что «на одни и те же деньги можно жить и богато и бедно». И человек только наедине с собой решает — какую точку зрения ему предпочесть.

Надо назвать такое отношение к миру своим настоящим именем — тем самым, которого Попов, будучи писателем тонким и нетривиальным, старательно избегает. Это — творчество. Но вовсе не в том смысле, в каком существует, допустим, понятие «творческая профессия». Как в античные времена, тут творчество не выделяется из общего комплекса человеческой деятельности. Это и есть сама жизнь.

Один из лучших рассказов Попова называется «Ювобль». Это анаграмма слова «Любовь». И рассказ — про любовь. Вроде бы — про любовь, но на самом деле — про ювобль. Потому что любовь может быть у всех, а ювобль — только у героя рассказа. То есть в наших собственных силах сделать обыденные обстоятельства — необыкновенными, ибо окружающий мир — наш интим, в котором важно все и все необыкновенно. Собственно говоря, это и есть творческое преобразование жизни.

Тот, кто это понимает и умеет так жить,— счастлив: ведь он имеет дело только с самим собой. То есть: объективную реальность меняет на субъективную.

Другие — кто не успел еще постичь великой истины интимизации бытия — страдают. Страдают истово, страстно, неутомимо. Они-то и есть то зло, которое омрачает радужную перспективу прозы Валерия Попова.

Короче говоря — это люди, соблюдающие правила.

Они не знают, что сами и есть мера всех вещей, и стремятся заполнить зияющие пустоты ощущением причастности. Происходит подмена семантики — синтактикой, сути — функцией. Мучаясь от своей недостаточной самооценки, человек примыкает к какому-либо ряду, становится членом, составной частью. И тогда вместе с приобретенным чувством сообщности и солидарности к нему приходит сознание значительности, важности, миссии. У этих людей твердая походка, серьезный взгляд, обстоятельные манеры и веские слова. В отличие от любимых легкомысленных героев Попова, они считают, что нечего ждать милостей от природы, что все должно даваться тяжелым неприятным трудом и только тогда полнота жизни будет достигнута, когда со скрежетом разогнешься на дальнем конце «жизненного пути».

Автор с жалостью глядит на такого персонажа: «Многое он упустил, признавая радость только в местах, специально для нее отведенных». Попов держит в руках «Крем после бритья» и свободно варьирует: «Крем после битья», «Крем после питья», «Крем после житья». И ему искренне жаль тех, кто точно знает: крем бывает только «После бритья».

При этом речь идет вовсе не о каких-то особых людях — чиновниках, начальниках и тому подобное. В разряд мазохистов-страдальцев попадает и родственник, которому «откуда-то известно, что журналы существуют не для чтения, а для аккуратного складывания их стопками». И сосед, который «много прекрасного в себе задавил, оттого что все сдерживался, ходу себе не давал. Слишком сильная воля оказалась». И персонаж, отказывающийся от встречи с прелестной девушкой, потому что куплен билет на поезд. И отец, заставивший сына пойти в нелюбимый технический институт: «Ах, не хочется? Так вот ты попробуй. Попробуй!..»

Ироничный и насмешливый автор не скрывает своего бешенства, когда видит тех, кто даже песни поет «медленные, протяжные, с долгими паузами, рассчитанные на людей с загубленной жизнью». Попов борется со злом испытанным методом — высмеивая его. Он прибегает к абсурду, но не загадочному и страшному, каким обыкновенно бывает абсурд Кафки, Хармса или сверстника Попова — ленинградца Владимира Марамзина. Тут абсурдизированное зло — конкретно и мелко, а потому только смешно — не более: «Он применил свой самый страшный прием: упер свой пистолет прямо мне в лоб и выстрелил. Но не попал».

Злодеи у Попова, в основном, не попадают. Либо — попадают, но так жалко, что поражает грандиозный разрыв между затраченными усилиями и результатом: «Дворничиха в доме, подлая, тридцать лет готовилась, ждала момента и захватила-таки комнату, десять сантиметров!»

Снова и снова Попов внушает: жить по правилам не только скучно, но и не выигрышно. Соблюдение правил — диктат общества, основанного на том нелепом представлении, что людское общество мудрее отдельного человека. В этом извращенном социальном мире надо поступать в определенные институты, «часами говорить о прекрасном» и всем спать головами в одну сторону.

Имитация истины приводит к имитации деятельности. Не доверяя своим внутренним ориентирам, страдальцы Попова окутывают себя аурой значительности, всегда оказывающейся блефом, дымовой завесой творческой несостоятельности. Они кладут руки на плечи и заглядывают в глаза: «Скажи, ты ведь веришь в наше дело, да?» А дело было такое: проектирование электробритвы «Снежок».

Они несут тяжкий и ненужный груз причастности и важности, взваленной зачем-то на себя какой-то ответственности за что-то. И жизнь их — вечный конфликт, драма, трагедия.

В ответ Попов предлагает свое кредо: «Нет ничего такого, чего нельзя было бы сделать за час!»

Если все делать за час или хотя бы жить с ощущением такой возможности, то просто не будет времени «отбухивать» и наслаждаться сознанием своей миссии. Тогда резко возрастет значимость поступающих изнутри человека сигналов — трудно различимых и вроде бы несущественных. Иерархия ценностей нарушится — то есть упорядочится, укрепленная доверием к себе. А доверие к себе — это доверие к жизни. По Попову, соответствие ритму самой жизни — и есть гармония. Путь к ней — творчество, которое есть легкость. А легкость — освобождение от фальшивых обязательств по отношению к ненастоящим ценностям. Жить надо легко.

Всеми своими книгами Валерий Попов дает развернутый план действий и позитивную жизненную программу. Его проза — это и есть нарушение стандарта, использование иного масштаба. Безоговорочно доверяя себе, автор останавливается на тех моментах, которые считает важными. И в результате происходит то, что в литературе всегда случается с настоящими книгами: важны именно те моменты, которые замечены и описаны в этих книгах. Убедительность мотивировок оборачивается убедительностью литературной, и единственный путь к этому — естественность пристального взгляда внутрь себя.

В рассказе «Успеваем...» есть характерный эпизод. Герой делает серьезное научное открытие и приходит в волнение: «Этот замечательный момент пройдет, как и все моменты проходят, надо что-то сделать, застолбить его, зафиксировать! Выскочил на улицу, залез на крышу склада по лестнице — снег в рукава набился, сел на конек и съехал вместе со всем снегом в сугроб. Больше ничего не придумал».

Получается, что специально «приду-

мать» ничего нельзя. На этом построено и мировоззрение Попова, и его проза — на свободном словоизъявлении. При таком способе допустима лишь стопроцентная точность описаний и характеристик: ведь исправить в случае чего ошибку не помогут ни дополнительные мотивировки, ни отвлеченные умозаключения, ни перипетии сюжета. Ничего этого в прозе Попова нет. Во всяком случае, в привычном, традиционном представлении.

Основную нагрузку в его повестях и рассказах несут не основополагающие литературные категории, вроде композиции или образной системы, а сами сгустки прозы. Кванты прозы. «Зернистость» прозы Попова совершенно объяснима: она составлена из тех зерен истины, которые он усмотрел и выхватил из хаотического потока бытия. А поскольку бытие есть интим, то величина, размещение и само наличие этих зерен определяются только особенностями зрения наблюдателя. И никогда ничем больше. В сферу интимизированного мировоззрения Попова включены все движущие силы жизни и литературы: нравственность, общественная польза, величие замысла. Собственно говоря, это все и есть элементы личной жизни человека, именуемого — Автор.

В этом ряду новой, подлинной иерархии ценностей такие высокие понятия стоят по соседству с неанятными ощущениями восторга при виде солнечного зайчика на стене. Это не может удивлять, поскольку мы знаем, что критерий один — собственное «я», пользующееся неограниченным доверием — а значит, и абсолютной литературной властью. Кванты поповской прозы равноправны. Вместе они составляют поток, который характеризует явление русской словесности по имени «Валерий Попов». По отдельности — эти сгустки прозы как бы предназначены для цитирования. (Само по себе квантование литературного потока не является ни достоинством, ни недостатком: так, если легко цитировать Чехова, то уже труднее делать это с Достоевским и еще сложнее — с Толстым.) Реплики, словечки и ситуации из Валерия Попова легко вычленяются, еще настойчивее напоминая, что мы имеем дело не только с литературным произведением, но и с кодексом морали и поведения. Практически всегда шутки Попова — еще и заповеди, рекомендации, аллегорические советы.

Пролистаом его книги наугад.

«— Скажите,— пробормотал он,— ежи к вам ночью не заходили? — Заходили,— сказала она.— Двое. Элегантные, в галстуках».

«Мы взяли за железное правило — каждое утро натираться снегом. Правда, снег мы терли поверх одежды, иначе уж очень было холодно».

«Тут у нас работают кружки: кулинарный, танцевальный, курсы кройки и житья».

«Он любил резать правду-матку в глаза, но не знал ее, поэтому все время злобно молчал».

«Врага, как и все ва свете, надо создавать своим трудом, долго и упорно. А откуда у нас время еще и на это?»

Любой из этих коротеньких отрывков можно разаернуть либо в увлекательный сюжет, либо в обстоятельный трактат по этике. Попов ограничивается своими квантами — это его жанр. В силу специфики такого лаконичного жанра автор нигде не позволяет себе прямой проповеди. И только в самом конце сборника «Две поездки в Москву» — своего краткого собрания сочинений — Валерий Попов дает прорваться эмоциям: «Как ты думаешь, жизнь удалась?..— Конечно! — ответил я. Была ведь она? Была!.. Самое глупое, что можно сделать,— это не полюбить единственную свою жизнь!»

М. Г. Мазья

ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ

Так случилось, что со стихами Елены Игнатовой я не встречался лет десять-пятнадцать, с юности. Нет, конечно, мы изредка виделись, но помнилась алюбленная в Цветаеву девушка, читавшая саои стихи в литературном клубе «Дерзание» Дворца пионеров, потом в лито замечательного ленинградского поэта и педагога Г. С. Семенова. И вот наконец — новая встреча, сборник «Тайная земля», изданный «Советским писателем» в 1989 году. Первая книга Игнатовой в Советском Союзе. Она запоздала, но многие теперешние «первые книги» запоздали. Перед нами зрелый человек, зрелый мастер.

Эта встреча поразила меня. Нетерпеливо, наугад открываю книгу — и удиаляюсь ритму, слову, пространству стиха.

Не спится.
В ночной прозрачной Лете по ключицы
Бредут к рассвету мокрые сады,
И матовое озеро дымится.

На первый взгляд, ничего особенного: мы привыкли к метафорическому стилю поэзии нашего века. Можно, если хорошо подумать, отыскать «следы влияний». Но образ поражает осязаемостью, живой реалистической силой. Так же, как резкое в своей обнаженности признание из другого стихотворения: «Ныние судьбу мою переходишь вброд». А вот еще неожиданнее: «Как зацветает время у виска, И ласточка несет фонарик света». А тут странное, но, если всмотреться, точное уподобление:

Тело, запекшееся от сна,—
Как засохшая косточка винограда,
С тем же брожением вина,
С чувством бессилия и утраты
Теми же —
подымаю с постели.

Возникает странное ощущение: все непонятно, оторвано от реалий быта, и вместе с тем — зримо, осязаемо, конкретно. Мир возникает как бы во впечатлении о нем, он виден не сам по себе, а через состояние души. Слово, его значение, конкретное содержание опосредованы ощущением окружающего в каждый отдельный момент жизни — моментом лирического переживания. Поэтический образ веществен, даже «прозаичен». Но — только в ощущении: «Медногубая музыка осени. Бас-геликон Кружит медленным небом...» Или по-другому: «Все протяженье брошенной столицы Вмещается в единый перелет Чирка болотного...» Мир стихов Игнатовой подвижен, текуч. Он застыл на миг, подобно сколку жизни на фотографии. Поэт осваивает жизнь в многообразии ее сиюминутных образов и явлений. Это принципиальная позиция.

Я славлю полноту и онеменье
Полей, раскрытых небу в октябре,
Рождение ребенка яа заре,
Момент, когда застыло на ребре
Прекрасной жизни зрелое мгновенье.

Стих Игнатовой зачастую кажется перенаселенным — деталями, образами, событиями. Он повествователен. Но в центре повествоания оказывается собственная судьба — в движении событий, в движении пережитого.

Детства опара.
Ветрянки зеленой цветок
да на воде подсоленной — тюря.
Выйдешь — торчит во дворе
«воронок».
Наши мужчины охочи до тюрем.

Рассказ насыщен «бытом» — атмосферой пятидесятых годов. Все обрисовано точно, жестко.

И среди нас расцветают искусства.
Вот инвалид — гнет подвески из люстр,
есть и художница: голод и юность,
бант голубой, нежно-серая кожа...
Тридцать рублей — нарисует портрет
маслом...
Нарисовала меня на кошку-копилку похожей.

Характеряой особенностью мироощущения Игнатовой является сознание единстаа разного рода явлений жизни, всех ее начал. Ее стихи о живописи, архитектуре, поэзии, музыке неотделимы от мира, в котором она живет. Искусство и быт, духовное и мате-

риальное, прошлое и будущее соединились в одном настоящем — современном всему. Все, что видит, среди чего живет поэт, что вмещается в его стихотворение,— одушевлено, имеет свою судьбу, участвует в поэтическом действе. Время сжимается до мига настоящего и обретает иную глубину.

Лепки небрежной лицо, Евину глину
ты переносишь на холст — тление в тленье.
Годы теплом надышали эти морщины,
знаки старенья.

Художник и модель существуют в прошлом и настоящем. Произведение художника вечно, но тленны те, кого он писал. Мгновенна и вечна наша жизнь, но вечен и бесконечен храм бытия.

Наши тела по ночам — робкие свечи —
светятся, погружены в кожу дивана,
и бесконечна стоит, безветренна вечность,
не задувает...

В этой вечности осуществлено духовное начало.

И пока смерть молода, нас не хватилась,
чтобы в земле залатать узкие щели,
мимо портреты глядят, делают милость,
не узнавая творца, не замечая модели.

Повествование Игнатовой внутренне драматизировано. Драма возникает из конкретных событий жизни — любви, войны, истории, детства, мысли. Все окуплено собственной судьбой, судьбами родных, близких, людей безвестных и именитых. Так строится цикл (может быть, поэма?) «Песни бедности».

Поражает насыщенностью событиями цикл «Родственники». Он диахроничен, многогероен. Каждая судьба, представленная в нем, существует в сложной связи событий исторических и частных, деталей быта и реалий бытия. Драмы его героев вписаны в драму истории. Тема родины и изгнанья («Спим на чужбине родной») реализуется в повествовании о гражданской войне, когда сдвинулась с места вся прошлая жизнь и, потеряв свой уклад, погнала людей по земле в поисках доли.

Снега равнинные пряди. Перхоть пехоты.
Что-то мы едем, куда? Наниматься
в прислугу.
Наголодались в Поволжье до смерти,
до рвоты,
Слава-те, Господи, не поглодали друг друга.

Судьбы отдельных людей — родственников — воссозданы на широком фоне истории («Родственница. Девятнадцатый год. Смерть в вагоне»), судьбы России в ее историческом времени.

Зашевелились холмы серою смушкой.
Колокола голосят, как при Батые.
На сухари обменяли кольца в теплушке
Зина, Наталья, Любовь, Нина, Мария.

Все конкретно и... нет смысла прослеживать биографические связи. Ведь дальше речь пойдет о Курбском, об изгнаннике Овидии. Родственники — вся Россия. Черты ее времени обрисованы скупо, но крупными мазками, подобно тому, как входили детали быта в летописное повествование, в древнерусскую повесть. Рассказ приобретает черты эпические, и рассказчик в нем не отстраненный повествователь, он сам — участник действия. И главное в том, что

Жилиста правда и ломит хребет
кровным. И правда твоя предстает
Курском разбитым, сожженным
Смоленском.

Думается, нет смысла разграничивать тематику стихов Игнатовой: любовная лирика, стихи о городе, о дружбе, об искусстве, природе, истории родины... Здесь — все лирика. Но лирика, вмещающая многотемье едва ли не как рок, как собственную судьбу. Перед нами драма человека, обуянного миром, человека, остро чувствующего его красоту и несовершенство, его гармонию и противоречивость. Автор «Теплой земли» умеет любить жизнь такою, какая она есть,— без прикрас, в ее изманной правде.

И поэтому главной темой книги Игнатовой стала тема родной земли. Ее любовь к ней — в чувстве кровного родства, понимании своих истоков, корней, почвы. Это она обязует поэта «семечком лечь в чернопахотной смуглой горсти». Лермонтовская «странная любовь» к отчизне резонирует в современной поэзии с той же силой, что и полтораста лет тому назад.

Я повстречала равнину в рваной рогоже,
и полюбила холмы, оползавшие древнею кожей,
крупную соль подморозка, мятную стужу,
голубизны родника — око наружу.

Особая судьба родины (а значит, и судьба собственная) не в признании некоего национального избранничества, а в переживании высокой, трагической по сути правды истории, правды жизни. Она не бывает (не может быть!) иной, чем она есть.

Ближе. Больнее. Речка под серым дождем,
шест над водою — так иглы втыкаются
в вену...
Тело родимой земли горячо и нетленно,
и серебристые шрамы дороги на нем.

Раз за разом перечитываю книгу «Теплая земля». Всматриваюсь в строчки, в образы. Понимаю, многое я опустил, многое еще не осмыслил, как следует. Разговор о ее поэзии еще впереди. Он будет труден и долог. Потому что труден путь ее стихов, путь к ее стихам. И это замечательно! Ей, как и другим поэтам ее поколения, к сорока годам выпускающим первые книги, есть — и всегда было! — что сказать читателю. Но разговор об этом нам еще предстоит.

Пока же... Первое впечатление. Первая попытка осмыслить явление Елены Игнатовой.

Александр Радашкевич

СВЕТОВОЙ ИСТОЧНИК

Какое изысканное и какое печальное блаженство — открытие поэта. Поэта, которого больше нет.

Смерть снимает условности восприятия, высвобождает суть, отсеивает, высвечивает, выверяет. Я бы сказал, что смерть полезна художнику, если бы он не был человеком. Во всяком случае, даже прошедшее проверку годами, поколениями, целой жизнью далеко не всегда узаконивается смертью. Вернее сказать — крайне редко. Хитрить тут бесполезно, и изловчиться еще никому не удалось.

Последняя книга стихов ленинградского поэта и художника, архитектора по образованию, Геннадия Алексеева озаглавлена «Обычный час» и вышла в Москве («Современник», 1987). На ее обложке картина автора — убывающая от нисходящих ступеней в раздавшееся, слоистое пространство светящаяся ладья. Начав с конца, скажу, что таково главное впечатление, оставленное от его творчества,— углубленный и какой-то настороженный покой, несуетность, совершенное отсутствие столь губительного в искусстве нажима.

В свой «обычный час» поэт вглядывается в себя и в то, что его обстоит, улавливая в примелькавшихся чертах бытия отсвет непреходящего, всепроникающего света. Недаром в картины Геннадия Алексеева неизменно вкомпонован, среди геометризированных фигур, источник неназойливого, устремленного к зрителю рассеянного света, ради выявления которого эти картины, кажется, и созданы. Здесь приходит невольно на память — по колориту и даже композиционно — знаменитый чюрленисовский «Rex» с его пылающей сердцевиной мирозданья.

Вот с этой лучащейся точки зрения и рассматривает поэт, как бы поворачивая на свету, всю свою столь сложно соотнесенную и так непосредственно поданную событийность внутреннего и внешнего порядка. Отсюда та особая прозрачная созерцательность (редкое свойство в русской лирике), которой окрашена бо́льшая часть стихотворений «Обычного часа».

Вечером
я любовался куполом Исаакия,
который был эффектно освещен
и сиял
на фоне сине-фиолетового неба.

И вдруг я понял,
что он совсем беззащитен.

И вдруг я понял,
что он боится неба,
от которого
можно ждать всего, чего угодно,
что он боится звезд,
которых слишком много.

И вдруг я понял,
что этот огромный позолоченный купол
ужасно одинок
и это
непоправимо.

Издалека разливающийся, нарастающий и одновременно извечно недвижимый свет, углубляющий темные, отступающие от зрителя провалы. Это запечатленное поэтом встречное движение, к сожалению, невозможно проиллюстрировать вырванными из художественной ткани отрывками. Поэтому приведу еще одно короткое стихотворение, но целиком.

Позвонили.
Я открыл дверь
и увидел глазастого,
лохматого,
мокрого от дождя
Демона.

— Михаил Юрьевич Лермонтов
здесь живет? —
спросил он.
— Нет,— сказал я,—
вы ошиблись квартирой.
— Простите! — сказал он
и ушел,
волоча по ступеням
свои гигантские,
черные,
мокрые от дождя
крылья.

На лестнице
запахло звездами.

Есть особого рода мироощущение, выраженное лишь в нескольких русских стихах и сконцентрированное в волошинском венке сонетов «Corona astralis», а у древних — воплощенное бессмертным двустишием Платона: «К звездам ты взор стремишь, звезда моя; как бы хотел быть Небом я, чтобы смотреть множеством глаз на тебя». На этой внеземной точке внутреннего зрения, очищающей видимое от суетности и, казалось бы, въевшейся в поры пыли бренных забот, и стоит лирический герой Геннадия Алексеева, ощущающий себя задаренным гостем.

Тихо иду по лесной дороге,
перешагивая тени сосновых стволов,
и все удивляюсь этому миру,
в который попал ненароком.

Эта же пристальная отстраненность закономерно вводит автора в галерею вневре-

менных культурных и исторических реалий, где «ангелы с власами золотыми» в слепых глазах Пьеро делла Франческа, где гобеленный юный пастушок с румяной пастушкой, последний кентавр «остановился на Аничковом мосту и долго разглядывал коней Клодта», где стреляет из лука Ашшурбанипал, где Англия не замечает живого Вильяма Блейка, где черные и красные ожившие фигуры греческой вазописи и прижавшая руки к смуглой груди царица Хатшепсут среди поблескивающих во мраке бритых жреческих голов, неумолимо грядущая на нас дюреровская троица — рыцарь, дьявол и смерть, и наконец Геракл, подкрепляющийся гороховым супом с клецками, и где, конечно, поднимается к небу возлюбленное и ненаглядное видение — Петербург — Ленинград: «Дождь на Дворцовой площади», «Лошадь на Невском», «Белая ночь на Карповке» и «Купол Исаакия».

Нельзя не отметить, что в необычной своей причастности к земному еще одним качеством наделен лирический двойник Геннадия Алексеева — обезоруживающей, почти детской душевной чистотой: «...просто ты такой доверчивый. И всем как-то неловко».

Обманчивая простота белого стиха, всегдашняя непринужденность интонации поэта отзовутся, я уверен, в читательском слухе эхом античных лириков и эпиков, зачарованным миром великих восточных мастеров, блоковской «Ночной фиалкой» и, конечно, «Александрийскими песнями» Михаила Кузмина.

С этой своей врожденной и сознательно культивируемой простотой подходит поэт к таинственным пределам сознания, касается тревожным духом своим области «последних вещей», где магазинный кот — сосед по вселенной, а «старик смеется радостно у жизни на краю», где еще «надо позаботиться, чтобы статуи не бродили ночью по Летнему саду, потому что они могут перепутать свои пьедесталы»,— подходит, чтобы, уже не оглядываясь, без боли и сожаления заметить остающимся, что «на бреге бытия стоять опасно».

М. Санин

ЧЕРНОЕ И БЕЛОЕ

Слово получил палач.

Нет, не палач в буквальном смысле, которому посвящена всего лишь одна главка в повести Михаила Кураева «Ночной дозор» («Новый мир», 1988, № 12), да и то размером в одну строку («...исполнителя я только в Новгороде видел, вечно пьяный ходил...»), и про которого до Кураева написал Ю. Гончаров. Не «исполнитель» — «вертухай». Основными занятиями тов. Полуболотова, когда он служил «комитетчиком», были обыск да «изъятие». Иногда — в моменты особенно массовых изъятий, когда «брали по пятьсот-семьсот человек за ночь»,— еще и допросы, тоже по преимуществу ночные. Словом, герой Кураева — рядовой великой армии... армии? — ну, по числу рядовых, офицеров и генералов, может, еще и погуще иной настоящей армии. Из тех, кому в приснопамятные времена приходилось в поте лица «расчищать дорогу новому миру, чтобы люди могли спокойно веселиться и рукоплескать вождям».

Рядовой-то он рядовой, но под пером Кураева вырастает в фигуру разностороннюю и... зловещую. Потому и зловещую, что разностороннюю. Мы ведь все разносторонние и этим похожи на тов. Полуболотова. А не хочется! Ведь тогда получается, что каждый из нас мог бы... И тов. Полуболотов это отлично понимает. «Когда на шахтах и рудниках, на стройках, во дворах фабрик, в цехах заводов и на верфях, не говоря уже про учреждения, люди собирались вместе и все вместе поднимали руки, голосуя, допустим, за смертный приговор троцкистско-зиновьевским агентам фашизма, разве они крови хотели? Девушки-то эти симпатичные, пионеры тем более или пентюхи какие-нибудь деревенские? Нет, это они сливались с эпохой и творили историю... Все вместе, своими собственными руками».

В самом деле. Тов. Полуболотов толков и аккуратен, добросовестен и незлобив. И находчив — как в случае с графом Шуленбургом. И послушен начальству. И умеет держать язык за зубами. И поговорить с умным человеком не прочь. И даже пофилософствовать. Но главное: в нем, как и в тех девушках симпатичных, совершенно нет кровожадности. Свое дело он исполняет с рвением, но природа этого рвения та же, что и, допустим, у «пентюхов деревенских», делающих *свое* дело. Кстати, об этих последних. В программе «Пятого колеса», показанной 6 марта 1989 года, такие же вот деревенские, вспоминая, как «прочесывали» их село в недоброй памяти 37-м, ни одного плохого слова не сказали о местном милиционере, производившем в родном селе обыски и изъятия. Вот их вердикт: он делал свою *работу*, а так был хороший человек. Тов. Полуболотов был бы доволен такой беспристрастной оценкой своей деятельности: «Ведь прожил, как велели!»

Второй голос «Ночного дозора» — превращенный авторский — существенную часть своего монолога посвящает исследованию становления этой рабьей психологии, ставшей поистине нашим национальным проклятьем. Кураев идет здесь в фарватере, проложенном усилиями великих соотечественников: Чаадаева, Герцена, Достоевского. Вся пятая главка посвящена теме рабства российского, специфика коего состоит, например, в том, что Петропавловская крепость погребла под своими стенами сто тысяч человек — но не «за два с половиной века твердого стояния у моря ⟨...⟩, а лишь за время ее постройки». Или в том, что «столица империи стала местом ссылки для ее подданных!» Со временем, как говорится, «маразм крепчал»: если век с третью назад правительство, удрученное медленностью исполнения великих замыслов, перешло-таки на «вольный порядок», то впоследствии, через какой-нибудь десяток лет после величайшей в России революции, другое правительство предпочло вернуться к... рабству, переименовав его в исправительный труд, а самих рабов в заключенных каналоармейцев (сокращенно з/к).

В этом втором голосе — гордость и горечь. Гордость за свой прекрасный город, запечатленные в нем «граненые черты окаменевшей истории». И горечь — от того, что величие города — недоброе к человеку. Город белых ночей? О да, конечно! Но и город черной беды, которому особенно досталось в эпоху воспитания «непревзойденной любви к вождям».

И все-таки светлое доминирует в этом голосе. Потому что голос случайного напарника стрелка ВОХР тов. Полуболотова — это голос свободного человека, умеющего понять, что такое тов. Полуболотов, в каком болотном грунте он принялся и произрос и как, в конце концов, осушить родимое болото. И голос этот, развенчивая соблазнительные национальные мифы («Умом Россию не понять...»), утверждает все-таки в гоголевском регистре немеркнущую ценность национального бытия и сознания. Не знаю, почему А. Латыниной («Литературная газета», 01.03.89, № 9) второй голос показался претенциозным, а то даже и просто лишним,— она этого не объяснила. «Ночной дозор» — не «пейзаж и жанр», как лесковские «Полуночники», а скорей поэма. И, подобно тому, как это сделано в «Мертвых душах», у Кураева где-то кончается город и «светится у горизонта золотистым заревом широкая чистая полоса неба. И кажется, что воздух там промытый, свежий, и нет там ни пылинки, ни копоти... И верится, что оттуда придет новый день и будет он чище, светлее, чем все дни, что до сих пор сходили на землю. От уверенности этой в душе покой, и не хочется торопить время...»

...Вот я и говорю... Хорошо, что М. Кураев написал не очередную плоскую однодневку о временах «необоснованных репрессий», пусть и воплощенную в «сочной выразительности речи тов. Полуболотова» (А. Латынина), а объемную, полифонического звучания вещь, которой суждена долгая жизнь в литературе.

А. Моторин

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ — ШКОЛЕ И ВСЕМ

Ключевое слово в названии новой книги Ю. Лотмана — «школа» (Ю. М. Лотман. В школе поэтического слова: Пушкин. Лермонтов. Гоголь. Книга для учителя. М.: Просвещение, 1988). Она адресована в первую очередь учителям литературы. В ней собраны воедино (и практически без изменений текста) статьи, выходившие в течение двадцати лет в самых разных, в том числе и весьма далеких от школьных дел, изданиях. И теперь во всех этих статьях неожиданно проступила, может быть, самая важная черта облика ученого: он — воспитатель, учитель и просветитель. Просветительство Ю. Лотмана, его вера в просветляющую, воспитывающую сознание силу разума питается многолетним исследовательским интересом к русской просветительской культуре XVIII—XIX веков. Так что возникшее взаимопонимание между ученым и издательством «Просвещение» имеет своеобразное философское обоснование.

Во «Введении», играющем роль своеобразной авторецензии, указано, что новая книга «неразрывно связана с тридцатипятилетней педагогической деятельностью автора и отражает его непрерывную в течение 1950—1985 гг. работу над построением курса истории русской литературы первой трети XIX столетия». Автор верит, что его книга обладает не только тематическим, но и методологическим, идейным единством. Его вера питается личным «ощущением связанности развития исследовательской концепции».

Это справедливое утверждение требует, однако, уточнений. Статьи Ю. Лотмана начала 1960-х годов и его работы 1980-х довольно близки по стилю, методу. Как это

часто бывает с цельными личностями, в начале творческого пути у них явлено как бы в зерне, в «свитом» виде то, что разовьется, процветет и принесет многий плод, может быть, гораздо позднее. Но а линию развития между «зерном» и «плодом» нередко вписываются довольно резкие отклонения. Так случилось и с Ю. Лотманом: между его ранними философско-культурологическими работами и таковыми же работами последних лет пролегла полоса структурализма 1970-х годов, когда исследователь посвятил много времени теории. Его теоретические труды глубоко отпечатались и в статьях историко-литературного характера. В новейших работах Ю. Лотмана следы структурализма не столь отчетливы.

Впрочем, структуралистский период в творческой эволюции ученого вполне естествен. Ведь по сути это торжество «чистого разума»; это как бы нормальная самозащита просветителя а эпоху безвременья и полного общественного безрассудства; это как бы вынужденная тренировка умственных способностей, яе находящих реального жизненного применения; это форма своеобразного протеста. Как только жизнь переменилась и вернулись условия, близкие к «оттепели» начала 1960-х годов, Ю. Лотман «забыл» структурализм, который в чистом виде не слишком близок основной наклонности ученого: просвещению, воспитанию широких читательских масс.

Однако, поскольку статьи структуралистского периода не подверглись переработке, они своим стилем, терминологией несколько выделяются на фоне остальных. Если в последнее время Ю. Лотман вернулся к пушкинскому идеалу научной прозы (как и прозы вообще): ясности, лаконичности, использованию по возможности только слов общеупотребительного литературного языка (построению научной терминологии именно из этого словесного материала), то в некоторых прежних статьях анахронизмом глядят рассуждения типа: «Для Пушкина была «дьявольская разница» между поэтическим и прозаическим моделированием действительности». Или: «Каждый из трех членов ситуации («поэт», «стихи», «аудитория») может трансформироваться. ⟨...⟩ Такой же «трансформации» подвергается реакция объекта на чтение». Речь идет о романе «Евгений Онегин», и под «объектом», а также «аудиторией» подразумевается, в частности, Ольга, возлюбленная Ленского.

Терминологии соответствует методология. Подчас с помощью инструмента логического анализа совершается не то виаисекция, не то и вовсе анатомирование предварительно убиенных строф «романа в стихах». В результате этой поверки алгеброй гармонии получаются вышеозначенные «члены».

Впрочем, таких мест в книге не много.

Статьи, составившие книгу, отличаются энциклопедичным охватом материала а сочетании с разумно ограняющей многообразие фактов философичностью. Как и всякий настоящий ученый, Ю. Лотман видит мир целостно, обладает своим оригинальным мировоззрением, и потому у него даже статьи, посаященные разработке узких, на первый взгляд, тем, оборачиваются разговором о творчестве какого-нибудь писателя в целом и — шире — разговором о человеческом бытии. От этого многочисленность и пестрота фактов в работах Ю. Лотмана не утомляют, но как бы освежают, питают читательское сознание, и книги автора становятся желанными, выдерживающими массовые тиражи и переиздания. Поэтому же, несмотря на то, что Лермонтову посвящены в книге всего две статьи (в то время как Пушкину пять, а Гоголю четыре), перед нами все-таки предстает как бы «весь» Лермонтов.

Лишь в редких случаях у Ю. Лотмана целое не вполне реконструируется по его части. Так, например, приводя свидетельства повышенного интереса современников Пушкина к христианству, Ю. Лотман цитирует высказывания лиц, близких к просветительству и рационализму и по существу взглядов весьма далеких от христианства,— Сен-Симона, Герцена. Такой подбор суждений гармонично сочетается с мировоззрением самого Ю. Лотмана, но за границами изложения остается целая культура христианского романтизма, к которой был весьма близок поздний Пушкин, автор «Пророка» (1826) и «Памятника» (1836).

В заключение хочется отметить одну важную особенность, благодаря которой книга может сослужить добрую службу учителям-словесникам. Научный стиль Ю. Лотмана основан на постоянном поиске и решении проблемных ситуаций. Наблюдения и выводы исследователя представляют кладезь разнообразных тем для дискуссий на уроках литературы. А не секрет, что именно через разрешение проблемных ситуаций ученики действенно приобщаются к искусству понимания художественных произведений, вступают в сотворчество с писателями.

СОДЕРЖАНИЕ

ПУБЛИЦИСТИКА

ПУБЛИКАЦИИ

КРИТИКА

К СВЕДЕНИЮ ПОДПИСЧИКОВ И ЧИТАТЕЛЕЙ

В связи с обновлением состава редколлегии, естественно, меняются и планы журнала. Так, объявленные в этом году повести Стивена Кинга «Способный ученик» и Уильяма Фолкнера «Королевский гамбит» будут напечатаны в 1990 году. Уточняются и сроки публикации в будущем году романа А. Солженицына «Август Четырнадцатого», книги Н. Берберовой «Железная женщина», а также мемуаров П. Григоренко. Редакция приносит свои извинения читателям за перенос обещанных публикаций.

«ЛЕНИНГРАДСКАЯ ТРИБУНА»

В общественно-политический клуб под таким названием решила объединиться большая группа известных ленинградских ученых и деятелей культуры.

Основной формой деятельности «Трибуны» станет проведение дискуссий и создание рабочих (экспертных) групп по наиболее важным проблемам, волнующим общество. Непосредственная цель планируемых дискуссий — полнота раскрытия и сопоставление различных подходов, выработка общих оценок, прогнозов и рекомендаций по обсуждаемым вопросам.

Члены «Ленинградской трибуны», поддерживая общий курс на демократизацию и глубокие социальные реформы, считают, что смогут помочь его осуществлению лишь в том случае, если сохранят и по отношению к нему способность к независимым критическим суждениям.

В бюро клуба избраны: академик А. Д. Александров, доктора наук А. А. Ансельм, И. М. Дьяконов, М. С. Каган, В. М. Паниях, социолог О. Б. Божков, писатели Я. А. Гордин, В. В. Кавторин, Н. С. Катерли и Б. Н. Стругацкий.

«Сохраняя полную организационную самостоятельность,— говорится в принятом «Положении об общественно-политическом клубе „Ленинградская трибуна“»,— мы рассчитываем на тесное творческое сотрудничество с редакцией журнала „Звезда“».

Редколлегия «Звезды» приветствует идею такого сотрудничества и обещает своим читателям подробную информацию о наиболее интересных дискуссиях «Трибуны», а также о принимаемых ею документах.

Редколлегия

К сведению авторов

Редакция не рецензирует рукописи, а только сообщает о своем решении. Рукописи объемом менее двух печатных листов не возвращаются.

Адрес редакции: 191028, Ленинград, Моховая, 20

Телефоны: главный редактор — 272-89-48, первый заместитель главного редактора — 273-52-56, заместитель главного редактора — 273-76-92, ответственный секретарь — 272-71-38, зав. редакцией — 273-37-24, отдел прозы — 272-18-15, отдел публицистики — 279-33-74, отдел критики — 273-74-91, отдел поэзии — 279-30-41

Издательство «Художественная литература»

Сдано в набор 19.05.89. Подписано к печати 12.07.89. М-36356. Формат 70 × 108¹/₁₆. Бумага кн.-журн. Печать высокая. 18,2 усл. печ. л. 18,38 усл. кр.-отт. 23,87 уч.-изд. л. Тираж 210 000 экз. Заказ № 1989. Цена 90 к.

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького при Госкомиздате СССР.
197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.